95 коп.

Индекс 73276

«Нева». 1988, № 6. 1—208

НЕВА 6 1988

ISSN 0130-741X

НЕВА

6 | 1988

НЕВА

Выходит
с апреля
1955
года

6 | 1988

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
иллюстрированный
журнал

Орган
Союза
писателей
РСФСР
и Ленинградской
писательской
организации

**Ленинград.
Издательство
„Художественная
литература."
Ленинградское
отделение**

Содержание

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

СРЕДИ КНИГ

ИСКУССТВО

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Дмитрий ПРИТУЛА

НОЛЬ ТРИ

Роман

1

Рис. Б. Аникина

Конечно, если ты сутки работал — ездил на вызовы или, в паузах, валялся на топчане, то понятно, что к концу дежурства у тебя мятые штаны, рубашка и, конечно же, лицо, и пробилась рыжеватая с growинкой щетина, да если прибавить, что ты к тому же лысоват, то ясное дело, имеешь вид столь же замечательный, как, к примеру, запыленный сморчок.

Районная «Скорая помощь». Восемь утра — час до конца смены.

Девочки в это время моют посуду, разбирают топчаны, все после ночи молчаливы и хмуры, лица тяжелы, с синячками под глазами, и надрывается телефон, и голос диспетчера хриплый, злой, даже с пузырьками ненависти, потому что каждый звонок воспринимается как личное оскорбление.

И все маются от нетерпения — на сегодня поездки закончились или еще разок успеют тебя запрячь? — и после каждого звонка сердце заливает легкое тепло: не туда попали, не тебя запрягают.

Но даже и в это время я говорлив — водится за мной такой грех.

Однако сейчас это не пустое балаканье, нет, разговор по делу — старший смены должен знать, что и у кого случилось за ночь.

Тем более что смена почти молодежная: педиатр Татьяна Федоровна Алексеева, пятый год работы, линейный врач Светлана Васильевна Федорова, второй год работы, и три девочки — фельдшера Валя, Вера и Таня (мой фельдшер, мы с ней — кардиологическая бригада). Ну и, наконец, я, Всеволод Сергеевич Лобанов, на их фоне пожилой дядька — почти сорок три года.

Выслушав, что было у них, я рассказал, что хорошенького было у меня.

Правда, умолчал о том, какие любопытные снимки черепа видел вечером в хирургическом отделении.

Я привез в хирургию больного, сдал его и зашел в ординаторскую поболтать с заведующим отделением Колей Евстигнеевым (учились вместе, почти друзья). Коля как раз рассматривал снимки черепа.

— Гляди, какой перелом,— сказал он.

— А череп-то совсем детский.

— Да, девочке четыре месяца.

О дедушке и внучке

Молодая женщина не хотела забирать из роддома дочку. Тогда анучку забрала бабушка. А вчера дедушка, сорокапятилетний мужчина, выпил, внучка же все вякала и вякала, чем очень раздражала дедушку. К тому же его и очередной раз взяла обида, что у девочки нет законного отца. И он взял внучку за ножки, открыл дверь на лестницу да и выбросил девочку. А пол цементный. Тут с работы шла бабушка, она подняла внучку и вызвала «скорую помощь».

Но когда ее уже в хирургии допрашивал милиционер (так положено при каждой травме), она пожалела мужа и сказала, что девочка упала со стола.

Журнальный вариант.

— А что внучка? — обалдело спросил я.
— Вроде ничего. Улыбается — мы же ее кормим.

Так вот эту историю я своим девочкам не рассказываю, щажу их. Такое у меня заблуждение, что молодежь воспитываем мы, а не окружающая жизнь.
Да, но ведь девочку кто-то привез — о чем я по утреннему оглушению забыл. А привезла ее педиатр Татьяна Федоровна, которая и рассказала эту историю под общее возмущение. Убивать надо таких дедушек — был единодушный вывод.
И тут пронзительно зазвенел телефон, и обрывом сердца я понял, что это по мою душу.
— Всеволод Сергеевич, на вызов! Плохо с сердцем,— сказала диспетчер Зина.
— Таня, по коням! — это уже я своему фельдшеру.

Вызов был близкий, в общежитие строителей. Нас встречала молодая светловолосая женщина. Мы вошли не в главную дверь, а как-то сбоку, и это было что-то вроде общежития в общежитии — четыре комнаты на первом этаже.
Пятидесятилетняя тучная женщина с бледным одутловатым лицом неподвижно лежала на кровати. Голова ее, как обручем, была стянута черным платком.
Пока я разговаривал с ней, измерял давление, слушал сердце и легкие, молодая женщина, приведшая нас сюда, стояла у окна, скрестив руки на груди. Мне показалось, что она смотрит на меня высокомерно: чуть вскинута голова, легкая насмешливая улыбка.
Я сказал Тане, какие сделать уколы, и, чтобы не мешать ей, подошел к окну и встал рядом с молодой женщиной.
Она почему-то отодвинула штору и глянула на улицу, в жидковато-медный рассвет.
— Вы — дочь? — спросил я исключительно для поддержки разговора — не люблю тягостные паузы на вызовах.
— Нет, соседка.
— А что вы на улице высматриваете? — тонкий вопрос, не так ли.
— Здание напротив. Вижу его днем и ночью. Моя работа.
То была городская библиотека.
Три минуты разговора — пока Таня сделала укол, помыла шприцы, собрала сумку.
И то был последний вызов.

Заполнив журналы, я вышел в больничный двор раздышаться. Все! Без десяти девять. Больше на вызов не погонят, да вон и Елена Васильевна идет, моя сменщица, тоже кардиологическая бригада, тоже старшая смены.
— Как сутки?
— Ничего.
— Сколько?
— Двенадцать.
— Божески.
Еще бы не божески — бывает и шестнадцать, и двадцать вызовов за сутки.
— А ночь?
— Ничего. Три часа поспал кряду. И под утро часок прихватил.
— Божески.
А вот и наша заведующая Лариса Павловна, сухая, маленькая, но идет вальяжно, с достоинством.
Теперь передача дежурства, и все!
И как же восторженно вырвались девочки на волю — с визгом, с толчками, даже и напевая.

Господи! Да ведь, оказывается, весна пришла. Воздух-то гулок, и пора переходить на плащ, и проглянуло солнце, малиновое да тугое, и тебя словно бы покалывает легкими пузырьками; от этой внезапно пришедшей весны, от скукожившегося почерневшего снега, от похрустывания ледка под ногами, от разлившегося в безудержных пространствах теплого света, но главное — от воли, пять минут назад обрушившейся на тебя, от сознания — ты свободен два дня и никому не подвластен — от этого залившего тебя счастья ты хмелеешь.
И не покидает ощущение, что за те сутки, что ты работал, прошло не двадцать четыре часа, но по крайней мере месяц — иное время, иные измерения, иная жизнь.
И вдруг я вспомнил последний вызов, вернее, молодую женщину, с которой перекинулся несколькими фразами. Я не помнил ее лица, помнил лишь черную кофту, сведенные на груди руки, чуть вскинутую голову — пожилой провинциальный лекарь сделал свое дело, пожилой провинциальный лекарь может отвалить. К чему пустые разговоры?
Однако я почувствовал легкое томление — где-то я видел эту женщину прежде, лицо ее много лет мне знакомо, но ведь наверняка знал, что аидел ее впервые.
И постарался отключиться, чтоб ничем не мешать счастью человека, внезапно вырвавшегося на аолю.
Нет, чего там, я люблю свою работу, но всего больше люблю конец дежурства. Потому что всякий раз ты вылетаешь обалделый от счастья и своей свободы, и в тебе сидит нехитрое философское соображение — возможно, в окружающей жизни есть несовершенства, но все-таки жизнь эта прекрасна.
Когда ты едешь в машине и как бы со стороны видишь городскую жизнь, то испытываешь непереносимую зависть: господи, ну как это замечательно бежать трусцой к парку, неторопливо идти с подругой, гулять с детьми. Глупые! Ну что они все ссорятся, пакостят и отравляют друг другу жизнь! Только кончится смена, и у меня начнется новая, вовсе замечательная жизнь, уж я сумею ценить отпущенное время, дорожить счастливой минутой.
И все нашлепки жизни, весь навозец ее имеют отношение не к этой воле, но исключительно к нашей работе. И жизнь, в моем сознании, состоит как бы из огромных прозрачных сфер, как бы стеклянных куполов — и под одним жизнь только счастливая, вроде вольного струения эфира, под другим же жизнь привычная — именно здесь я работаю, именно здесь люди пьют и дерутся, и разбивают друг другу головы, и мы этих людей вывозим и спасаем; именно здесь ссорятся с начальством и получают инфаркты, и мы катим их под мигалку и с капельницей; здесь и только здесь швыряют детей на лестницу.
Эти сферы замкнуты, они не сообщаются — четкое понимание утром, когда работа закончилась.
Как бы волшебная смена наряда: ты надел халат, свою спецовку, вроде водолазного костюма, и ты будешь погружаться в волны страдания, в вопли боли, в завалы навоза; но ты снял спецовку и перешел в другую сферу, а там-то, мать честная, голову кружит ранняя весна, и все замечательно, и ты волен.
Именно это чувство свободы залило меня в конце первого же дежурства, и оно так и не прошло. Надо сказать, что после института каких-то особых медицинских устремлений не было — не прибивался ни к науке, ни к хорошей клинике. Поехал туда, куда послали — а послали сюда, в районную больницу. Плыл, можно сказать, по течению. Нет, кузнецом своего счастья я никогда не был. Не ковал свое железо ни пока оно было горячо, ни остывающее. Меня послали — я поехал. У меня и жилья-то не было, а здесь обещали резво дать комнатеху. И что удивительно — не обманули. И дали, и резво.
Тут еще одна причина, почему я осел на «Скорой». С юности у меня было непонятное самому рвение — но не к учебе, а к вольному чтению.
Вот бы мне лежать весь день и читать — это, в моем понимании, и есть счастливая жизнь. И «Скорая помощь» такую возможность предоставила. Даже при работе на полторы ставки у тебя после суточного верчения есть два свободных дня. И лишнее брать на себя не буду — к чему лукавить! — мою жизнь определили именно эти свободные дни, а не только польза, которую я вроде бы приношу.

Когда за много лет привыкаешь, что у тебя есть вольные дни, сесть на ежедневный прием довольно тяжело. Крутиться каждый день — этого я уже не могу себе представить. Хотя все именно крутятся: из тех, кто пришел на «Скорую» со мной вместе, прижился только я.

Правда, тут, возможно, моей заслуги нет. Возможно, просто нервы покрепче, и потому хорошо переношу ночные дежурства. Конечно, это везение: только ты упал на топчан, как сразу заснул. А уж у кого нервы послабее, и кто вздрагивает от каждого звонка и окрика диспетчера, кому мешает бьющий в глаза свет, зимой — постоянное гудение наших прогревающихся машин, летом — жужжание комаров, тот, конечно же, не приживется.

А вот и мой заставленный сараями двор, а вот и серая пятиэтажная коробка.

Дома никого не было — Надя на работе, Павлик, наш двенадцатилетний сын, в школе.

О! Этот многолетний ритуал прихода домой. Никого нет, и можно так это потянуться, послоняться по квартире, принюхиваясь к забытым было запахам родного очага.

Немного поспать, потом погулять, почитать — долгий первый день. Правда, от недосыпа все чуть смещено в твоем сознании, время, события чуть деформированы, даже сказать, чуть скручены, мозг вяловат, а нервы взвинчены.

Безоглядный второй день — ты выспался, ты здоров, ты поешь по утрам в клозете. Вот сконденсированная твоя свобода — ты никому ничего не должен, ты волен, можешь безоглядно читать, или уйти на полдня в лес, или сгонять в город на выставку или в книжные магазины. И лишь ближе к вечеру в безоглядное струение солнечной вольной жизни вливаются легкие звоночки, словно бы фальшивый звук скрипки в складном оркестре, так, звоночек судьбы, невечность сущего, кратковременность счастья — робкое напоминание — завтра снова сутки работы.

Постепенно звоночки эти сливаются в ноющую мелодийку, которая не отстанет до самого сна. Цикл закончился. Утром все сначала.

Так двадцать лет. Десять суток в месяц — полторы ставки. Полторы не потому, что иначе тебе скучно жить, о нет, но десять суток лишь потому, что ты кормилец. Однако цикл завершится лишь завтра вечером, а сейчас самое его начало.

Когда дежурства бывают трудными и ты приходишь домой измочаленным, то так сладостно вовсе ущемиться, в этом несомненное мазохистское начало присутствует — так это включить музыку, ну, там «Гамлета» Чайковского или Сороковую симфонию Моцарта (можно и Деревенскую симфонию того же автора), а всего-то лучше концерт Баха для двух скрипок.

И так это вытянуться и покрыться попонкой, и ты тогда безволен, и душа твоя скукожена и вовсе голенькая, и у нее нет никакой защиты, не нужно ее даже вылущивать, лишь коснись ее мягкими пальцами, и она сама падет в ладони; а скрипочки себе пилят и пилят, одна — что вот жизнь так и проскочила с пенечка на пенечек, с дежурства то есть на дежурство, другая же, о, как иначе, напротив, успокаивает — так это же и хорошо, что жизнь проходит, и пусть уж таким манером, как у тебя, а не каким иным.

Музычка, она ведь для того и существует, чтоб спеленать голенькую беззащитную душу, а вот и утешение лукавое проклевывается: а чем твоя жизнь, в сущности, плоха? Не воровал, не предавал, не убивал. О-хо-ха, даже и слог высокий пробьется — людей, глядите, спасал. Все на белом свете нормально, не волнуйся, все будет хорошо.

Но сейчас я не нуждался в защите музыкой и, наскоро позавтракав, приготовился почитать.

Тут я поймал себя на том, что улыбаюсь. Это я вспомнил молодую женщину, с которой перекинулся несколькими фразами на последнем вызове. И сейчас я вспомнил не только черную кофту, но и светлое — не белое, а именно светлое — ее лицо, однако подробные черты в памяти не всплывали, и светлые же коротко стриженные волосы с лихой какой-то скобкой, в стиле ретро — тридцатые годы.

Где же я ее видел? На кого-то она мучительно похожа, но только вот на кого?

И тут раздался долгий звонок в дверь.

Молодой наш шофер Гриша смущенно улыбался.

— Зовут,— и он виновато развел руками.

— Кто?

— Главврач.

— А что случилось?

— Не знаю.

Да, что-то случилось, иначе подождали бы два дня. Может, какая-то жалоба и нужно срочно разобраться. Но вроде бы у меня не было грубых проколов.

Он пошел мне навстречу, наш главврач, длинный, сухой, с до блеска бритым черепом, с печальным морщинистым лицом многолетнего язвенника. Руку пожал, усадил.

— Вы простите, Всеволод Сергеевич, дело срочное. Лариса Павловна подала заявление. Сперва в отпуск, потом совсем. Вы остались без заведующего. Через три дня она уезжает с мужем. Подвести ее не могу — потому спешка.

Лариса Павловна заведовала «Скорой помощью» тридцать лет, мы как-то и не представляли, что когда-нибудь будем работать без нее. Правда, она всегда говорила — работаю только до пенсии и фьють. Но три дня назад ей стукнуло пятьдесят пять, и вчера она подала заявление.

— А уговаривали?

— Пустой номер. Муж — отставник, в семье по кругу триста тридцать, едут к внукам. Все! — и он, прикрыв глаза, правой рукой ощупал лицо — такая манера, словно бы человек желает убедиться, что уши, нос, глаза на привычном месте.— Должность, прямо скажем, невеликая. Со стороны брать неловко. Да и где ты его найдешь, надежного человека? Значит, в своем коллективе. У вас двое мужчин — вы и Алферов. Остальные — женщины. Нет, я не против женщин,— главврач бегло усмехнулся, и подвижное лицо его собралось ко рту, как бы для плевка.— Но они у вас либо совсем молоденькие, либо предпенсионные — не захотят перед пенсией терять в деньгах.

И это было верное замечание — заведующий не получает за стажность на «Скорой помощи», рублей пятьдесят в месяц потери. Правда, можно совмещать, и по кругу это будут те же деньги, но совместительство не идет к пенсии — таковы хитрости нашего быта.

— Значит, или вы или Алферов. И я прошу вас согласиться, Всеволод Сергеевич.

Предложение не было неожиданным: когда прежде Лариса Павловна уходила в отпуск, я иногда замещал ее. Я или Елена Васильевна. Но я еще не смирился, что Лариса Павловна уходит от нас. Как-то уж считалось, что «Скорая помощь» — ее царство, начальство не вмешивалось. На нас и жалоб почти не было, письменных, во всяком случае. Ларису Павловну в городе знали, и, если кто провинится на вызове, больные звонили ей. Разбиралась она строго, но начальство не вмешивала. Мы всегда считались одной из лучших «Скорых» в области, а несколько лет были и вообще лучшими.

Да, предложение неожиданным не было, как не было у меня и сомнений.

— Спасибо, Алексей Федорович. Но я врач, я не начальник. Если пятнадцать лет назад я отказался стать вашим заместителем, то сейчас, ближе к старости, смешно соглашаться. Моя точка прежняя: врач и учитель, они и есть врач и учитель. У них нет карьеры. Хороший врач, хороший учитель — вот их карьера.

Думаю, ему были малоинтересны мои точки зрения — как прежние, так и нынешние, и он снова пощупал лицо, и в глазах мелькнуло тусклое удовлетворение — все на месте.

— Я знал, что вы откажетесь. Вы не меняетесь. Предлагал, чтобы вы не обижались. Хотя, согласись вы, за «Скорую» я был бы спокоен. Вас любят в городе, и вас уважают на «Скорой».

Пожалуй, я скажу себе похвальное слово. Главврач прав — в городе ко мне относятся неплохо. За двадцать лет работы ни одной жалобы. С другой-то стороны, кем же это надо быть, чтобы за двадцать лет не освоить дело сносно. Да и формально — только у нас с Ларисой Павловной первая категория. Теперь у меня одного.

— Нет так нет. Вы или Алферов — вопрос стоит так. Значит, Алферов.

— Вопрос решенный?

— Нет, разумеется. Поприсматриваемся. Два месяца будет исполнять обязанности заведующего.

— А он согласится?

На лице главврача мелькнула едкая демоническая усмешка.

— Он согласится. Пробный шар запускали. Он вцепится зубами. Вы, я вижу, не в восторге?

— Нет, не в восторге.

— Но у вас был выбор, и вы его сделали. Прошу вас, Всеволод Сергеевич, без оппозиции. Примете его вы, примут и остальные.

— Да мне, по правде, все равно.

— Отличная позиция,— равнодушно сказал главврач, отпуская меня.

У выхода из конторы я столкнулся с Ларисой Павловной.

— Согласились? — нетерпеливо спросила она.

— Нет.

— Я так и знала.

— Да какая разница. По мне, если не вы, то все равно кто.

— Ой, не скажите. Еще пожалеете. Все-таки обидно, Всеволод Сергеевич, работаешь, работаешь, а получается, что эту работу может исполнять кто угодно.

— Да какая теперь разница. Как-нибудь проживем.

А потом я сел на лавочку у приемного покоя, и солнце припекало, небо стало совсем голубым, с летучими белесыми облаками, и я плыл в легкой дреме и думал, зачем это Алферов согласился заведовать — кормилец семьи, теряет в деньгах.

Мотивы же главврача мне были ясны: на «Скорой» у нас порядок, это уж молодец Лариса Павловна, и кем же это надо быть, чтоб развалить налаженную работу. Нет, за три года при всем старании не развалит, а дальше хоть трава не расти. Главврачу до пенсии оставалось как раз три года. Новый заведующий не станет беспокоить зря, ты вот по нему ногами ходи, он не пикнет. Вот такой и нужен — чтобы не беспокоил понапрасну.

А мне-то и вовсе было все равно, кто у меня будет заведующим. Стажность, категория, ночные от него не зависят. Как и дежурства. Они накатывают неотвратимо, они как смена дня и ночи или времен года. Я возглавляю кардиологическую бригаду, так что все самое сложное — сердечные астмы, инфаркты, тяжелые травмы — мое. Я не завишу от того, хорош начальник или плох К тому же я надеюсь, что Алферов будет хорошим начальником — свой все-таки, понимает наше дело.

И вот главное мое соображение: ни один начальник на свете, как бы мал или велик он ни был, не может обойтись без специалиста-профессионала. И это все!

Когда я пришел домой, Павлика еще не было и, поджидая его, я начал листать переделанного для детей Плутарха — облегченный и осовремененный вариант. Я просматривал главу об Александре Македонском и видел педагогические цели, которые ставили перед собой усреднители. Волшебная работа, легкий поворот руля, и вот покоритель мира становится неудачником, мелким сатрапом, жестоким мстителем, и восхищение Плутарха нехитро переведено в скрытую зависть и явное презрение усреднителя. Педагогическая цель несомненна — а не отрывайся от коллектива, слушай старых товарищей.

Однако придется дать Павлику именно переложение — нужно ведь и о занимательности заботиться. Учительница истории (пятый класс) советовала к каждому уроку подбирать что-либо кроме учебника, и это полностью совпадает с моими целями заурядпедагога — о! некоторый опыт воспитания имеем, одного парнишку на ноги почти поставил.

И тут Павлик нетерпеливым звонком обозначил, что он рвется к своему папаше.

И ворвался, расхристанный, пальто нараспашку, шапка в руках, на щеке синяя полоса от авторучки.

— Ну? — спросил я.

— Нормально.

— Пятерка?

— Обижаешь, начальник?

— Слушали?

— Опять обижаешь, начальник.

— Конечно, сказал, что слабых детей спартанцы сбрасывали в пропасть?

— Уж без этого никак. А считали — полезнее будет, если среди граждан нет слабых и больных.

— Нормально. А про учебу?

— Само собой. А человек, папаша, должен уметь прочитать приказ и написать свое имя. И люди должны безоговорочно подчиняться начальнику, терпеливо переносить лишения и побеждать в битвах. Но для этого, заметьте, мальчика надо учить самой малости. Если же его пичкать иностранными языками и историей, он не будет слушать начальника безоговорочно и не станет терпеливо переносить лишения.

— А про лисенка сказал?

— А как же. Урок терпеливости, вот как это называется. Терпеливые мальчики, отец, и побеждают в битвах. Если они, конечно, до битв доживают. В таком духе говорил.

— Молодец! — и я похлопал его по загривку.

Не пресекаю его, когда он себя прихваливает — а человек должен знать себе цену. Я лишен честолюбия (хотя, конечно, не лишен тщеславия), но считаю, что мальчику не помешает ядовитая капля именно честолюбия. Павлик знает, что по истории и литературе должен быть первым. Как и по физкультуре. По пройденной дорожке идти легче — имею опыт воспитания Андрея. Потому возможны сравнения — Андрей в твоем возрасте читал то-то и то-то. Павлик это понимает и старается не отставать.

После обеда, вольный на три часа человек, Павлик принялся склеивать новую авиамодель. Это, конечно, семейная беда — все в большой комнате заставлено моделями — шкаф, стол, асе углы. Представляю, какой будет вопль, если наступить на модель, этого и представить невозможно.

Я ушел в свою комнату, лег на кровать и принялся читать Плутарха, но уже не усредненного для детей.

Вот это и есть лучшее время, вот это и есть главное удовольствие (нет, наслаждение, нет, счастье) моей жизни. Чтение!

Причем чтение вольное, когда ты один и твердо знаешь, что в ближайшие часы никто тебе не помешает. Да (говорю себе высоким слогом), это восстанавливается связь времен, и гаснет время сиюминутное, и тает злоба дня, загнанная в дальний угол сознания, залитая волной блаженства, вызванного неповторимым волшебным сочетанием мыслей и чувств дальнего, давно умершего автора.

Сильнейший наркотик (говорю себе высоким слогом), величайший соблазн и блаженство — вот что есть внятная яркая мысль.

И никакие вьюги ничего не в силах с ней сделать.

И покуда жива эта мысль (опять говорю себе я высоким слогом), покуда жив хоть один человек, которому эта мысль хмелит голову, человечество живо.

Да, сильнейшая отрава, но и сильнейшая услада, хотя бы даже зовущая не к действию, не к мысли собственной, но лишь к томлению духа.

Причем страсть к чтению прорезалась у меня поздно — в семнадцать лет. Почему не прежде — не знаю. Всему, видимо, свое время.

А только помню я, что уже поступил в институт и пришел к своему дяде.

Этот вечный сентиментальный давидкопперфилдовский мотив — приехавший из провинции сирота приходит в дом сравнительно обеспеченного дяди. На мне шаровары с пуговицами на щиколотках, брезентовые опорки на круглый год за тридцать пять рублей (по старым, понятно, ценам) и куртка,

сшитая из гимнастерки отца. Да, мальчик едет учиться в столицы, и потому достали старую гимнастерку и старое отцовское пальто. И сшили мне куртку с подкладными плечами и модное пальто-реглан.

Учитывая же, что я был худ и мой торс несомненно являл собою пирамиду с тонкой кадыкастой шеей, торчащей из вершины пирамиды, учитывая также длинный нос (за что получал в детстве прозвища Буратино и Долгоносика), так учитывая все это, можно согласиться с моими однокурсниками, которые считали, что я похож на заморенного грифа.

И я, значит, стою перед дядей, и он, человек деликатный, расспрашивает меня о дальнейших планах. Ну, в институт я поступил, а где жить-то собираюсь. Отец, отправляя меня в столицы, почему-то думал, что жить я буду именно у дяди. Это он вспоминал свою молодость, когда они перебирались из провинции в столицы к своим старшим братьям и сестрам, а окопавшись, перетягивали к себе младших братьев и сестер — тогда братьев и сестер было много.

И с жалостью и состраданием смотрят на меня дяденька и тетенька. А их дочь, моя, собственно, кузина, не выходит из своей комнаты. Да и права, не видела, что ли, провинциального родственника, их вон сколько, и хоть понимает, что я сирота и не столь уж дальний родственник, но все же и недоумение есть — а как же этот юный клоп попал в их светлую и почти праздничную жизнь.

Но уже после первого визита я понял, что надеяться можно только на общежитие, о чем и сообщил дяденьке.

И тогда он не без сентиментальной слезинки рассказал мне о моем отце, своем любимом брате, который, собственно, спас семью, продавая восьмилетним мальчуганом газеты. И с несомненной любовью рассказал о моем деде, известном адвокате и прогрессивном деятеле — он дружил с Короленко, о нет, нет, здесь и сомневаться не приходится, твой дедушка, когда сыновья женились, отдавал им часть своей библиотеки, гигантской, надо сказать, правда, когда твой папа женился на Мусе, он почему-то не смог этого сделать — а началась война, вот почему.

И дяденька протянул руку к шкафу, отворил дверцу и достал первый том Короленко — да, дорогому другу и так далее, да, на благо России, да, Короленко.

И тут неожиданно вспыхнуло солнце, луч его пополз по стене и остановился на стенке шкафа, и тогда малиновая поверхность вспыхнула, и я впервые заметил, что шкаф огромен и прекрасен, и какая тонкая резьба — странная огромная рыба,— и ослепительно сияла нежная малиновая поверхность, и какой-то ток шел от этого шкафа и от этих книг, я не видел вещи прекраснее, вот тогда, полагаю, и вошла в меня любовь к книгам и собирательству.

Фрейдистские выкладки? Замещение пустоты, жажда получить то, что недобрал в детстве? Наивное вытеснение комплексов? По правде сказать, не верю я в эти выверты. От лукавого это все. По крайней мере, в окружающей нас жизни.

Однако тогда и эта гладкая малиновая поверхность, и эта рыба, и легкое пение этих створок наполнили меня невыразимым восторгом, то был первый толчок, и первая — на всю жизнь — любовь к книгам.

И я утонул в этом восторге, я забыл, для чего пришел к дяденьке.

А пришел я, чтоб поканючить у него сто рублей (старые, опять же, деньги). Вся беда в том, что какие-то мелкие деньги на пропитание у меня до первой стипендии были, но не было халата и не в чем было завтра пойти на первое занятие.

И все-таки я не спросил — о! юная гордыня бедного провинциального родственника,— но выйдя на улицу, задохнулся от безвыходности сиротства, одиночества и безденежья, и я, уже семнадцатилетний парень, горько заплакал. И тут вышла странная сценка: ко мне подошла незнакомая пожилая женщина и спросила, а чего это мальчик плачет.

И переполненный восторгом жалости к себе, я ткнулся лицом в ее плечо и, захлебываясь, рассказал, что вот без всякой помощи поступил в медицинский институт, но денег нет, халата нет и жить мне что-то неохота.

От женщины пахло потом, луком и квашеной капустой.

Какими-то двориками провела она меня в свой подвал и протянула старый халат. Женщина работала в овощном магазине. Возвращать не надо, сказала она. Год я проходил в этом халате.

Юная и наглая гордыня! Я стыдился своих слез, и этого великодушия незнакомой женщины, и я старался все это забыть, и удалось вполне — более я ее не видел.

Но позже, когда стал взрослым, я, переполненный беллетристическими мотивами, решил разыскать женщину,— ах, как красиво, модный костюм, красивый галстук, в одной руке цветы, в другой — торт (из «Севера», заметим, из «Севера»), постучал в дверь подвала. Долго втолковывал немолодой женщине, кто именно мне нужен — так это к маме, наконец, поняла та, она в том году померла.

Не правда ли, красивая, но весьма беллетристическая история? И по сей день сердце мое сжимается от стыда, стоит мне вспомнить эту женщину — не успел поблагодарить.

Однако это не самая малоправдоподобная история из моей юности.

А вот и самая. Я ее никому никогда не рассказывал, даже жене, чтоб не казаться человеком с дурным вкусом. И понятно — если что-либо придумываешь красивое, то либо напряги фантазию, либо не забывай о мере.

Словом, так. В тот момент, когда отец вошел в комнату и сказал нам с сестрой, что час назад умерла мама, по радио заиграли «Песню Сольвейг» норвежского композитора Грига в исполнении народной артистки республики Казанцевой. Отец сказал — это любимая песня мамы. И тогда я заплакал — мне было одиннадцать лет.

С той поры стоило артистке Казанцевой запеть «Песню Сольвейг», я обязательно плакал — сложился своего рода стереотип. А в те годы эту песню играли часто. Или мне так казалось. Словом, плакал я лет до двадцати. Потом песню пели реже и в другом исполнении — стереотип разрушился.

Так вот. Три года назад я попал в город своего детства — послали на Всесоюзную конференцию (надо признаться, послали меня не без спекулятивного оттенка — должен ведь от области быть и практик, не только теоретики и начальники).

И я решил тогда найти могилу матери и узнать внятно причину ее смерти. Потому зашел в контору кладбища. Пожилая женщина любезно отыскала нужную папку, и вот когда я читал сопроводительный листок — да, тридцать восемь лет, да, множественные кровоизлияния в мозг,— по радио заиграли «Песню Сольвейг». Два мгновения от песенки до песенки, почти тридцать лет, отлетевшая жизнь. Беллетристическая дичь? Однако, клянусь Павликом, это правда.

Растекаюсь, растекаюсь. Начал с того, что хочу понять, когда же во мне впервые прорезалась любовь к книгам, но повело.

Так вот, со второго курса я начал читать запойно. Жал на классику, собрания сочинений, от первого до последнего тома, непременно включая и письма.

Как я учился? Как-то уж учился. На все хватало времени. Правда, не ходил на танцы и не встречался с девочками.

Причем, начиная со второго курса, постоянно работал (на стипендию в двадцать пять рублей было не выжить). Два года вечерами работал кочегаром. Вот когда я читал. Там раз в полчаса нужно было забросить в котел несколько лопат угля. Остальное время — чтение.

Но уж когда на пятом курсе я устроился в институт рентгенологии носить дрова для крыс (для вивария — варить облученным крысам и мышам еду), тогда началась красивая жизнь. Стипендия была уже тридцать рублей и пятьдесят мне платили в виварии.

Вот тогда-то я и начал покупать книги. Ну, поначалу огромные однотомники классиков — дешевые и неудобные.

Но уж разогнался вовсю, став лекарем «Скорой помощи». Я успел прихва-

тить самый кончик уходящих книг (старых, разумеется). За пять лет до книжного бума я успел собрать неплохую библиотечку по истории и поэзии. Ну, скажем, двухтомник гершензоновского Чаадаева я купил за пятерку. Том Мережковского шел по полтора рубля, Карамзина (в блестящем состоянии) — трешка, том Соловьева — трешка.

В те годы я был в каком-то оглушении — благо имел свое жилье и холостяковал. А понимал — книги уйдут, и уже навсегда. И что-то успел. Перечислять не буду — плакать охота. «Старый Петербург» Пыляева за пять рублей. Том «Былого» — рубль. «Звенья» — полтора рубля. Что говорить! Сейчас старые книги только смотрю, почти не покупаю — цены неприличные. Дело не в том, что таких денег у меня нет, не покупал бы, будь деньги — такие цены платить трудовыми деньгами (а у меня, понятно, только трудовые) неприлично.

Сейчас покупаю мало — и дорого, и ставить некуда, квартира забита стеллажами, для мебели места почти нет. Иногда захожу в наш книжный, коечто оставляет директор — мы друзья. Да и достаточно, по правде говоря.

Разместить примерно четыре тысячи книг в небольшой двухкомнатной квартире — это, конечно же, штука. А большего жилья нам и не положено.

Тут я услышал шум в коридоре. Картинка мне была ясна. Павлик поджидал Андрея, открыл дверь, спрятался за ней, а когда Андрей вошел, Павлик навалился на него.

— Ты трус, ты жалкий трус! — провоцировал Павлик, заставляя Андрея бороться.

Потом послышался шум из большой комнаты — это Андрей не устоял перед юным нахрапистым натиском и согласился побороться.

Да, картинка была привычная: Павлик сопел над Андреем, пытаясь провести двойной нельсон, Андрей как бы из последних сил держался.

— Брек! — сказал я.

Андрей пытался сбросить Павлика, но тот вцепился, словно клещ, и болтался на шее Андрея, даже когда тот поднялся во весь рост. А рост немалый — сто восемьдесят сантиметров.

— Через три года он будет меня приделывать по-настоящему,— сказал Андрей.

— То есть как «по-настоящему»? — удивился Павлик.— А сейчас один понт? Ну, ладно,— пригрозил он Андрею, нехотя сползая на пол.

Хорошие ребята, и я ими несомненно горжусь. Ну, с Павликом покуда неизвестно, а с Андреем — дело ясное — человек получился, и я имею к этому самое прямое отношение. Это главная гордость моей жизни.

На мой взгляд, красивый будет парень. Значит, сто восемьдесят рост, худ, чуть сутул, так что поначалу может произвести впечатление субтильного молодого человека. Однако кость у него широкая, и когда пройдет горячка работы юной души, на эти кости нарастятся мышцы, и это будет крепкий мускулистый мужчина.

У него замечательные глаза, я никогда не видел их тусклыми. Мое постоянное ощущение от Андрея — человек хочет что-то понять.

Правда, у него чуть сероватая, может, не совсем здоровая кожа. К тому же чуть глубоковато посажены глаза, и потому кажется, во-первых, что взгляд у парнишки какой-то виноватый, а во-вторых, что Андрей постоянно утомлен. Но лоб хорош — высок, чист.

— Ты готов? — спросил я.

— Да, Всеволод Сергеевич. А вы отдохнули?

— Все в порядке, Андрюша. Павлик, мы немного погуляем. Сейчас придет мама, и чтоб к ее приходу ты приткнулся к столу.

— Высокоорганизованный индивидуум?

Я знал, что у нас сегодня важный разговор, и потому мы молчали, покуда шли по городу — для серьезных разговоров есть парк.

Однажды воскресным утром я шел с дежурства. Впереди плелся очень пьяный мужчина, он с трудом держался на ногах, и упасть ему не давал мальчуган лет семи. Помню, я подивился, где ж это человек сумел так рано набраться. Он вдруг попытался обхватить дерево, не устоял на ногах и, свернувшись калачиком, заснул.

Мальчик пытался поднять отца, но поняв безнадежность попыток, махнул рукой — дескать, что с тебя возьмешь.

Я проходил мимо, мальчик посмотрел на меня, и я укололся о его взгляд — голубые глаза взрослого человека.

Через несколько дней мальчик сидел на скамейке под моими окнами и что-то рассказывал восторженно слушавшим его детям. Удивила его речь, неожиданно книжная. «Знаете ли вы, что...» Или: «И представьте себе, о ужас, что же он видит!..».

Я вышел на улицу поговорить с ним. Подробностей разговора не помню, но, видно, сумел заслужить доверие мальчика.

Потому что через несколько дней я увидел Андрюшу на полу моей комнаты. Я жил тогда на первом этаже, мальчишка влез в окно и теперь листал книги.

— А что ты здесь делаешь?

— Вас жду,— был резонный ответ.

— Нравятся книги?

— Да! — и мальчик восторженно зажмурился.

С того дня Андрюша и начал брать у меня книги. И уже прошло четырнадцать лет.

Читал Андрюша быстро и сразу приходил за новой порцией. Никогда я не сюсюкал с ним, обращался, как с ровней, да он и был ровней, и сейчас если не переплюнул меня, то в ближайшее время переплюнет.

Во втором классе прочитал основные вещи Твена, Дюма (старое собрание), в третьем — Майн Рида, Купера. Это не говоря, разумеется, о сказках Андерсена, Перро, братьев Гримм. Русские сказки я давал ему не в переделках для детей, но в сборниках Афанасьева, Худякова, Никифорова. Тогда же дважды он прочитал «Войну с Ганнибалом» Тита Ливия (правда, приспособленную для детей — Андрюшу особенно поразило, что Суворов мальчиком тоже зачитывался этой книгой).

А потом погиб Володя, отец Андрюши, сухонький суматошный человек. И было ему тридцать пять лет. Плотничал при домоуправлении, но умел делать все — ремонт квартиры, трубу сменить, телик починить. Всякий раз при встрече уговаривал что-нибудь сделать для меня — так это руки суетливо потирает, а глаза стыдливо прячет.

Да, он стыдился своих запоев. Так-то, по кругу, он вливал в себя, может, и меньше среднестатистического отечественного человека, но уж если вошел в запой, то никак ему не выйти самостоятельно — непременно попадал в больницу.

Вера, его жена, бухгалтер домоуправления, эту болезнь терпела долго, также Володя — человек добрейший, да и сына прямо-таки обожал. Но когда поняла, что лечение не помогает, и что отец мешает сыну своими запоями (Володя сутками произносил безостановочные монологи), а сын стремился к знаниям, постановила — или Володя справится с болезнью, или они расстаются.

Володя держался два года. Уж каково ему было, можно только догадываться. Успокаивающие таблетки глушил пачками. И с сыном не расстаться, и болезнь не преодолеть.

И тогда он сунулся под электричку. Машинист потом рассказывал Вере, что Володя стоял на коленях у рельсы (да в промельке огня машинист подумал было, что это не то собака, не то черный мешок), а уже перед самой электричкой клюнул рельсу носом. Вроде даже перед этим руки к небу поднял. Но это уж вряд ли машинист рассмотрел бы — позднейшие фантазии.

Мальчику сказали, что отец попал под электричку в пьяном состоянии,— чтоб не винил родную мать. Хотя экспертиза установила несомненное самоубийство — Володя был трезв.

Иногда задаю себе холодный вопрос — а почему я, собственно, возился с мальчиком? Да, жалел, сирота, бедствует с матерью. Иногда говорил себе: это я такой социальный эксперимент ставлю — мальчик из неблагополучной семьи может добиться многого, если не скупясь отдавать ему время и силы.

Однако же вон сколько в городе детей из неблагополучных семей, но возился-то я именно с этим.

Может, просто любил паренька? Не знаю. Может, растил себе друга на старость? Не знаю.

Хотя тут, возможно, и тщеславие присутствовало — вот хоть для кого-то я потолок, предел, свет в оконце. Хоть один человек слушает меня, затаив дыхание, каждое слово впитывает на всю жизнь. Какая же это услада! И, конечно, оправдание времени, потраченного на собирательство, чтение,— оправдание жизни, возможно.

Как бы там ни было, в пятом классе Андрюша занялся греческой мифологией (в основном, по Бузескулу, Куну, Парандовскому — Лосева читал уже в студенческие годы), в шестом — увлеченно читал Геродота и Плутарха. Историю поначалу изучал по хрестоматиям для гимназистов (были такие сборники — всего помаленьку, отрывки из самых интересных авторов).

Сразу оговорюсь, я не понимаю себя ни историком, ни филологом, всегда ясно представлял, что я всего-навсего любитель. Хотя, разумеется, не без снобизма отдаю себе отчет, что не всякий врач, а тем более врач «Скорой помощи» (а это, на мой взгляд, наименее начитанный отряд медицины) читал столько, сколько я.

Это я потому так оговариваюсь, что поставлял Андрюше лучшие, на мой взгляд, образцы. Но разумеется, лучшие не вообще, но из того, что есть у меня. Если Рим — то я давал ему Моммзена (быт Рима — Фридлендер), если французская революция — то Карлейля, английская — Маколея, Грина, нидерландская — Мотлея, история раннего христианства — Ренана.

Да, я тут играл роль фильтра — не хотел, чтоб мальчик тратил время на пустые источники, он и не тратил.

С восьмого класса Андрюша принялся за изучение отечественной истории, и тут уж я заботился о занимательности — как-то уж мы решили, что мальчик в дальнейшем займется историей профессионально, а потому любовь к русской истории должна остаться навсегда. Ну, что здесь было? Костомаров (в плохом состоянии, все лень привести в божеский вид бесчисленные брошюры), Карамзин (вид превосходный, свиная кожа с золотым тиснением). Ключевского и Соловьева сознательно оставляли на студенческие годы.

А бесчисленные книги «Русской старины», «Былого», «Исторического вестника» — не подряд, разумеется, а с закладками — вот забавная статья, а в этих воспоминаниях любопытный, на мой взгляд, поворотец.

Это, конечно, лишь то, что сразу всплывает в памяти. А идешь вдоль полок и удивляешься — это мальчик читал и это читал, как же это он сумел в шестом классе осилить Тацита (Светоний давался как некая пикантная добавка, плод, что ли, запретный).

Да ведь надо было следить, чтоб начитанность мальчика не была однобокой, с историческим, что ли, флюсом, и потому класса с седьмого у Андрея началось увлечение классикой (помимо детских, конечно, книг, которые он читал прежде).

А эти бесчисленные наши прогулки, сперва вдвоем, а когда Павлик подрос, втроем — после ужина, когда парк уже пуст, и в любую погоду. Это уже позже, когда я получил новое жилье и переехал, встречи стали реже, а когда жили в одном дворе, гуляли ежевечерне.

Конечно, опыт этого воспитания мог бы и не удаться, если б не хорошее здоровье паренька. В свое время я настоял, чтоб Андрей поступил в какую-нибудь секцию, и он четыре года занимался лыжами. Дальше второго разряда он не пошел, но мы и смотрели на него не как на будущего спортсмена, а скорее как на будущего историка.

И трудностей с выбором профессии не было — конечно, университет, конечно, истфак. Школу закончил с двумя четверками и блестяще опроверг

слухи о том, что коррупция разъедает приемные комиссии — поступил без надрыва, набрав максимально возможные баллы.

И вот теперь он на предпоследнем курсе, и я позволю себе задержать свои слезинки, мол, ах, как годы летят, и время, похоже, проходит.

Как бы там ни было, опыт такого воспитания оказался полезным для всех — с Андреем вроде бы все ясно, но полезен и для меня — Павлика воспитываю в уже известной методе. И потом живой пример. И беседы с Павликом веду не только я, но и Андрей. И на лыжах они катаются вместе.

Казалось бы, а что особенного в таком воспитании? Да так всегда и было — подросток читал именно те книги, что читал Андрей и читает Павлик. Но теперь, во-первых, с такими книгами туго, а во-вторых, родители ловко уклоняются от образования своих детей, перепоручая это дело школе.

Потому-то и процветает замечательно усредненное сознание, к которому весьма своевременно присоединяются гулкие средства массовой информации. Чаще всего эти средства присоединяются к полузнанию или незнанию вовсе. Да и закономерно.

Тут надо заметить, что человек особенно охотно рассуждает о том, к чему не имеет прямого профессионального отношения. Вот и я не без наслаждения рассуждаю о книгах или педагогике. О медицине же говорю лишь в случае крайнем. И скуповато. И это при том, что говорлив. В чем уже каялся.

А между тем мы вышли в парк и пошли берегом пруда. Парк был малолюден. Тугое, к ночному морозу, солнце опускалось за башню дворца, ледок похрустывал под ногами после дневного прогрева.

На противоположном берегу пруда человек махал руками и звал кого-то, кто прятался за деревьями — взмахи рук опережали голос и казались нелепыми.

Волшебно зависла в воздухе башня дворца — заходящее солнце как бы отсекло ее, сам же дворец растворился в малиновом предморозном сиянии. И движения редких встречных казались замедленными, замороженными, как бы на полувздохе. Да, начал сказываться недосып.

Мы шли и молчали. Андрей явно нервничал от предстоящего разговора. Молчание затягивалось. Вообще-то у меня есть несколько правил. Одно из них — простейшее — не давать совета, если его не спрашивают. О, гордыня! Кто я, собственно, такой, чтоб вмешиваться в чужую жизнь? Опыт жизни, знания? Ну, опыт — это еще предположим. Но знания? Всего помаленьку — вот мои знания. В разговоре с другим человеком я, пожалуй, в этом не признаюсь, но когда я сам с собой — да охотно. Зачем крутится ветр в овраге? О! Знаю я теперь, зачем.

Однако когда близкий человек нервничает, то от правил можно отступить, не так ли? Тем правила и хороши — их можно нарушать.

— Что нового, Андрей? — не правда ли, исключительно тонкий вопрос.

Андрюша рывком повернулся ко мне — ждал, конечно же, моей заинтересованности — и торопливо заговорил:

— Плохи дела, Всеволод Сергеевич. Я ничего не понимаю. Я не знаю, на чем остановиться. У меня нет своей позиции. Все вроде изучил, могу начать писать хоть завтра. Все как будто знаю о герое, но без собственной позиции будет винегрет, а не биография.

Тут еще одно отступление. Два года назад Андрей вдруг начал пописывать. Я думал, может, у него стихи прорезались, может, парнишка влюбился. Но нет. Он делал все помаленьку. В местной нашей газете несколько раз подготовил уголок «исторической смеси». Анекдоты из жизни великих людей (Цезарь, Наполеон, Петр). Без подписи. Но гордился, конечно,— первые публикации. Естественно, мы все тоже были очень рады. О, человеческое тщеславие — я не был знаком ни с одним живым писателем, сам никогда не пытался сочинять (даже стихами не грешил, что даже и неправдоподобно), а вот мой ученик пишет и печатается. Пусть без подписи, пусть в районной газетке, но ведь печатается.

Дальше — больше. Уж как-то он прибился к молодежному журналу. Хотя, надо думать, многие пытаются. Но многие пытаются, а Андрей прибился. Скромно одет, красив, хорошо говорит. Словом, ему посоветовали на пробу

написать какой-нибудь очерк, и Андрей написал очерк о декабристе Сухинове. Очерк поправили и напечатали. Потом Андрей написал очерк о Каховском, и его тоже напечатали.

Мне очерки понравились. Ну, то есть когда я читал первый очерк — о Сухинове,— я ничего не понимал, было какое-то шелестение в голове: то есть меня заливало умиление, до слез, не скрою, думал ли я когда-то, что вот этот мальчик, которого я лепил своими руками, будет печататься. О! Как мы сентиментальны, когда речь идет о наших детях и учениках. Ну, все как есть. Имя, фамилия, дарственная надпись — дорогому учителю и так далее.

Это если я так обрадоаался, то как же были счастливы Андрей и Вера, его мать. Андрей рассказывал, что он принес журналы домой, положил их на пол, раскрыл свою публикацию, и катался по полу, обезумев от счастья.

А Вера, увидев его имя в журнале, села на диван и весь вечер молча проплакала.

Ну, о Сухинове я мало что знал, а вот о Каховском некоторое представление имел (кроме современных книг по декабризму, у меня есть Щеголев и Модзалевский, Андрей ими, собственно, и пользовался). И я перечитал очерк взглядом как бы посторонним, и он мне снова понравился. Я бы сказал, там было геройство под сурдинку — без хрестоматийных цитат и громогласных оценок. Герой, конечно, был немного выпрямлен (и то сказать, не двадцатые же годы на дворе). Но чего не было, так это спекулятивного оттеночка. Вот это точно. То есть вполне достойная работа.

Конечно, когда двадцатилетнего человека печатают в общесоюзном журнале, он шалеет от удачи. Как иначе. Ну и, разумеется, удачу мы не выпустим из рук. Как осуждать молодость за то, что она нетерпелива? Это для нее естественно, простите великодушно.

Словом, Андрей решил написать повесть о Каховском. У него даже была идея исторической справедливости: о Каховском почти ничего не пишется, словно бы он не герой и словно бы Николай его не вешал. И опять молодец мальчик — у него благородные порывы.

— Ты, Андрюша, не торопись. Давай разберемся по порядку. Тебя прежняя общая мысль устраивает?

— Устраивает. В общих, конечно, чертах.

Тут я попытаюсь пуститься в некоторые рассуждения об истории. О! Рассуждения дилетанта — страшное дело. Ну да ладно. Утешаюсь тем, что по декабризму я читал если и не все, то все-таки немало. И потому некую простейшую мысль отработал за много лет чтения, держусь за нее (а дилетант, сколько я заметил, очень и очень держится за мысль, которую считает собственной) и сумел внушить ее Андрею.

Словом, это соображение о месте маленького (или среднего, ближе к маленькому) человека в истории.

Все понятно, политику делают политики, маленький же человек, ввязавшись в политику, тоже расплачивается здоровьем, судьбой, жизнью. Но тут есть некоторая разница: политик, если он политик серьезный, всегда знает об опасности и согласен платить за поражение — не отступаясь и не подличая, если он при этом герой.

Маленький же человек (или средний, ближе к маленькому) знает лишь небольшой клочок этой игры, правила ее для него довольно туманны, платит же он не за известный ему клочок, но за всю игру.

Политик без маленького человека — говорливый пузырь, демагог. Маленький человек без политика — молекула, разовый функционер либо хулиган. Он даже не ведает, отчего его тянет поскандалить в общественном транспорте, поколотить жену, напиться и устроить на кухне скандал.

Это общее соображение. А вот конкретное. Рылеев и без Каховского оставался бы Рылеевым. Каховский же без Рылеева — ничто, нищий дворянин, изгой, истерик.

Никого никогда не интересовало бы, какой у Каховского был характер, если бы не Рылеев. Каховский мог, конечно, бунтовать, когда в нем ворочалась гордыня — он, видите ли, не хочет быть кинжалом, ступенькой, средством — а только был он именно кинжалом, ступенькой, именно средством.

Заплатил по самой высокой ставке, однако и награду получил высшую: прошло более полутора веков, а какой-то паренек в тихой провинции ломает себе голову, душу смущает загадкой — а каков он был, маленький этот человек, повешенный на кронверке Петропавловской крепости.

И от того, как поймет паренек этого повешенного, достанет ли отваги все додумать до конца, многое зависит в жизни этого паренька.

— Скажи, Андрюша, как ты относишься к Каховскому? Любишь его? Восхищаешься? Ненавидишь?

— У меня сложное отношение. Любви, пожалуй, нет. Характер у него, надо сказать, был дурной. Мне кажется, я нашел ключ к пониманию Каховского. Вот это несоответствие внешности и характера. Помните его портрет? Такой тихий красавец. А характер болезненный, с резкими взрывами гнева и отчаяния. Он не выговаривал букву эль. Вместо Ельна — Ейна, вместо «плакать» — «пьякать». Сегодня тихий красавец может пьякать, а завтра — убивать.

Он был очень хорош, Андрюша, оживленный, чуть забегал вперед, внезапно оборачивался, размахивал руками, показывая то усы Каховского, то вулканические взрывы его темперамента, а глаза горели — ну, вдохновение у паренька, ничего не скажешь.

— Любви, значит, у меня к нему нет. Но его жалко. Особенно если помнить о его бедности, несчастной любви и мученической смерти.

— Это прекрасно, Андрюша! Неоднозначное отношение к герою — это превосходно. Это же очень интересно.

Но воодушевление Андрея прошло так же внезапно, как и возникло. Ну до чего же парнишка не уверен в своих силах.

— Это, конечно, так,— уже спокойно, буднично сказал он.— Но беда в том, что я насчитал несколько возможных точек зрения. Вот наиболее распространенный вариант. Героический, что ли. Бедный смоленский дворянин, ненавидя существующий порядок, вступает в общество, чтобы порядок этот изменить. Рылеев отводил ему роль боевика, но Каховский отказался стать террористом-одиночкой. Милорадовича убил только из желания спасти восстание. На допросах держался стойко, а конец его известен.

— Но ведь это набор общих мест. Для популярной брошюры. А ты ведь собираешься писать повесть, так?

— Так. Вот противоположный вариант. Рылеев нашел одинокого, с неудавшейся жизнью человека и готовил из него цареубийцу. Подкармливал, расплачивался за него с долгами. Каховский ненавидел свою жизнь, и в нем сидел демон разрушения. Вот этот восторг — ах, как славно мы погибнем — переплетался с желанием напоследок громко хлопнуть дверью. Характер у Каховского был неуправляемый, дух разрушения взял верх, и Каховский принялся палить.

— И чем же тебя не устраивает этот вариант? Прямолинейностью или чем-то иным?

— Пожалуй, прямолинейностью.

— И все-таки мне непонятны твои сомнения. Куда ты торопишься? Вот ты считаешь версии и варианты. А ведь на самом деле их быть не должно. Если собираешься писать, то герой должен быть тебе понятен. А если он тебе непонятен, то ты не пиши, а думай. Думай и думай. Тебя же никто не подгоняет.

— Я и думаю,— чуть обиделся Андрей.— Что же еще я делаю?

— Видишь ли, Андрюша, психология творчества мне неизвестна. Я попал в десять или двадцать процентов тех людей, которые никогда и ничего не писали. Даже юношеских стихов к подруге. И все-таки мне кажется, что у талантливого человека нет версий. Всегда одна. Он, мне кажется, может делать вещь только в одном варианте. Должно быть так и только так, считает он. Я убежден в этом.

А между тем незаметно сгустились сумерки, солнце вовсе погасло, и лишь на западе, над заливом, сияла его узкая кровавая полоса, но даже и в полумраке парка я заметил в глазах Андрея удивление. Понятное удивление — никогда прежде я не говорил с ним так строго, даже жестко, и его не мог обмануть мой чуть просительный тон. Но я решил договорить до конца, потому

что уже догадывался, что сомнения Андрея носят вовсе не литературный характер.

— Я уверен, для талантливого человека правда всегда одна. Именно та, которую он пишет. Другой для него нет. Если стоит вопрос о выборе, не выбирай ничего. Так честнее. Потому что, надеюсь я, тебя интересует правда, а не конъюнктурные соображения.

Андрей кивнул — конечно, его интересует только правда.

Ах ты, мать честная, да ведь мальчик просто нетерпелив, он боится опоздать — на историю бум, все расхватывается, и пишущий человек; поди ж ты, сходу начинает понимать, что от него требуется.

В условиях полуграмотности населения в отечественной истории все идет с гиком, на разрыв. Но неужели же и наш мальчик поддался этому мутноватому потоку, в котором не так и трудно ловить рыбку.

— Я понимаю, Андрюша, если человек решил писать, то остановить его невозможно. Это, видимо, отрава, мне непонятная. Но тогда учись. Почему ты решил, что можешь? Написал два очерка? Но теперь повесть, и здесь за компиляцию не спрятаться. Люди, и способные люди, годами бьются, чтоб научиться управлять словом. А ты сходу — бац! — повесть. Понимаю — тебя не остановить, так хоть усложняй задачи, придумывай себе трудности. А ты меня спрашиваешь, как тебе жить полегче. Ты не думай о том, что редакция молодежная, а читателю нужны положительные примеры. Ты учись писать и не суетись с печатанием. Прошу тебя — не засоряй голову негоциантскими соображениями,— чуть не взмолился я под конец.

Ну, молодец мальчик — услышал мольбу стареющего наставника.

— Вот это я вам обещаю, Всеволод Сергеевич,— торжественно сказал Андрей.

Павлик проделал со мной тот же номер, что и днем с Андреем — услышав, что я открываю дверь, спрятался и навалился на меня, так призывая к борьбе.

— Один момент,— сказал я,— только плащ сниму.

— Ни одного момента,— крикнула из кухни Надя,— уже еда на столе.

— Видишь — дымится пар над блюдом,— сказал я Павлику.— И потом я после суток. Сил, следовательно, нет.

— Всегда так,— ворчал Павлик,— то ты на сутках — занят, то после суток — сил нет, то перед сутками — надо силы экономить.

— Это последняя несправедливость, которую я терплю. Перед сутками мы боролись.

Я пошел на кухню. Надя была рада мне, это несомненно. Я тоже был рад видеть ее на боевом посту. Слегка приобнял — два дня не виделись. Да, рад видеть собственную жену — везунчик, можно сказать.

Да, еще бы не везунчик — красивая жена, к тому же моложе на восемь лет, к тому же верная, к тому же не стерва. Да, пожалуй, красивая (говорю «пожалуй», да и как не оговориться, если прожил с человеком тринадцать лет и видишь ее не только дома, но и на работе). Да, стройна, даже гибка, тонкие темные волосы собраны на затылке в тугой узел, и красивые руки, и прямая — без малейшей сутулости — осанка. На первый взгляд постороннего человека, строга и суховата. Но это уж неизбежный отпечаток профессии. Надя — участковый терапевт. Профессия накладывает отпечаток и на одежду — никаких воплей моды. Хорошо устоявшийся добротный стиль.

Правда, отпечаток накладывает не только профессия, но и возраст. Появились первые, покуда едва заметные следы увядания. Вот несколько седых блестков, вот легкие морщинки на лбу и у глаз.

Да и то сказать — почти тридцать пять лет, пора, мой друг, пора, но несомненно трогает вот эта спортивность походки, стройность, гибкость, словно бы Надя в юности профессионально занималась гимнастикой, а когда рассталась со спортом, продолжала держать режим и не разъедалась.

Ну и конечно, легкая печаль в глазах — неизбежное облачко семейной жизни. Господи, да ведь мы возраст женщины и узнаем по печали в глазах, точнее, по ее концентрации.

За ужином обменивались больничными новостями. И новость номер один — назначение Алферова.

— Мне даже сказали, что ты сперва согласился, но потом забрал заявление,— сказала Надя.

— Испорченный телефон. Наветы.

— Хотя пора бы тебе и начальником стать,— встрял Павлик.

— Видишь ли, мальчик, у каждого свой номер в жизни,— сказал я, понимая, что парнишка огорчен моим отказом.— Вот я не начальник, а рядовой врач.

— Понимаем: начальники приходят и уходят, а наш папаша остается. Он не начальник, нет, но он неформальный лидер коллектива. Все ясно, папа,— добавил он примирительно, видя мое огорчение.— С хлебом мы покончили, а как у нас нынче со зрелищами?

— Нет ничего,— сказал я. Телик не входил в мои планы.

— У людей светская жизнь, и они в классе рассказывают потрясные истории, которые видели именно на голубом экране. А я при этом отстаю от жизни.

— Глянь программу.

Павлик глянул. На счастье, ничего не было.

— На сей раз вы правы, наш фазер.

— Свободны? — спросил я Надю.

— Свободны.

— Ты сегодня прикована к галере?

— Да. Обед на завтра и легкая стирка.

Это и называется — прикована к галере — к домашним кухонным делам. Несправедливость? Да, несомненная. Мы работаем почти одинаково. Нет, я, конечно, больше, я всегда на полторы ставки, Надя же на полторы только летом и в эпидемии гриппа, но все равно много. Так ведь я сейчас вытянусь и буду читать — человек после суток имеет законное право,— а Надя станет двигать галеру, чтоб быт-то не взбунтовался.

Конечно, помогаю чем могу. Хлеб, картошка или что попадется, не шляться по квартире в обуви — вот моя помощь. Но и кормилец, понятно. Но и мозговой центр семьи, понятно.

— Павлик, все уроки сделал?

— Ну, это уж ты слишком. Математика.

— Значит, каждому свое. Ты здесь, но тебя нет. Я у себя, но меня нет.

Я ушел к себе, в маленькую комнату. Я-то им мешать не буду, только бы они мне не мешали.

Шторы не были задвинуты. За окном видна была железнодорожная платформа, фонари горели ярко, и казалось, что платформа — шатер света, со всех сторон окруженный плотной темнотой.

Я подошел к окну. За платформой чернел стол залива. Светила чистая луна, и в лунном свете вспыхивали снежинки на столе залива. Все вокруг — а главное, в моей душе — было спокойно и торжественно. Пришел вечер после суточного дежурства, когда усталость отступает перед близким сном, и душа становится почти блаженной.

Послышался скрежет тормозов, внезапный, как испуг. Я задвинул шторы и включил свет.

И начал читать, так это нехитро рассуждая, что я не так уж и плохо расположился в семейной жизни.

Вот у каждого свои ежевечерние занятия: один делает уроки, другая хлопочет по хозяйству, третий читает. И что удивительно, уважают занятия друг друга.

То, что мы с Павликом уважаем занятия Нади, понятно. Было бы странно, если бы мы их не уважали.

Понятно и уважение к занятиям Павлика — делает уроки, это святое.

Удивляет уважение к моему чтению. Подумаешь, ихний папаша какой-нибудь там ученый, вечерами, значит, усиленно трудится. А нет, папаша гонит себе роман Диккенса, скажем, или Теккерея, или же, как сейчас, читает трактат Плутарха «Об Эроте».

2*

Уже засыпая, внезапно понял, что напрасно весь день мучился, пытаясь вспомнить, на кого похожа молодая женщина, с которой я разговаривал на утреннем вызове. Она была похожа на мою мать. И я заснул счастливым.

2

Утром я проснулся легким и веселым — выспался. Проспал уход Павлика в школу и уход Нади на работу.

И я знал, что я сегодня сделаю,— схожу в библиотеку убедиться, верно ли эта женщина хоть отдаленно напоминает мою мать. Это вряд ли, уговаривал себя, но убедиться следует.

Потому что во мне проснулась притихшая было на время непереносимая любовь к матери. И я согласен был идти куда угодно, только чтоб мелькнуло хоть что-то, напоминающее мать.

Любовь эта была непереносимой оттого, что в последнее время к ней примешивался невозможный стыд.

Мне было восемь лет, с весны до осени мы бегали босиком, на ногах образовалась плотная кора цыпок, и ноги перед сном непременно следовало мыть. Я держал ноги в тазу, а мама добавляла горячую воду из чайника. Вдруг она коснулась чайником моей ноги, я вздрогнул и почему-то вскрикнул «гадина». О, как я извинялся, и конечно же, был прощен, но в последние годы мне стало казаться, что я вовсе не прощен, и от этого во мне такой стыд, что я несомненно отдал бы все на свете, чтоб еще раз увидеть мать и убедиться, что прощен.

Именно для этого, а не для того, что снова хочу стать счастливым. По правде говоря, после ее смерти я никогда не был до конца счастливым. Даже в самые яркие моменты оставалась горечь — жаль, что мама не дожила, то есть ее смерть разделила мою жизнь на две неравные части — вот счастливая жизнь при ней и вся оставшаяся жизнь уже после нее.

И понятно мое стремление хоть на мгновение вернуть прежнее счастье, хоть жалкий оттиск его. И что в этом случае страх перед кратким, хотя и непременным унижением.

Да, но джинн памяти вылетел, и я, уж конечно без всякой связи, вспомнил первый день после смерти мамы. Состояние какой-то тупости, даже равнодушие. Вот главное мое тогдашнее переживание: теперь все будут называть меня сиротой и жалеть, как же этого избежать. А ведь, напомню, не маленький был мальчик — одиннадцать лет.

Мы жили в длинном бараке, я стоял в центре двора и рубил саксаул. В то время саксаулом — жили мы в Азии — разжигали печки, чтоб потом, когда саксаул прогорит, засыпать печку углем.

Так я рубил саксаул, а мимо проходила баба Маня (она всегда на пасху дарила мне и сестре крашеные яички), и она спросила привычно: «Ну, как мама?»

А я, надо сказать, отработал такой сдержанный тон ответа. Понимал, что возможны два варианта: один жалостливый, с нотками слез, чтоб рвануть сердце слушателя, а другой сдержанный, скупой («Да, ничего, спасибо»), уж тут сердце слушателя не рванешь, но оно сожмется от восхищения сдержанностью этого славного мальчугана. Словом, элемент спекулятивности был в обоих вариантах, но я держался однажды выбранного второго варианта, от него не отступал все полтора года маминой болезни.

Значит, баба Маня спросила: «Ну, как мама?», а я сдержанно и сурово ответил: «Она умерла».

Так та села на крылечке и беззвучно заплакала, потом поманила меня, и когда я сел рядом, стала гладить меня и похлопывать по спине.

Стыдно даже признаться, о чем я тогда думал. А думал я о том, что это хорошо — выйдет передышка в рубке саксаула.

Дело в том, что широкую часть дерева надо было рубить топором, а уж тонкую часть долбать о большой камень, лежащий в центре двора. Даже и сейчас, вспомнив саксаул, я ощутил гладкость зеленого ствола и отдачу в руки при ударе, так что не спасали и рукавицы, и следовало как можно плотнее держать ствол, но все равно руки потом долго болели и дрожали.

Так я, значит, радовался тому, что отдохну от рубки, а баба Маня все плакала, лицо ее казалось мне вблизи вовсе чужим и сморщенным, словно бы она собиралась чихнуть, и я не знал, заплакать мне или засмеяться. Но я все-таки заплакал, и тогда баба Маня пошла в голос, и я, вспомнив еще и «Песню Сольвейг», по-настоящему впервые ощутил, что я не просто сирота, но сирота я как раз потому, что никогда более не увижу маму.

...Я шел в библиотеку, кляня себя за глупость, безволие, но не сомневался, что дойду, увижу эту женщину и буду унижен. Несмотря на доводы рассудка, шел вперед — всего сильнее во мне было именно желание убедиться в своей ошибке.

Женщина сидела в читальном зале, за столом. Посетителей, к счастью, не было.

Я сдержанно поздоровался, она приветливо ответила.

И я невозвратно понял, что ошибся, всего вернее — я понял, что не помню мать, в памяти лишь какой-то общий образ, плывущий, улыбающийся. И я понял, что сбило меня с толку,— у этой женщины прическа в стиле «ретро», конец тридцатых годов, коротко стриженные светлые волосы с лихой какой-то скобкой. У мамы, на единственной сохранившейся у меня фотографии точно такая же прическа.

— Вы хотите что-нибудь почитать? — очень любезно спросила женщина.

— Вообще-то я пришел узнать, как здоровье вашей соседки.

Тут она уже внимательно посмотрела на меня.

— Это вы приезжали к нам?

Я кивнул. А сердце колотилось в ожидании унижения, и я лихорадочно соображал, как мне выкрутиться из этого глупейшего положения. Повернуться и уйти? А чего ты, придурок, приходил сюда? Узнать о состоянии здоровья пациентки? Так зайди к ней домой и узнай. Правда, была еще домашняя заготовка — «Игра в бисер» Гессе.

— Ну а почитать вы что хотите? — повторила она, видимо, и в мыслях не допуская, что я пришел узнать о здоровье ее соседки: таких врачей нынче нет, уж это она понимала.

— Мне показалось, что вы похожи на мою мать,— неожиданно выпалил я. И ведь не хотел говорить — вырвалось против воли — дичь, невозможный бред.

Ну, сейчас она выдаст — а и справедливо,— если ты бредишь, то делай это хотя бы без свидетелей.

Она повела плечами — не без презрения, надо сказать. Ну, сейчас выдаст, замер я в ожидании.

И выдала, а как же:

— Я какой-то дешевый фильм видела, так там герой, знакомясь с женщинами, уверял, что они похожи на его мать. И они, такие простушки, верили и с ходу влюблялись в него.

— Я понимаю, человек создает мифы. И прежде всего мифы о себе самом,— сухо сказал я и почувствовал, какой у меня противный голос, скрипучий и въедливый.— Я, конечно же, не исключение. По одному из мифов как-то не допускал мысли, что произвожу впечатление провинциального пошляка.

— Простите меня! — о, как же вспыхнула она.

Видно, поняла, что если допустить — если только допустить,— что я был серьезен, то хорошо же она выглядела в глазах этого пожилого, в сущности, и не без странностей дядьки.

— Ну, прошу вас, простите меня, Всеволод Сергеевич.

И она улыбнулась, так прося прощения.

То была нежная улыбка: сперва чуть вздрагивающая, словно человек на что-то обижен, а затем после как бы легкого взмаха души, открытая, ясная, так что даже глаза женщины увлажнились.

И сердце мое поплыло от этой улыбки, и мгновенно вспыхнувшая ненависть так же мгновенно и погасла, и мне стало вдруг легко и спокойно (о, понимаю, ожидание унижения и реализация этого унижения и сразу ясная

улыбка — такие контрасты не могут не вызвать перепады настроения), и мне было все равно о чем с ней говорить, только бы задержаться здесь хоть на малое время. Я спросил первое, что пришло в голову:

— Откуда вам известно мое имя?

— Соседка узнала у знакомой медсестры.

— Мужчина средних лет и малость потертый?

— Нет, был вежлив, называл по имени-отчеству и не торопился.

— То есть природный говорун?

— Однако сестра вас опознала. Соседка хотела написать благодарность.

— Но лучшие порывы пресекаются на корню?

— Оставила до следующего раза.

— Буду знать, к чему стремиться.

Какое-то удивительное и, конечно же, странное состояние легкости было, какое устанавливается лишь между близкими друзьями,— когда нет озабоченности взглядом на себя со стороны, когда отступает скованность, напротив того, есть уверенность, а что ни говори, все будет впопад — случайное, конечно же, совпадение настроений — вот я ожидал худшего, но все позади, она ненароком обидела малознакомого дядьку, но он не рассердился — вот от чего была легкость. Вроде того, что бы ты ни сказал собеседнику, все ему, как ни удивительно, будет интересно.

Болтали о всякой чепухе, не разговор, в сущности, а шелестенье слов, который потом никак не вспомнишь.

Тут повалил густыми хлопьями снег, и это был повод весело поахать:

— Возврат зимы!

— А думал, все — конец.

— Да, надоела зима.

— Не правда ли, содержательный мы ведем разговор?

— Да, Всеволод Сергеевич, очень глубокий разговор.

— Вы знаете мое имя, а я ваше нет.

— Это просто — Наталья Алексеевна.

— Я так и знал,— тут непонятный взрыв моего восторга.— Установившийся стереотип. Если светлые волосы, если нежная улыбка и если не злодейка...

— Не стерва, вы хотите сказать?

— Да, именно так и хочу сказать,— тут общий смех, даже и непонятно, почему смех,— так непременно должна быть Натальей.

Да, я нес всякую бодягу, но во мне вовремя проснулся некий сторож, подсказавший, что судьбу испытывать не стоит и усквозить надо сейчас, покуда вам легко и весело. Может прийти читатель, болтовня пресечется, возникнет неловкость, и в памяти этой женщины останется именно неловкость, а не легкий треп с маленько придурковатым доктором.

И я, продолжая что-то лепетать, резво вскочил.

— Я, надо сказать, нафарширован цитатами. Я, собственно, своих слов и не говорю. Вот Зощенко в этом случае сказал бы, что было смертельно удивительно, если б мы больше не увиделись.

Отвага? Да. Наглость? Тоже да. Ну чем не пожилой Сердечкин? Она смотрела на меня удивленно — конечно, ошарашена моей наглостью. Однако молчала, чем и поощрила фонтан моего красноречия. Да, а глаза у нее блестели. Причем это был не блеск, который бывает у человека с неисправной щитовидной железой — там это сухой блеск, у Натальи же Алексеевны глаза светились влажным мягким блеском, какой бывает, когда одному человеку не противно видеть другого человека.

— Я не рискнул бы приходить сюда вновь,— несло меня,— не может дважды повезти так, чтоб не было читателей. И я бы предложил съездить в другой, более замечательный город,— (о, забыл я в этот момент посмотреть на себя со стороны — молодая красивая женщина, лет пятнадцать между нами разницы, откуда-то взялась отвага встречу назначать — дичь какая-то, бред),— где довольно много культурных учреждений. Эрмитаж, к примеру...— (тут пауза, выжидание).— Или Русский? — (снова пауза, перед человеком не стоит вопрос да или нет, ему нужно выбрать между этими да).

— Тогда Эрмитаж.

— А время?

Она сказала, когда у нее выходной.

— Удача! — с восторгом (чуть, несомненно, преувеличенным) сказал я.— У нас совпадают выходные. Так на платформе? Десять пятьдесят?

— Да.

И я усквозил, а на улице сел на подоконник библиотеки и перевел дыхание: только сейчас почувствовал, как нервничал все это время. Постепенно напряжение прошло, и я почувствовал совершенно неожиданные и непонятные мне умиление и жалость.

3

Вообще-то на работу я хожу с охотой. Особенно когда полностью отойду от предыдущего дежурства. Но даже если не полностью восстановился, то и тогда нет омерзения — работа она и есть работа, люди ведь болеют. А вот раздражение имеет место, причем не на работу, а на людей, которые за нее отвечают.

Это они мне платят такую денежку, что я вынужден работать десять суток в месяц. У меня по кругу получается почти триста рублей — полторы ставки, плюс разные стажные, да ночные, да первая категория — двести восемьдесят — триста.

Вот если бы они мне платили такие деньги не за полторы ставки, а за одну, то есть не за десять дежурств, а за семь, это было бы вовсе справедливо. Но сейчас я восстановился, выспался, был бодр и потому благодушен. И на оплату своей работы смотрел как на данность, неизбежность вроде смены времен года.

Выпавший вчера снег растаял, под ногами чавкало, но и это не раздражало меня. И было во мне веселое любопытство — первое дежурство при новом начальнике, вот как поведет себя Алферов? Скажет тронную речь? Будет поучать?

А ничего подобного. Он стремительно вошел в комнату, бодрый, подобранный, сказал общее «здравствуйте» и с ходу начал пятиминутку.

— Коротко! Что случилось! Только главное! Что хотите передать сменщикам!

Все! Свободны, товарищи. Ровно пять минут.

И что удивительно — человек при галстуке. То есть торжественный. Мы-то все от галстуков давно отвыкли. Прежде Алферов казался мне вяленьким, а тут — сгусток энергии. Чем, конечно же, произвел на всех приятное впечатление.

И это впечатление усилила Лариса Павловна. Пока Таня укладывала нашу сумку, я стоял на крыльце. Тут и подошла Лариса Павловна.

— А вы знаете, Всеволод Сергеевич, Алферов вчера удивил меня,— сказала она.— Я ему сдавала дела, объясняла все эти графики, формы и сводки, а он задавал вопросы, и, вы не поверите, все умно и впопад. Слушайте, он толковый человек.

— Вот и хорошо,— обрадовался я.— Значит, работу не развалит.

— А вечером я корила себя, что, видно, ошибалась в нем. Я ведь его не очень-то ценила. Так считала, как был он когда-то фельдшером, так фельдшером и остался. Грамотным, конечно, но фельдшером. Да вы и сами знаете: когда все по схеме, он силен, когда нужно отступить от схемы — теряется.

— Но теперь-то другое дело.

— Да, теперь другое дело. И он приживется, пожалуй.

Она пошла в свой бывший кабинет, а я в нашу комнату — к делу поближе.

— Всем вызова́! — громко сказала диспетчер Зина.— Бригада, педиатр, фельдшер.

Это она голос пробует — не пропал ли за два дня отдыха. Нет не пропал.

За двадцать пять лет я так и не научился вызовы называть вызова́ми. Это такой наш медицинский жаргон. И мое высокомерие несомненно. Если для некоторых слов у меня есть двойной счет — с медиками я говорю эпилепси́я,

йнсульт, с немедиками — эпиле́псия, инсу́льт, то с вызова́ми ничего не могу с собой поделать — не поворачивается язык. Впрочем, я не могу выговорить и всеобщее «поплохел» (в смысле, больному стало хуже). Это, конечно, высокомерие. Что есть во мне, то есть.

— И куда это нас? — спросил я.

— В Марусино.

— И что?

— Пз-сэ.

Так она ответила на мое недоумение, чего это нас отсылают в район, оставляя город без бригады. «Пс» — так вызывают, так и в листке написано — плохо с сердцем, наша работа. Еще бывает написано «бж» — это болит живот, и «гб» — это, понимать надо, болит голова.

Я с удовольствием езжу утром в район — чем здесь суетиться, так уж лучше прокатиться в район. А когда вернусь — будет пауза в вызовах. Мне приходится больше по городу мотаться, а тут район — все-таки разнообразие.

— Таня, готовы?

— Готовы! — ответила мой фельдшер.

Я достал из портфеля загашник — коробочку с особенно дефицитными лекарствами — положил в сумку, взял эту сумку, а также электрокардиограф, мы сели в наш «УАЗ», да и поехали.

Я в кабине, Таня в салоне (высоко берем, красивое звучание — салон!). Шофер Петр Васильевич был по обыкновению молчалив, меня тоже не тянуло на разговоры, Таня сразу задремала у раздвинутого окошка салона (ее девочке полтора года, она перепутала день с ночью, и Таня постоянно не высыпается, так что любая возможность вздремнуть — подарок судьбы).

Из-за облаков прорезалось розовое солнце, справа был залив, и видно было, что темный лед скоро треснет, но покуда был он ровный и просматривался до дальних горизонтов, дорога узкая, машине не разогнаться, и приятно и легко в такт покачиваниям погрузиться в нехитрые свои соображения.

К тому же интуитивно (и безошибочно, как правило), я угадывал, что работа будет несложной и не надо взводить свою волю в состояние готовности, потому приятно расслабиться.

И мои соображения относились как раз к новому заведующему.

Я пытался сообразить, хорош Алферов или плох, и я не находил ответа.

Все дело в том, что я задумался о нем впервые, как-то прежде он протекал мимо моего внимания. Вот полчаса назад разговаривал, а сейчас не могу его себе представить внятно. Какой-то он средненький, не запоминающийся. Не худ, это точно, но и не толст, он в том равновесии, когда еще чуть, малый толчок, и человек начнет округляться. Да, рост чуть ниже среднего, сантиметров так сто шестьдесят пять — шестьдесят семь. Что в нем приметного? А вот нос и уши. Нос такой маленький, острый, хрящистый. И уши маленькие, как пельмени, и плотно прижаты, словно для полета.

Что я знаю про Алферова? А почти ничего. Что даже и странно: когда люди работают сутками, они все друг про друга знают. И не хочешь знать, а узнаешь. Вот та с мужем поссорилась, а у той дочка заболела, а у той внезапная раздражительность — да она и не скрывает, ничего особенного, привычные обстоятельства, к следующему дежурству буду в порядке.

Расспрашивать не принято, потому что тебе и так все расскажут.

Вот Алферов, он молчун. Худо ли это? Нет, хорошо, особенно если учесть, что все как раз говоруны. И я в том числе.

Мне известно, что Алферов закончил фельдшерское училище, отслужил в армии, потом учился и работал. Пять лет назад, после института, его направили к нам. Жена — фельдшер на каком-то здравпункте. Шестилетняя дочка. Их, жену и дочку, я видел всего раз — в прошлом году был Дедом Морозом и приезжал поздравить девочку.

Одно время Алферов работал в моей смене. И странное дело — мы ни разу с ним не поговорили. Так, фраза-другая, и только по делу. Может, он просто стеснялся ввязываться в разговор со мной, все-таки разница в возрасте. А я разговоры не затевал по простой причине — Алферов меня никогда не интересовал.

Как он ведет себя на дежурстве? Ну, молчит, это понятно. Первое, что делает, приходя на работу,— включает телик и смотрит все подряд — мультяшки, «Служу Советскому Союзу», кинофильмы — все! Уедет на вызов, телик кто-нибудь выключит, Алферов приедет — сразу включает.

На работе не читает вовсе. Нет, вру, несколько раз видел у него книжку про чекистов.

С работой справляется во всяком случае больные на него ни разу не жаловались. И не было грубых проколов — до разбирательства там лечебно-контрольной комиссией или прокурором.

Когда Алферов работал в моей смене, я иногда просматривал его записи. Нормальный, средней грамотности врач. Звезд, что называется, с неба не хватает. Заранее известно, что он сделает на вызове. В каждом случае у него привычная накатанная дорожка.

Ну, что еще? Покладистый. Ни разу я не слышал, чтоб Алферов жаловался на предыдущую смену — вот они, к примеру, не сделали электрокардиограмму, не привезли больного. Тут все понятно — ты такой же, как все, сегодня ты выручил, завтра выручат тебя — это и есть товарищи по работе.

Уж я-то в таком случае обязательно возникну. Чего это они нам свою работу спихивают. Это раз. И больному каково — мало ли что могло случиться за это время. Это два. Чем, конечно же, вызываю недовольство. Но мне и положено возникать — старший смены, кардиологическая бригада. У каждого свое расписание на жизненном пути, верно ведь?

Я не помню, чтоб Алферов спорил с диспетчером. И это удивительно: когда работаешь сутками, непременно будет казаться, что тебя гоняют больше других. Ты вот только приехал, а тебя снова выпроваживают, товарищи же твои, что характерно, все в тепле да у голубого экрана. Как же не возмутиться? Денежки-то вы одни получаете!

А Алферову сунули вызов, он молча взял сумку и поехал.

И безотказный. Когда некому работать, его просят выйти в другую смену, всегда выйдет. Тут, конечно, возможность подработать, но ведь у каждого человека семья, планы, прочее. Но выйдет.

Значит, что же получается? Безотказного, надежного, средней грамотности врача назначили заведующим. Все нормально. Он, может, будет хорошим заведующим. Может, именно в этом его призвание. Если б ему было назначено стать выездным врачом, уж за пять-то лет сумел бы подняться над средним уровнем. А если не сумел, значит, не судьба. И вот теперь жизнь предоставила ему возможность сделать поворот, да какой важный.

Это все так, но отчего-то я был недоволен назначением Алферова. Скорее, это были дурные предчувствия.

Их я объяснял тем, что у меня всегда был один начальник — Лариса Павловна, и как всякий поживший человек, от внезапных перемен я жду худшего.

И напрасно, утешал себя. Нечего забегать вперед. Нужно только принять Алферова, как и советовал главврач. Втянется, вживется. А уж с людьми-то ладить он умеет. Мешать он не будет, это точно. И это главное. О! Все к лучшему! Все будет хорошо!

Дом нашли сразу. Да нас и встречали.

У шестидесятилетней тучной женщины болела голова.

— А сердце что же?

— А сердце ничего. Колотится резвее, чем обычно. Видать, давление.

— А своего доктора почему не позвали?

— Так когда это она придет?

Ее было нетрудно понять — голова-то болит. Конечно, ей следовало вызвать своего врача. Это вызов не наш, и уж во всяком случае не кардиологической бригады.

Выговаривать я не стал. Больные теперь научились вызывать «скорую» с опережением. Если скажут — болит голова,— диспетчер ответит: вызывайте своего врача. А если больной скажет — плохо с сердцем, мы сразу едем. Все

равно в следующий раз именно так и вызовет. Так что накаляться не имело смысла.

Сказал Тане, что надо делать. А простейшее — магнезию, дибазол, все такое. Без тонкостей.

— А врача своего все-таки вызовите. Может, надо курс проделать, верно?

— Да. Мы уже вызвали.

— Вот и хорошо. Выздоравливайте.

— Вызывали! — повел подбородком на рацию Петр Васильевич, когда я сел в машину.

Я вызвал диспетчера.

— Везете? — спросила Зина.

— Нет.

— Возьмите Разуваево. Дом три. Задыхается.

— Принято. Разуваево. Дом три.

Вот тут я уже собрался — чувствовал, что работа предстоит тяжелая. Даже как-то уж так сел, чтоб не расслабляться. Разуваево было в десяти километрах от Марусина — несколько старых домов. Вызовы туда редки.

Нас не встречали. Прошли в висевшую на одной петле калитку, потом по скрипучим доскам на сгнившее крыльцо. В сенцах было темно.

— Куда дальше? — громко спросил я.

— Сюда, милый,— раздался откуда-то издалека слабый голос.

Открыл обитую какой-то рванью дверь — в полутьме разглядел сидевшую на кровати старуху в белом, сползшем на глаза платке. Старуха задыхалась.

И тут не было сомнения — тяжелая сердечная астма. И я невольно засуетился — это у меня неизбежно.

Торопливые расспросы. Когда появилась боль? Или ее не было? Куда отдает? Бывали боли прежде? Нет ли теплой воды в доме? Нет, печь второй день не топлена.

А вода была необходима — чтоб опустить в таз ноги старушки. И только тут я догадался спросить, сколько ей лет и как ее звать. Анна Ивановна. И семьдесят два года. А по виду ей было восемьдесят. Ходовое у нас выражение в таких случаях — божий одуванчик. То есть когда человеку нет места в больнице. Худое бессильное тело. Мышц нет, ребра и дряблая кожа.

— Несите кислород, Таня. И гоните через спирт. И зажгите весь свет, какой есть.

Хотя под потолком вспыхнула лампочка в сорок свечей, все было тускло.

Слушал Анну Ивановну, измерял давление.

Покуда Таня давала кислород, наполнял лекарствами шприцы.

— Вены гляньте.

— Вроде ничего. Хрупкие, конечно.

— Поехали. Этот шприц медленно — дроперидол с фентанилом. Еще давление упадет. Седуксен в ягодицу. Остальное в вену.

— Может, и седуксен в вену?

— Еще заснет на игле. А нам кардиограмму делать.

Вены были неплохие — не рвались. Однако хоть Таня ввела все, что было сказано, Анна Ивановна задыхалась. И давление не падало.

— Нате-ка морфий в вену. Да стекляшку не потеряйте — голову открутят.

Мы сработались, она понимает с полуслова, и действуем мы именно в четыре руки.

— Ну, легче, Анна Ивановна? Боли нет?

— Ты знаешь, легче. И боли нет,— с удивлением сказала старушка.

— Вижу. Дышите получше. Кардиограмму! — это я уже Тане.— Что, хотите спать? Но потерпите — еще десять минут не засыпайте.

Таня поняла меня и ускорилась — быстро приладила аппарат, шла лента, а я ее сразу смотрел. Инфаркт сомнения не вызывал.

— А как же я здесь одна буду? Слушай, возьми меня в больницу. Ну, ведь еще охота пожить. Ночью испугалась — помру, а неохота. Это только говорят — вот бы помереть. Неохота. Дочь-то в городе. Это для нее как дача. Когда она приедет? До весны-то далеко. Возьми, а? У меня еще яблоки есть. И несколько мешков картошки.

— Хорошо, Анна Ивановна, мы вас возьмем без картошки. И даже без яблок. Носилки,— это я Тане.

Осторожно опустили Анну Ивановну на носилки. И прежде чем взяться за ручки, я глянул на часы — мать честная, полтора часа здесь отвертелись. Даже не заметил, как время пролетело. Делаем вывод (скорее в назидание Павлику) — время медленно тянется у бездельников.

— Понесли, Петр Васильевич. Не забудьте стекляшку от морфия,— еще раз напомнил я Тане.

— Все собрала, Всеволод Сергеевич.

Поставили носилки в машину, я сел у изголовья, у окошка салона, а Таня — на боковую скамейку.

— Петр Васильевич, вызовите Зину, пусть скажет терапевтам, чтоб приготовили место.

Машину покачивало. Анна Ивановна спокойно спала, я повернулся вперед, смотря через узкое окошко. Вдруг я увидел, что на обочине, перед самым выездом на шоссе на земле сидит человек и левую ногу он поднял на манер дула. Да, оперся на руки, а ногу тянет кверху — так сигналит нам.

— Остановитесь, Петр Васильевич. Чего это он?

Тот остановил машину, подошел к человеку.

— Два часа загорает,— крикнул.— Перелом, говорит.

Я вышел. Мужчина от радости прямо зашелся:

— Ну, повезло так повезло. Я за корягу зацепился. И вот загораю. До шоссе-то не дойти. А тут — бам! — и сам Всеволод Сергеевич.

— То-то и я смотрю — знакомое лицо.

— Точно. Пять лет назад возили меня к хирургу. Аппендицит тогда был. Да Зотов я.

У него был перелом наружной лодыжки, и я наложил шину.

— Сейчас сделаю укол.

— Да какой укол,— даже возмутился он.— Так доедем. Душа уколов не принимает. Вернее, задница.— В телогрейке, умеренно небрит, неумеренно весел — это, конечно, от удачи, мог здесь сидеть весь день, а тут сразу — нате вам — «скорая».

Я усадил его на скамейку рядом с Таней, ногу он выставил в проход. И что-то все безудержно лепетал — ну, повезло, и вот спасибо, надо же как повезло. Я просил его помолчать — больная спит, но это было бесполезно, он все удивлялся подвалившей удаче.

Так под восторги Зотова мы и приехали.

А что ж мне с ним делать, подумал я. Так-то, днем, есть указание, с травмой больного в поликлинику, к хирургу. А тот уже решит, что делать. Я в данном случае извозчик. И если бы перелом руки, дело ясное, отвел бы, да и все тут. Но лодыжка. Тут маленькая подробность: поликлинику построили десять лет назад, хирургов загнали, согласно проекту, на третий этаж, а рентгенологов на четвертый. Согласно проекту же, больные должны были подниматься на лифте. Но истина всегда конкретна, не так ли? Эта конкретность такова, что лифт не работал ни одной минуты. Его даже не пускали. И Зотов, стокилограммовый мужик, должен прыгать на одной ноге, словно кузнечик. Потому что проектировщики, имея в виду лифт, лестницы сделали такими узкими, что носилки никак не развернуть.

А отволоку больного прямо в отделение, хирурги ко мне неплохо относятся — простят. Новенькому фельдшеру они дали бы! И так мест нет, а он возит без согласования.

Но сперва надо было сдать больную с инфарктом, и мы подъехали к терапевтическому отделению.

— Петр Васильевич, вы пока выгружайте, а я посмотрю, готово ли место.

Он должен кликнуть на помощь шоферов — это их работа, носилочные платят. Уж здесь у каждого свой маневр. Еще на вызове я могу носить больного, но здесь — каждому свое.

А в терапии все было занято — торчал топчан у женских палат, топчан у мужских, и еще раскладушечка со свежим бельем (это уже для моей больной — ждут, что приятно) воткнута в закуток у мужских палат (но это не беда, что мужские палаты, на то есть ширмочка).

Я вошел в ординаторскую. Все врачи были в сборе. Тут же и начмед (заместитель главного врача по лечебной части). Старшая сестра что-то громко и торжественно читала.

— Что происходит? — тихо спросил я у Людмилы Владимировны, заведующей отделением, полной голубоглазой женщины.

— Весенние подарки,— ответила она.— Спешно?

— Терпимо.

— Тогда посидите, пока больную выгрузят.

Тут я понял, что Людмила Владимировна имела в виду под словом подарки — старшая сестра читает врачам указание больничной аптеки, какие лекарства не следует назначать, поскольку их в аптеке нет.

То есть я так понимаю, что назначать можно все, но это будет полнейший понт. Для начальства, если оно вздумает проверять листки назначений в случае смерти больного. Причем начальства областного. Свое и так знает, что это понт.

— А зачем листки? — спросил я в паузе.

— А туда надо писать то, чем хотели бы лечить больного. В идеальном, знаете, случае. Чтоб квалификацию не потерять,— насмешливо ответила мне начмед, ироничная и красивая предпенсионная женщина. Сейчас она не начальник, а рядовой врач — совмещает здесь на четвертинку, ведет одну палату — потому может позволить себе иронию.

— Чтоб не забыть, чем все-таки следует лечить. А уж аптека будет по одежке протягивать, знаете ли, ножки.

Ну, этакая джентльменская игра — лечащий врач делает вид, что все есть, а уж сестры философски отделяют желаемое от действительного.

И старшая сестра читает — нет того-то и того-то, а еще того-то и того-то, и в голове у меня включился счетчик профессионала, и я изумился — а чем же они лечить-то будут. Но сходу и с удовлетворением отметил про себя — «Скорой помощи» все-таки дают лучшее. Если и бывают перебои, то временные. На эти случаи как раз и существует загашник. К нам отношение аптеки справедливое: больному в отделении что-то могут достать родственники, а когда я на вызове, это что-то нужно не завтра, но сейчас. Все законно.

— Как же вы выкручиваетесь? — наивно спросил я, зная ответ — а родственники на что.

— А родственники на что? — спросила Людмила Владимировна.

— Но снова прошу вас — без проколов,— сказала начмед — уже как начальство, а не лечащий врач — а голосе строгие нотки.— Делать этого не разрешается. Только давним больным. Пусть родственники достают нужные лекарства. Если же напоремся на замечательного человека, который напишет жалобу — и будет прав, посягаем на святое, на бесплатное лечение,— виноват будет врач.

— Это понятно,— сказал я.

— Что вам понятно, Всеволод Сергеевич? — ехидно спросила начмед. У нас с ней хорошие отношения — любим иной раз поболтать о книгах.

— А понятно, что виновата барышня из регистратуры, и санитарка баба Маня, но никак не любезные нашему сердцу граждане. Хоть бы раз кто-нибудь пожаловался на то, что уровень районной медицины соответствует капиталовложениям.

— Вы не в ту степь, Всеволод Сергеевич,— пресекла меня Людмила Владимировна.— Инфаркт?

— Да,— и я протянул кардиограмму.

Она посмотрела.

— Давление приличное?

— Да.

— Тогда свободны. Но сегодня пощадите нас. У меня плюс три.

И это означало, что вместо положенных шестидесяти коек в отделение воткнули шестьдесят три — вот те как раз, коридорные. Сколько работаю,

мест в отделении постоянно нет. Разве только перед праздниками, когда большая выписка. И с каждым годом все большая напряженка. Оно и понятно — население за последние годы вон как выросло, а число коек все то же.

Понятно, я пообещал, что больше сегодня ни боже мой, никого, но это были лишь наши игры. А куда я дену инфаркт, не оставлю же на дому. Вот сюда и привезу. А с койками как-нибудь устроится. Если днем, то кого-нибудь выпишут из незапланированных, а если ночью, положат больного в физиотерапевтический кабинет или воткнут раскладушку в столовую. А утром — оно же вечера мудренее — как раз кого-то и выпишут.

Подошел попрощаться с больной, которую привез. Она уже лежала на раскладушке. Не спала, лицо уже порозовело, дыхание ровное, без сипения.

— Как вы себя чувствуете, Анна Ивановна?

— А ничего, получше.

— Ну, тогда удачи. Выздоравливайте.

Она повела глазами по сторонам, поманила меня пальцем и сказала тихо, чтоб не слышали посторонние уши:

— А за картошкой приезжай. Мешок приготовлю.

— Вот спасибо. Выздоравливайте, Анна Ивановна.

Пристроив Зотова, я пришел на «Скорую», глянул на часы — мать честная, полчетвертого. А диспетчер Зина тарелку щей передо мной поставила и показала на закутанную в одеяло кастрюлю — там жаркое! Это уж они сегодня что-то разошлись, решили побаловать всех едой.

И после обеда я лег на топчан, и жизнь мне показалась очень уютной. Я знал, что в ближайшие часы, покуда работает поликлиника, дежурство будет спокойным. А там просуетиться вечер и ночь — ночь может быть спокойной, вечер же никогда, зато ночь протекает незаметно — в работе или в дреме, а потом дежурство закончится, потом день передышки, а потом наступит новый день, и я поеду в Эрмитаж.

И уже сейчас меня не покидало предощущение счастья. Вспомню, что через день поездка в город, и окатит теплой волной надежды. Тьфу ты, пятый десяток идет, а все надеешься на какую-то приятную неожиданность в запланированном течении жизни.

Только бы ничего за эти дни не случилось.

4

И ничего не случилось.

Но как же я нервничал, собираясь в город. Словно бы впервые из своей провинции выезжаю в город или же впервые иду на свидание.

Ведь хаживал, чего там, и немало хаживал, особенно в последние институтские годы и почти за десять лет холостячества при собственном жилье. Но по большей части то были свидания верные, так что иной раз я говорил себе — а пусть оно сорвется, ничего страшного не произойдет, будет добавочное свободное время, и только.

Свидания эти, может, потому, как правило, не срывались, что шел я на них не без душевной лени. И даже иной раз наивный вопль прорывался — где были женщины в моей ранней молодости, почему не замечали меня, когда я был нищ и одинок.

А сейчас нервничал, да так, что когда брился, чуть ли ручонки не дрожали. Говорил себе раздраженно — ну, зачем мне, потертому мужичонке, стреляному, можно сказать, воробью, искать на свою шею приключения. Так ли уж худо жить без приключений, при бытовой привычной сговоренности. Нет, очень даже нехудо. В шкале моих ценностей женщина занимает не первое, не второе и даже, думаю, не третье место. Уж определенно Павлик, работа, книги ценятся мною больше.

Так нет же, чего-то он нервничает, чего-то суетится.

К тому же в душе была некоторая пакость. Наде я, разумеется, сказал, что еду в Эрмитаж (ну, там немцы привезли картины и юбилейная выставка Ватто). Но ведь не сказал, тоже разумеется, что еду не один. И пакость некоторым образом копошилась в душе — вот ни с чего обманываю. Вернее, это даже не обман, но умолчание. Хотя малая ложь, как известно, рождает большое недоверие. Пакость, словом, имела место.

И все вместе сложилось в простое понимание — а сорвись поездка с Натальей Алексеевной, так ведь оно еще и лучше. Поеду все равно — уже настроился,— но один. И не будет суеты, упреков совести, наивных волнений.

Но вместе с тем понимал,— сорвись поездка, ведь очень огорчусь, даже и несчастным себя посчитаю, мол, всегда так, надеешься на некий праздник, а приходят одни лишь будни, о, забудь о надеждах, тебе уже почти сорок три.

Во мне было отчаянное желание вновь увидеть Наталью Алексеевну. Както уж я понимал, что начинается не короткая интрижка, но что-то серьезное. Даже не смог бы внятно объяснить, почему так считаю. Предчувствие, не более того. И твердо знал, что она придет.

Наталья Алексеевна уже стояла на платформе, у газетного киоска. Я смотрел на нее как бы посторонним взглядом — какая-то странная широкополая шляпа, повязанная желтой лентой, хорошее пальто, хорошие сапоги. Мы сухо поздоровались — чужие люди.

Радости во мне не было, даже успел упрекнуть себя — а чего ты дергался, нервничал. Ведь чужие люди, черта ли было встречаться. Смирил раздражение — а просто съездить в Эрмитаж, тоже оно нехудо. Не был там уже год. К тому же, значит, немцы. И юбилейный Ватто.

Электричка привычно задерживалась, мы молча и отчужденно смотрели друг на друга, видно, и Наталья Алексеевна не понимала, чего это она стоит рядом с пожилым и хмурым дядькой со стандартной потертой внешностью и к тому же в стандартной же отечественной одежде.

Было утро гнилой весны, когда все тускло, сыро, неуютно, когда под ногами чавкает, когда кусты за платформой черны и голы, когда залив темен, а вдоль путей скапливается весь мусор зимы.

И не было защиты от ветра с залива, и не было утешения. К тому же небо лежало так низко, что всплыла привычная фраза о том, что под этим небом не страшно умирать.

И этим соображением я поделился с Натальей Алексеевной — угнетало долгое молчание.

— Зато в электричке будет тепло, и мы поедем в Эрмитаж,— ответила она.

И мне стало ясно, что она отлично понимает и мое состояние, и почему я хмур и молчалив — а черта ли нам было встречаться. Это мне следует острить и суетиться, чтоб сгладить неловкость, но, выходит, она гораздо воспитаннее меня и, возможно, умнее: не поддалась минутному настроению, но нашла первый же утешительный мотив — вот в электричке будет тепло. И это разом вымыло из меня и хмурость и с трудом скрываемое раздражение.

Напротив, стало легко: ведь всегда радует, когда замечаешь, что кто-то воспитаннее тебя.

И тут же подошла электричка.

В вагоне было свободно, и мы сели друг против друга. Электричка пошла.

— Вот и поехали,— весело сказала Наталья Алексеевна. Она рада этой поездке, и она улыбнулась.

И это была все та же, уже узнаваемая открытая улыбка. Сперва чуть виноватая — слегка вздернулась верхняя губа, а затем повлажнели глаза. И эта улыбка окончательно вымыла мое раздражение, со мной все ясно — я пришел, чтобы еще раз увидеть эту нежнейшую улыбку, и было то же странное чувство, что и в библиотеке — мы знакомы много лет, мне легко и просто, и не надо пыжиться, чтоб казаться умным и значительным. Коротко говоря — свои люди — вот точное определение этому состоянию.

И утро уже казалось не тусклым, но замечательным, и будто бы за окнами чуть посветлело, и что-то загадочное замаячило впереди: таинственная поездка, встреча, как говорится, с прекрасным, к тому же все работают, а ты волен, как школьник, рванувший с урока,— все удивительно, все неповторимо.

Начал постепенно прибывать народ, скамейки были уже заняты, я накло-

нился к Наталье Алексеевне, чтоб разговорами не мешать соседям, и мы были отъединены ото всех.

— Я шесть лет не была в Эрмитаже. Как закончила институт, так и не могла выбраться.

Из разговора я узнал, что она ленинградка, прежде жила с отцом, матерью и младшей сестрой, на последнем курсе вышла замуж, уехала в один из райцентров области, где она работала библиотекарем, а муж в Доме культуры. Полтора года назад разошлась с мужем, вернулась было к родителям, но там к этому времени стало туго с жильем — сестра вышла замуж.

И тогда Наталья Алексеевна переехала к нам. Почему именно к нам? А здесь дали лимитную прописку. Отдел культуры арендует несколько комнат в общежитии строителей — это и есть лимитная прописка.

К тому же вроде обещают жилье. Но, конечно, не сразу. Но все-таки обещают. И нужно ведь как-то на ноги становиться — не одна ведь, у нее пятилетняя дочь Марина.

Примерно так я понял, почему Наталья Алексеевна перебралась к нам. Впрочем, не ручаюсь, что понял все точно: бытовые стороны нашей жизни бывают столь тонки и хитры, что непременно запутаешься.

И я не стал продолжать бытовой разговор, но вернулся к ближайшей цели нашей поездки.

— У меня было время, когда я каждое воскресенье ездил в Эрмитаж. Что-то, конечно, тянуло, но и выхода иного не было. Общежития не хватило, и нам, десятерым гаврикам, институт снял в Лисьем Носу летний домик. Ребята были поразвитее меня, по субботам они ходили на танцы, а потом провожали девушек. А воскресным утром, натопив печку и чуть выпив, они делились впечатлениями прошедшего вечера. А поскольку я был тощ, не нравился девушкам и не умел танцевать, у меня и не было никаких впечатлений. Очень правильно сказал мой сосед, проворный парнишка: «Тебя бабы не будут любить, ты по углам прячешься». И я уматывал, чтоб не казаться уж вовсе молокососом. И уматывал именно в Эрмитаж.

Мне было даже и странно: а чего это я молодой и незнакомой женщине рассказываю о своей далекой юности. Да ведь она же тогда и в детский сад, поди, не ходила. Четырнадцать-пятнадцать лет разницы — почти целое поколение.

Мне даже и непонятно было, чего это она согласилась встретиться со мной.

Господи! Да ведь ей просто не с кем было поехать в Эрмитаж — вот и все объяснение. Собственно, я — швейцар, открывающий дверь в рай. На моем месте могла быть соседка, подруга по работе, постоянный читатель-пенсионер. Просто одной скучно и не выбраться.

Перед Эрмитажем очереди не было, да и у касс мы стояли всего минут пять.

Я сдал наши пальто и сапоги Натальи Алексеевны. Наталья Алексеевна у большого зеркала поправляла прическу. Я встал с нею рядом. Соседство, несомненно, было проигрышным для меня.

Видно, что-то дрогнуло в моем лице — размягчилось ли оно, глаза ли стали испуганными,— а только Наталья Алексеевна тихо спросила:

— Что случилось?

— Все в порядке,— ответил я.

И осторожно, нежнейше дотронулся до ее локтя.

Я люблю поговорить у картин, с удовольствием вожу гостей по музеям — ведь хоть на пару часов становишься пророком, так как же не обожать себя в это время.

Но тут сидел во мне тормоз. Мы останавливались у той картины, которую я хотел показать, молча рассматривали ее и шли дальше.

Рембрандт, поворот налево — испанцы — Эль Греко, Моралес, потом голландцы, «Портрет камеристки», две-три картины Ван Дейка, потом долгим ходом, почти не задерживаясь, к французам третьего этажа.

Я вдруг вспомнил, как обалдел, когда впервые обнаружил, что в Эрмитаже есть третий этаж. После девушек Греза, в которых я несомненно был влюблен, так что они снились мне по ночам, я уткнулся в висевший тогда над лестницей «Танец» Матисса, и мне было странно, как это такой замечательный музей

вывесил детские упражнения — а что, и я, да и всякий так может, у меня и сомнений не было.

Я пошел в залы третьего этажа и наткнулся на курсанта, который объяснял двум теткам «Трех женщин» Пикассо, а тетки чуть не плевались, хотя курсант и доказывал, что женщины на картине невероятно красивы.

Странные были времена: плевали в Пикассо, дрались на выставке итальянских абстракций — отсквозившее время, давние нравы, свежий, незамыленный взгляд дикаря.

Даже и неясно мне, почему я решил тогда, что мне все это нужно понять. А только споря с таким вот курсантом, я постоянно приговаривал — хочу понять. Да, я хочу понять.

Но и повезло. То ли нищий мой вид, то ли голодное тощее лицо, то ли горящие глаза дикаря, но что-то привлекло ко мне внимание худой пожилой женщины. Несколько воскресений она сидела за столиком в зале Сезанна и что-то писала.

И что-то я однажды спросил, ну вроде того, а почему вон там небо красное, и эта женщина принялась объяснять мне так понятно и с такой, я бы сказал, любовью, что почудилось мне, что и сам я в этих картинках кое-что кумекаю.

Я ходил в залы каждое воскресенье и кончилось тем, что женщина эта — она оказалась старшим научным сотрудником и звали ее Варварой Васильевной — стала каждое воскресенье приходить сюда, чтоб поводить меня по залам.

Я угадывал какую-то потерю в ее жизни — возможно, сын погиб в блокаду — другого объяснения, почему она возилась со мной, я не знаю. Но каждое воскресенье несколько месяцев я ходил сюда, и Варвара Васильевна меня натаскивала.

Когда я разговариваю с Андреем, я иногда вспоминаю Варвару Васильевну. Кто я ей был? Никто — мальчик, желающий что-то понять, и этого одного достаточно было, чтоб она тратила на меня воскресные дни. С Андреем положение более определенное. Кто я ему? Учитель. Что он мне? Оправдание жизни.

Потом началась сессия, потом я, чтоб все-таки выжить, начал подрабатывать, и тут уж было не до воскресных походов в Эрмитаж, и больше Варвару Васильевну я не видел. Почему она приняла во мне участие? Загадка, мне ее уже не разгадать, да по правде говоря, я и не хочу ее разгадывать.

Но с той поры во мне держится любовь к французам девятнадцатого века. Причем вот к этим, эрмитажным работам. Московские нравятся менее. Выставка разрослась, многое достали из запасников, но любовь осталась именно к тем, дааним картинам, что висели при Варваре Васильевне.

Я не смог удержаться и объяснил Наталье Алексеевне, почему мне здесь нравится — картины, конечно, хороши, имеет место и возврат в юность, но тут еще и дань возрасту — мы всего более любим смотреть привычное, устоявшееся в нас.

Однако, черт побери, это привычное было хорошо. В тусклый денек, при тусклом же освещении картины все равно сияли. Думаю, они сияли бы и в темноте. Впрочем, об этом лучше спросить у служителей запасников, где многие из этих картин десятилетиями ожидали прилива массового интереса к себе.

В Эрмитаже мы были недолго — часа полтора. Как-то само собой имелось в виду, что мы здесь вместе не в последний раз. Итальянцев и англичан посмотрим отдельно. Да, не в последний раз.

И вот ведь что: все это время меня не покидала легкость. Что ни делаю, все хорошо. Хочу молчать, и молчу, и это молчание естественное, не натянутое, так что не надо суетиться и что-то лепетать, чтоб спутница не заскучала — она не скучает. Хочу заговорить, не покажусь болтливым. Именно что свои люди. Именно что давно знакомы. И при этом сложная смесь умиления и какой-то непонятной жалости. И еще, конечно же, присутствовала некая тщеславная гордость, что понятно — со мною рядом красивая молодая женщина.

И как же она была легка, и мне было особо приятно видеть, что вот все женщины в сапогах, а она в легких, чуть не бальных, туфлях.

Праздник, чего там, конечно, праздник.

С Невы дуло, все было серо и слякотно, на Невском ощущалась непереносимая для некурящего провинциала загазованность.

Но на душе была беспричинная какая-то торжественность. Я четко ощущал, что в моей жизни происходит нечто важное, некий серьезный поворот.

На Невском мы зашли в «Кафе-мороженое» и взяли по бокалу шампанского. Было безлюдно. Я молча поднял бокал — ваше здоровье! Она тоже молча кивнула — ваше! На лице ее была легкая улыбка, загадочная даже какая-то, в трепете, я бы сказал, и в печали. Возможно, Наталья Алексеевна тоже понимала, что начинается что-то серьезное.

— Все хорошо,— сказал я.

— Да. И спасибо вам. Вы знаете, я из нашего города никуда не выезжаю. Вначале ездила с Мариной к моим родителям, но теперь там грудной ребенок, тесно и, думаю, всем не до нас. Это, конечно, временно. Я уже полтора года живу в нашем городе, но ни с кем не подружилась. На работе все старше меня. Может, считают меня высокомерной, не знаю. Но только не с кем поговорить,— и это все с той же нежнейшей улыбкой.

— Теперь я? — робко, чтоб только как-то помочь ей, спросил я.

— Да.

В электричке ехали молча. Грустно как-то, даже печально смотрели друг на друга. О! Длить бы бесконечно эту поездку, сидеть друг против друга и печально ожидать продолжения, да, ради бога, не надо продолжений, вот так хорошо, в ожидании чего-то важного, неотвратимого, общая грусть, общая печаль, общая неизвестность. Бесконечное общее время, блаженная заторможенность, нет страсти, нет нетерпения, и это замечательно.

В свой город мы приехали в четыре часа. На платформе во мне неожиданно проклюнулась воля, и я сжал локоть Натальи Алексеевны. Заторможенность прошла вместе с остановкой электрички.

— Провожу,— сказал я.

Она ничего не ответила. Мы поднялись в гору, молча, торопливо пересекли пустырь и подошли к ее дому.

— Обещала Марине забрать ее пораньше,— словно в чем-то оправдываясь, сказала она.

— Еще рано,— сухо сказал я.

Она печально кивнула.

Обойдя общежитие строителей, мы вошли в боковую дверь, прошли пустым коридором и вошли в ее комнату.

Повесив пальто, мы порывисто повернулись друг к другу и обнялись. И долго стояли, привыкая друг к другу.

5

Да, а время между тем текло, и Алферов, мой новый начальник, помаленьку врабатывался. Первое время, как водится, он только присматривался — никому никаких замечаний. Пятиминутки проводил коротко, и это, конечно, людям нравилось. Лариса Павловна устраивала получасовые утренние разборы — на ошибках учимся! — а люди после суток, спешат домой.

Значит, никаких замечаний. Скромно заметит: мы с вами люди маленькие, назначили и потому приходится подчиниться. А так-то новая работа ему не нравится.

Но тут не надо быть крупным психологом, чтоб понять: новая работа Алферову как раз нравится. На пятиминутке пальчиками по столу побарабанит, и сразу тишина и всеобщее внимание. Или вот в пятницу идет на медсовет, приходит распаренный, но довольный — это главврач при всех его выругал. Понятно, почему доволен — ругали именно его, а не кого другого.

Да, ему нравилась новая работа, и он на глазах расцвел. Прежде глаза у него были тусклые, а тут в них живой блеск появился, вроде бы человек нашел смысл жизни. И явно похорошел. Тщательно бреется, даже одеколоном от него попахивает, и даже — нате вам! — брюки у него постоянно глажены.

Правда, они у Алферова, как всегда, чуть коротковаты, словно бы он их когда-то покупал навырост, но это уж беда всех людей маленького роста. Но ведь постоянно глажены, что удивительно.

Значит, жена заботится, значит, она гордится своим мужем — это по одежде видно безошибочно. Гордость ее понятна: выходила замуж за простого фельдшера (правда, студента института), а вот за шесть лет какой рост наметился. Ходко? Конечно, ходко.

И вел Алферов себя, надо прямо сказать, умно. Старался ничем не раздражать людей, не брал круто. Помня о нашем уважении к Ларисе Павловне, не катил на нее, дескать, вон сколько недоделок она ему оставила. Нет, всегда ее хвалил. И я с удивлением понял, что ошибался в нем, что он умнее, чем я предполагал. Теперь, если окажется, что он и дело понимает, будет совсем хорошо. А я уже не сомневался, что так оно и будет.

Даже не обиделся на Алферова, когда он меня при всех срезал.

Поступила жалоба, правда, устная, по телефону. Молоденькая фельдшерица сделала укол, а больной раздраженно заметил: нельзя ли поласковее. А она с ночи, усталая, ну, и прицыкнула, дескать, можно и потерпеть — у вас вон какие желваки от магнезии. Хорошо хоть не сказала: «Тяжело в лечении — легко в гробу» — ходит такая шутка после какой-то передачи.

Больной позвонил из, как он сказал, исключительно педагогических соображений — молодая работница.

Алферов спокойно, ненапористо сказал:

— Сдерживать себя надо, Валя.

Да, но Валя из моей смены, и я стал рассуждать, что это не только она виновата, но и мы, опытные врачи. Мы в своих разговорах бываем циничны, и молодежь это быстро схватывает.

Алферов в середине моего разгона побарабанил пальцами и сказал:

— Все ясно, Всеволод Сергеевич, все ясно.

Я, конечно, от неожиданности осекся. По прежним временам привык, что меня внимательно слушают — ну, говорун,— вот Алферов и дал понять, что прежние времена кончились. Тут не вольная говорильня, а собрание — дадут слово, будешь говорить, но коротко и ясно.

Срезал он меня так изящно, что я даже рассмеялся. И вовсе не обиделся. Да и что обижаться, если кто-то оказался умнее тебя. Тебе дали понять разницу в служебном положении, ну и пойми ее.

После собрания Алферов подошел ко мне — он не хотел, чтобы я обижался.

— Не знал я, Всеволод Сергеевич, что это такая хреновая работа,— тихо пожаловался он.— Голова пухнет — совсем увяз в бумагах. Скучаю по живой работе. Утром проснусь — тянет к машинам. Скорее бы это кончилось — и по коням.

Это он таким деликатным способом просил у меня прощения за то, что срезал при всех.

— Все будет хорошо, Олег Петрович. Новая работа — это всегда трудно. Привыкнете.

— Спасибо.

Однако отношение в сменах было к Алферову таким же, как прежде — то есть его всерьез как-то и не принимали. А думали — временный человек. Вроде вчера он был игроком в команде, а сегодня случайно стал играющим тренером, завтра же — опять будет играть с нами вместе. Так и смотрели на него — временный человек.

Это он, конечно, понимал и, думаю, переживал болезненно.

И тогда Алферов показал, что некоторую власть имеет и что зубы у него тоже прорезаются. Что и верно — должны же люди чувствовать, что у них есть начальник.

Начал он с укрепления дисциплины. Тем более, что волна такая пошла — на укрепление дисциплины. В каждой смене было, как водится, два-три человека, которые постоянно на несколько минут опаздывают. Причем одни и те же. И тут Алферов точно угадал недовольство тех, кто приходит вовремя.

Положение ведь как: в девять часов ты должен быть готов ехать на вызов. Потому надо прийти на десять минут раньше, чтоб собрать сумку, принять наркотики, все такое. Вот ты уже собрался, а те только подтягиваются. Да пока покалякают, да пока соберут сумку — их же в это время на вызов не пошлешь — не готовы. А поедет тот, кто готов. Что, конечно, обидно.

Алферов сперва предупредил молоденькую фельдшерицу, чтоб больше не опаздывала, а когда она опоздала снова (думала, поди, что начальник только стращает, пока его не утвердили в должности, побоится активничать), Алферов сунул ей выговор. Не сам, конечно, а через главврача — написал докладную.

И все — опоздания прекратились. Хотя все, да и он сам, понимали, что обозначая строгость, он дал и слабину — напал на девочку, на опытного опоздальщика напасть — кишка тонка. Но ведь тут был важен результат.

Первый период его работы можно назвать периодом покладистости — вот это: мы с вами простые люди, нам сказали делать, и мы делаем, и он нам не судья, он лишь продолжает дела, оставленные Ларисой Павловной в отличном состоянии. Этот период продолжался недолго — примерно месяц.

Потом начался второй период — время бурных экспериментов. Алферов ездил по другим станциям и набирался опыта. Приедет, расскажет сменам, где был и что видел, да, нам есть чему у них поучиться.

Был энергичен, глаза его сияли, любил приговаривать — давайте попробуем то-то и то-то, ведь мы еще молодые. Нам учиться и учиться. У нас неиспользованные резервы, нам брать новые рубежи. Прямо тебе молодой лидер, открывающий нации новые горизонты.

Появились красивые и — убежден! — полезные таблицы, графики, сводки. К примеру, здоровое соревнование между сменами. У тех четыреста пятьдесят вызовов за месяц, а у этих меньше — только четыреста. Так в чем дело? Может, один диспетчер берет все подряд, или, напротив, другой диспетчер слишком жесткий. Давайте считать, давайте разбираться, ведь мы же молодые!

Или вот одна смена сделала сорок электрокардиограмм, а другая двадцать шесть. Это явная недоработка, товарищи, это наверняка пропущенные инфаркты. Мы ленимся, а страдают люди.

Конечно, у Ларисы Павловны работа была налажена, но это уже вчерашний день, а мы живем сегодня и должны стремиться в завтра.

Вот он решил, что сумки должны быть не свои у каждого, как прежде, но общие. Пять выездных машин — пять сумок. Тогда будет преемственность и порядок.

Или вот давайте работать по скользящему графику: тот выходит к восьми, тот к девяти, тот к десяти, а не все скопом, как прежде.

И мог ли я говорить ему, что подобные эксперименты уже переживал, и не раз? В самом деле — я работал в одиночку и в бригаде, обслуживал только город и только село, а сейчас и город, и село, ездил с общей сумкой и со своей собственной, соревновался с другими сменами нашей «Скорой», и с другими отделениями нашей больницы, и другими «Скорыми» других больниц, машины прикреплялись к каждому врачу отдельно, и ездили они потоком, кто куда сядет — я пережил все.

Но на усилия Алферова смотрел с большим сочувствием, всяко поддерживал их. Потому что эксперименты эти не мешали работать, и это было главное. Я всегда знал: Алферова, если он зарвется, снимут, меня же — никогда.

Конечно, некоторое благодушие в ту пору у меня было. Что очень и очень объяснимо.

Ну, во-первых, пришла яркая накатистая весна. Как-то быстро сошел лед с залива, неожиданно навалилась жара, к маю появились листочки на деревьях, люди начали загорать в парке и на заливе, и к середине мая ходили в одних рубашках.

Во-вторых, Андрей упорно писал повесть, и я поэтому все время жил в какой-то радостной надежде. Вот, думал я, у мальчика получится вещица и, глядишь, может этим и будет определяться его дальнейшая жизнь. Даже в самых радужных надеждах не было у меня прежде, что вот Андрей, мой

подопечный, станет, там, писателем. Но, находясь в эйфории, я отчего-то убежден был, что именно так и будет. О! Это такой паренек, у него непременно получится все, за что он ни возьмется.

Он писал повесть поздними вечерами, прихватывая часть ночи, торопился, потому что впереди маячила сессия, и Андрей так положил себе, что к сессии должен прогнать хотя бы половину повести.

Он понимал, что я очень верю в него, надеюсь и все такое, и каждый вечер забегал к нам — вот книжку возьму, вот сверю цитату. Но было понятно, что перед вечерней работой заскакивает глотнуть моей веры в него.

6

Но главное, отчего я был благодушен, даже эйфоричен, это то, что на меня обрушилась болезнь — я был отчаянно влюблен в Наталью Алексеевну, в Наташу. Конечно, я был болен. Все эти перепады настроения — вот это отчаянное желание увидеть ее и понимание невозможности реализовать это желание в ближайшие дни, вот это умиление, близкое к слезливости — что это, как не болезнь, не отчаянная неврастения.

Да, несомненная неврастения — в жизни не был я так легок, почти воздушен, так возбудим, что возможен был мгновенный переход от беспричинного благодушия к вполне осознанному ощущению безнадежности, этот неуловимый перевал, за которым радость обрывается в слезы. Нервная, даже трепещущая от взведенности душа. Когда кажется, что она вовсе ничем не защищена.

Но главное — это постоянное умиление, и приливы отчаянной нежности, так что становится трудно дышать.

Болезненное это, несомненно, состояние — влюбленность. И самое печальное — то, что у меня не было защиты опытом прежних влюбленностей, и все, что я должен был пройти в молодости, я проходил сейчас. Словно бы человек на пятом десятке переносит корь или скарлатину. Запоздалое развитие.

А этот возврат времен поэтического бума — читал Блока, Цветаеву, Пастернака и, словно восторженный подросток, всюду видел — а это про меня.

Неестественное, болезненное состояние.

И постоянное желание видеть Наташу. Желание тем более легко объяснимое, что виделись мы редко. Чтоб встретиться, надо чтоб совпали выходные.

О! Это невероятное смешение страха и отчаянного желания увидеть ее. Даже и не понять, чего больше. Обогнуть общежитие, дождаться, пока Наташа махнет рукой — что означает, в коридоре никого нет; а чтоб и в общежитии никого не было — это большая редкость; ты идешь по коридору осторожно, можно сказать, на цирлах, чтоб не скрипнули половицы, потому что на скрип может выглянуть кто-либо из соседей, а этого и представить нельзя — известный городу доктор крадется по коридору; да, идти осторожно, но надо ведь и поторопиться, чтоб скорее преодолеть это треклятое расстояние до той вон двери.

Когда ты еще идешь к этому дому, страх и ожидание позора столь сильны, что с удовольствием сбежал бы домой. Если б, конечно, был телефон, чтоб отменить назначенное свидание. И говоришь себе — придурок ты и есть придурок, ведь как хорошо-то дома, на воле — любимая книга, музыка, долгая прогулка по парку. А вместо этого должен ты петушком, нашкодившим школьником пробираться скрипучим общежитийским коридором — тьфу ты, какое унижение. Ах, если бы у Наташи был телефон.

Но ясно понимаешь, что не позвонил бы, потому что желание видеть Наташу превыше любых запретов, унижения и страха. И эта страсть такова, что остановить тебя невозможно. Да, конечно, эта страсть — оглушение, сомнамбулизм — несомненная болезнь. Сознание твое погашено, ты идешь вперед с целеустремленностью и сознанием танка, управляемого по радио.

И вот крадешься по коридору, и вот спасительная ручка двери, легкий поворот ее, и ты в безопасности, и все унижения позади, успокоение на несколько часов — до обратного пути.

Ты поворачиваешь ручку двери — стучать нельзя, чтоб не привлечь

внимание соседей — ты в безопасности, и вы стоите рядом, чуть обняв друг друга, и ты смиряешь гулкие сердцебиения и помаленьку выпутываешься из одышечного и липкого страха.

И привыкание друг к другу, вернее, восстановление разорвавшейся цепочки прошлых встреч, и тонкий привычный запах духов, и вытянуться на долгом вздохе — узнавание.

И эти несколько часов пролетают мгновенно.

И тут вот какая главная сложность; все это время, в часы же свиданий особенно, я был залит, можно сказать, затоплен нежностью, какой никогда прежде у меня не было. Только к Павлику в годы его раннего младенчества или когда он болел. А тут нежность захлестывает горло, да так, что хочется плакать.

И это непереносимое и неосуществимое желание оберегать Наташу, как малого ребенка, защищать ее от житейского сквозняка.

Стыдно признаться в сентиментальности — возраст, первые знаки надвигающейся старости,— но всего более мне хотелось, чтоб она спала, а я бы что-то негромко напевал; или же — словно б непреодолимый порок — мне хотелось носить ее на руках, убаюкивать, согревать.

Но это желание было неисполнимо.

Потому что и в часы свиданий следовало соблюдать некие условия — и если страсть, то очень сдержанная, и если речь, то очень шепотная — со звукопроницаемостью в общежитии очень хорошо.

Но пора, но не уходи, и в тебя уже проникает страх обратного пути. Правда, путь этот уже чуть легче — по коридору ты не крадешься, но ступаешь хозяином — пока соседи расчухаются, ты будешь уже вона где.

И выйдя, ты посмотришь на ее окно, и Наташа помашет рукой, и ты кивнешь — все в порядке, выбрался благополучно. И лишь свернув за угол, окончательно и с таким облегчением, что впору перекреститься, ты поймешь — все! — пронесло, страхи позади.

Волен! Господи, какое счастье, какая радостная жизнь ожидает тебя впереди.

Но пройдя сто метров, уже в полной безопасности ты с горечью понимаешь — а ведь это все, и до следующего раза, а он когда еще будет, через неделю или две, но их еще надо прожить.

И теперь твоя жизнь направлена на то, чтоб как-либо скоротать время до следующей встречи.

Но и в это время тебя приступами заливает нежность, и тут достаточно малейшего повода: вот встретил на улице женщину, чем-то отдаленно напоминающую Наташу, и уж досада, смешанная с горечью, заливает душу — да почему не могу прямо сейчас увидеть Наташу. А сколько певиц и артисток были похожи по телику — это сумасшествие, навязчивая идея, бред.

Да, нормальный человек не может быть влюбленным. И это поэтические наговоры, мол, только влюбленный имеет право на звание человека. Да, имеет право, но на звание больного человека.

Потому что сознание в этом состоянии смещает восприятие реальной жизни, деформируя и жизнь, и время. И время, истинное, настоящее, это лишь то, когда вы вместе. Все остальное — лишь ожидание, лишь досадные паузы в наших встречах.

Правда, еще существовал телефон. Господи, о какой чепухе люди могут говорить часами. И как же расплавлен я был тогда, до самозабвения. Стоило мне услышать ее голос, как меня захлестывала жаркая волна нежности. Бесконечно по телефону стихи бормотал. Господи! О, погоди, это ведь может со всяким случиться! Даже: и как я мудр, что полюбил тебя.

К нежности непременно примешивалась и жалость. Как-то уж в моем сознании скручивалось так, что Наташу следует жалеть и оберегать. Оберегать от чего? А не знаю — вообще оберегать, абстрактно. От жизни текущей оберегать я ее не мог — от сложностей на работе или в быту. Однако ж говорил себе — да, оберегать.

Жалость была понятна: в моих глазах Наташа была не защищена устойчивым бытом — зарплата небольшая, постоянного жилья нет, жизнь в этом

смысле началась с нуля, да, конечно, желание самостоятельности — весьма похвальное желание, да только реализация его имеет некоторые трудности.

Да еще незадавшаяся семейная жизнь.

Подробности ее таковы.

Мужа она называет не иначе как «наш родственник», с каким-то даже презрением, если не брезгливостью. Причины мне не вполне ясны. И кто кого из них оставил, я не знаю. Наташа говорит, что она, но я сомневаюсь — многовато презрения.

Значит, поехали туда, куда послали. Она библиотекарь, он в районном Доме культуры вел самодеятельный театр (думаю, драмкружок, не в этом дело).

Из ее рассказов я понимаю дело так: паренек честолюбивый, с рано развившейся житейской хваткой, считает, что человек с головой везде добьется своего, даже на цветущей ниве культуры.

Это в годы моей молодости честолюбцы не шли в медики, в учителя и в библиотекари — они избирали себе пути иные, более ходкие для продвижения. Не в этом дело — культура так культура.

А в том дело, что вот иной раз слышу разговоры, дескать, новое поколение инфантильно, лениво и несамостоятельно — вроде того, что закормлено голодавшими в детстве родителями. Глупости все это.

Еще какое мускулированное и пробивное поколение. Мол, и принципы у них иные. Глупости опять же! Принципы! Конечно, честолюбец нынче иной, чем Растиньяк или отечественный человек пятидесятилетней давности, он и цели свои прикрывает иными словами, он не забирается на Исаакий и не грозит кулаком великому городу — ужо тебе! я пришел и завоюю тебя, но цели он видит внятные и столь же внятно их добивается, то есть любыми путями.

То, что я лишен честолюбия — это не достоинство и не недостаток — это данность. Андрей, напротив, честолюбив, именно потому он не по дискотекам прыгает, а сидит в библиотеках и ночами пишет повесть — что похвально.

Муж Наташи имел четкие планы — хорошо проявить себя, быть на виду, стать директором Дома культуры, поступить в заочную аспирантуру, защитить диссертацию — и это не позднее тридцати лет — и уже плыть далее. Планы реальные, но в жизни осуществимые непросто — директорами Дома культуры просто так не назначают, но только проверенных людей, это уже хоть и какая-то начальная, но номенклатура, в заочные аспирантуры тоже берут людей не со стороны, но своих и проверенных.

Но этот парень начальные трудности сумел преодолеть. Причем исключительно трудом. Он в глухом районе поставил пьесу «Фантазии Фарятьева». Потом что-то Мольера. На какие-то смотры ездили, какой-то приз взяли. Ну, горит человек на работе. Словом, через три года стал директором. А в прошлом году — хоть и со второго захода — поступил в аспирантуру. Тема у него «Культурно-массовая работа в нашей области в тридцатые годы». То есть человек берет барьеры, которые перед собой ставит.

У него был один недостаток: неартистичен. Вот эта излишняя — даже и неправдоподобная — целенаправленность. Вот стать директором, вот поступить в аспирантуру, вот защититься — все расписано. Главное — жизнь подтверждала правильность его расчетов. То есть человек ставит реальные цели, то есть неглуп. На мой взгляд, именно про таких людей в тридцатые годы похвально и задорно пели «А вместо сердца пламенный мотор».

У него все было расписано, и когда Наташа нарушила расписание — в его планы входило завести ребенка после аспирантуры, на худой конец, на последнем году — он очень рассердился. С моей точки зрения, это неправдоподобно, но он сердился так, словно ребенок не его, а чужого дяди. Так ее и не простил — она, получается, обманула его. Подробности тут скучны — она хотела ребенка, а он не хотел, и она скрыла, что беременна, и сообщила ему, когда было поздно что-либо предпринимать. То есть подвела его и, что всего хуже, обманула.

Идеальная жена — это, конечно же, чеховская Душечка. Вот чтобы раствориться в заботах мужа. О нет, не от глупости или от простодушия, но именно от любви. Такое счастливое устройство души.

А только Наташе на второй или третий год замужней жизни стало невыносимо скучно. Ну, вот нет сил терпеть этого человека. Каждый совместный день пропадал безвозвратно. Не отвращение даже, но, скорее, ненависть. Ей скучны были и его планы, и он сам, рассудочный, деловой, вполне успевающий. Он же, видя, что она глуха к его делам и целям, стал понимать так, что она просто недалекая женщина. Правда, к дочери он привязался, даже любил ее. Но, конечно, сдержанно, чтоб ребенка не избаловать.

Он ей так надоел (а она, я думаю, ему), что готова была бросить налаженную жизнь и бежать куда угодно. Без жилья, без надежд, но только без него. Видно, там были какие-то интимные подробности, но мне это совсем неинтересно, и я не спрашивал.

Вот таким образом Наташа и оказалась в нашем городке.

Значит, то было время моего благодушия, даже эйфории. Нет, это все-таки некоторое преувеличение. Потому что было что-то такое, что мешало мне быть уже вовсе безвоздушным. Потому что имела место некоторая пакость, сидевшая в душе, и эта пакость называлась виной перед Надей.

Но не буду эту вину и преувеличивать. Не могу сказать, что уж отчаянно маялся, не знал, как мне поступить и долго ли смогу скрывать этот роман — нет, этого у меня не было. Ни говорить по душам, ни каяться я не собирался, напротив того — хотел бы скрывать роман всегда, ну, хватил, конечно, всегда — столько именно, сколько удастся скрывать.

Прошу простить меня за цинизм, но тут я должен сказать похвальное слово одному замечательному свойству Нади — она не ревнива. У Теккерея я встретил фразу, что всякая порядочная женщина непременно ревнива. Надя несомненно порядочна, но она не ревнива.

Ее рассуждения мне известны: ее муж на краткую интрижку неспособен, он другой человек, он серьезный, и если способен, то на роман. Но в этом случае он будет честен с женой и обо всем ей расскажет. Бояться этого — все равно что бояться тяжелой болезни. Если же поверить, что кто-то у мужа появился, хоть и на краткое время, а он молчит, это значит перестать его уважать. Потому что всему есть предел, но это уж с его стороны такое лицемерие, после которого уважение невозможно, и он достоин лишь презрения. Жить с человеком, которого не уважает, Надя не смогла бы — это точно.

Узнай она о наших встречах, это означало бы лишь одно — развод.

Разводиться — вот это не пришло мне в голову ни разу. Да у меня хорошая семья, лучше и не бывает. Развестись и жениться вновь? Как бы ни был я увлечен, восторжен, знал одно — по доброй воле я не разойдусь.

Присутствовало, конечно, и лукавое оправдание, что лучших жен, чем Надя, не бывает. Даже и просто хороших не бывает, и если потускнела в любви Надя, потускнеет и любой другой человек.

Даже в дни головокружительного восторга, я всегда понимал, что в случае развода со мной не будет Павлика, и это было столь ясно, что не нуждалось в подробном рассмотрении. Даже и тогда у меня хватало отваги признать: без Наташи я все-таки проживу — пусть накатит отчаяние, пусть сразу постарею от безнадежности, но проживу; без Павлика, если его не будет рядом ежедневно, бесконечная тоска и страдание.

Понимаю свою неправоту. Есть ведь романтики — числом немалым — полагающие любовь к женщине самым высоким чувством. Да, согласен, это вполне возможно. И если они, романтики, узнают, что люди любят друг друга, но не могут соединиться из-за непреодолимых преград, они говорят — значит, это не любовь. Потому что любящие преодолеют все преграды, чтобы быть вместе. Спорить не могу. Возможно, я не романтик, возможно, даже и любить не умею, и то, что испытываю к Наташе, вовсе не любовь, а что-то иное — все может быть.

А если это чувство самое высокое (от себя замечу — несомненно болезненное, то есть противоестественное), так если оно высокое и благородное, то от него никто не должен страдать, не так ли? Но в таком случае, почему должен страдать Павлик?

Еще бы: папаша, который всегда был главным авторитетом и опорой, предатель. Конечно, можно утешить себя лукаво, он потом все поймет. Это он п о т о м все поймет. А сейчас будет страдать от предательства. И если кому-то суждено страдать, то почему ему? Уж он-то ни в чем не виноват.

А почему бы, интересно знать, не пострадать тому, кто полюбил?

Цинично рассуждаю? А почему, собственно? Здесь любовь к двум существам, и выбор падает на того, кто беззащитен. Где же цинизм?

Вот почему я трепетал от страха всякий раз, когда шел на свидание с Наташей,— только бы остаться незамеченным, только бы не раскрылась моя тайна.

То есть была скорее боязнь, что Надя узнает, хотя, конечно, имело место и чувство вины. Это несомненно. Потому что как ни считай и как ни оправдывай себя, но играть надо по одним правилам.

Но тут же лукавые уговоры ума: а что я делаю плохого? Кому от этого хуже? Мне? Наташе? Наде? Да, Наде, но лишь в случае раскрытия тайны — тогда ее гордость будет ущемлена невозможно.

Но не нужно путать причину и следствие. Нет, я ничего плохого не делаю. Более того, ничего недостойного. В этот период своей жизни — пусть короткий — я легок, воздушен, так и спасибо судьбе. Человек имеет право и на это состояние.

Да, уговоры уговорами, но воля моя не была уничтожена, так что в дни встреч с Наташей во мне сидел стальной стержень воли, направленный как раз на преодоление расстояния от моего дома до общежития строителей, и уже не было на свете силы, способной меня остановить.

7

Словом, понятно, почему я был благодушен в то время и всячески поддерживал эксперименты Алферова.

А в сменах, повторю, новым заведующим были недовольны — уж больно резво он за дело взялся, говорили, наломает он дров, наш попрыгунчик.

Но я уговаривал всех, что любое дело лучше безделия, и эксперименты вносят разнообразие в нашу жизнь.

Словом, я во всем поддерживал Алферова, он об этом знал и, несомненно, был благодарен за это. Какую-то даже избыточную почтительность выказывал: если какая-нибудь перестановка в смене, непременно со мной посоветуется. Или если кто просит о замене — в театр сходить или в гости, обязательно спросит, посоветовались ли со старшим смены. Если старший не возражает, то и пожалуйста.

То есть уважает старших, заботится об авторитете ветеранов. Что трогает.

У нашего доктора Светланы Васильевны внезапно умерла мать, и Федорова пошла к главврачу просить несколько дней за свой счет, чтобы лететь на похороны.

Главврач при ней позвонил Алферову и сказал, что он не возражает. Алферов, видно, обиделся, что Федорова не пришла сперва к нему, непосредственному начальнику, а пошла сразу к главному. Видать, от обиды Алферов сказал, что Федорова больно хитрая — хочет, чтоб ей ставили дежурства, а смена за нее отработает. Главврач сказал Федоровой, что так не делается, но у вас горе, и вот вам неделя без содержания.

Алферов, конечно, выдумал про отработку, такого разговора в смене не было — уж я бы знал.

Федорова, клокоча от обиды, пришла на «Скорую» и при всех набросилась на Алферова — зачем он оболгал.

Все, понятно, уставились на заведующего — как он будет выкручиваться. Небось, растеряется, что-то начнет бебекать.

Но ничего подобного. Он чуть усмехнулся и сказал:

— Это ваша ошибка, Светлана Васильевна. Вам бы сперва прийти ко мне.

— А что время зря терять! Вы же с отпусками не решаете. А мне еще билет брать.

— Приди вы ко мне, не пришлось бы отпуск брать. Я переставил бы график, и все в порядке. И слетали бы, и деньги сохранили.

— Да какие деньги! — уже в отчаянии сказала Федорова и разрыдалась.

— Только, прошу вас, без истерик! — жестко сказал Алферов и стремительно вышел.

Все, понятно, обалдели. Потом хором насели на меня: надо что-то делать, Всеволод Сергеевич, через два дня кончается его испытательный срок, и что ж это потом будет, если он уже сейчас хамит коллегам. Ведь соврал и не извинился.

Правда, это уже без Федоровой — она убежала добывать билет.

Промолчать я не мог — старший смены, что обо мне подумает молодежь. Это вот крик «Без истерик!» был неправдоподобен.

И что делать? Не идти же, в самом деле, к главврачу жаловаться, что Алферов нахамил подчиненной. Да главный и сам может нахамить и послать человека куда угодно. К тому же я знал, что мне ответит главврач — Алферов вас прижал, наводя порядок, вот вы и закопошились.

Я вошел в кабинет Алферова. Вид у него был виноватый, даже побитый. Увидя меня, он сокрушенно покачал головой — ну, виноват, виноват.

— Это не дело, Олег Петрович! — строго сказал я.

— Знаю, знаю, Всеволод Сергеевич,— забормотал он и даже рукой поводил по груди, мол, вот как крутит душу.

— Ну, тогда все понятно,— сказал я, видя такое раскаяние. И повернулся уйти.

— Нет, погодите, Всеволод Сергеевич,— попросил Алферов, подал мне листок, показал глазами — почитайте, подошел к двери и запер ее на ключ — чтобы никто не мешал нам разговаривать.

А на листке был напечатан приказ о пазначении Алферова О. П. заведующим «Скорой помощи».

— Это значит, что я теперь человек постоянный,— усмехнулся Алферов.— И теперь я снова, как вы понимаете, молодой специалист. И уволить меня практически нельзя. В какие-то, разумеется, ближайшие годы,— это он говорил с усмешкой, так это иронично. Черт возьми, да у него за два месяца уверенность в себе проклюнулась, если может говорить о себе с иронией.

Я посмотрел на него удивленно — что ему от меня-то нужно.

— У меня к вам просьба. Я хотел бы, чтоб именно вы внушили коллективу простую мысль, что я здесь на долгие годы. И на это надо смотреть, как на что-то неизменное. И если кто-то не согласен с таким положением, надо смириться, и только.

— Да почему же я должен что-то объяснять? Прочтите приказ, и все.

— Нет, вы же у нас самый уважаемый человек. Ваше мнение, как я заметил, всегда решающее.

— Хорошо, я поговорю со сменой,— и я снова вопросительно взглянул на Алферова — теперь можно идти?

Но он мой взгляд не поймал — что-то загадочное было в его глазах, словно бы он чем-то меня испытывает, так это поигрывая со мной, что-то даже шальное было в его глазах, так что у меня даже мелькнуло — уж не выпил ли он на радостях. Нет, трезв. Он вовсе не выпивает.

— Всеволод Сергеевич, ах, Всеволод Сергеевич, да я же вам горько завидую,— как-то застенчиво улыбнувшись, сказал Алферов.

Вот это повторение имени и отчества он выхватил в телевизионных политических детективах. Вот это Лавр Георгиевич, ах, Лавр Георгиевич. Тут была несомненная фамильярность, которую он не мог себе позволить прежде. А сейчас может — начальник.

— И всегда вам завидовал. Мы были выездными врачами, и я завидовал, теперь вы отказались от должности, а я не отказался, и я снова завидую.

Я пожал плечами — мне разговор начал казаться каким-то безумным, но и обижать его не хотелось, и я сказал:

— Чему же здесь завидовать? Ничего в жизни я не добился. Двадцать лет на одном месте. Ни вниз, ни вверх. Рабочая лошадка.

— Нет, это я был рабочей лошадкой. Серой рабочей лошадкой. А вы аристократ. Вам что посложнее, мне что попроще,— это он уже ерничал.— Бригада, все понятно.

И сразу стал серьезным.

— Да, я вам завидовал. Именно поэтому ушел из линейных врачей. Приезжаю, к примеру, на повторный вызов. Ведь непременно скажут — у нас был Всеволод Сергеевич, он делал то-то и то-то. То есть мне и дергаться не нужно, а сделать точно то же, что и Всеволод Сергеевич. Да разве же я не понимаю разницу в нашем лечебном классе? Вот и у всех такое мнение: если он не смог больному помочь, Всеволод Сергеевич, то и никто не смог бы. А если не смог помочь я, все скажут — вот Алферов не смог, а Всеволод Сергеевич смог бы. Но самое главное — и я считаю так же. А легко ли работать с таким ощущением? Всегда чувствовать себя работником второго сорта.

То есть он мне, конечно, льстил, но было непонятно, зачем ему это нужно.

— Более того, вы знаете, что я всегда считался молчуном. Но я большой говорун. И моя семья это подтвердит. Да вы и сами в этом сейчас убеждаетесь. А почему я молчал на работе? А потому что меня не слушают. Вот стоит вам заговорить, все замолкают и слушают. Стоит то же самое сказать мне, никто даже не повернется в мою сторону. Стоит вам рассказать анекдот, все смеются, расскажи этот анекдот я, все лишь кисло улыбнутся. Отчего так?

— Не знаю. Думаю — оттого, что я старый работник.

— Нет, Елену Васильевну слушают, как меня. А она работает тридцать лет. Да и я уже здесь пять лет. Вы вспомните, когда вы отработали пять лет, с вашим мнением считались? К вам прислушивались?

— Я не помню, Олег Петрович. Никогда об этом не задумывался.

— Потому и не задумывались, что вас уважали всегда,— с жаром подхватил Алферов.— А в чем здесь дело, знаете? В человеческом классе, вот в чем. Меня в институте мучала зависть к молодым ребятам с дневного отделения. Вот они все что-то спорят, все куда-то торопятся, по театрам ходят, а мне работать и учиться. Да, учиться и работать. Ведь я же все сам, Всеволод Сергеевич, без толчка снизу и посторонних рук. Без отца. Мать — клейщица на нашей галошной фабрике. Пробивался и пробивался. А вечернее — известно, какое образование.

Меня от его слов малость повело — в этом был какой-то дурной тон, раскрываться перед человеком, который мало тебя знает, нет, этого я не понимаю. Хотел угомонить его соображением, что моя молодость была не сплошной мед и уж, конечно, не слаще его молодости, но вовремя спохватился — ах ты, мать честная, да он же считает меня старшим другом, потому доверяет мне, надо ему посочувствовать, и уж во всяком случае на искренность ответить искренностью, но ничего не мог с собой поделать — не раскрывалась моя душа, да и все тут. Не верил я ему да и только. Ну, не может тот Алферов, которого я знал прежде, стать вдруг таким широким, что распахнется перед человеком почти чужим. В его доверчивости усматривал я какой-то умысел. Было даже и совестно, но не верил я ему.

— Потому и решился стать заведующим. Новый виток в жизни. Административная работа. Вот здесь, Всеволод Сергеевич, еще не успел себя проявить. И я освобожусь от зависти. Вы не знали, что я честолюбив?

— Нет, не знал. Да я, по правде говоря, и не задумывался.

— А вы вообще мало обо мне думали. И что я был для вас — серая мышка.

— Ну, это уж вы слишком,— возразил я.— Надеюсь, я не такой высокомерный.

— Такой, Всеволод Сергеевич, такой. А теперь по сути дела. Я — администратор, вы — клиницист. И нам надо быть вот так,— и Алферов крепко сжал свои ладони: ну, то есть если мы будем заодно, их не расцепить никакой вражьей силе.— Если мы будем заодно, мы горы свернем.

— Да нам бы не горы сворачивать,— не удержался я от привычной своей насмешливости,— нам бы не каналы прокладывать, а людей лечить получше. Нам бы вот чтоб постоянно в машине был кислород, и чтоб были все лекарства. А то у меня кончается лазикс и нет седуксена.

— Все наладим, Всеволод Сергеевич. Но сейчас главное — быть вместе. Могу я на вас рассчитывать?

— Ну, разумеется, Олег Петрович. Да,— как бы внезапно вспомнил я,— меня к трем часам вызывает следователь.
— А что такое?
— Да тут дело давнее,— и я рассказал о вызове двухмесячной давности.

О маме и доче

Одиннадцать часов — самый разгул вечерней пьяной травмы. Большая трехкомнатная квартира, две комнаты совершенно пустые. В одной, жилой, две койки, покрытые тряпьем, стол и два стула — это все. Дочери двадцать один год — она даже хорошенькая, но очень уж немытая (многолетняя такая немытость), матери сорок восемь лет — под глазами мешки, волосы свалялись и пропитаны кровью. Обе привычно пьяны — речь связная, походка ровная, но пьяны застойно, невыветриваемо.
— В чем дело? — кинулся я к матери — у нее же кровавый колтун на голове.
— А ни в чем,— она смотрела на меня стеклянно и как-то немигающе.
— Давайте посмотрю голову,— настаивал я.
Но она оттолкнула мою руку, беззлобно посылая на фиг.
— Зачем же вызывали? — начал заводиться я — суббота, одиннадцать часов, самое горячее время.
— А я не вызывала. Это она. К ней и приставайте.
— Вы нас вызывали? — спросил я у дочери.
— Да, но не к маме, а к себе.
— Дочь, покажи, как ты к маме относишься,— насмешливо сказала мать.
Они выпивали вместе, и оставалось полстакана водки. Каждая тянула стакан к себе. Жидкость малость расплескалась. Покуда доча возмущалась, мама ловким движением опрокинула остатки в рот.
Но когда она поставила стакан на стол, возмущенная доча тяпнула ее стаканом по голове. Но неаккуратно — стакан разбился, и доча порезала палец. Вот из-за этого пальчика, указательного, с многолетним трауром под ногтем, она нас и вызвала.
Возмущаться было бесполезно.Таня перевязала палец, а мама так и не позволила прикоснуться чужим мужским рукам к своей голове — видать, брезговала.
Я спросил, как это им удалось получить такую большую квартиру.
— А нас четверо. Вот мы с дочей и двое детей.
— А дети где?
— В Доме ребенка — где еще. Последний, я знаю, от Васьки.
— Мама, не говорите лишнего,— строго попросила дочь.

А через два месяца она выпала с балкона четвертого этажа. Она лежала на животе, вольно вытянувшись — левая нога чуть согнута, правая неестественно прямая. Вот именно — человек в позе полета.

— Хорошо. Рад, что мы договорились,— сказал на прощание Алферов.— Да, а почему вас следователь вызывает?
— Не знаю. Она была уже мертва.

Тут меня послали на дальний вызов, и в дороге я неторопливо соображал, а зачем я понадобился Алферову.
Все просто объясняется: он просит меня о поддержке, потому что не уверен в себе, потому что ему трудно, а он хочет, чтоб на работе его ценили и уважали как в родной семье.
Я уже было остановился на этой посверкивающей романтической слезинке, но капелька цинизма не покидает меня никогда, и она подсказывала — тут что-то не так. Этот наш консерватизм! Вот за долгие годы составилось мнение о человеке, и мы не в силах отбросить предубеждения.

Чтоб проверить свою догадку, на следующее утро я спросил Елену Васильевну, старшего врача другой смены, не говорил ли с ней Алферов по душам.
Елена Васильевна, женщина предпенсионного возраста, сухая, длинная, с серым цветом лица заядлой курильщицы, ехидно улыбнулась и сказала:
— Разумеется.

— На жалость брал? Говорил, что рос сиротой?
— И это тоже. Но больше благодарил за учительство в первые его годы. А также рученьки у меня золотые. Я, представьте себе, лучше всех делаю внутривенные. И записи у меня замечательные. Пусть Всеволод Сергеевич лучше кумекает, а зато рученьки у меня получше. Забавная похвала для врача с тридцатилетним стажем. И верно: что взять с женщины,— и она заливисто — с дымным подсвистом — засмеялась.
— Осталась только Надежда Андреевна. Надо бы спросить.
— И не спрашивайте — уже спрошено.
Надежда Андреевна, старший врач третьей смены, женщина уже пенсионная, медлительная и рыхлая. Считается, что у нее пакостный характер — всегда всеми недовольна, громогласно передает больничные сплетни, по любому поводу пишет докладные — ее не любят, но боятся. Характер не сахар, а врач она первоклассный. Практически без проколов.
— И на чем же Алферов ее достал? — спросил я.
— Она отвечать отказалась. Даже обиделась. Ну, вроде я что-то личное задела.
— Значит, он ее своим сиротством достал. Вот вы мне как мать родная. У вас всему учился.
— Выходит, так. Слушайте, а он вам эдак показывал? — и она сжала ладонь перед грудью.
— Само собой.
— Слушайте, да ведь он ловкач. Далеко пойдет мужчина, если не остановят. А я-то думала, он малость недоделанный фельдшер. А он ловкач,— восхищалась Елена Васильевна.

Да, но я забежал вперед. В тот день, когда со мной разговаривал Алферов, я сходил к Вите Острогожскому, следователю, моему приятелю. Он попросил подробно рассказать о тех двух вызовах.
— А в чем дело?
— Ты понимаешь, по городу идет шепоток, что мать выбросила свою дочку.
По его словам, все выглядело так.

Еще о маме и доче

Они в очередной раз вместе выпили, потом доча вышла на балкон и стала кого-то окликать. А мама, видя, что в бутылке осталось граммов двести вина, и понимая, что это ни то ни се, тихонько вышла на балкон, наклонилась и подсекла ножки дочи. А перила были низкие, и доча полетела вниз. А мама резво допила вино.
Вот этот человек, с кем переговаривалась доча, как будто видел, что на балконе мелькнула тень. Но все это он лопочет глухо, поскольку сам был выпимши.

Тут уж я, натасканный детективами, рассказал только то, что видел. Дочь лежала так-то и была несомненно мертва. А мать сидела на кровати и хныкала.
— То есть ты хочешь сказать, что она не выбегала на улицу, не голосила и не рвала на себе волосы?
— Именно так. «Скорую» вызвала не она, а милиция.
— Знаю.
— А на столе стояли две пустые бутылки бормотухи. Уточнить не могу — мало понимаю.

Самое удивительное: хоть в голове не укладывалось, что мать спихнула дочь за стакан вина, но я не сомневался, что так оно и было. Та женщина, с которой я дважды разговаривал, способна выбросить дочь.
Я шел на «Скорую» и думал — к стыду своему, без возмущения, но привычно — да что же с людьми происходит. Нет, не со всеми, разумеется, но с отрядом, и очень немалым, винно-деклассированных людей.

Да и с ними ли только? В прошлом году дочь отравила семидесятилетнюю мать, подарив к празднику тарелку студня. Там был мотив — сын возвращается из армии, сразу женится, у него будет однокомнатная квартира, все ж таки жизнь не с нуля начинать. Это достаточный мотив? Если да, то и стакан вина — мотив достаточный.

Можно сказать — это уже не люди, у них не душа, а морг. Нельзя не согласиться. С другой-то стороны, это мы от нашей лени говорим — там морг, чтоб не вникать, не задумываться, не берем на себя труд понять. Если бы нашелся человек, который раскрыл нам этот морг, да так, чтоб мы ахнули, чтоб наши сердца разорвало бы от боли, чтобы мы спать не могли, жить не могли далее, но для этого нужен человек гениальнее Гоголя и Достоевского. Убежден, до такого дна, хотя бы своей догадкой, не доставал никто.

Я хочу понять, но я слаб, и я не понимаю. И потому для меня это морг. Я благодушен, я сыт, я высокомерен и ленив. Там не морг. Там — иное, но я даже не догадываюсь, что именно.

8

И вот настал день, когда Андрюша принес первую часть своей рукописи. Нервничал, чего там, книги так это бесцельно перебирал на моем столе. Однако бодрился:

— Чепуха получается. Но вы уж полистайте.

— Да уж полистаю,— вторил я ему.

— Это примерно первая часть. Пятьдесят страниц.

— Да уж полистаю.

Это, конечно, малоблагодарное дело — пересказывать повесть.

Нет, особых красот или самостоятельных соображений я не заметил. Даже, помню, огорчился, что не нашел каких-либо неловких ученических фраз, нет, мне показалось слишком даже гладковато.

Все понимаю — трудно ожидать от первой вещи юного автора, что в ней прорежется индивидуальность или самостоятельная манера. Нет, гладковато, усредненно, привычно. Так, подробный пересказ биографии героя. Но вдруг сквозь сухую скороговорку пробился свежий по описанию эпизод — про шалости Каховского в занятой французами Москве. А потом снова сухое безличное изложение — до романа Каховского с Софи Салтыковой.

Тут я понял, в чем дело. Мальчик раскрепощается только тогда, когда у него достаточно материала. А иначе фантазию свою сковывает... Потому как раз боится рисковать и не порет отсебятину, что не нагл. А не нагл потому, что образован. Это закон: без авторской полуграмотности, заметил я, читая современные поточные вещицы по истории, бойкое письмо встречается редко.

Но уж роман Каховского с Софи Салтыковой Андрюша изложил и бойко, и весело.

Что понятно — знает книгу Модзалевского «Роман декабриста Каховского» (брал у меня, и замечу не без тщеславия собирателя, в давнее время я за эту книжку отдал всего трешку).

Тут уж Андрей раскрепостился. И юмор, и легкая ирония появились. Ну прямо тебе рыцарский роман. Герою двадцать шесть лет, барышне восемнадцать.

Смоленская тихая деревушка. Герои гуляют при луне. А вот уж лунная дорожка на глади пруда, и рыцарь наш, восхищенный и лунным светом, и, конечно же, барышней, сжимает ей руки — ах, не могу более переносить — закрывает лицо ладонями, вскрикивает (ведь он поражен именно в сердце, а это больно) и убегает.

А барышня-то, Софья Михайловна Салтыкова, считает, что сердце Пьера чисто, как кристалл, и в нем так легко читать.

Тут Андрюша, на мой взгляд, неплохо придумал — он перебивал авторскую речь выдержками из писем Салтыковой.

И вот она в упоении, вот она протягивает Пьеру дрожащую руку, и он прижимает ее к своим губам и покрывает радостными слезами, и «я пылала уже очень сильным огнем».

И вот снова лунный свет, и дорожка на глади тихого пруда, и «мы шли только вдвоем, при свете луны, очень смущенные, не зная, что говорить».

Раннее солнце пробивается в окно, его лучи залили стену, «я была в упоении, я видела во сне Пьера и проснулась еще более безумно влюбленной в него» (черт побери, прямо тебе «я на земле, где вы живете и ваши тополя кипят»).

Странное дело, Андрей так забавно и трогательно это описал, что я вовсе забыл, что через год Каховский выстрелит в Милорадовича и Стюрлера.

А потому что «смерть без вас мне благо. Ваше молчание остановит биение моего сердца».

Но у папа̀ два часа продолжаются спазмы — жених нищ. «Они убьют меня!» — кричит папа̀.

«Прощайте! И за пределами гроба, если не умирает душа, я ваш». А также: «Вы еще можете быть счастливы, не я».

Да, она несколько раз выходила замуж, дожила до старости, а он?

А он, потерпев крушение надежд на счастливую и безбедную семейную жизнь, точит саблю о гранит — или с собой, или с этим паскудным миром он сейчас что-нибудь да сделает.

На этом закончилась первая часть рукописи.

9

Мы с Наташей собирались на целый день уехать загорать, и стоило мне вспомнить об этом, как накатывала теплая волна нежности, словно бы экстрасистола у юного невротика, и сердце шлепалось в теплую лужицу надежды и давало о себе знать нежнейшим приливом жара.

Утром я нетерпеливо выглянул в окно и понял, что сегодня не позагорать — небо было обложено тяжелыми разбухшими тучами. Однако жара не спадала, и было ясно, что скоро начнется гроза.

Сразу утешился: не будет загара, так уедем куда-либо вдаль, где нас никто не знает. Целый день вместе — заранее оговоренная радость.

На платформе было малолюдно — будний день, очередная электричка.

Наташа шла ко мне от газетного киоска — серые вельветовые брюки, босоножки, белая блузка, белая кепочка.

И во мне сработал защитный рефлекс — о нет, она вовсе не красавица — и роста небольшого, и бедра узковаты, и эта особенность в лице, вроде аномалии — круглая ямка над верхней губой, придающая лицу обиженное выражение.

Но стоило мне увидеть нежную ее улыбку, как краткий этот защитный рефлекс погас от яркой вспышки радости.

И мы смотрели друг другу в глаза — долгое привыкание после долгой же разлуки. Ничего не случилось? Не забыл?

И со стыдом я признался себе, что включился сторож — как бы не увидел кто из знакомых, что ты на платформе с молодой женщиной, и непроизвольно бросил взгляды по сторонам — заячьи эти сторожкие взгляды — знакомых нет, но руку следует опустить.

— Будет дождь? — спросила Наташа, показав на сумочку, из которой торчал зонтик. Она, несомненно, заметила мои озирания по сторонам, но — свои люди — все поняла и не обиделась. Внешне, по крайней мере.

— Хуже! Будет гроза,— ответил я, знаменитый метеоролог, морской, можно сказать, волк.

— Да, как Зощенко? — спросил я уже в вагоне.

— Тебе это интересно?

— Мне все интересно, если это касается тебя,— это было правдой.

— Нормально. По-моему, скучно не было. Даже поспорили. Даже до крика дошли.

Это такие интеллектуальные игры провинциалов. Много лет при библиотеке существует «Клуб любителей чтения». Сидят люди за столом, пьют чай с пирогами и балакают о литературе. Это трогательно. Нет, правда, это трогательно.

А Наташа — хозяйка дома. Она надевает праздничное платье, люди на заседания и ходят как на праздник. Друг друга повидать и заодно поговорить о чем-нибудь высоком. Так я это себе понимаю. Только бы оторваться от будней и унылости семьи.

Они как-то и специалистов приглашали. Ну, к примеру, вечер Ахматовой — слушают записи, кто-то стихи читает — все покуда мило. Но специалисту недосуг сидеть весь вечер и слушать лепетанья неспециалистов, ему бы свое доложить и уехать. То есть получается школьный урок, при специалисте и пирожные-то поедать неловко — кто ж это жует на уроке. Так что решили обходиться своими силами — хоть непрофессионально, да мило, по-домашнему.

Я хотел как-то сходить на такое заседание, но Наташа отговорила. Уверяла, что будет меня стесняться, исчезнет естественность хозяйки. Думаю, она боится, что я буду ироничен, насмешлив, а может, и нетерпим к чужому мнению.

Да я, по правде, и не рвался — не сдержу себя, буду глазеть на нее, не сумею скрыть восторга, чем внесу нездоровую струю в светское течение вольной беседы.

— А как капитан?

— Березин?

— Возможно, и Березин.

— Хорошо. Он даже малоизвестный рассказ Зощенко прочел. Из старого собрания. Да, было хорошо.

Об этом капитане я уже слышал несколько раз — после каждого заседания. Он у них староста и особенно активен. Учится в академии, но живет у матери, в нашем городке. Никогда его не видел. Он умеет удивить собратьев по клубу. Как-то принес запись голоса молодой Ахматовой и сравнил его с поздним голосом — уверял, что у настоящего поэта голос с возрастом не меняется. То есть голос он и есть голос.

Изыск какой-то — занятый человек, капитан из академии, а ходит в клуб провинциальной библиотеки.

— А что он ходит? — так я и спросил.

— Интересно, наверное. Может, ему с сослуживцами неловко говорить об Ахматовой. Их, может, детективы интересуют.

— Я, правда, думаю, его интересуешь ты.

— Это глупости. Его интересует общение с единомышленниками. Да,— вдруг вспомнила Наташа,— у меня же радость. Похоже, что мне дадут жилье.

У них как-то так вышло — за точность не ручаюсь, да Наташа и сама до конца не понимает эти гениальные хитрости нашего быта,— что строители, у которых отдел культуры арендует несколько комнат, решили прервать договор прежде времени и вытурить жильцов из этих комнат — своим не хватает, что покуда понятно.

— Они имеют право? — спросил я.

— Не знаю. Наверное, такое право есть. Да и кто мы такие? Бедные библиотекари. Да на лимитной прописке.

Да, но завотделом культуры — видать, хороший мужик,— сговорился с исполкомом (завотделом дружит с председателем исполкома, что помогает делу культуры), что жильцам тех комнат дадут какое-нибудь жилье. Уже в постоянных домах с постоянной пропиской.

Это Наташа живет здесь всего полтора года, а женщина, к которой я в день знакомства приезжал, стоит на очереди восемь лет. Очередникам все равно надо жилье выделять, так заодно чтоб и Наташа проскочила.

Хотя это не совсем порядок — человек не стоит на очереди, а не стоит, потому что не ставят, нет постоянной прописки. Но есть оправдание для исключений из правила — аренда кончается, женщина с малолетним ребенком.

Николай Эрнестович РАДЛОВ

Страницы творчества

Доброе сердце леди. «Крокодил», 1938 г.

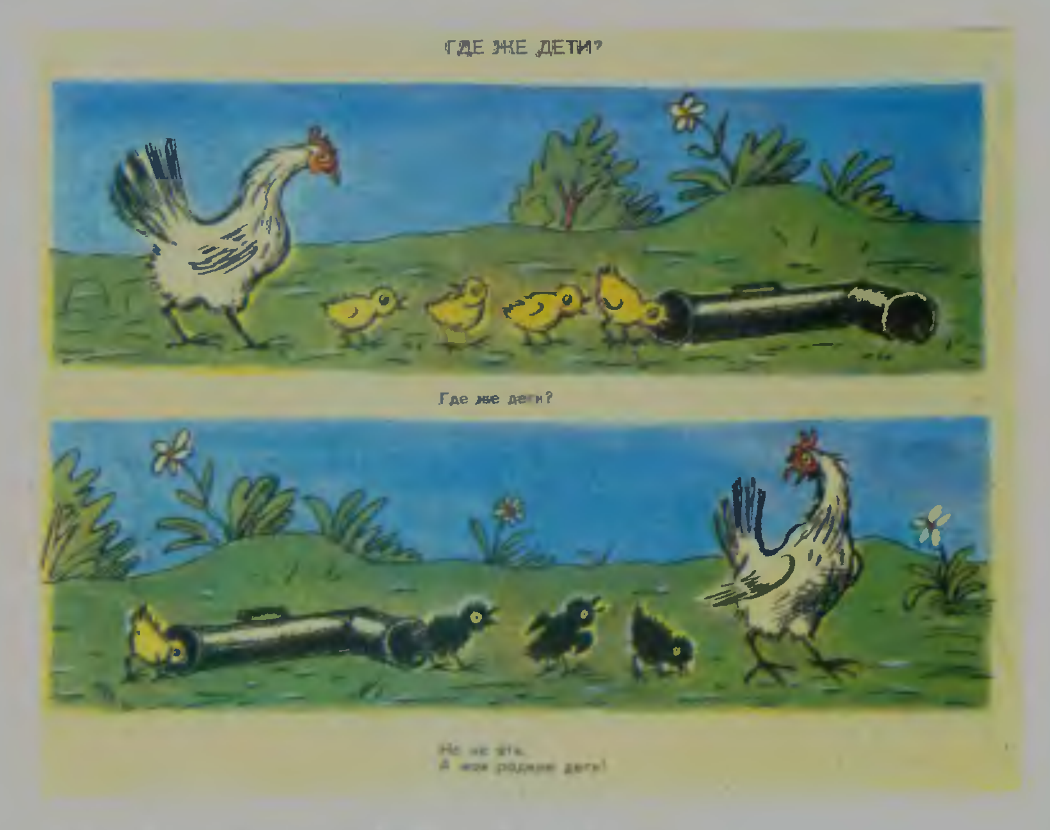
Портрет художницы В. Ходасевич. Сангина. Тридцатые годы

Лето в Ялте. Акварель. 1926 г.

Эскиз обложки журнала. Тридцатые годы

Родительское собрание. «Крокодил». 1936 г.

Разговор по душам. Смехач. 1934 г.



Рисунки из книги для детей «Рассказы в картинках». 1940 г.

Конечно, чего-то стоящего ей не обещают, но внезапно проклюнулась маленькая комната — подселение к одинокой старушке.

— Нет, ты избалован цивилизацией и не понимаешь, какая это радость — хоть каждый день лежать в собственной ванне,— мечтала Наташа.— А Марина обещает вовсе из ванны не вылезать. А на кухне всего два человека — я и старушка. А со старушкой мы подружимся — нужна же ей помощь на случай болезни. Только бы не сорвалось!

Пляж был почти пуст. Сиротливо торчали зонты, на песке сидели три пожилые оптимистки, ожидающие солнца. Впрочем, возможно, они слышали, что воздух перед грозой особенно полезен для здоровья.

Песок казался грязновато-серым. Вдали, у самой воды, бегала девочка. За ней гонялась пожилая женщина, девочка нарочито рвалась к воде, как-то странно, по-клоунски, выбрасывая ножки, женщина ловила внучку сосредоточенно и серьезно.

Тревожно вопили чайки.

Я увидел, что за соснами постоянно уходят вверх люльки огромного колеса обозрения.

— Никогда не катался.

— Так пойдем.

— Садитесь, молодежь,— приговаривала пожилая женщина, пристегивая цепочки к люльке — на тот, понятно, случай, если кто-нибудь захочет вывалиться на ходу.— Это колесо счастья.

— Спасибо,— сказал я.

Словно бы женщина раздает счастье не всем желающим, но лишь тем, кто его достоин.

Сиденья вращались, и можно было все вокруг осмотреть разом, но мы смотрели на залив.

Колесо медленно поднималось, вода уходила все вниз и вниз, крепость и тот дальний берег, откуда мы приехали, все вырастали и вырастали, и нетрудно было понять, что от дома родного не скрыться — о! высоко сижу, далеко гляжу! — стоит подняться чуть вверх, и дом родной все прибывает и прибывает.

То было ровное и медленное движение вперед и вверх, и мы сравнялись с ярко-зелеными верхушками деревьев, и выплыли сперва купола, а затем и целиком белая церковь, а дальше, вправо, танцплощадка и мелкие летние домики; а земля с высоты представлялась местом вовсе волшебным; и женщина, пустившая нас на колесо, была права, обещая счастье: краткое ощущение полета, и покой, и волшебный охват всех пространств разом, так что было понятно — это и есть вершина счастья, большего быть не может, и оно неповторимо.

Я молча, глазами спросил Наташу, хорошо ли ей, и она печально, даже как-то потерянно подтвердила — да, хорошо.

Мой восторг был столь полон, что в памяти всплыли строки: «Господи, продли минуты эти, не отринь от чада благодать», и суеверно пытался я удержать в памяти если не весь этот день, то хотя бы полет.

Но лишь несколько мгновений восторженный взор выхватывал максимально возможные пространства, а потом начался спад, и мы сравнялись с верхушками деревьев, и погасла церковь, и исчезли крепость и дальний берег, и мы ступили на чуть покачивающуюся землю.

— Повторим? — спросила женщина.

— А можно ль счастье повторить? — спросил я и улыбнулся, чтоб сгладить высокопарность вопроса.

— Тоже верно,— так это философски согласилась женщина.

Однако восторг, что возник в полете, все не проходил. Это был восторг, а не умиление и не расплавленность воли, и его не смогла вымыть песня «Миллион алых роз», доносившаяся из динамика, висевшего над зеленым бревенчатым домиком.

Танцкласс — призывала афиша. Мы заглянули — и это было удивительное зрелище: танцы среди бела дня — в маленьком зале несколько женщин, сбившись в кружок, вбрасывали ручки, выворачивали ножки, и там не было ни одного мужчины.

Что ж, понять нетрудно: туристское место, женщины танцуют в свое удовольствие, а мужчины исключительно с целью познакомиться. А какое же знакомство днем — это даже и подумать-то смешно. И что ж тогда делать вечером? Ох, эти неизведанные мной удовольствия — никогда не был в домах отдыха и, следовательно, не знакомился на танцах.

Это был день постоянного везения. Мы увидели белый, похожий на голубятню домик с надписью «Кафе». В нем было пусто (что нетрудно объяснить — горожане не приехали из-за плохой погоды, а отдыхающие обедают в своих столовых), и было хорошее мясо и крепкий кофе. И — кутить так кутить — я взял по бутерброду с черной икрой и немного сухого вина.

Меня все радовало: и что день удачно складывается, и что мы вместе и вольны, но всего больше — что в кафе пусто.

Пожилая буфетчица смотрела на меня одобрительно — хороший парнишка (это я) познакомился с молодой женщиной (явно не женой, иначе чего это брать икру и сухое вино) и оформил хороший заказ.

А мы смотрели друг на друга, взгляд Наташи был нежен, она, несомненно, рада этой поездке, и она села удобней, подперев щеку ладонью, а буфетчица, женщина деликатная, ушла, предоставив молодежи рассматривать друг друга до опупения; и тогда я протянул руку и коснулся Наташиной щеки, и она задержала мою ладонь, склонив щеку к плечу, и как всегда я умилился, какая у нее тонкая кожа — такая нежная, что потом, когда останусь один, долго ощущаю кончиками пальцев память о ее коже.

— Все хорошо? — тихо спросил я.

— Да. Все замечательно.

К электричке мы шли не по широкому шоссе, но почему-то по узкой боковой аллее, и заблудились, и уже шли наугад, на шум поездов.

Мы были столь счастливы, что шли и в голос пели. В это даже и поверить трудно, но пели мы «Ромашки спрятались, поникли лютики», и «В Москве, в отдаленном районе», и «Вот кто-то с горочки спустился». Пели как бы на полном серьезе, в голос и с надрывом, и от этого серьеза было особенно весело.

Но внезапно все пространства захлопнула фиолетовая разбухшая туча, и сразу потемнело, и сумерки вспорола яркая молния, качнулась вдали земля, загремел гром, и на нас хлынули такие потоки воды, словно мы живем не в северных местах, но исключительно в тропиках.

Доставать зонт не имело смысла — мы враз вымокли, и тогда встали под ближайшую сосну; я обнял Наташу, чтоб хоть как-то защитить ее от небесных потоков, и она зачарованно смотрела на зигзаги молний, и глаза ее то вспыхивали малиновым огнем, то разом гасли.

— Ах, девочка, я так тебя люблю,— на сдавленном скрипучем всхлипе сказал я.

— И я. Да как! — тихо и очень серьезно сказала она.

И это большая беда.

10

Прошло месяца четыре, как Алферова назначили нашим заведующим, и к этому времени я начал понимать, что он не очень-то и справляется с работой.

Нет, пожаловаться на его отношение ко мне я не мог — свое уважение он всячески обозначал, и мы с ним очень и очень ладили.

Но в работе он был как раз не очень-то хорош.

Конечно, накладки и проколы бывали и при Ларисе Павловне, но ведь всегда надеешься на лучшее. Да прежде и не бывало, чтоб мы на два-три дня остались без основных лекарств.

Словом, с главным — с машинами и лекарствами — стало хуже.

И раньше, разумеется, машина могла сломаться и весь день стоять на яме — как без этого. Но к неизбежным поломкам прибавился и прямой грабеж. Вот отвезти в район бригаду переливания крови, или сломалась в участковой больнице машина — на день берут нашу.

А ведь и прежде существовали выезды в район, но как-то обходилось без «Скорой помощи». Теперь, получается, можно грабить.

Алферов боялся требовать что-то у главврача и, если тот посылал нашу машину на иные работы, не мог отказать.

Думаю, главврач был им доволен: вот хотел ручного заведующего на оставшиеся до пенсии годы, чтоб зря не дергал и не возникал понапрасну, такого и получил.

Меня-то, по правде говоря, не особенно заботило, хороший характер у Алферова или так себе, но когда начала страдать работа, я, разумеется, помалкивать не стал.

Несколько раз — с глазу на глаз — разговаривал с Алферовым.

— Так ведь нельзя, Олег Петрович, воскресный день, полно дачников — и оставлять машину с двадцатью литрами бензина.

— Вы правы, Всеволод Сергеевич, виноват завгар. Еще раз провинится — напишу докладную.

Или:

— Разве это дело, что врач «Скорой помощи» ходит по отделениям и, пользуясь старой дружбой, клянчит сердечные средства?

— Нет, не дело, Всеволод Сергеевич. Виновата старший фельдшер. Спросим с нее строго. Вы сами понимаете — нужно время. Все наладим.

Время шло, лучше не становилось, и я понял бесполезность келейных разговоров.

Как-то на собрании Алферов в очередной раз говорил об укреплении дисциплины, и он на память шпарил, кто и когда опоздал, чем производил, конечно же, хорошее впечатление.

— Курс на укрепление дисциплины — не временная кампания. Это я вам точно говорю,— закончил он.

Нет, опаздывающих я и сам не люблю, а ходьбу по магазинам в рабочее время считаю безобразием, но меня удивило вот это высокомерное «это я вам точно говорю», словно бы он — человек государственный и знает что-то такое, что и в газетах-то не пишется.

Так, на лекциях по международному положению лектор, сообщив некий фактик, доверительно говорит слушателям: «Ну, это между нами, мол, государственная тайна». Но у лектора это ловкий прием, а у Алферова — высокомерие.

Я взял слово и, поведя рукой на графики, сказал, что это все хорошо и красиво, но больным от наших планов не легче. Им куда важнее, чтоб мы приезжали побыстрее да пользовались хорошими лекарствами.

— Скажите, Олег Петрович, сколько нам положено машин?

— Вы же сами знаете — восемь,— с некоторым раздражением ответил Алферов.

Он, конечно же, не ожидал моего нападения, считалось, что мы живем душа в душу.

— Восемь, как минимум. Со штатами, разумеется. А у нас в лучшем случае пять. Это если исправны, не забирают в район и на хозяйственные нужды. Так когда вы пробьете эти машины?

Понятно, стало тихо, запахло скандальчиком — это ведь не шутка, сказать начальнику, что он занимается чепухой, а о главном деле забыл.

Надо признать, вел себя Алферов замечательно. Слушая меня, он сочувственно кивал головой, потом понимающе улыбнулся, да ласково, словно неразумному ребенку, объяснил:

— Неужели вы думаете, Всеволод Сергеевич, что я не разговаривал с главврачом? Он знает наши трудности. Но скажите, почему мы должны все

выколачивать да выдирать. Ведь мы врачи, а не добытчики. Если положено, то отдай. Но вы правы — я снова и снова буду выбивать машины.

Конечно, приделал он меня ловко. Ведь со стороны как все выглядело — вот один рвался на скандал, а другой пригасил все улыбкой, спустил на тормозах и выиграл. А потому что начальник и должен вести себя умнее, чем некоторые подчиненные.

А я-то наивно надеялся, что меня поддержат, и промахнулся. А потому, что в благодушии своем пребывая, не заметил, что времена переменились. Уверен был, что хоть Елена Васильевна меня поддержит. Был у меня такой расчет: хотел показать Алферову, что не я один недоволен его работой.

Надежда Андреевна, старшая смены, горой за Алферова, слова худого не даст о нем сказать. Пожилая одинокая женщина, она несколько лет на пенсии, но работу не сокращает, даже теряя в деньгах. Скучно ей дома, только и радости, что работа.

Алферов постоянно советуется с ней, так что в собственных глазах чуть ли не она сама руководит «Скорой помощью».

На ее поддержку я и не рассчитывал, но молчание Елены Васильевны удивило меня.

И я сказал после собрания:

— Мне непонятно ваше молчание, Елена Васильевна. Дело ведь некудышно поставлено.

— Как-то, знаете, не сориентировалась,— смешалась она и заспешила домой.

Вот только тут (а надо было раньше) я вспомнил, что в последнее время Елена Васильевна, по крайней мере внешне, изменила свое отношение к Алферову. Прежде суховатая, насмешливая, теперь она слишком уж почтительна с Алферовым, чуть ли не щебечет с ним, как восторженная студентка-практикантка.

Все прояснилось через час, когда Елена Васильевна снова пришла на «Скорую». Она отозвала меня и, нервничая, торопливо оправдывалась:

— Ночь была плохая, а пришла домой и не могу спать. Лежу и реву. Да что ж это за жизнь — от каждого зависишь. Даже от Алферова. Ведь он не хотел давать мне заместительство. А у меня последний год.

Тут опять тонкости и тонкости нашего быта: заместительство идет к пенсии, а совместительство нет. Одна работа, но какие тонкости. В последний год перед пенсией люди и стараются прихватывать все, что можно — заместительство, праздничные (тут двойная оплата, она идет к пенсии).

— Более того, он сказал, что и совместительства не даст. Говорит, вы немолоды и следует заботиться о вашем здоровье. Но стоило мне подольститься к нему, как он тут же дал заместительство. Крупный педагог.

— Все в порядке, Елена Васильевна. Пенсия — дело святое. Последний год кормит всю жизнь.

Так вы не сердитесь? — обрадовалась она.

Ну, что вы, как можно?

Так начался новый период в нашей жизни.

Это было придумано очень и очень неглупо.

Все дело в том, что на «Скорой» работают люди наименее из всех медиков обеспеченные. Оно и понятно: если у женщины муж хорошо зарабатывает, так она найдет себе что-либо полегче. А то ведь дом на сутки брошен. Тут или муж мало зарабатывает, или он пьет, или его нет вовсе. У нас три фельдшера матери-одиночки. В самом деле, не из любви же к медицине они берут по десять суток в месяц — жизнь хватает довольно-таки мозолистой рукой.

И если на этот рычажок — материальный — нажимать, добиться можно многого.

Тут что было главное в оценке — уважительное или нет отношение к начальству. Уважительное — на! совмещай! — неуважительное — подумай о своем поведении.

И здесь никакой профсоюз не защитит. Совместительство — это целиком

на усмотрении заведующего. Это как бы награда за хороший труд на основной ставке. И на любую жалобу Алферов ответит — вы на основной ставке работаете не так хорошо, как хотелось бы и как вы можете.

И это было внове для всех. Никогда Лариса Павловна не отказывала в совместительстве. Конечно, если такая возможность есть. А возможность есть всегда — кто-то болен, или в отпуске, или в декрете. Могли с Ларисой Павловной накалиться до слез — на то и женский коллектив, но на заработках это не отражалось. А потому что обиды обидами, но на первом месте работа, на вызовы-то кто-то должен ездить, и потому свободное место надо занять.

Теперь, однако, пришли иные времена.

Правда, меня Алферов не трогал, мол, не даст совместительства: понимал, что этим меня не достать. Конечно, восемьдесят рублей в месяц — удар по семейному бюджету, но удар переносимый.

Нет, Алферов цеплял тех, кто без дополнительного заработка не мог прожить. И надо сказать прямо, своего он добился быстро.

Даже и опытные врачи в разговоре между собой (но при Алферове, конечно) могли заметить: а Олег Петрович сказал то-то (значит, тут и обсуждать нечего, последняя инстанция!).

А те, кто не могли сюсюкать, похваливать и прилаживаться к Алферову, те ушли. Ценили свое умение, знали, что опытных работников на всех станциях не хватает.

То было большое бегство. И что характерно: уходили как раз лучшие, самые грамотные и толковые. Что, конечно, подтверждает старую истину: лучшие не хотят приспосабливаться к изменениям окружающей среды.

Особенно мне жаль было, что уходит Катя, превосходный фельдшер, толковее многих врачей, молодая мать-одиночка.

Я отговаривал ее.

— Я и месяца не могу без совместительства,— оправдывалась Катя — первые свои шаги она делала в моей смене.— Я ведь вся в долгах,— мебель и телик взяла в кредит полгода назад (она получила однокомнатную квартиру). Я не могу ему кланяться, просила и плакала, а он не дает заработать. Подхалимничать я не умею. Не уважаю я его, Всеволод Сергеевич. Вот увидите — вы тоже скоро сбежите.

И что удивительно — Алферов никого не удерживал. Все оформлялись переводом, то есть им не надо было отрабатывать положенные два месяца. Хотите уходить? Уходите, плакать не станем, незаменимых людей, уверяю вас, нет.

И вместо ушедших опытных фельдшеров Алферов помаленьку набирал девочек — выпускниц училища. То есть мы в среднем настолько омолодились, что еще немного, и станем детским садом.

У меня даже складывалось впечатление, что Алферов был рад уходу прежних работников (почему и оформлял их переводом). На мой-то взгляд, он вообще бы хотел набрать новых людей, чтоб они не помнили его, прежнего.

И с каким же наслаждением поучал он девочек, как строг был при этом и торжествен, как проникновенно говорил о смысле нашей работы.

И с каким восторгом внимали девочки — о, первый учитель. Так что если Алферов всего более добивался уважения, то с девочками все было в порядке — они уважали его безоглядно.

Да, но это на бумаге все выглядит так просто — опытные ушли, девочки пришли. В жизни чуть сложнее: сперва Алферов некоторым не дал совместительство, потом недовольные ушли, а неопытные пришли. Но ведь это все не в один день. А смены-то заполнять надо каждый день. И делалось это с невероятным трудом. Были сутки, когда на пяти машинах мы работали втроем. А это жаркое лето, и много дачников, это был просто какой-то обвал.

Две недели я терпел, а потом не выдержал.

Помню, привез в детское отделение ребенка. А в ординаторской сидит молоденькая докторица и горько плачет.

— Что случилось, Алла Павловна? — спросил.
— Ночью умерла четырехмесячная девочка.
— А что с ней?
— Пневмония.
— Мы привезли? — это во мне заворочался профессионал.
— Вы.
— И когда?
— Вчера.

Стыдно признаться, но у меня отлегло от сердца — привезли не сегодня и, следовательно, не в мою смену.

Рассуждения молодого педиатра о тонкостях медицины

Да, представьте себе, девочку пневмония спалила за день. Заболела утром, а к нам привезли только вечером. Из района. То ли у них машины нет, то ли она на ремонте, не знаю. К двенадцати часам дозвонились до «Скорой». А там говорят, что с людьми напряженка, будет ходка в ваш угол, прихватим и девочку. В общем, привезли только к четырем часам. А девочка без сознания. А я дежурю. Вот всех созвала, делали, что могли, нет, правда. Я даже из областной больницы реанимационную бригаду вызывала. Думала, сразу приедут и увезут. Но они там парами дежурят, и врач говорит, что сейчас она не может выехать. Отделение оставить она не имеет права, а ее напарник сейчас на первенстве городских больниц по шахматам. Подмениться он не сумел, но как сыграет свое, я сразу к вам. Она приехала к одиннадцати часам. Ну, пока напарник сыграл партию, да пока разобрал ее с противником, да пока добрался до больницы. Приехала к нам реаниматолог, а девочка уже почти не дышит. Куда ее везти? Нельзя ее везти — нетранспортабельна. Их понять можно — к чему им лишняя смерть. Их главврач спросит на пятиминутке — видели, что помирает, чего ж хватали? Словом, нетранспортабельна. Нет, ничего не скажу, работали мы с ней много. А только в первом часу девочка померла. Говорю доктору — вот я второй год всего работаю, так все ли правильно сделано. Все правильно, девочка, так по-доброму говорит она. Вот только «скорая» должна была сдать ребенка в Губинскую больницу, раз проезжала мимо. Это неважно, что от них до вас всего пятнадцать минут езды — такой порядок: тяжелого больного — в ближайшую больницу. Вот именно здесь у вас и прокол.

Я спросил у Алферова, знает ли он об этом случае.

— Еще бы! Уже шум поднялся. Тут сомнения нет — виноват диспетчер. Машину надо было посылать сразу.

Это он имел в виду, что диспетчеру объявят выговор.

— Конечно, диспетчер виноват,— согласился я,— но у них в смене работало четыре человека. Значит, некого было послать. У нас же теперь смены не закрываются. Вы же не всем даете совмещать, а только по выбору. Да уволились.

— Набираем новых людей.
— Да в отпуске.
— А вы хотите, чтоб я не пускал людей в летнее время? — раздраженно спросил Алферов.

Вот это раздражение было внове для меня — со мной он всегда разговаривал предупредительно и во всяком случае вежливо.

— Отпуск отпуском, но смены должны быть укомплектованы,— твердо сказал я.— А уж как, это ваша забота.

Он поборол раздражение и с демонстративной ласковостью спросил:

— Ваша смена сегодня укомплектована?
— Сегодня — да. Но на прошлой неделе — ни разу.
— Но сегодня укомплектована?
— Сегодня укомплектована,— согласился я.
— Вот и хорошо,— проворковал Алферов и ушел к себе.

Не захотел разговаривать со мной — каждый сверчок знай свой шесток. Думай только о своей смене, о всей службе есть кому позаботиться.

Но я думал иначе — меня касалась не только работа моей смены, но и работа всей «Скорой помощи». Надеюсь, имею право так думать — двадцать лет, второй дом, можно сказать прямо.

Дальше я терпеть не мог, понимал, что Алферов развалит работу начисто. И я пошел к главврачу.

Разумеется, понимал, что Алферов рассердится, что вот я побежал жаловаться, возможно, и не простит мне этого, но скажу себе очередное похвальное слово — работа мне все же дороже хороших отношений с начальством.

Главврач был на месте.

— Десять минут, Алексей Федорович,— попросил я.
— Давайте.
— Все очень просто: Алферов разогнал лучших работников.

Он поморщился так, словно во рту у него была неспелая клюква.

— Сильно сказано, Всеволод Сергеевич. Алферов не может ни увольнять, ни набирать. Да и где же — лучшие ушли? Вы, Елена Васильевна, Надежда Андреевна — все на месте. Одни люди уходят, другие приходят. Что вас не устраивает?

— Но коллектив складывается годами, а теперь его разрушают.

Он осторожно, словно боясь обжечься, ощупал гладко бритый череп.

— Это неизбежно, когда приходит новый руководитель,— философски заметил главврач, и я пожалел, что пришел к нему — он будет поддерживать Алферова.— У вас повысились требования. И уходят те, кто ищет, где лучше. Таких людей мы не держим. Нам дороги патриоты своей работы. Но, заметьте, никому мы не стали вредить, всех оформили переводом. Пришли, Всеволод Сергеевич, новые люди, вы их обучите, вот и сложится новый коллектив. Да, именно так.

— Но у нас не закрываются смены.
— Работать трудно? — излишне ласково спросил главврач.
— Не только в этом дело: выезжаем с опозданием, будут проколы и, соответственно, жалобы.
— Хорошо, с графиками я разберусь,— бегло сказал главврач.

Он помолчал, подлавливая нужное настроение. Наконец поймал. Заговорил тихо, элегически:

— А мне он нравится, ваш Алферов. Не суетится, не лезет на рожон. Не дерет горло на медсоветах. Требовательный? Да. Укрепляет дисциплину? Тоже да. А недовольные — они всегда найдутся. Мы с вами столько повидали людей, что несколькими фельдшерами больше, несколькими меньше — нас ничем не удивишь.

Это он убаюкивал меня элегическим тоном — ну, доверительность старшего товарища, соучастника, можно сказать, битв за здоровье человека, боевого, скажем привычно, друга, и мне стало ясно, что продолжать разговор не имеет смысла.

А потому что они друг друга устраивают: одному нужен предпенсионный покой, а другой хочет быть бесконтрольным хозяином. Они близки по отношению к делу — им свои ощущения важнее конечного результата работы.

И я ушел, ругая себя за глупость. Позабыл старую истину: не уверен в победе, не суйся — первая заповедь умного человека.

Все же некоторая польза от нашего разговора была: желая избежать будущих жалоб (тут он моим предчувствиям доверял), главврач попросил Алферова принести график дежурств и велел укомплектовать смены полностью. Разумеется, не скрывал и наш с ним разговор — станет он с нами чикаться.

Алферов вынужден был подчиниться и прекратил свой экономический эксперимент, стал давать совместительства всем желающим.

Однако очень рассердился на мой заход к главврачу и начал ко мне цепляться. О нет, все вежливо, с прежним подчеркнутым уважением. Но цеплять начал — это несомненно. Нет, конечно, не мелкие придирки или замечания при всех — этого не было.

А только стал более внимательно просматривать мои листки. Однажды на пятиминутке спросил, зачем я сделал то-то и то-то, а не лучше ли было бы сделать вот то-то.

И это он напрасно: два года назад я прошел курсы кардиологии — четыре месяца теоретических занятий, так что академические выкладки выветрились у меня не вполне.

Я объяснил, какие были показания, и Алферов удовлетворенно кивнул. И поступил правильно — в теории он слабее меня, и все это знали.

А то спрашивает:

— А почему вы сделали наркотик? Сейчас с наркотиками строго.

— Вы посмотрите, я все расписал. Начинал же я не с наркотиков. Но там почечная колика, и ничто не помогало.

— Все верно, Всеволод Сергеевич,— он снова был удовлетворен моим ответом.

Как-то позвонила пожилая женщина-сердечница — я много раз бывал у нее на вызове — и попросила, чтобы я приехал. У нее очень болит спина. Да так просила, что было не отказать. Ну, вот только вы, Всеволод Сергеевич, и все такое. И время как раз было спокойное, и я велел Зине записать вызов.

Там ничего особенного — радикулит. Вызов занял пятнадцать минут, я о нем сразу забыл.

Алферов же перед отходом домой вошел в диспетчерскую и начал просматривать журнал вызовов.

— Дайте мне листок,— попросил диспетчера.

Зина подала листок. Там диагноз — радикулит, и укол — баралгин.

— Зина, вы почему бригаде записали этот вызов? — спросил строго.

— Всеволод Сергеевич велел.

— Всеволод Сергеевич, вы почему поехали на этот вызов? — с металлом в голосе.

— Да как-то, знаете, было не отказать. У нее несколько раз снимал сердечную астму.

— Всеволод Сергеевич, вы же понимаете, что это не дело. У вас спецмашина с дорогим оборудованием. Это, простите за сравнение, все равно что гвозди забивать электронным микроскопом (образное сравнение, не правда ли, свежее, главное).

Конечно, мне бы ответить, что не знал, что там, думал, сердечные боли, вот и поехал. Но что-то засело во мне, не хотел оправдываться, и все тут. Не мальчик, чтобы суетиться перед начальством. Да я и мальчиком-то не суетился.

Тем более, что ни в чем не виноват — боль была такая, что запросто могла перейти в сердечный приступ. Но оправдываться я не стал.

— Я ведь сколько раз говорил — кардиологическую бригаду только на сложные вызова. А радикулит по силам и фельдшеру. Случись что-то сложное, а где бригада? А бригада на радикулите.

— Все понятно, Олег Петрович,— начал заводиться я,— мы ведь тоже делом занимались. Я не за башмаками стоял, а ездил к хронической больной.

— Вы, Всеволод Сергеевич, сами подрываете авторитет бригады. Поэтому со следующего дежурства вы садитесь на простую машину, а в бригаде будет Федорова. Светлана Васильевна,— повернулся он к Федоровой,— примете бригаду и будете старшей смены, соответственно.

Федорова, конечно, смешалась, вспыхнула:

— Что вы, Олег Петрович, я не буду. И не хочу. Да и не смогу.

— А у нас, Светлана Васильевна, здесь, между прочим, не детский сад — не хочу туда, хочу сюда. Куда вас поставят, там и будете работать,— Алферов говорил строго, и это было правильно — мол, Федорова подчинилась силе.

Но вместе с тем ему, видно, не хотелось, чтоб Федорова считала себя жертвой, и он уже мягко, по-отечески добавил:

— Если будет трудно, всегда зовите Всеволода Сергеевича. Он был вашим наставником, и вам еще у него учиться и учиться.

И на этом Алферов ушел.

Федорова была в растерянности.

— Как же так, Всеволод Сергеевич. Я не могу на ваше место. Да и не справлюсь. Схожу к главному и откажусь.

— Вы никуда не ходите. Наш лозунг — «Выдвигать молодежь», вот вас и выдвинули. И вы справитесь. В самом деле, если что, выручим. А жаловаться тут не на что. Расстановкой сотрудников занимается только заведующий. Я ведь даже в зарплате не потерял — на что же жаловаться? А вы будете стараться и справитесь.

Признаться, я и сейчас понять не могу, зачем он меня из бригады вытурил. Знал ведь, что для работы это хуже. Значит, были у него иные заботы, помимо рабочих. Какие-то мотивы ведь были. Это уж слишком просто: вот я пожаловался на него, он рассердился и наказал меня. Нет, слишком просто. Мотивы были.

Он, к примеру, убивал сразу двух зайцев. Как-то он при всех обидел Федорову, теперь же, выдвинув ее, тем самым обозначил, что признал свою ошибку. Не кается громко, но ошибку-то признал. А потому что справедливость превыше всего. И коллектив это верно оценит.

И второе. Он смахнул меня и тем самым показал, кто подлинный лидер. Вот щелкнул Всеволода Сергеевича, и что же? Что-нибудь случилось? Кто-нибудь протестовал? Да никто и не пикнет в его защиту. И, наконец, это другим урок: не бегай жаловаться, у Алферова рука твердая. Смахнул Всеволода Сергеевича, смахнет и любого.

Как бы там он ни рассчитывал, а только ровным счетом ничего не случилось. Коллеги так это глухо пороптали, мол, опыт теперь ничего не стоит, да и то, думаю, это лишь при мне, чтоб сочувствие выказать. О возмущениях на пятиминутке — и говорить нечего. Ничегошеньки. Щелкнул человека, и все тихо.

Лукавить не буду, чувствовал себя униженным. Все-таки впервые в жизни меня высекли. Да при всех. Нет, я, понятно, не заблуждался, есть ли незаменимые или их нет, тут все понятно. Но вот так, за несколько минут сместить с привычной работы — и ничего не случилось.

Я-то любил иной раз объяснить, почему работа мне нравится. А потому как раз, что, по закону Паркинсона, достиг уровня своей компетентности. Не выше и не ниже. И на этом уровне я собирался держаться всю оставшуюся жизнь.

И я знал, что кто-то заплатит за то, что на вызов приедет не опытный врач, а Федорова. Она, несомненно, толковая, но, по-хорошему, ей еще три-четыре года поработать линейным врачом, потом пройти курсы кардиологии, вот тогда можно и спецбригаду возглавить. Ведь растеряется в сложном случае, а это все платы и платы. И что удивительно — платит-то больной, а не человек, затевающий эксперименты.

После смены все мы пошли в Дом культуры на торжественное заседание — близился медицинский праздник. Да, в Доме культуры, а не в красном уголке больницы, то есть торжественность по высшему разряду. Будет кто-то из городского начальства, и, следовательно, всех станут только хвалить, ругать не будут.

Так-то я на общебольничные собрания не хожу — и своих хватает. Но Алферов дважды строго всем велел быть.

А Дом культуры полон — на такие собрания ходят охотно. Во-первых, каждый ожидает благодарности, а во-вторых, это единственная возможность у женщин показать коллегам новые платья.

О, эта тишина в зале, когда начинают объявлять благодарности, о, это томление на лицах — а мне же когда? — и какие случаются обиды, сцены и упреки, когда благодарность не объявят. Вроде, смотришь, человек не честолюбив и в меру тщеславен, но каким же гневом пылают его глаза, когда он при всех выговаривает ближайшему начальнику, что вот-де, пашешь сутками, отдыха не знаешь, и жалобы, что характерно, ну, ни одной, и что же за это — шиш сплошной? Да, шиш сплошной. Вот теперь ночами вызывайте тех, кому шиш не вполне сплошной.

Но это позже, а сейчас шелест ожидания, ахи да охи в вестибюле — приехали-то люди из всех больниц района, ах, сколько лет и сколько зим, и прекрасно выглядите, и все такое.

Но вот все расселись, и наступила тишина, и занял место президиум — его никто не избирал, сели те, кому положено.

И вдруг, без всякого предупреждения на сцену вышел крепкий бритоголовый мужчина, и он с пафосом рассказал нам, как в военное лихолетье защищали наши места. Говорил он, надо сказать, хорошо, но все-таки по залу пошел шепоток — звали порадовать, а он снова про горестное напоминает.

Я сидел рядом с Колей, заведующим хирургическим отделением.

— Кто это? — спросил я.

— Председатель совета ветеранов. Им в каждом подразделении нужно провести собрание — отчет о проделанной работе. Мы уже собрались, так в другой раз нас и собирать не надо.

Мужчина выступал минут сорок (и хорошо выступал, повторю), а потом уже и наш главврач вышел. Ну, думаю, сейчас скорехонько к делу приступит. А он стал читать про достижения медицины. Да так, на удивление, убедительно, что я поддался его напору и вспомнил, какой была «Скорая помощь», когда я пришел впервые на работу.

Нет, что ни говори, а прогресс несомненный. Тогда было две машины — старый ГАЗ, на таких сейчас пьяных свозят в вытрезвитель, и старая же «Волга». В смене было два человека. Какие там бригады! Об аппаратуре мы и не слышали. Кислородная подушка и шины — вот вся наша аппаратура. Где-то там, в каких-то академиях, догадывались мы, люди смотрят ленты и по ним определяют, есть у человека инфаркт или нет.

А сейчас пять машин и кардиологические бригады, и наркозный аппарат, у меня в машине даже дефибриллятор стоит. Да каждый умеет делать электрокардиограммы. Нет, скачок невероятный, и это за жизнь одного поколения.

— Забавную западную книжку читал,— шепнул мне Коля.— Там сказано, что иногда начальником нарочно назначают убогонького.

— А зачем?

— Ну, это понятно. Мы-то привычно считаем его убогоньким, и вдруг на собрании он торжественно заявляет, что дважды два — четыре. Ну, мы и ахаем от изумления — вот те на, наш-то каков, убогонький-убогонький, а чешет, что твой академик.

— Ну, наш-то орел.

— О, орел.

Да, орел-то орел, но он все берет и берет разгон, еще и не думая переходить к конкретному полету, а я, напомню, после суток, и так меня сморило в торжественной темноте, что я клюнул спинку впереди стоящего кресла.

— Ну, не могу,— пожаловался Коле.

— А ты сваливай.

Согнувшись, я пошел по ряду к выходу.

Вдруг у самой двери меня кто-то ласково спросил:

— А вы куда, Всеволод Сергеевич?

И так меня разморил этот ласковый женский голос, что я бухнул:

— Не могу. После ночи. Голова трещит от этой фигни.

А голову поднял, вижу — начмед сидит. Она, поди, и села у самой двери, чтоб до окончания речи главного никто не посмел усквозить. Однако выпустила меня.

А когда я шел на очередное дежурство, меня догнала Валя, девочка из канцелярии.

— Начмед вами недовольна,— шутливо сказала она.

— А в чем дело?

— А вы почему ушли с доклада, назвав его фигней?

— А начмеду-то что?

— Как это что? Она же доклад писала. Она все доклады главному пишет.

Окончание следует

Нора ЯВОРСКАЯ

Из цикла «ОТЦОВСКИЕ ШРАМЫ»

Памяти моего отца
Роберта Яковлевича Крусткална,
участника гражданской войны,
латышского стрелка,
красного партизана

ЧЕРНЫЙ ВОРОН

Ее прозвали «черным вороном»,
машину памятную эту.
Ей власть дана была
над городом
от полночи и до рассвета.

Она,
скользя сквозь тьму тревожную,
как бы высматривала что-то.
Ее заметив,
осторожные
спешили скрыться за ворота.

Калитку притворив скрипучую,
вздыхали с облегченьем:
«Мимо...»

Но для кого-то
в каждом случае
беда была неотвратима.

И где-то звякали засовами,
подняв хозяина с постели...
И становились жёны вдовами,
а ребятишки сиротели.

И лишь доносчики всесильные
в тот черный год спокойно спали.
И пятна на руках
чернильные
как пятна крови проступали.

1962

ПЕРЕДАЧИ

1

Мама в очередь уходит.
Возле каменной тюрьмы
день проводит при народе
до кромешной тьмы.

При народе, где подряд
у всех глаза заплаканы,
где почти не говорят,—
все слова запрятаны.

Где приплясом греют ноги,
лица кутают в платок,
обмирают от тревоги,—
вдруг не примут узелок.

Налегке вернется мать —
значит удача,
есть кому передавать
пока передачи.

Только шаг у нее
тяжелей вдвое,—
навалилось на свое
горе чужое.

2

Вот берет меня с собой
мама для опоры
в дом, где сведены судьбой
честные и воры.

Часовой истуканом
в коридоре гулком.
В окошке за титаном
разламывают булку.

Колбасу — на куски,—
нет ли записки,
слов любви и тоски,
весточки от близких.

Двери хлопают где-то,
будто лают...
Это
детство мое
ломают.

1962

МОЙ БРАТ ИДЕТ НА ФРОНТ

Так от века положено:
сынам — отцов заменять.
Братишке рюкзак дорожный
в слезах собирает мать.

Вскочив поутру с постели,
брат начинает шуметь,
как в детстве,
когда хотели
ему галоши надеть.

Носки шерстяные — выкидывает,
белье с начесом — выкидывает,
и свитер теплый — выкидывает...
«Все это одни излишества!
Я, мамочка, не ишак!»
Кладет он в рюкзак мальчишество,
кладет он в рюкзак неопытность,
кладет он в рюкзак несобранность,
незрелость кладет в рюкзак...

В расстройстве, среди бедлама
опять вспоминает мама,
как собирала когда-то
в поход моего отца.
В поход — своего законного,
в огне атак закаленного,
опытного солдата,
обстрелянного бойца...

Где он?
В краях острожных,
наглухо отгороженный
от жизни людской,
от права
идти за родину в бой,
молчит он, бессильем мучимый:
проволока колючая —
и впереди, и справа,
и слева, и за спиной.

1962

◻ ◻ ◻

Сибирь, Сибирь... С тобою счеты
не мне сводить, но все равно
твои долготы и широты
на сердце у меня давно.
Я все судила, все рядила —
кому почем твое жилье...
Есть у тебя одна могила.
Где? Где ты спрятала ее?
Под елями какой чащобы?
У речки или у ручья?
С какой землей сравняла, чтобы
никто вовек не ведал — чья?

Ты неулыбчиво и строго
в лицо мне смотришь неспроста:
«Да, у меня их было много,
кто без надгробья, без креста...
Я клала их в песок и глину.
И каждый был мне — кровный сын...»
И ты горой горбатишь спину,
натруженную до плешин.
И не кричу я «Где расплата?»,
Ты — все понятней, все родней.
Ну что ж — земля не виновата
в том, как владычили на ней.

1964

◻ ◻ ◻

Ночью меня уколола синяя лунная спица.
К маме тихонько иду — посмотреть, как ей дышится, спится.
Вижу: не спит — подтянув к подбородку колени, сидит на кровати,
серая мышка, в теплом платке, в душегрейке на вате.
Одеяло, подушку, одежонку какую-то в узел связала,
крепко к боку прижала, будто бы в зале вокзала.
Меня услыхала, узнала, встрепенулась, как птица:
«Доченька, ты?! Слава богу, успеем проститься!»
Тень решеткой отбросила на пол оконная рама...
«Отчего ты не спишь? Что за узел в руках твоих, мама?»
«Там... за мною пришли... увезти меня... Вещи — в дорогу...
С черным верхом машина — ты слышишь! — уже подкатила к порогу...»
И от жалости острой мороз у меня пробегает по коже.
«Что ты, мамочка! Кто же?! Зачем же тебя-то?! За что же?!
Ты нужна только нам — мне, и аятю, и внуку...»
Я целую пергамент щеки и дрожащую легкую руку.
Я постель застилаю. Как ребенка, маму качаю.
Лампу ярче включаю. Наливаю из термоса чаю.
Грелка... Сердечные капли... Снотворное... Глажу бесплотные плечи...
Ла́скою маму от прошлого лечим — больше ведь нечем...
Это тридцать седьмой, чего не добрал — добирает.
Мертвою хваткой вцепился... А мама и так умирает.

1982

Юлиан СЕМЕНОВ

НЕнаписанные романы

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Хочу предложить вниманию читателей короткие сюжеты из «Ненаписанных романов», которые уже никогда не станут романами: не успею, увы.

В новеллах, которые я предлагаю вниманию читателя, нет вымысла: они построены на встречах с живыми свидетелями и участниками описываемых событий.

Литератор не прокурор. Он имеет право на свою версию истории, хотя высшее право беспристрастного судьи присуще именно Истории. Стремление к однозначным оценкам скрывает неуверенность в себе или страх перед *мыслью*. Лишь те выводы, к которым человек приходит самостоятельно, единственно и формируют его нравственную позицию.

Главное, что меня занимало, когда я работал над этой вещью,— это проблема неограниченной власти в годы, именуемые сейчас периодом культа личности.

Механика такого рода власти, ее непреклонная и неконтролируемая воля, низводящая гражданина великой державы до уровня «винтика», вот что трагично и тревожно, вот что следует в первую очередь анализировать — без гнева и пристрастия.

Понимание такого рода феномена должно помочь наработать в каждом из нас гражданское противодействие даже легчайшим рецидивам возможности возрождения чего-либо подобного в той или иной форме.

1

Сталин читал работы Сергея Булгакова еще до того, как тот был выслан в Париж и стал протоиереем; и строй рассуждений философа казался ему любопытным, в нем не было ничего от убеждающе-стремительной легкости Бердяева, которая болезненно его раздражала, потому что в ней он чувствовал нечто похожее на стиль Троцкого,— такая же парадоксальность, раскованность, блеск; естественно, это привлекает к нему широкого читателя, жаль.

Булгаков был ближе к надежной теологической доказательности; очень русский, оттого постоянно искал исток духовности и правды; именно у него Сталин как-то прочитал длинную цитату из Библии без сноски на страницу; это помогло ему на диспуте с лидером меньшевиков Ноем Жордания: когда стало очевидно, что легендарный «Костров» берет над ним верх, Сталин процитировал пассаж, абсолютно подтверждавший его правоту, сказав слушателям, что он оперировал выдержкой из Маркса,— это и решило исход дела; изумленный Авель Енукидзе спросил: «Из какой работы ты это взял, Коба?» Сталин усмехнулся: «Пусть ищут, откуда я знаю? Главное — сделано, люди пошли за нами».

Поэтому, узнав, что Политпросвет не разрешает МХАТу показ пьесы Михаила Булгакова,— как говорят, родственника столь уважаемого им православного философа,— Сталин попросил Мехлиса позвонить Луначарскому и предупредить наркома, чтобы без его, Сталина, посещения театра окончательного решения по пьесе не принимать: «хочу посмотреть сам».

...Он тяжко страдал от того, что в свое время высказался против привлечения Троцким военспецов в Красную Армию: «Опасно давать командирские звания бывшим офицерам-золотопогонникам; сколько волка ни корми — в лес смотрит!» Он полагал, что его поддержат Дзержинский, первый красный главком Крыленко, Антонов-Овсеенко с Раскольниковым, Невским, Дыбенко и Подвойским: не могут же первые на-

родные комиссары Армии и Флота так легко уступить свое место «команде» Троцкого, все же каждым движет не только понятие чести за содеянное, но и память, неужели так легко отдадут то, что по праву принадлежит им?

Однако и Подвойский, и Крыленко с Раскольниковым, и Дыбенко с Антоновым-Овсеенко согласились с доводами Троцкого; наверняка запомнили его, Сталина, возражение, именно поэтому, вероятно, главком Вацетис и его штаб так настороженно относились к нему во время сражения против Колчака.

...Время кидать камни и время собирать камни, воистину так. Сейчас, когда Троцкий, Каменев и Зиновьев потеряли свои позиции в ЦК, именно он, Сталин, должен приблизить к себе буржуазных спецов в сфере культуры; Горький позволил себе стать эмигрантом; таким образом его детище, ЦЕКУБУ[1] вполне может послужить его, Сталина, целям: буржуазные деятели культуры — при том, что маскируются,— таят в себе заряд русской государственной идеи, а это надежный заслон против «мировой революции» Троцкого и иже с ним; русский народ не сможет не оценить этого — в будущем, понятно; торопиться негоже, выдержка и еще раз выдержка, только она являет собою вернейшую константу окончательной победы... Он мучительно, до щемящей боли в сердце сознавал, что ему ничего не остается, кроме как ждать: он не мог, не имел права выйти на общесоюзную трибуну до тех пор, пока рядом Бухарин,— с его эрудицией, раскрепощенностью, с блестящим русским языком; пока приходится терпеть Луначарского, пока в народе свежа память о зажигательных речах бывшего предреввоенсовета Троцкого,— никакого акцента, фейерверк мыслей, какое-то странно-вольготное отношение к чувству собственного достоинства на трибуне...

...И ведь снова он, именно он, Троцкий,— в пику мнению большинства ЦК,— выступил с эссе о «талантливом русском поэте Сергее Есенине»; снова оказался впереди, хотя потерял и Армию, и Политбюро. Однако популярность — с ним; ведь именно он заступился за русского поэта; ничего, когда перестанем печатать Есенина, то и статью Троцкого забудут... Пусть порезвится; сжать зубы и ждать, уж недолго осталось...

С его, Сталина, акцентом, с его директивностью стиля и чувством гордой ответственности за каждое произнесенное слово (Мехлис — надежный редактор, недаром его так не любят; ясное дело, зависть: не у них, а у него, Сталина, такой помощник), сейчас надо готовить поле боя, но не выходить на него, рано, народ не созрел еще, он должен устать от дискуссий и свобод, он должен возжаждать единого вождя,— кто знает русских, как не он, Сталин?!

Итак, Сталин приехал на *закрытый* спектакль во МХАТ; в ложе рядом с ним сидели Станиславский, Немирович-Данченко, начальник ПурККА Бубнов; наркома Луначарского, Крупскую, Ульянову не пригласили, Мехлис вызвал завагитпромом Стецкого, замзавотделом Кагановича и Николая Ежова.

Сталин оглядел зал: множество знакомых лиц; ясно, собрали *аппарат*.

После первого акта, когда медленно дали свет, зрители обернулись на ложу, стараясь угадать реакцию Сталина; он, понимая, чего ждут все эти люди, нахмурился, чтобы сдержать горделивую,— до холодка в сердце,— улыбку; медленно поднялся, вышел в *квартирку*, оборудованную впритык к правительственной ложе; заметив ищущий, несколько растерянный взгляд Станиславского, устало присел к столу, попросил стакан чаю; на смешливый вопрос Немировича-Данченко — «ну как, товарищ Сталин? Нравится?» — и вовсе не ответил, чуть пожав плечами.

И после второго акта он видел взгляды зала, обращенные к нему: аплодировать или свистеть? Он так же молча поднялся и ушел, не позволив никому понять себя,— много чести, учитесь выдержке. С острой неприязнью мазанул быстрым взглядом лицо Сольца, члена ЦКК; ишь, «совесть партии»; посмотрим, кто истинная совесть партии, народ выскочек не любит, особенно тех, кто склонен к политическим спектаклям... Дело в том, что Мехлис доложил ему: Сольц, ехавший в ЦК, как всегда, на трамвае, зачитался книгой и не заметил свою остановку. Легко вскочив с места, бросился к выходу; здоровенный верзила с мутным, похмельным взглядом закрывал проход.

— Товарищ, разрешите, пожалуйста,— обратился к нему Сольц.

Тот осклабился:

— Куда торопишься, юркий?! Больно шустрый!

Сольц не понял потаенный смысл сказанного, повторил просьбу. Верзила зло осклабился:

— Подождешь, жиденыш!

Стоявший неподалеку милиционер усмехнулся:

— Да пусти ты старика пархатого.

— Как же вам не стыдно?! — тихо сказал Сольц, обернувшись к милиционеру.— Что можно пьянице, то непозволительно вам, представителю советской власти!

Милиционер лениво посмотрел на пассажиров:

[1] Центральная комиссия улучшения быта ученых

— Все слыхали, товарищи? Слыхали, как при вас оскорбили красного милиционера?! — И, не дождавшись ответа, взял Сольца за руку и подтолкнул его к выходу...

В отделении дежурный выслушал милиционера, потом обернулся к Сольцу и попросил дать показания; Сольц рассказал все, как было. Дежурный пожал плечами:

— Конечно, про жида нехорошо, но мы вам не позволим оскорблять красного милиционера!

Сольц потребовал встречи с начальником отделения; тот слушать его не стал, махнул рукой:

— Нечего оскорблять наших людей, они же вас и защищают, в камеру его!

— Я хочу позвонить Дзержинскому,— сказал Сольц,— немедленно!

Все трое рассмеялись:

— Только что и дел Феликсу Эдмундовичу до вас!

И только после этого Сольц достал трясущимися руками свое удостоверение; имя этого политкаторжанина, героя революции, ленинца было известно всем. Он позвонил Дзержинскому. Через двадцать минут Феликс Эдмундович был на Солянке, в милиции; дверь и окна приказал заколотить досками; через час в ОГПУ был отдан приказ, вычеркивавший это отделение из списка московских: нет такого номера и впредь не будет, рецидив охранки, а не Рабоче-Крестьянская милиция...

...В сороковых годах отделение восстановили: Сталин никогда ничего никому не прощал, оттого что все *помнил*...

...После окончания спектакля Сталин так же медленно поднялся, подошел к барьеру ложи и обвел взглядом зал, в котором было так тихо, что пролети муха — гудом покажется...

Он видел на лицах зрителей растерянность, ожидание, восторг, гнев,— каждый человек — человек: кому нравится спектакль, кто в ярости; нет ничего опаснее затаенности; церковь не зря обращалась к пастве, но не к личности — мала, падка на дурь, вздор и соблазн...

Сталин выдержал паузу, несколько раз похлопал сухими маленькими ладонями; в зале немедленно вспыхнули аплодисменты; он опустил руки; аплодисменты враз смолкли; тогда, не скрывая усмешки, зааплодировал снова; началась овация, дали занавес, на поклон вышли плачущие от счастья актеры.

Сталин обернулся к Станиславскому и, продолжая медленно подносить правую ладонь к мало подвижной левой, сказал:

— Большое спасибо за спектакль, Константин Сергеевич...

В правительственном кабинете при ложе был накрыт стол — много фруктов, сухое вино, конфеты, привезенные начальником кремлевской охраны Паукером; напряженность сняло, как рукой; Немирович-Данченко оглаживал бороду, повторяя: «Я мгновенно понял, что Иосиф Виссарионович в восторге! Я это почувствовал сразу! Как всякий великий политик,— нажал он,— товарищ Сталин не может не обладать даром выдающегося актера».

Сталину явно не понравилось это замечание, он отвернулся к Станиславскому и, принимая из рук Паукера бокал с вином, чуть кашлянув, поднялся; сразу же воцарилась тишина.

— Скажите, Константин Сергеевич, сколь часто наши неучи из политпросвета мешают вам, выдающимся русским художникам?

Не ожидая такого вопроса, Станиславский словно бы споткнулся:

— Простите, не понял...

Сталин неторопливо пояснил:

— Вам же приходится сдавать спектакли политическим недорослям, далеким от искусства... Вас контролируют невежды из охранительных ведомств, которые только и умеют, что тащить и не пущать... Вот меня и волнует: очень ли мешают вам творить эти проходимцы?

И тогда Станиславский, расслабившись, потянулся к Сталину, словно к брату, сцепил ломкие длинные пальцы на груди и прошептал:

— Иосиф Виссарионович, тише, здесь же кругом ГПУ!

...Когда Сталин, отсмеявшись ответу Станиславского, сделал маленький глоток из своего бокала и сел, рядом сразу же устроился Немирович-Данченко; мгновенно просчитав их отношения во время всего вечера, понимая, как Немирович тянется к нему, Сталин обернулся к Владимиру Ивановичу:

— А вот как вам кажется: опера Глинки «Жизнь за царя» имеет право на то, чтобы быть восстановленной на сцене Большого театра?

Немирович-Данченко растерянно прищурился, поправил «бабочку» и в задумчивости откинулся на спинку стула.

Сталин, улыбнувшись, придвинулся к нему еще ближе:

— Говорите правду, Владимир Иванович... Мне — можно, другим — рискованно.

— В конечном счете это опера не о царе, но о мужике Иване Сусанине. Это гордость русской классики, Иосиф Виссарионович. Восстановление этой оперы вызовет восторг артистической Москвы...

Сталин достал трубку, закуривать не стал, спросил задумчиво:

— И Мейерхольд будет в восторге?

— Конечно!

Сталин покачал головой:

— Хм... Любопытно... Впрочем, если Троцкий так поднимает на щит Есенина, почему бы Мейерхольду не повосторгаться Глинкой?

О Немировиче подумал: «Чистый человек, весь наружу, наивен, как ребенок».

...Спустя почти десять лет генсек предложил на Политбюро восстановить оперу Глинки, переименовав ее в «Ивана Сусанина».

...Мехлис позвонил Самуилу Самосуду — в ту пору ведущему дирижеру театра — и сказал, что эту оперу будет готовить Голованов, заметив:

— Кстати, вас правильно поймут, если вы порекомендуете заслуженную артистку Веру Давыдову на главную роль в этом спектакле...

Мехлис знал, что это будет приятно «хозяину», поэтому решение принял самостоятельное: «кто не рискует — тот не выигрывает...»

Спустя некоторое время, Сталин,— зная все обо всех заслуживавших мало-мальского внимания,— позвонил домой больному, затравленному Булгакову: «Может, вам поехать в Париж? Отдохнете, подлечитесь, как бы здесь не доконали, а?»

Булгаков ответил, что русский писатель умирает дома, за любезное предложение поблагодарил, и только; странный человек, насильно мил не будешь.

Положив трубку, Сталин тем не менее усмехнулся: завтра об этом звонке будут знать в Москве; что и требовалось доказать.

2

...Я никогда не забуду руки Сталина,— маленькие, стариковские уже, ласковые...

...Звонок «вертушки» раздался около одиннадцати; отец подошел к аппарату — точное подобие того, что стоял в ленинском кабинете, копия с фотографии Оцупа.

— Слушаю.

— Бухарина, пожалуйста.

— Его нет,— ответил отец, дежуривший в кабинете редактора «Известий».

— А где он?

— Видимо, зашел к Радеку.

— Спасибо.

Голос был знакомым, очень глухим, тихим.

Через две минуты снова позвонили:

— Что, Бухарин не вернулся? У Радека его нет...

— Наберите номер через десять минут,— ответил отец,— я поищу его в редакции.

Он, однако, знал, что Николай Иванович уехал к Нюсе Лариной, своей юной, красивой жене, матери маленького Юры: поздний ребенок,— родился, когда Бухарину исполнилось сорок семь, копия отца, такой же лобастый, остроносенький, голубоглазый.

Отвечать по «вертушке», что редактора нет на месте,— невозможно: руководители партийных и правительственных ведомств могли разъезжаться по домам лишь после того, как товарищ Сталин отправится на дачу; обычно это бывает в два-три часа утра, когда на улицах нет людей, абсолютная гарантия безопасности во время переезда из Кремля за город.

Отец поэтому решил — от греха — уйти из кабинета, где стояла «вертушка». Тем более, в типографии у дежурного редактора Макса Кривицкого возникли какие-то вопросы, есть отговорка: перед самим собой, не перед кем-то...

Вернулся он что-то около трех, лег на диван, подложив под голову подушку-думку Николая Ивановича,— тот привез ее из Америки, спал на ней в тюрьме, куда его посадили в семнадцатом: не хотели пускать в Россию, знали, что этот человек может стать одной из пружин новой революции, страшились...

В три часа снова раздался звонок «вертушки». Голос был тот же, тихий, глухой:

— Алло, простите, что я вас так поздно тревожу, это Сталин говорит...

Отец, испытывая звенящую горделивую радость, сказал, что он счастлив слышать Иосифа Виссарионовича, какие указания, что следует сделать?

— Бухарина, видимо, в редакции уже нет? Пусть отдыхает... Тем более, сегодня уже воскресенье... Ваша фамилия? Кто вы?

Отец ответил, что он помощник Бухарина, заместитель директора издательства «Известий».

— Вы в курсе той записки, которую Бухарин направил в Политбюро? — спросил Сталин.

— Мы готовили ее проект вместе с Василием Семеновичем Медведевым.

— А — не Бухарин? — Сталин чуть усмехнулся.

— Николай Иванович попросил нас сделать лишь экономические расчеты, товарищ Сталин.

— Завтра в три часа приезжайте ко мне на дачу, вас встретят, передадите Бухарину и редколлегии мои соображения по поводу записки...

...Я отчетливо помню, как отец усадил меня в свой маленький «фордик» — подарок Серго Орджоникидзе за организацию выставки «Наши достижения к XVII партсъезду». Называли эту машину «для молодоженов с тещей», потому что впереди было два места для шофера и пассажира, а сзади откидывался багажничек, куда мог поместиться третий человек; вот журналисты и шутили: «Там будет сидеть теща с зонтиком, чтобы не промокли во время дождя»,— «фордик»-то был открытый, без крыши...

...Через восемнадцать лет, в январе пятьдесят четвертого, когда приговор по делу отца, осужденного особым совещанием на десять лет тюремного заключения во Владимирском политическом изоляторе, был отменен и его вернули в Бутырку, меня вызвал полковник Мельников, ставший — во время переследствия — другом отца.

— Обыск проводили только в вашей квартире? — спросил он.

— Верно,— ответил я.

— А у бабушки, где в ту ночь почивал отец, обыска не было?

— Не было.

— Скажите, а какие-нибудь отцовские документы могли остаться у вашей бабушки?

— Какие именно?

Мельников помолчал, потом глянул на молчаливого соседа по кабинету, размял папиросу и, наконец, ответил:

— Ну, вот, в частности, одним из пунктов обвинения вашего отца было то, что он получил в подарок от Бухарина автомобиль... А ваш отец утверждает, что был премирован лично товарищем Орджоникидзе...

— А что, нельзя запросить архив Наркомтяжпрома?

— Наркомтяжпрома нет, и архива нет,— ответил Мельников.— Я пытался...

Я вспомнил пятидесятые, ночь двадцать девятого апреля, когда подполковник Кобцов руководил группой, приехавшей забирать отца, вспомнил, как на полу квартиры валялись книги, документы, записки, фотографии, вспомнил, как возле моей левой ноги лежала бумажка: приказ по Наркомтяжпрому о награждении отца автомобилем, подписанный Серго, вспомнил, как, страшась самого себя, я осторожно подвинул каблуком эту бумагу под тахту, а потом, когда обыск кончился, все документы и фотографии отца (с Серго, с генералом Берзариным в Берлине, с маршалом Говоровым, с Константином Симоновым, с Ворошиловым) увезли, а комнату опечатали, я ночью вскрыл форточку, влез в бывший кабинет и достал из-под тахты этот приказ Серго,— все, что у меня отныне оставалось от *памяти*...

— А что, если я вам найду этот документ? — спросил н Мельникова.— Это во многом поможет делу?

— Во многом. Отпадет одно из самых серьезных обвинений: согласитесь, подарок от троцкистского диверсанта Бухарина не украшает советского человека...

...Итак, отец усадил меня в свою машиненку, и был он тогда одет в черную косоворотку с белыми пуговичками, в коричневый пиджак, и было ему тогда двадцать девять (одногодка моей старшей дочери Дунечки. Спаси бог их поколение от повторения ужаса тех лет) и счастливо шепнул:

— Сынок, я еду к товарищу Сталину!

И каким же одухотворенным было его лицо, когда он шепнул мне это, сколько в нем было мальчишеского счастья и невыразимой гордости от того, что увидит «фельдмаршала революции», «вождя народов», «творца нашего счастья», «отца всех одержанных нами побед»...

...Оставив машину возле ворот сталинской дачи, назвав свое имя, несуразно ответив на то, как ему, вытянувшись, откозыряли люди из личной охраны Сталина, отец попросил их поглядеть за мною: «пусть мальчик поиграет рядышком, только б далеко не отходил, ладно?»

...Спустя восемнадцать лет, вернувшись из тюрьмы, он рассказал мне все, что произошло дальше,— в подробностях.

По песчаной дорожке к дому Сталина его сопровождали два человека в форме; Сталина отец увидел издали: тот окапывал молодое грушевое деревцо, делал он это неторопливо, вкрадчиво, но одновременно резво нажимая маленькой ногой на остро отточенную лопату, входившую на штык в жирную, унавоженную землю.

— Знаешь,— говорил мне потом отец,— в его фигуре, особенно когда он навваливался на лопату, чувствовалась литая сила; он наслаждался этой работой, и что-то неестественное было в его единении с жирной землей, тем более, что рядом стояла легкая плетеная мебель: столик и три кресла; на столике лежал утренний номер «Известий», придавленный ножницами, коробкой «Герцеговины Флор», трубкой и спичками.

— Садитесь,— Сталин кивнул на кресло, словно бы спиною заметив, что отец подошел к нему.

Вогнав лопату в землю, он обернулся, достал платок, вытер маленькие руки, сел рядом и, неторопливо набив трубку папиросным табаком «Герцеговины», заговорил:

— Мы в Политбюро познакомились с запиской Бухарина... Он предлагает понизить стоимость газеты с пятнадцати копеек до десяти потому, что вырос тираж, газета стала популярной в народе... Передайте редколлегии, что это наивное предложение... Надо просить Пэ-бэ не понижать стоимость номера, а повышать его... До двадцати копеек... Так мы решили... Возможно, Бухарин согласится с нашим мнением... Я бы просил также передать редколлегии ряд моих соображений и по поводу верстки номера... Она пока что оставляет желать лучшего, слишком недисциплинированна, разностильна, точнее говоря... Вы правительственный официоз, поэтому, если первая полоса несколько суховата, надо взрывать ее изнутри,— темой передовицы, например. Не стоит бояться острых тем, больше критики, нелицеприятной критики... Газета должна быть единым целым,— это азы пропаганды и агитации. Поэтому, во-вторых, на следующей полосе должен быть фельетон, публицистика, развивающая основные тезисы передовицы. И не бойтесь, наконец, и на третьей полосе, где печатаются иностранные материалы, заверстать что-либо, связанное с основной темой номера... Ну, а четвертая,— в ваших руках, ищите в ней свою «известинскую» индивидуальность... Вот, собственно, и все...

— Спасибо, товарищ Сталин, я передам редколлегии все ваши пожелания.

Сталин заметил движение отца за мгновенье перед тем, как он *решил* встать с кресла.

— Погодите,— сказал он, пыхнув трубкой.— У меня к вам ряд вопросов...

— Слушаю, товарищ Сталин...

— У вас дети есть?

— Да, товарищ Сталин, есть.

— Сколько?

— Сын — Юлька...

В это время к Сталину подошел высокий крутолобый человек, склонился к нему:

— Звонит Калинин... По поводу сегодняшнего мероприятия... Что сказать?

Сталин неторопливо пыхнул трубкой, положил ее на стол, поднялся и пошел к дому. Отсутствовал он минут пятнадцать; когда вернулся, лицо чуть побледнело, улыбчивых морщинок вокруг глаз не было, жестче обозначился рот под седеющими усами.

— Трудно содержать ребенка? — спросил Сталин, словно бы все то время, что говорил с Калининым, помнил ответ отца.

— Нет, товарищ Сталин, нетрудно.

— Вы сколько получаете в месяц?

— Партмаксимум, «кремлевку»...

— А жена?

— Она библиотекарь... Зарабатывает сто десять, вполне обеспечены...

— Хорошо, а могли бы вы содержать двух детей на этот ваш максимум?

— Да, товарищ Сталин, смог бы!

Сталин усмешливо посмотрел на отца, но глаза были строгие, несмеющиеся, желтые:

— У грузин есть присказка: «один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын»... Смогли бы содержать на ваши оклады трех детей? Честно отвечайте, не пойте...

— Конечно, товарищ Сталин, смогли бы...

Сталин, неотрывно глядя в глаза отца, спросил:

— Почему вы ногами елозите? В туалет надо?

— Нет, спасибо, товарищ Сталин... Просто у меня в машине сын остался, я поэтому несколько волнуюсь...

— А что же вы его не привели сюда? Разве можно бросать ребенка? Пойдите-ка за ним...

...Я помню большие, крестьянские руки отца, помню, как он прижал меня к себе, помню, каким горячим было его лицо, помню его восторженный шепот:

— Сейчас ты увидишь товарища Сталина, сынок!

...А я не смог поднять глаз на вождя, потому что торжественное, цепенящее, робкое смущение обуяло меня...

Но зато я увидел его маленькие руки, ощутил их ласковое тепло, Сталин легко поднял меня, посадил на колени, погладил по голове и, кивнув на газету, что лежала на плетеном столике, сказал отцу:

— Этот номер «Известий» возьмите с собою... Тут есть ряд моих замечаний по верстке... Может быть, пригодятся Бухарину и Радеку... Счастливой дороги...

...Кортеж «паккардов» обогнал нас у въезда в Москву,— Сталин возвращался в Кремль.

В это же время, только с другой стороны, в Кремль въехала машина с зашторенными стеклами, в которой сидели Каменев и Зиновьев; их привезли из внутренней тюрьмы для встречи со Сталиным и Ежовым; вчера они наконец — после двухлетнего заключения — согласились писать сценарий своего процесса, который закопает Троцкого, докажет его фашистскую сущность,— взамен за заверения о том, что им будет сохранена жизнь, а малолетних детей выпустят из тюрьмы.

...А когда был принят указ, запрещающий аборты, я помню, как отец ликующе говорил всем, кто приходил к нам:

— Как же он мудр, наш Коба, как замечательно он готовит решения! Сначала советуется с рядовыми работниками, выясняет всю правду, а только потом санкционирует указ государства! Мы непобедимы нерасторжимостью связи с вождем, в этом наша сила!

Все, конечно, с ним соглашались.

Бухарин, однако, глядя на отца с грустной улыбкой, восторги его никак не комментировал, молчал.

Только дядька Илья, один из самых молодых наших комбригов, покачал головой:

— Сенька, ты что, как тетерев, заливаешься? Ты хоть знаешь, где аборты запрещают? Только в католических странах! Там, где последнее слово за церковью. У них за аборт в тюрьмы сажают, а коммунисты поддерживают женщин, которые выступают за то, чтобы не власть, а она сама решала, как ей следует поступить... Кому охота нищих да несчастных плодить?!

Отец побледнел, резко поднялся:

— Что, повторения двадцать седьмого года захотел?! Неймется?!

...Тогда, в ноябре двадцать седьмого, после разгона демонстрации оппозиционеров,— отец принимал в ней участие,— братья подрались.

Жили они на Никитской, дом этот сейчас снесен; длинный коридор, заложенный поленцами,— еще топили печи; затаенные коммуналки с толстыми дверями,— до революции здесь размещался бордель, греховная любовь требует тишины. Комнатушка деда и бабки была крохотной, метров десять, курить выходили в коридор, здесь и схватились, когда Илья, выслушав восторженный рассказ отца, хмуро заметил: «Что ж ты раньше Каменева не тащил за ноги с трибуны, когда его портреты на демонстрации выносили? Как скажут „ату!“, так и бросились...» — «Ты на кого?! — отец задохнулся от гнева.— Ты кого защищаешь?! На кого голос подымаешь?!» — «Да ни на кого я голос не поднимаю... Голова у тебя есть? Есть. Ну, и думай ею, а не повторяй чужие слова, как попка-дурак».

Отец тогда схватился за полено. Илья легко выбил полено у него из рук, *вертанул* кисть за спину, повернулся и уехал к себе в Люберцы, он был там начальником НКВД. С тех пор братья два года не разговаривали, тяжко переживая размолвку.

Помирились на похоронах общего друга, Васи Сироткина, его зарезали во время командировки на коллективизацию, виновных не нашли, а двое сирот у него осталось, Нюра и Зина, погодки.

...После того, как в «Известиях» начали печатать сообщения о расстреле троцкистско-фашистских наймитов Каменева и Зиновьева (заместителя Ленина по Совнаркому и председателя Коммунистического Интернационала), лицо Бухарина сделалось желтым, вымученным; он лег на землю (это было на Памире), взял свечку, зажал ее в руках, сложил их на тоненькой груди и, посмотрев на отца, усмехнулся:

— Семен, я похож на покойника, а?

3

Федор Николаевич Петров, один из старейших большевиков, консультировал в шестидесятых мой роман и фильм «Пароль не нужен» о Блюхере и Постышеве.

Он-то и рассказал мне историю, которая теперь подтверждается косвенными свидетельствами; хочу верить, что вскоре откроются новые обстоятельства, опровергнуть которые невозможно.

— Когда Каменева и Зиновьева сломали, уговорив признаться в том, что они — по заданию Троцкого — организовали убийство Кирова, когда после того, как Сталин дал им честное слово, что они не будут расстреляны, если помогут «закопать троцкизм, как идейное течение», суд провели быстро, в суматохе не проверили «показания» обвиняемых, заранее написанные людьми наркома Генриха Ягоды, и случился трагедийный конфуз,— Петров еще больше прибавил звук в старинном радиоаппарате, стоявшем на его большом письменном столе возле окна, из которого открывался прекрасный вид на Москва-реку и Кремль.— Один из зиновьевцев «признался», что он приезжал в Копенгаген для встречи с Львом Седовым — сыном Троцкого и останавливался в отеле «Бристоль». А скорые на розыск датские журналисты — через неделю после того, как обвиняемые были расстреляны,— опубликовали официальную справку, что отель «Бристоль» был снесен за много лет перед описываемыми событиями, фальшивка чистой воды... Именно тогда Серго потребовал у Сталина рассмотрения этого дела с вызовом свидетелей, оставшихся в живых.

Сталин пообещал и сразу же начал готовить второй процесс,— на этот раз против заместителей Орджоникидзе — Пятакова в Серебрякова. Их обвиняли уже не только в троцкизме и диверсиях,— но и в шпионаже. Однако, в отличие от Зиновьева (честно говоря, он был слабым, амбициозным человеком, но, понятно, ни в каком терроре не участвовал), Юрий Пятаков никогда не дрался за власть, от оппозиции отошел. Серго утвердил его первым заместителем народного комиссара тяжелой промышленности,— на нем был и Сталинградский тракторный, и Горьковский автозавод имени Молотова, и Кузбасс, и Магнитка, человек действительно горел на работе... Мы все чтили память его брата, Леонида, замученного петлюровцами в девятнадцатом, словом, чистый был человек, чистый и открытый... Как можно было повернуть его на признание в шпионаже? Коммунист, ленинец — и гестаповский шпион? Давить на него, как давили на Каменева,— у того осталось двое детей,— трудно, семья у Пятакова не сложилась, жена пила, он и ночевал-то порою у себя в кабинете...

...В поселке «Известий» на Сходне, рядом с той дачей, где жили мы, стоял дом Карла Радека, возглавлявшего иностранный отдел редакции; друг Дзержинского и Розы Люксембург, принимавший участие в спартаковской революции, человек тем не менее не простой, ядовито-остроумный, он, после того, как публично отрекся от Троцкого и был за это возвращен в двадцать девятом году из ссылки, стал одним из тех, кто более всего славил Сталина, причем делал это вдохноеенно и талантливо. Он-то и рассказывал тогда: «Коба — человек поразительный! Он узнал, что новый заместитель наркома ютится в крошечной квартирке, и приказал перевезти его семью в роскошные апартаменты, обставленные чудной мебелью... Вот как Коба относится к тем, кто честно разоружился и порвал с оппозиционерами, поняв чудовищную сущность Троцкого»...

(Когда прошла очередная волна арестов, во время торжественного банкета по случаю дня рождения Максима Горького, помрачневший лицом Радек, неотрывно глядя при этом на секретаря ЦК Ежова, поднял тост: «Я пью за нашу максимально горькую действительность...»

Сталин, не выпуская трубки изо рта, сухо посмеялся вместе с Алексеем Максимовичем, который не отпускал от себя Бухарина; его лицо порою теряло обычную живость, замирало и чуть желтело, становясь не по возрасту старческим...)

Из квартиры, подаренной Сталиным, Пятакова вскорости и забрали — в один день с Радеком...

Федор Николаевич вздохнул чему-то и, устроившись поудобнее в кресле, словно бы затолкав свое усохшее тело в привычно-малое пространство между спинкой и подлокотниками, снова изучающе-требовательно обсмотрел меня:

— Я-то скоро уйду, а вам надо сохранить память, только оттого все это и рассказываю, хоть и рискую... Да, да, это так... Каждый, кто прикасается к той поре,— рискует... Словом, Серго Орджоникидзе потребовал устроить ему встречу с Пятаковым... И получил ее... Никто не знает, о чем шла речь, никто, кроме Сталина, потому что тот дал Орджоникидзе слово: «Пятаков не будет казнен»... Но Пятакова, как и Каменева, расстреляли... Серго был в ярости; Ежов ему ответил: «Пятаков жив». Серго потребовал встречи. Ему пообещали; Ежов уверял наркома: «Юрий (он и после процесса над «шпионом» продолжал так называть Пятакова) перенес шок после фарса, разыгранного норвежцами... Как только он придет в себя, вы увидите его, Григорий Константинович...» Шок действительно был, но не для Пятакова, а для тех, кто писал за него показания: он заученно произнес на суде, что, мол, летал на немецком самолете в Осло на встречу с Троцким. А норвежские социал-демократы опубликовали в газете опровержение: в тот месяц, когда Пятаков якобы летал в Осло, ни один иностранный самолет там не приземлялся...

...Серго позвонил Сталину; тот отказался его принять; Серго сказал: «Коба, если нам необходимо развенчать Троцкого, то партии совершенно неугодно избиение ленинцев!» И — начал готовить *свое* выступление на февральском Пленуме ЦК... Он знал, что его поддержат Постышев, Чубарь, возможно, Калинин... Он понимал, что Сталин наверняка поднимет на пленуме вопрос об аресте Бухарина, а тот был его другом... Он допускал, что если открыто и честно сказать пленуму всю правду, то далеко не все станут поддерживать Сталина, потому что геноцид, начатый против старой гвардии, принял чудовищные формы. Нам предлагали верить в бред, произносимый на скамье подсудимых теми, кого Ленин вел вместе с собою, поручая ответственнейшие должности в самые крутые месяцы гражданской войны и интервенции. Но мы помнили состав нашего первого правительства! Мы-то помнили, кто составлял костяк Политбюро в самые грозные пять лет — с октября семнадцатого! А теперь оказывается, что эти люди уже тогда были предателями! Чего ж они тогда не захватилв власть?! Их — при Ленине — было подавляющее большинство! А был ли один я такой памятливый?! Да нет! Как минимум, миллион партийцев! И столько же — беспартийных активистов! Это — минимум миниморум! Значит, тогда *жили* два миллиона людей с кровоточащей памятью,— я имею в виду большевиков со стажем. А их семьи?! Понимаете, каким резервом обладали те, кому был дорог Ленин?! Понимаете, как шатки тогда были позиции Сталина, несмотря аа то, что Ежов с его *рукавицами* душил есех, кто продолжал оставаться личностью,— то есть, зная правду, не отрекался от памяти?! Понимаете, что Серго — с его авторитетом — мог повернуть ход истории, прекратив чудовищный террор?! Понимаете, что он мог потребовать у пленума выполнения воли Ленина о снятии Сталина с поста генерального секретаря?!

...Вторым человеком, консультировавшим наш фильм «Пароль не нужен», был генерал Штеменко. С громадными усами, удивительно тактичный, с печально-доброжелательной улыбкой, неторопливый в словах, он, во время одной из встреч со съемочной группой, всматриваясь в лицо Николая Губенко, игравшего роль Василия Константиновича Блюхера, заметил:

— Я попрошу подобрать все архивы по маршалу... Надо бы вам *поискать* чего-то еще для этого замечательного образа.

Я сказал тогда, что все архивы уничтожены; пояснил, что находил *огрызки* документов, просматривая отчеты ветеринарной службы дальневосточной армии,— там чудом сохранились резолюции Блюхера, в которых удивительно прочитывался человек, его моральный стержень, мягкость и непримиримость.

Штеменко усмешливо покачал головой:

— Мы свои архивы не трогали, через три дня вам их покажут.

Однако, когда мы увидались через три дня, он заметил:

— Да, к сожалению, вы правы... Архивов нет, все уничтожено, надо *собирать* по памяти.

...Иван Степанович Конев, служивший в армии Блюхера командиром бронепоезда, а затем ставший начальником оперативного отдела штаба его фронта, показал мне маленькую фотографию главкома легендарного ОКДВА — Особого Краснознаменного Дальневосточного военного округа — Блюхера, стоявшую у него на столе:

— Я не убирал ее с этого места и после того, как маршал пал жертвой клеветы.

...Маршал Блюхер не пал жертвой клеветы; его *надо* было убрать, ибо он посмел сказать друзьям, что не судил Тухачевского, хотя его именем был подписан приговор одному из самых блестящих военачальников двадцатого века. «Суда не было,— повторял он,— Тухачевского и Якира просто убили...»

Василий Константинович покончил с собой сразу после ареста, чтобы не оказаться сломанным, чтобы не предать свое прошлое чудовищными показаниями на очередном

процессе, эти показания убивали не жизнь, а то дело, которому он служил,— Революцию...

...Петров устало поднял руку, указал пальцем на книжные стеллажи и, прикрыв веки, сказал:

— Посмотрите речи Сталина на февральско-мартовском Пленуме тридцать седьмого года... Обратите внимание, что там впервые не было привычных «бурных аплодисментов, переходящих в овацию». Просто — «аплодисменты»... И главный удар Сталин нанес по неназванному Серго, по «хозяйственным успехам, которые привели к беспечности»... Серго постоянно говорил, что чем больше наши успехи, тем лучше живут люди, чем они явственнее ощущают прямую связь между трудом и благополучием, тем меньше будет врагов в стране, нет поля для вражды, наоборот, пришло гражданское замирение... А Сталин, наоборот, гнул свою линию: «чем больше успехов, тем сильнее сопротивление врагов»... А ведь Бухарин еще не был арестован, объявил голодовку, написал письмо членам ЦК о своей невиновности, сидел в кремлевском зале,— кандидат в члены ЦК! Именно тот пленум должен был решить его судьбу... «Бухарин — любимец партии» не случайная фраза... Ее помнили... После того, как Пятаков сказал на суде про аэродром в Осло я всему миру стало понятно, что второй процесс тоже построен на фальшивках, Сталин решил, что Пятаков это сделал намеренно,— прокричал о своей невиновности из камеры тюрьмы. И помог ему в этом, считал он, Серго...— Петров говорил тяжело, с одышкой, часто замолкал, словно собираясь с силами.— А за Серго действительно была школа в Лонжюмо, Ленин открыто называл его своим другом. Серго никогда — в отличие от Сталина — против Ленина не выступал, он шел за ним ледоколом...

— А дело Мдивани? спросил я.— Помните, как Ленин тогда обрушился на Серго?

Петров раздраженно пожал плечами:

— Политическая борьба предполагает чувство! Не надо из Ленина делать икону! Как всякий гениальный стратег, он был при этом ранимым человеком... Он не считал возможным скрывать того, что думал! Увидав, что вытворяли его любимцы Каменев и Зиновьев в октябре семнадцатого, он прилюдно назвал их «проститутками»! Но ведь через пять дней после этого Каменев стал председателем ВЦИКа! То есть президентом революцьённой России! (Петров сказал это имевно так, «революцьённой», строкой Блока.) А Зиновьев — секретарем Петроградской парторганизации! А Троцкий, которого — опять-таки поделом — Ленин называл в свое время «иудушкой», по его же, ленинскому, предложению был единогласно избран народным комиссаром иностранных дел, хотя сначала именно Ленин предложил его,— председателя Петроградского Совета рабочих депутатов,— на пост председателя Совнаркома! А Троцкий отказался! Троцкий сказал, что председателем Совнаркома может быть только один человек — Ленин! Это же правда! Как ее ни прячь, она все равно не исчезнет... А как Ленин «колотил» Бухарина и Дзержинского во время Брестского мира?! Но ведь он не предлагал сместить Феликса Эдмундовича с поста председателя ЧК! А у Бухарина — отобрать редакторство «Правды»! Мы отучились дискутировать! Нас приучили к поранжирному повиновению! Мы поэтому... Нет, *вы*... Хотя это нечестно.— Петров прерывисто, всхлипывающе вздохнул,— *мы*, именно *мы*, вина моего поколения перед вами — неизмерна... Мы поэтому не понимаем, как это можно обмениваться резкостями, но при этом продолжать оставаться на одной стороне баррикады... Нам стало важно *слово*, а не *дело*... Постепенно победило Евангелие, семинария, дисциплина казармы...

Медленно, словно бы собирая себя, Петров поднялся, отошел к кровати:

— Словом, говорили, что Сталин поручил начальнику охраны Ежова убить Серго. И Серго был застрелен у себя на квартире... Наиболее доверенным сказали, что Серго покончил с собой,— слишком дружил с Бухариным, Рыковым, Пятаковым. Но ведь шила в мешке не утаишь: те, кто первым вошел в квартиру Орджоникидзе, подписали себе смертный приговор, составив акт о том, что в маузере Серго было семь патронов, а пороховой гари в стволе не было... Этих дзержинцев расстреляли, но — через неделю! Понимаете?! И мы узнали правду... И мы поняли: теперь все возможно, время вседозволенности, конец надеждам, крах вере в справедливость... А на похоронах Сталин рыдал на груди того, кто был им убит... А было тогда Серго сорок девять лет... А наркомздрав Каминский, который подписывал официальный бюллетень о «*болезни*» Серго, был расстрелян, как и все, кто знал трагедию или слышал о ней... Вот так и закончился термидор... А вот я уцелел...

Петров медленно поднял на меня серые глаза, в которых постоянно жила печаль и невысказанный укор:

— Да, я молчал, это правда... Но я и молчал-то для того лишь, чтобы дожить до сегодняшнего дня... Чтобы сохранить для вас мою память... Хоть какую-то, но все же... Притча о гласе вопиющего в пустыне еще ждет своего толкователя.

4

...Это случилось во время традиционного авиапарада в Тушине.

Рано утром к нам домой позвонил Бухарин:

— Семен, вы туда едете?

— Конечно, Николай Иванович.

— Слушайте, я ни разу не наблюдал этого зрелища с поля,— всегда с трибуны... Возьмите-ка меня с собой, а?

Отец заехал за Бухариным, тот взял огромный бинокль, две бутылки боржоми, сказал, что близкие за городом, поэтому бутербродов, увы, не будет, и, задержавшись возле окна, внимательно обсмотрел улицу.

— В пятом году перед тем, как уйти с квартиры, я всегда проверялся, нет ли слежки,— улыбнулся Бухарин.— Не думал, что привычка так въедлива... Даже когда меня охраняли, как члена Политбюро, порою ловил себя на мысли: отчего сопровождающие не глядят, *чисто* ли на улице... Впрочем,— заключил он,— к несвободе привыкаешь значительно быстрее, странно...

...В ту пору брат моего отца, Илья, комбриг, вступивший в Красную Армию в восемнадцатом году, когда ему было четырнадцать, работал заместителем легендарного начальника московской милиции Вуля. В тот день он отвечал за обеспечение и координацию деятельности ОРУДа. Поскольку на парад приехало все руководство во главе со Сталиным — Молотов, Ежов, Ворошилов, Калинин, Каганович, Андреев, Микоян, Хрущев, Чубарь, Рудзутак, Косиор, Постышев,— регулировка движения на трассе от Кремля до Тушинского аэродрома была делом весьма ответственным, как и порядок на поле: «страна кишмя кишит троцкистско-зиновьевскими диверсантами и шпионами, они готовят теракты против товарища Сталина, бдительность и еще раз бдительность, враг не дремлет...»

В отличие от отца, прослушавшего курс у Бухарина в ту пору, когда Николай Иванович возглавлял Институт Красной профессуры, Илья был самоучкой, закончил четыре класса в деревне Березине, потом занимался в школе рабочей молодежи, будучи уже командиром эскадрона. Отличала его военная косточка, поэтому, заметив отцовский «фордик» (редакционный пропуск разрешал заезжать на поле), он подошел, никак не предполагая, что человек в косоворотке и кепчонке, устроившийся на капоте машины, не кто иной, как Бухарин; вскинув ладонь под козырек, Илья отрапортовал:

— Товарищ член Центрального Исполнительного Комитета, обстановка на поле нормальная, никаких происшествий не было!

Бухарин недоумевающе посмотрел на отца.

— Это мой брат,— чуть смущенно пояснил отец.

— Ах, это и есть ваш легендарный Илья?! — Бухарин протянул ему руку.— Приятно познакомиться...

И в это как раз время над полем аэродрома пронеслись самолеты; Бухарин, вбросив бинокль, словно любопытный ребенок, приник к окулярам; проводив серебряные машины, подивившись слаженной стройности их треугольника, он случайно *мазанул* биноклем правительственную трибуну и увидел, как Сталин неотрывно рассматривает в бинокль его, Бухарина.

Не оборачиваясь к отцу, Николай Иванович негромко сказал:

— Семен, пусть ваш брат продолжает работу на поле, а вам бы лучше сесть на землю... Подстелите газету, вы хорошо сидите по-азербайджански, как настоящий кунак...

...Через двадцать минут Илья вернулся и, снова взяв под козырек, обратился к Бухарину:

— Товарищ член Центрального...

— Да вы проще,— досадливо попросил Бухарин, не отрывая глаз от бинокля,— обращайтесь ко мне по-человечески...

— Николай Иванович, товарищ Сталин просит вас подняться на правительственную трибуну, мне поручил это передать вам замнаркомвнудел товарищ Берман...

Бухарин снова *мазанул* окулярами места под полотняным тентом, где наблюдали парад члены Политбюро, и снова *уткнулся* в бинокль Сталина, направленный точно на него.

— Передайте Берману благодарность,— ответил он.— Но мне очень интересно наблюдать парад как журналисту, среди зрителей...

...За неделю до того, как Бухарина — прямо с заседания пленума ЦК — отправили в тюрьму, Илью арестовали.

Следователь, молоденький парень, мобилизованный в НКВД после расстрела практически всего прежнего аппарата дзержинцев, внимательно посмотрел на те места

в петличках дядькиной гимнастерки, где еще утром были эмалированные ромбы, отличительный знак комбрига, и очень тихо сказал:
— Нам все известно о вашей преступной связи с врагом народа Бухариным. Вы знаете законы, поэтому нет нужды разъяснять, что чистосердечное признание о совместной вражеской деятельности с троцкистским прихвостнем облегчит вашу участь.
— Я видел Бухарина один раз в жизни,— ответил Илья.— На Тушинском аэродроме... Я подошел, чтобы приветствовать его, как полагается по уставу...
— Как вы его узнали среди десятков тысяч трудящихся? По условному знаку? Или было заранее обговорено место встречи?
— Да не было ничего обговорено!
— Кто привез Бухарина в Тушино?
— Не помню.
— Кто вам его показал?
Илья усмехнулся:
— Вы с какого года?
— Здесь мы задаем вопросы,— так же тихо и корректно ответил следователь.— А вы отвечаете...
— Вам двадцать два,— сказал Илья.— Не больше. Значит, в двадцать девятом вам было четырнадцать, и вы помните, что портреты Бухарина выносили на Красную площадь наряду с другими членами Политбюро...
— И вы не препятствовали этому?
— Чему?
— Прославлению одного из диверсантов и убийц?!
— Да разве член Политбюро может быть диверсантом и убийцей?!
— Прошу ответить на конкретный вопрос: вы, лично вы, не препятствовали прославлению Бухарина?
— Слушай, ну что ты, ей-богу, вола крутишь? — Илья вздохнул.— Скажи, что произошло, чего ты от меня хочешь, и на основании этого, когда я пойму суть дела, станем говорить по-людски...
— Это что, призыв к сговору? Так вас надо понимать? Повторяю: с какого года вы поддерживаете конспиративную связь с врагом народа Бухариным, формы, пароли, явки?! Пока не ответите на эти вопросы, из кабинета не выйдете.
И — начался конвейер: один следователь сменял другого, работала бригада; в конце вторых суток Илья почувствовал, что готов на все, лишь бы соснуть хоть десяток минут. И вот в то именно время вошел Иван Коробейкин, они вместе участвовали в польском походе, в двадцатом.
Он долго сидел за столом, обхватив голову ладонями, потом подбежал к Илье, схватил его за шею, поднял со стула и закричал:
— Ты сколько времени будешь издеваться над людьми, вражина сучья? А?! Ты сколько времени будешь задом вертеть?!
И, приблизив свое лицо к лицу Ильи, одними губами прошептал:
— Спи, а я буду орать.
И, обматерив *комбрига*, швырнул его на стул.
Илья сразу же уснул, как выключился. Он не знал, сколько времени спал, но очнулся от того, что Коробейкин хлестанул его по лицу, заорав истошно:
— Встать! Я что говорю, вражина сучья?!
Илья, не понимая, что происходит, смотрел на него изумленно.
— Почему не выполняете указаний следователя? — услыхал он чей-то голос у себя за спиной; с трудом обернувшись, увидел замнаркома Бермана. Тот стоял рядом с Николаем Ивановичем Ежовым,— маленьким, похожим на калмыка, в скромной гимнастерке и мягких сапогах.
Раскачиваясь, Илья поднялся:
— Я не сплю двое суток, товарищ заместитель наркома.
— Гусь свинье не товарищ,— отрезал Берман.— Будете и дальше отпираться, пенять придется на себя. Сколько лет сыну? Пять? Смотрите, останется сиротой! Пролетарская диктатура умеет прощать заблудших, но беспощадна к вражинам.
Ежов кивнул Коробейникову:
— Продолжайте работать, соблюдая корректность,— и вышел; Берман — следом.
В ту ночь Илья спал четыре часа, это дало ему возможность вынести еще двое суток «конвейера», пока не пришел черед Ивана; и снова тот, надрываясь, кричал, а Илья, отвалив голову на спинку стула, спал.
После этого, на исходе пятого дня, Илью отправили в тюрьму: «с этим типчиком надо работать более серьезно».
И первым, кого он увидел в камере, был тот, самый первый молоденький следователь,— уже без *кубаря* в петлице и с сорванным с рукава гимнастерки шевроном НКВД; Илья заметил его сразу, хотя вместо четырех человек было набито более тридцати; сидели и лежали по очереди, и пока остальные, кто покрепче, стояли, подпирая друг друга спинами,— какой-никакой, а отдых.
Сосед Ильи, судя по следам от ромбов,— начдив, то и дело усмехался, как скалился:
— Я — троцкист, а?! Ты понимаешь?! Троцкист! Все, кто был в Красной Армии с восемнадцатого — троцкисты! Сами с Троцким на трибунах стояли и в президиумах сидели, а нам — отдувайся! Кто виноват, что Ленин с собою в Смольный одних врагов народа привел?! Кто?! Мы?!
Ночью комдива и еще семерых военных вызвали по *списку*.
— Прощай, браток,— сказал он Илье и дал ему мундштучок, который не выпускал изо рта.— Нас ведут кончать. И тебя кончат, если не признаешься в какой дури... Соглашайся на то, что Климента Ефремовича критиковал, шутковал над ним, но только *дай* им что-нибудь... Я поздно это понял,— чего с меня взять, троцкист долбаный, дурак...

...Через три месяца Илья признался, что однажды слышал антисоветский анекдот в трамвае, рассказывал старик в очках, с родинкой на носу, увижу где — сразу на него укажу, виноват, что не задержал на месте, потерял бдительность, готов отвечать по всей строгости закона.
Решением особого совещания ему дали пять лет, и он был этапирован во Владивосток; там, вокруг вокзала, уже ждало отправки в ванинской порт более тридцати тысяч зэков, спали на земле, где кто как устроится...
Осмотревшись, Илья понял, что урки наверняка пришьют его за чекистскую форму,— «сука», а особенно за следы от ромба,— «большая сука». Поэтому, вспомнив молодость (хотя во время ареста ему было всего тридцать три), бои с бандформированиями, когда его под видом блатного мальчишки засылали в состав группировок Булак-Булаховича, он и присел к уркам — кинуть «очко».
То ли урки были квелые, то ли карта шла Илье, то ли он умело *тасовал*, но к утру снял банк, унес наволочку с деньгами, купил валенки, ватник, теплую шапку, кожаную куртку; свою форму продал фраерам, и через месяц оказался на руднике «Запятая»,— в двухстах километрах от Магадана.
С повозок им сбросили колючую проволоку, чтобы сами обнесли зону, и простыни: «устраивайте себе ледовые палатки, ничего, перезимуете, челюскинцы трудней жили»...
И началось его лагерное житье.
В забое работал вместе с секретарем Ленинградского горкома (*доходил*, арестовали в тридцать шестом) и начальником политотдела Сталинской железной дороги — Василием Борисовым.
Секретарь горкома тощал на глазах, сох; однажды шепнул Илье:
— Не в коня корм, Илюшка... Меня несет, язва... Как горох поем, так он целеньким и выходит... Горошинка от горошинки... Добро пропадает... Понял? Тут выжить надо, для этого все сойдет, скоро этот бред кончится, погоди, дай только узнать обо всем товарищу Сталину...
Илья начал промывать нечистоты, заливал кипятком и, зажмурившись, ел *горошинки...*
Когда секретаря похоронили — в забое, сил не было тащить наверх,— начальник политотдела сказал:
— Илья, с полгода протянем, глядишь, а потом сдохнем... Надо идти в побег, нести правду Москве: здесь же цвет партии гибнет.
— А чего ты жрать в побеге будешь? — спросил Илья.— До железной дороги не дочапаешь, до Магадана две сотни верст, замерзнем...
— Говорят, есть путь... Помнишь чекиста Бурова? Он еще с помощником Дзержинского, товарищем Беленьким дружил? Ну, он и говорил, что отсюда было два побега, выходили на материк...
— А где этот Буров?
— Похоронили неделю назад.
— А Беленький?
— Того в Москве расстреляли, он сокамерникам говорил...
— А ты поверил? Здесь же ссылок не было, тут ссылку начали год назад создавать, Вася, сказки это...
— Так что ж, так и подыхать здесь?!
— Не надо,— усмехнулся Илья,— стоит пожить...
Помог, как и всегда, случай: единственный трактор, который забросили в лагерь еще летом тридцать седьмого, сломался. Начальник выстроил зэков:
— Кто исправит машину — дам килограмм масла и три буханки хлеба.
Илья шагнул из строя:

— Я механик, гражданин начальник... Позвольте попробовать?

— Попробовать? Нет, пробовать не разрешу. А запорешь машину до конца сядешь в бур.

— Слушаюсь, гражданин начальник, согласен.

Было это уже в декабре, мороз лютый, за сорок; Илья развел костры вокруг трактора, взял в помощники начальника политотдела Васю, хотя тот в технике был ни бум лазаря, а дядька как-никак кончил шоферские курсы и по праву считался одним из самых лихих водителей Москвы.

Словом, трактор они сделали, начальник был человеком справедливым, дал полтора килограмма масла и четыре буханки.

«"Я это мороженое масло топором рубил, ел кусками и Васю политотдельского заставлял,— рассказывал потом дядька.— Я блюю и он блюет, понял-нет?! „Не могу,— стонет,— кишки выворачивает". А я ему: „Жри! Надо кишки-то смазать, дать им витамин, доходягой в побег не уйдешь!" — „А как же товарищи?! Им что принесем?!" Ну, я тогда и озлился: „Здесь двадцать тысяч наших товарищей, понял-нет?! Хочешь накормить их полутора килограммами?!"»

— Однако же,— заключил Илья,— в сердце у меня была тяжесть, неудобство какое-то, хоть лагерь быстро лечит от сентиментальностей. Отнесли мы маслица старикам-доходягам, политкаторжанам, что еще во Фрунзе сидели, с Рудзутаком и Эйхе, понял-нет?.. А самый уважаемый человек, вроде «пахана», был у нас, политиков, член Реввоенсовета одиннадцатой армии, фамилии не помню, только знаю, что он с Иваном Никитовичем Смирновым дружил,— красный командир был, его одним из первых посадили, в начале тридцатого... Так вот, полизав масла и выслушав слова Васи, что надо нести правду в Москву, он засмеялся беззубым ртом: «Дурачок вы! Сталину, говоришь, намерен нести правду?! Да все, что происходит здесь, угодно одному лишь человеку — Сталину! Он же всех тех *должен* истребить, кто *помнит* Октябрь, кто знает, как он перед Троцким заискивал, как он в его честь в газете „Севзапкоммуны" в восемнадцатом году статью написал, мол, когда говорим „товарищ Троцкий", подразумеваем „Красная Армия". Когда говорим „Красная Армия",— всем ясно: „товарищ Троцкий"... Вы погодите, погодите, он еще какие-нибудь документы напечатает, каких слабаков об колено сломит и будет процесс против Ленина, как немецкого шпиона! Что контра не успела сделать, он доделает...» Вася тогда аж побелел, масло у него вырвал, сукой обозвал, фашистом... Словом, решили мы с Васей идти в побег в июне тридцать девятого, понял-нет? К счастью, в ту пору меня на трактор перевели, так мы с Васей то хлеба своруем, то масла, подкармливали стариков-ленинцев, да и себе на побег делали запасы... Главное, чтоб в Москву прорваться, иначе следующим летом тут вообще никого не останется, одно кладбище, понял-нет? Назначили мы день побега, а тут утром, понял-нет, начальник лагеря объявляет, что приговор по моему делу отменен: Сеньку-то в партии восстановили после расстрела Ежова, ну, он и пошел за меня молотить... Да, понял-нет... Это я еще тебе смешного ие рассказал, у нас там смеху тоже хватало, страх вспомнить...

...На Новодевичьем кладбище, на могильной плите моего деда Александра Павловича до сорок девятого года было выбито: «Прости, не успел. Илья. 20-го мая 1940 года» — дядька вернулся в Москву через три дня после похорон его отца.

Я помню, как он,— худой, с ввалившимися щеками,— посмотрел на обеденный стол, накрытый у нас на Спасо-Наливковском, и спросил отца:

— А водка где?

Бабушка Дуня принесла пол-литра, Илья накрошил черный хлеб в большую тарелку, нарезал туда лук, залил все это водкой, и начал есть большой ложкой,— молча и сосредоточенно. Он съел всю тарелку; подвинул сковородку с яичницей и салом, поковырял вилкой и усмехнулся:

— А ведь правду говорил наш пахан-политик.

...Он продолжал усмехаться, уплетая яичницу, а по щекам его катились быстрые слезы.

5

Кремлевский кабинет. Весна тридцать шестого, гульканье голубей на металлическом отливе под широкими окнами, три группки людей: слева, ближе к книжному шкафу,— Ворошилов, Ежов и Ягода, в углу — Каменев и Зиновьев, а возле самой двери — сотрудник НКВД Миронов, который доставил их на эту встречу из внутренней тюрьмы.

Медленно расхаживая по иабинету, Сталин глухо говорил, обращаясь к своим бывшим коллегам по Политбюро, но не глядя на них:

— Если *товарищи* поведут себя на процессе так, что смогут раз и навсегда похоронить троцкизм как идейное течение, если они докажут миру, что Троцкий не остановится ни перед чем в его борьбе против государства и партии, тогда, конечно, аресты бывших оппозиционеров будут немедленно прекращены, члены их семей отпущены домой и затем отправлены в хорошие санатории, а сами товарищи (Сталин наконец поднял глаза на Каменева и Зиновьева) после вынесения приговора, который будет однозначным — «если враг не сдается, его уничтожают»,— отправятся на дачу, чтобы продолжать свою литературную работу, а затем будут помилованы,— кстати, на днях мы опубликуем закон о помиловании...

Сталин снова посмотрел на Каменева и Зиновьева, резко остановившись посреди кабинета, и в уголках его рта можно было прочесть горькую, но в то же время ободряющую улыбку.

Каменев поднялся:

— Мы согласны.

Он сказал это человеку, который в семнадцатом считался его другом; во всяком случае он, Сталин, именно так называл себя в редакции «Правды», где они — до ареста Каменева Временным правительством — были соредакторами...

Каменев считался другом Сталина и в двадцать четвертом, когда они вели совместную борьбу против Троцкого: «члены ленинского Политбюро Зиновьев, Каменев и Сталин — идейные продолжатели дела Ильича».

И вот, спустя двенадцать лет, против Сталина, организовавшего убийство Кирова, стоял Каменев, согласившийся принять на себя вину за это убийство и прилюдно растоптать свое прошлое...

...Через два месяца Каменева расстреляют.

...Миронова, присутствовавшего при том, как Сталин дал слово сохранить жизни Каменева и Зиновьева, расстреляют через семь месяцев.

...Затем расстреляют Ягоду, которому Ежов дал честное слово сохранить жизнь, если он обвинит Бухарина.

Самого Ежова убьют через три месяца после расстрела Бухарина...

6

Писатель Александр Воинов рассказал мне поразительную историю:

— В конце ноября сорок первого я получил недельный отпуск,— после контузии и награждения орденом. Поехал в Куйбышев, там тогда находилась наша вторая столица. Встречаю на улице Киселева, режиссера кинохроники по кличке «Рыжий».

— Хочешь посмотреть мой новый фильм? — спросил Киселев.— Я снимал парад на Красной площади, когда выступал товарищ Сталин.

— Конечно, хочу.

И мы отправились в то здание, где было выделено несколько комнаток кинохронике. В маленький просмотровый зал натолкалось народа видимо-невидимо; фильм смотрели затаенно, многие плакали; мягкие хлопья снега царственно и беззвучно ложатся на брусчатку Красной площади, на Мавзолей, на шинели красноармейцев и командиров, на осунувшееся лицо Сталина и его соратников — товарищей Молотова, Ворошилова, Берия, Андреева, Кагановича, Калинина, Щербакова, Микояна... Снежное безмолвие, тревожная тишина, оживление... Только одно живое во всей панораме — дыхание людей; кто простужен — ловит воздух ртом; счастливчики в валенках и теплом белье дырявят студеный воздух струйками теплого белого пара из носа.

Апофеозом фильма был тот момент, когда Сталин приблизился к микрофону и произнес свою короткую речь. Я представил себе счастье красноармейцев моего батальона, когда они увидят эти кадры: Отец — в скромной солдатской шинели, осунувшийся, но такой родной и любимый,— говорит со своими Детьми...

— Слушай,— спросил я Киселева, жадно вглядываясь в лицо Вождя,— а почему у него пар не идет изо рта?

Киселев окаменел. Я почувствовал, как замерло его плечо; он словно бы не слышал моего вопроса, а мне тогда исполнилось двадцать шесть, дипломатии учен не был, свято верил догмам: «ничего не таи в душе, спрашивай все, что не понял, товарищи помогут разобраться во всем».

— Нет, но почему все же у товарища Сталина не идет пар изо рта? — продолжал удивляться я.— У всех шел, а у него — нет...

Сзади, из напряженно-тревожной темноты, кто-то спросил требовательным шепотом:

— Кто задал этот вопрос?

Киселев яростно толкнул меня коленом, закашлялся и показал глазами на дверь; поднимаясь со стула, шепнул, стараясь скрыть свои слова надрывным кашлем: «Иди за мной».

Недоумевая, я вышел; в коридоре поразился мертвенной бледности Киселева:

«Немедленно возвращайся на фронт,— прошептал он.— Забудь об этом просмотре! Никому не говори ни слова! Знаешь, кто о тебе сейчас спрашивал?! Беги на вокзал, и чтоб ноги твоей здесь не было! Я твою фамилию не помню: какой-то журналист, и ты молчи, что мы дружили, ясно?!»

С этими словами «Рыжий» вернулся в зал. Я по-прежнему не очень-то понимал, что произошло, но то, как он был испуган, как выступили мелкие веснушки на его побелевшем лице, как тряслись руки, подсказало мне: «дело пахнет керосином, я прикоснулся к чему-то запретному, надо драпать».

И я бегом бросился на вокзал, сел в проходящий эшелон и вернулся на фронт, терзаемый безответным: «так почему же не шел пар изо рта товарища Сталина?»

...С режиссером Киселевым я познакомился летом пятьдесят седьмого в Кабуле, где работал переводчиком с пушту и английского на торгово-промышленной ярмарке.

Киселев делал документальный фильм об этой ярмарке; престиж кинематографиста был тогда еще достаточно велик, он властно командовал директорами павильонов, переводчиками, гостями, организовывая нужные ему сцены; пару раз я переводил ему, когда он снимал эпизоды с наиболее уважаемыми пуштунами.

Вот к нему-то я и обратился с вопросом: «Так почему же не шел пар изо рта товарища Сталина?»

С той поры, когда он снимал легендарный парад, прошло пятнадцать лет. Сталин умер, пришло время Хрущева, в стране настала кратковременная оттепель, люди начали постепенно — со страхом и неверием — пытаться изживать из себя въевшийся страх и привычное неверие друг в друга.

Киселев ответил мне не сразу; мялся, глядя на меня, молодого еще совсем; потом вдруг отчаянно махнул рукой:

— Ладно, расскажу... Наркомкино Большаков назначил меня ответственным за съемку парада на Красной площади... Честь огромная... Сняли... В ту же ночь проявили на Лиховом переулке... Кадры — поразительные, однако речь Сталина на звукопленку не записалась... Представляете?! Нет, вы себе этого представить не можете... Это гибель не только всех нас, всех наших родственников и друзей, но и разгром кинохроники: «злостный саботаж скрытых врагов народа, лишивших человечество уникального документа...» Именно тогда я и начал седеть, в те страшные минуты, когда звукооператор, едва шевеля посиневшими губами, сообщил эту новость.

«Как это могло случиться? — спросил я его, придя в себя.— Ты понимаешь, что нас ждет? Ты понимаешь, что мы,— объективно,— льем воду на мельницу Гитлера?» — «Да,— ответил мой товарищ едва слышно.— Понимаю... Но ведь я не имел времени, чтобы проверить кабель, все ж было в спешке... Снег... Наверное, что-то не сработало в соединительных шнурах... Я за своих ребят ручаюсь головой, ты ж их тоже знаешь, большевики, комсомольцы...» — «Рыков тоже называл себя большевиком,— ответил я ему,— а на поверку оказался гестаповским шпионом».

— Словом,— продолжил Киселев,— я поехал к председателю комитета кинематографии Ивану Григорьевичу Большакову. Тот выслушал меня, побледнел, походил по кабинету, потом, остановившись надо мною, спросил: «Какие предложения? Кто виноват в случившемся?» — «Виноват я. С меня и спрос. Предложение одно: сегодня ночью построить выгородку декорации в одном из кремлевских залов и снять там товарища Сталина».— «А как объяснить, что съемка на Красной площади была сорвана?» — «Съемка не сорвана. Кадры сняты уникальные. Но из-за того, что у нас не было времени заранее подготовиться к работе, один из соединителей микрофона *отошел* — снег, обледенело.— охрана постоянно гнала наших людей к камере, подальше от Мавзолея...»

Большаков снова походил по кабинету, потом снял трубку «вертушки», набрал трехзначный номер: «Товарищ Сталин, добрый вечер, тревожит Большаков... Кинохроника сняла замечательный фильм о параде на Красной площади... Однако из-за неожиданных погодных условий звук получился некачественный. Интересы кинематографа требуют построить выгородку в Кремле и снять фрагмент речи в Грановитой палате. Что? Выгородка — это часть Мавзолея, товарищ Сталин... Да... Именно так... Это займет тридцать минут, товарищ Сталин... Да, не больше... Хорошо... Выгородку мы построим часа за четыре... Сегодня в три? — Большаков посмотрел на меня с растерянностью; большие настенные часы показывали одиннадцать вечера; я решительно кивнул, мол, успеем; нарком покашлял, потом тягуче ответил: — Лучше бы часов в пять... Хорошо, товарищ Сталин, большое спасибо, в половине пятого съемочная группа прибудет к Спасским воротам, строителей и художников вышлют немедленно...»

...Ровно в четыре тридцать утра дверь Грановитой палаты отворилась и вошел Сталин. Видимо, Большаков его предупредил уже, верховный был в той же солдатской шинели, что выступал давеча; хмуро кивнув съемочной группе, он поднялся на выгородку, сколоченную за это время нашими художниками; я дал знак осветителям, они

врубили юпитеры; свет был ослепительным, внезапным; Сталин прикрыл глаза рукой, медленно достал из кармана текст выступления и начал говорить — в своей неторопливой, *обсматривающей* манере. Я наблюдал его вблизи, видел, как он похудел, какие тяжелые мешки у него под глазами, как отчетливы оспины и седина; обернувшись к операторам, я сделал едва заметное движение рукой; они поняли: надо избегать крупных планов, вождю это могло не понравиться, народ привык к совершенно иному облику Верховного: широко расправленная грудь, черные усы, прищурливая усмешливость глаз; здесь же, в Грановитой палате, на деревянном помосте, изображавшем Мавзолей, стоял согбенный, уставший старик.

...И в тот короткий миг, когда я обернулся к операторам, мой коллега, отвечавший за звукозапись, показал руками, что и сейчас, в этом огромном, пустом зале, когда мерно стрекотали камеры, и юпитеры *жарили* лицо Сталина, текст Верховного по-прежнему не идет на пленку... Я ощутил приступ тошноты, своды палаты начали рушиться на меня, сделалось душно, и я вдруг ощутил свою никчемную, крохотную малость. Зачем надо было класть жизнь на то, чтобы рваться вперед и наверх?! Жил бы себе тихо и незаметно! Умер бы дома, в кругу родных, не обрек бы их на грядущую муку и ужас! Но именно в момент отчаяния, в ситуации кризисной, решения приходят мгновенно... Когда Сталин, закончив читать выступление, снял фуражку, вытер вспотевший лоб и неторопливо пошел к выходу из Грановитой палаты, я *обежал* Большакова, который сопровождал Верховного, и сказал: «Товарищ Сталин, вам придется прочитать выступление еще раз...» Помню испуг Большакова, страх, который он не мог скрыть; никогда не забуду реакцию Сталина: «Это — почему?» Он спросил меня, не подымая глаз, голосом, полным усталого безразличия. И я, глядя на Большакова, словно гипнотизируя его, моля не выдавать мою вынужденную ложь, ответил: «В кинематографе принято делать дубль, товарищ Сталин». Верховный, наконец, медленно поднял на меня свои глаза; они только издали казались улыбчивыми и отеческими; когда я увидел их вблизи,— желтые, постоянно двигающиеся, тревожные,— мне стало не по себе. Сталин медленно оборотился к Большакову; лицо наркома сделалось лепным — прочитывался каждый мускул; однако он согласно кивнул, хоть и не произнес ни слова. Медленно повернувшись, Сталин вернулся к выгородке, под жаркий свет юпитеров. Я подбежал к звукооператору, шепнул, чтоб он еще раз проверил все соединения, подошел к микрофону и постучал пальцем по сетке; звуковик обмяк в кресле, и некое подобие улыбки тронуло его бескровные губы,— все в порядке, *пошло*! А в моей голове мелькнула шальная мысль: «Вот бы попросить,— „товарищ Сталин, скажите-ка: раз-два-три, проба!“» И я подумал: а ведь он бы выполнил мою просьбу,— важно только было сказать приказным голосом...

...*Дубль* получился; Сталин так же, как и первый раз, не прощаясь ни с кем, медленно пошел к выходу; я семенил за Большаковым, который был, как всегда, на полшага за Иосифом Виссарионовичем. Уже около двери Сталин жестко усмехнулся: «И в кино одни Маккиавели».

Эти странные слова Сталина, которые так запомнились Киселеву, преследовали меня; я искал ответ на вопрос: «почему именно Маккиавели?»

Искал и не мог найти.

...В 1965 году писатель Лев Шейнин (в прошлом помощник Вышинского) позвонил мне из Кунцевской больницы: «Вы хотели поговорить с Вячеславом Михайловичем Молотовым? Он здесь, вместе с Полиной Семеновной, приезжайте, я вас представлю».

Через час я был у него в палате. Маленький, кругленький, работавший — после освобождения из Лефортовской тюрьмы — главным редактором «Мосфильма», Шейнин был человеком улыбчивым, постоянно тянувшимся к людям. В разговорах, однако, был сдержан: как-никак именно он, помощник Генерального прокурора Союза, прибыл вместе со Сталиным в Ленинград на следующий день после убийства Кирова. О Вышинском как-то сказал во время прогулки по аллеям нашего писательского поселка в Пахре: «Это человек тайны, не стоит о нем, время не подошло». В другой раз, тоже во время прогулки, смеясь, заметил: «Когда меня привезли в Лефортово, я сказал следователю: „если будет боржоми,— подпишу все, что попросите о моей, лично моей шпионской работе“,— я-то знал, что исход один... Впрочем, я еще хранил иллюзии. Черток в этом смысле оказался самым умным».— «Кто такой Черток?» — «Это следователь Льва Борисовича Каменева... Чудовище был, а не человек... Он себе такое позволял, работая с Каменевым... Словом, когда за ним пришли, а это случилось через месяц после того, как Каменев был расстрелян, он прокричал: „Я вам не Каменев, меня вы не сломите!“ — и сиганул с балкона». Я спросил: «Почему?» Шейнин поднял на меня свои глаза-маслины, судорожно вздохнул и ответил: «Милый, не прикасайтесь вы к этому, не надо, так лучше будет для вас...»

...Именно он, Шейнин, и завел меня в большую палату государственного пенсионера СССР, бывшего члена партии Молотова и его жены, ветерана партии Жемчужиной. Разговор был *светским*; Молотов шутил, говоря, что прочитав мою «Петровку, 38» он начал с опаской гулять по улицам, расспрашивал, над чем я работаю, как начал писать,

имеет ли что-то общее с моей судьбой персонаж из моей повести «При исполнении служебных обязанностей» молодой пилот Павел Богачев, воспитывавшийся в детском доме, куда был отправлен после расстрела отца; когда я попросил о следующей встрече (я тогда готовился к роману «Майор Вихрь»), он ответил согласием, написал свой телефон на улице Грановского, попросив при этом никому его более не передавать.

Позвонил я к нему, однако только через год: то он уезжал на курорт, то я шастал по стране, работая в архивах.

Первый раз я поднялся к нему на Грановского, когда Полины Семеновны не стало уже; мы сидели в маленьком кабинете Молотова, обстановка которого напоминала фильмы тридцатых годов: кресла, обтянутые серой парусиной, стол с зеленым сукном, маленький бюст Ленина, в гостиной — книги в скромных шкафах, китайский гобелен и портрет Энгельса в деревянной рамке.

Молотов рассказал ряд эпизодов, связанных с январем сорок пятого, когда Черчилль обратился к Сталину за помощью во время Арденнского наступления немцев, дал анализ раскладу политических структур в тот месяц,— как она ему представлялась; потом, улыбнувшись, заметил, что в то время Сталин уже практически «не затягивался, набивал трубку „Герцеговиной Флор", но табаком лишь пыхал». Не знаю почему, но именно тогда я и решил спросить его о Маккиавели.

Молотов цепко обсмотрел меня своими глазами-буравчиками, снял на мгновение пенсне, потер веки и ответил четкой формулировкой:

— Увлечение Маккиавели симптоматично, ибо свидетельствует о сползании в реакцию.

...Я уже знал тогда, что в тридцать шестом году какое-то время позиции Молотова были шатки, поскольку ни Каменев с Зиновьевым, ни Пятаков не назвали его имя в числе тех, кто «подлежал уничтожению»; были перечислены практически все ближайшие соратники вождя — Н. И. Ежов, Г. К. Орджоникидзе, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, но Молотова среди них не было. Лишь после того, как был убит Серго и Молотов после этого выступил на февральско-мартовском Пленуме ЦК, его имя было включено в список будущих «жертв» на третьем процессе по «делу» Бухарина и Рыкова.

Знал я тогда и то, что над Молотовым собрались тучи и накануне смерти Сталина,— жена арестована как «враг народа», а сам он оттерт на третий план группой Маленкова — Берия. Поэтому меня потрясала та нескрываемая нежность, с которой он произносил имя Сталина; нежность была какой-то юношеской, восторженной, она даже несколько выпячивалась им, хотя Молотов, казалось, не был человеком позы.

— А как Сталин относился к Маккиавели? — спросил я, несколько опасаясь его реакции, ибо рискованная пересекаемость имен подчас вызывает в политиках (особенно с приставкой «экс») непредсказуемую реакцию.

Молотов ответил сдержанно:

— Сталин понимал, как чужд самому духу нашего общества строй мыслей этого философа. Сталин говорил правду, а Маккиавели всегда искал путь, чтобы ложь сделать правдой,— и, помедлив мгновение, он заключил: — Впрочем, порою, наоборот...

...Первый том Собрания сочинений Маккиавели был издан «Академией» в Москве и Ленинграде крошечным тиражом в тридцать четвертом году; второй том так и не опубликовали, поскольку предисловие было написано Каменевым, а его — вскоре после убийства Кирова — арестовали. Хотя в предисловии Каменев и подчеркивал, что одна из порочных идей Маккиавели состоит в отторжении морали от политики, и что,— следуя флорентинцу,— высший смысл человеческого существования заключен лишь в работе во благо государства, но при этом советовал помнить: идеал государства — это республика; Древний Рим дал пример такого сообщества, где каждый гражданин вдохновенно сражался и отвечал за престиж и достоинство родины, поскольку имел на то право, гарантированное Законом; однако Республика становится фикцией, если власть убивает в народе добродетели и личное достоинство, предпочитая править страхом и террором.

Будучи по образованию теологом, Сталин знал толк в осмыслении заложенного между строк; он считал, что выпуск тома Маккиавели с предисловием Каменева направлен против него, дирижера начинавшегося террора.

Именно поэтому во время процесса Каменеву и было поставленно в вину — наравне с подготовкой покушений и антисоветской борьбой — издание книги Маккиавели.

Сталин достаточно долго думал и о том, чтобы вписать в показания Зиновьева фразы о «вредительской» книге Займовского «Крылатое слово» с предисловием того же Каменева, который утверждал: «Автор далеко не в достаточной степени использовал нелегальную, подпольную прессу эпохи царизма, а также „крылатые слова", созданные революционной эпохой. Но это не личная ошибка автора, а скорей наша общая беда. Можем ли мы сказать, что в должной мере изучили — или, хотя бы изучаем,— подпольную прессу, ее историю, ее сотрудников, приемы, язык? Конечно, нет!»

Сталин прекрасно понимал, что если,— следуя Каменеву,— читатели начнут

«изучать подпольную прессу», то в массе своей пришлось бы упоминать имена тех революционеров, которые ныне, по его, Сталина, указанию, были объявлены «врагами народа».

Именно поэтому каменевское предисловие к «Крылатым словам» и не было упомянуто на процессе: еще далеко не все книги были запрещены и изъяты из библиотек, еще не до конца была убита память,— надо ждать.

Нельзя было вспомнить и «Замогильные записки» Печерина, изданные также с помощью Каменева. Как поставишь ему в вину книгу профессора Петербургского университета, сбежавшего на запад в 1837 году, если придется зачитывать отрывки из нее?!

Каково Генеральному прокурору Вышинскому процитировать: «Я был уверен, что если б я остался в России, то... попал бы в Сибирь ни за что ни про что. Я бежал не оглядываясь, чтобы сохранить в себе человеческое достоинство!»

(Поди, додумайся, царский цензор, что Лермонтов дал своему любимому герою имя первого беглеца из России! Поди, разгадай писательскую хитрость: поставил две точки над «е»,— и вся недолга,— «Печёрин», а не изменник «Печерин»!

Искусству, или умению изучать русскую прозу, следует помогать компьютерами, хотя, думается, даже компьютер не сможет подсчитать все те трагические компоненты отчаяния, надежды, мольбы, страха, любви, что рвали сердца тех литераторов, кому господь дал ум,— от него у нас горе, от чего ж еще?!

...Впрочем, определенные выводы во время подготовки процесса своих бывших друзей Каменева и Зиновьева были сделаны: Сталин запретил издание «Бесов» и «Дневника писателя», как и переиздание Маккиавели, не говоря уже о запрете публикации ряда работ Энгельса о русской истории, с одной стороны, а Соловьева — с другой.)

...Среди режиссеров, которых Сталин высоко ценил, был и Чиаурели; тот подробно рассказывал ему о «технологическом процессе» создания фильма; поэтому Верховный знал, что в документальных лентах «дублей» не делают,— на то они и документальные, одно слово — «хроника».

Большакову — при очередной встрече — Сталин заметил: «А этот ваш режиссер, что снимал в Грановитой палате, смелый человек... Таких бы и посылать на самые боевые участки — не подведет».

Киселев, однако, выжил, судьба не дала ему погибнуть, хотя должен был: «маккиавели» страшны не только в политике, но и в кино.

Александра Воинова от ареста спасло ранение; когда его все же нашли, он лежал в госпитале, думали — не поднимется.

А — поднялся.

7

Летом сорок второго Сталин — после разговора с Черчиллем — затребовал гитлеровскую кинохронику, подчеркнув, что хочет видеть «все, а не цензурированные огрызки, мне политконтроль не нужен».

Просмотрев сцены восторженного приема, устроенного солдатами и офицерами вермахта фюреру в непосредственной близости от линии фронта, он вызвал народного комиссара внутренних дел Л. П. Берия:

— Вашей службе были заранее известны даты приезда Гитлера в окопы?

Берия ответил, что прилет Гитлера на фронт был совершенно неожиданным, заранее не подготовленным, некий экспромт, лишь поэтому «мои люди из Швейцарии не успели нас проинформировать».

— И это вам представляется нормальным? — спросил Сталин.— Разведка, которая «не успевает проинформировать», недорого стоит... Ваш либерализм по отношению к арестованным, когда вы прилетели в Москву, в тридцать восьмом, был оправдан: тот, кто сменил Ежова, обязан быть справедливым... Думаете, мне не писали, что вы санкционировали слишком много пересмотров дел? Полагаете, не сигнализировали, что на Особом Совещании вы предлагали давать обвиняемым минимальные сроки вместо максимальных? Но преступно считать, что либерализм — по отношению к бездельничающим нелегалам, которые отдыхают в Женеве,— в дни битвы народов допустим и оправдан.

Сталин медленно поднял на Берия побелевшие глаза — явный признак раздражения; когда Верховный был в гневе, зрачки исчезали, словно бы растворяясь в размытой желтизне.

...Впервые Берия заметил это окончательно перебравшись в Москву. Ночью, после долгого разговора о том, как следует *выбрать* из Германии нелегалов, чтобы не раздражать Гитлера после заключения договора о ненападении, Сталин неторопливо

походил по кабинету, потом достал из стола бумагу,— листочек в клеточку, исписанный четким и, как показалось Берия, детским почерком.

— Ознакомьтесь,— сказал Сталин, кивнув на письмо.

Берия протер пенсне замшевой тряпочкой, которую постоянно носил в левом нагрудном кармане, взял листок, пробежал строки, опустив первые, обязательные, в которых говорилось о том, что Сталин — честь, ум и сердце страны, великий гений, друг всех обездоленных, и все в этом роде. Остановился на третьем абзаце: «Когда нашего замечательного дирижера, народного артиста Грузии Микеладзе привезли в кабинет Берия Л. П., он уже был слепым, потому что во время допросов у него выбили глаза, требуя признания в том, что он вместе с поэтами Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе входил в диверсионно-шпионскую группу, руководимую из Парижа лидером меньшевиков Ноем Жордания и неким полковником гестапо.

Микеладзе *втащили* в кабинет тов. Берия Л. П., и тот сказал: „Дирижер, вас изобличили подельцы, у нас достаточно материалов, чтобы расстрелять вас и без официального признания! Но неужели вы не хотите облегчить совесть, выскоблить себя перед народом?!“

— Товарищ Берия,— ответил великий музыкант,— я ни в чем не виноват, и вам об этом прекрасно известно!

— Откуда ты узнал, что я — Берия?! Ты же слеп!

— У меня абсолютный слух, Лаврентий Павлович. Я узнаю любого человека по голосу...

И тогда Берия Л. П. сказал тем, кто привез к нему гения грузинского народа:

— Так вбейте ему гвозди в уши, чтоб он не мог никого узнавать по голосу!

И это сделали с Микеладзе. И Родина потеряла одного из лучших своих сынов...»

Берия, выгадывая время, начал читать письмо второй раз, но Сталин сказал:

— Положите бумагу, ее незачем читать дважды... Написанное — правда?

Берия мгновенно просчитал, что если Сталин вызовет сюда тех трех, что присутствоали в кабинете во время *беседы* с Микеладзе, они неминуемо *развалятся*. Поэтому отвечать надо правду, *замотивированную* правду.

— Да,— ответил Берия,— это правда, товарищ Сталин... Микеладзе, Яшвили и Табидзе прилюдно обсуждали вопрос о том, как я «перекроил историю, приписав Сталину те революционные заслуги, которых он не делал». Более того, они говорили, что «убийство Авеля Енукидзе и Камо санкционировано Сталиным, который убирает тех, кто работал на Кавказе в начале века...» И еще: они повторяли слова бывшего полицмейстера Басилашвили, который рассказывал, что якобы «Сталин был впервые арестован не как пламенный революционер-ленинец, но как... некий Робин Гуд, дерзко грабиаший богатеев. И только в тюрьме, под воздействием Ладо Кецховели он примкнул к социал-демократии и с тех пор занимался экспроприациями для партии...»

— Вам более чем кому бы то ни было известно, откуда идет эта сплетня... Меня не волнуют сплетни, я их о себе слышал немало... Меня волнует другое: как могло случиться, что информация о факте с Микеладзе,— Сталин кивнул на письмо, лежавшее на столе,— стала известна людям? Да, да, людям, Берия! Многим людям! Думаете, в отделе писем ЦК об этом не говорят?! В их семьях? В семьях их друзей?! Думаете, об этом не говорит Грузия? Меня во всем этом деле меньше всего интересуете вы! Меня беспокоит престиж моих коллег, которые рекомендовали Берия на пост наркомвнудела... Словом, я даю вам три дня для того, чтобы этот факт,— он снова брезгливо кивнул на письмо,— перестал быть фактом... Если что-то делаете — доводите до конца. У нас в России грузинские *штучки* не проходят, Берия. Ясно?! Или, может быть, вы такого рода всепозволенностью решили похвалиться своей близостью к Сталину? Особенно после того, как выпустили книгу об истории большевистских организаций Закавказья?! Может быть, это не случай, а организованная комбинация?! Может быть, вы забыли, что накануне следствия по делу Каменева было принято постановление, запрещавшее пытки оппозиционеров?!

Берия опустил глаза, боясь, что Сталин *прочтет* его: всем было прекрасно известно, что два года Каменева и Зиновьева кормили соленой рыбой, не давали воды и держали в камерах, где даже в жару топили печки... Зиновьев валялся на полу, начались печеночные колики, на этом его и сломили, потом сдался Каменев, о каком *постановлении* говорит Коба, он же знает все, абсолютно все!

Вот тогда впервые Берия и затаил ненавидящий ужас к этому человеку, задавленный, однако, неподвижной плитою магического преклонения перед ним.

И вот сейчас, спустя три года, походив по кабинету, Сталин раздраженно бросил:

— Во-первых, всю радиосвязь с вашими нелегалами необходимо прекратить, начиная с сегодняшнего дня... Вплоть до моего указания... И, во-вторых, послезавтра я выезжаю на фронт, в район Ржева, пусть Серов подготовится...

...Он никому не верит, подумал Берия; он запретил связь с резидентурами, чтобы мы не передали им о его выезде из Москвы, он не дал мне время на подготовку, чтобы

факт его поездки не стал известен кому бы то ни было. И Ржев выбрал не зря: видимо, именно для беседы о положении на Северо-Западном фронте он вчера вызывал не только Штеменко, но и Шапошникова с Голиковым, которые привезли оттуда двух командармов.

...Наутро генерал Иван Серов отправил под Ржев эшелон с батальонами охраны — «для проведения маневров в условиях боевой обстановки»; вызвал в штаб всех особистов фронта: «Необходимо обсудить вопросы, связанные с переформированием частей особого назначения».

В тот же день в Ржев прибыло еще три эшелона: охрана начала патрулировать все большаки и проселки в радиусе ста километров.

А назавтра туда приехал Сталин; его отвезли на окраину разбомбленного города и поселили в одном из чудом уцелевших домиков; Серов извинился:

— Товарищ Сталин, беда с водопроводом... Туалет во дворе, там же и умывальник...

— А где, по-вашему, оправлялся Сталин в Туруханском крае? — усмехнулся Верховный.— В ванной комнате?

Утром он вышел из просторной избы; отправился к рукомойнику, прикрепленному к старому вязу. Неторопливо намыливая руки, тщательно вымыл их, потом лицо; больше всего любил земляничное мыло; впервые пользовал его в Берлине, в девятьсот седьмом году, когда, в частности, помогал Литвиноаву и Красину готовить операцию по спасению Камо из тюрьмы... Золотой был человек Камо, таких больше нет; трагично, но его уход был угоден истории, ибо он знал *все*; тем более, просился к больному Ленину именно в то время, когда тот искал союза с Троцким против него, Сталина. Несмотря на то, что завещание Ленина было запечатано в пяти конвертах, генеральный секретарь знал о его содержании; жена, Надя Алилуева, работала в секретариате Ильича, там об этом говорили, дважды обмолвился Каменев... Сделать подарок Троцкому, разрешить ему узнать свое прошлое — недопустимо; именно Берия тогда и доказал впервые свою преданность, именно он организовал *трагедию* с Камо, больше доверять в ту пору было некому. Риск? Еще какой, но положение было безвыходным: с одной стороны — теоретик Троцкий, с другой — он, Сталин, связанный с экспроприациями, хорош генеральный секретарь, ничего не скажешь...

...Вытирая лицо мягкими прикосновениями крахмального вафельного полотенца, Сталин заметил двух парней из охраны в одинотипных коричневых плащах и кепках такого же цвета — с длинными, полуквадратными козырьками.

— Кто это? — не оборачиваясь, спросил Сталин.

Серов, кашлянув, ответил:

— Охрана, товарищ Сталин.

— Это называется не охрана,— Верховный неторопливо обернулся; лицо бледное, глаза щелочками,— это намеренная дешифровка,— вот как это называется... Любой гитлеровский лазутчик за версту увидит этих загримированных остолопов и сообщит в свой центр... Убрать их всех немедленно...

— Слушаюсь, товарищ Сталин!

Проводив Сталина к завтраку, Серов бросился к ВЧ, соединился с Берия.

— Охрану не снимать,— отрезал тот.— Наверное, поставил в оцепление рослых, а ты найди маленьких, вроде тебя, пусть на корточках ходят.

(Спустя семь лет, во время съемок очередной картины о Сталине, заехавший на «Мосфильм» Роман Кармен увидал поразительную картину: народный артист Советского Союза Геловани, утвержденный решением Политбюро для исполнения роли генералиссимуса, шел перед камерой, а за ним, на корточках, семенили Зубов, игравший Молотова, и Толубеев, исполнявший роль Ворошилова. Изумленный Кармен спросил Чиаурели: «Миша, в чем дело?!» Тот ответил шепотом: «Никто не имеет права быть выше Сталина». Видимо, об этом стало известно генералиссимусу, потому что он вызвал министра кинематографии Большакова и сказал: «Сталин — русский человек, и играть его надлежит русскому. Мне нравится Алексей Дикий... Товарищ Каганович находит, что мы похожи, пусть он играет Сталина в новых картинах».

Превозмогая дерзостный страх, Большаков ответил: «Но ведь Дикий был в свое время репрессирован, товарищ Сталин!» — «В свое время я тоже был репрессирован охранкой,— Сталин усмехнулся.— А ведь — ничего, народ простил...»)

...После первого совещания с командующими армий Сталин, перед обедом, снова вышел мыть руки и заметил коротышек, ходивших по улице.

— Серов,— сказал Сталин негромко,— если вы сейчас же не уберете всех этих дармоедов, которые только привлекают ко мне внимание, вам и Берия не сдобровать. Так ему и передайте.

...Ночью два батальона охраны были загружены в теплушки, но в Москву, тем не менее, не отправлены.

На следующее утро, убедившись, что вокруг дома нет никого, кроме взвода автоматчиков, Сталин, усмехнувшись, сказал:

— А вечером давайте-ка поедем поближе к линии фронта.

...Всю ночь разведка искала хоть один несгоревший дом примерно в пятидесяти километрах от передовой; нашли; хозяевам было сказано, что приедет «генерал-майор Иванов, остановится на одну ночь, не могли бы переночевать в соседской землянке?»

Здесь, в избе, Сталин и провел совещание с четырьмя комдивами,— эти донесут до солдат правду о том, что он, Верховный, был на передовой, но без трезвона, шумихи и пропагандистских штучек, а скромно, как и надлежит вести себя соратнику Ленина, продолжателю его великого дела.

Ящик вина привез начальник его охраны Власик, он же и откупоривал бутылки, угощая молодых генералов «саперави» и «хванчкарой».

За обедом Сталин шутил, расспрашивал комдивов об их семьях, рассказал, как он со Свердловым и Каменевым жил в ссылке,— изба походила на эту; генералы замерли, услыхав в устах Сталина фамилию Каменева,— он говорил о нем спокойно, как о здравствующем и поныне партийце, а не шпионе...

Попрощавшись с гостями, Сталин попросил Власика закрыть бутылки пробками: «Не люблю, когда вино выдыхается... В Грузии тщательно следят, чтобы пробки были хорошо пригнаны, пора бы и нам этому научиться».

Наутро, едва только рассвело, Сталин проснулся, с видимым удовольствием вымылся во дворе, сказал, что время возвращаться в Москву, и поинтересовался:

— Серов, где хозяева этого дома?

— Они ночевали у соседей, в землянке, товарищ Сталин...

— Вы их как-то поблагодарили за это?

— Нет.

— Это плохо, Серов. Очень плохо... Человек, лишенный чувства благодарности, бездуховен... Конечно, особенно баловать крестьян не следует, но отмечать доброе дело — должно... Дайте им в подарок от генерала Иванова денег...

— Слушаю, товарищ Сталин... Сколько?

— Сто рублей, пожалуй, слишком много,— задумчиво ответил Сталин.— А вот тридцать передайте им от меня,— в хозяйстве пригодится...

В ту пору буханка хлеба на рынке стоила пятьсот рублей...

По нынешнему пересчету цен этот подарок крестьянской семье выразился бы тридцатью копейками...

8

После того, как операция «Багратион» с блеском закончилась, Советская Армия вышла к границам тридцать девятого года. (Константин Симонов, когда я спросил, отчего он не продолжил «Солдатами не рождаются», усмехнулся: «Я воевал за освобождение моей Родины. Все, что произошло потом,— новый цикл, с иными героями и потаенными целями, но писать его будет кто-то другой».)

Сталин пригласил на Ближнюю Дачу маршалов,— решил устроить в их честь ужин.

Когда все съехались, Сталин приветствовал гостей в холле, пожал каждому руку; остановившись перед Рокоссовским, задумался на мгновение, молча повернулся и вышел; военачальники переглянулись; Жуков ободряюще кивнул: «Сейчас вернется».

Сталин действительно вскоре вернулся с букетом роз, протянул их Рокоссовскому, глухо кашлянув:

— Это за то, что ему больше вас всех досталось.

Понимать эту фразу можно было двояко: либо Сталин говорил о тяжести боев (хотя Жукову доставалось не меньше), либо о том времени, когда маршала таскали на допросы, выбивая показания о принадлежности к «банде троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов».

Потом Сталин пригласил маршалов во двор, где стол был накрыт по-кавказски, под полосатым тентом; дымились карские шашлыки на углях, жарилась молодая козлятина, на старинных сковородках, привезенных с Кавказа, шипел желто-сливочный сулгуни.

Вино было из Тбилиси; бутылки опечатаны особым сургучом, что означало: «проверено, соответствует кондиции»; ЛСУК — «Лечебно-Санитарное Управление Кремля» — проверяло все, что подавалось на стол Верховному; потом, впрочем, была еще одна проверка, негласная, контролировавшая заключение медиков. Был на столе и коньяк «Варцихе»; водки стояло всего две бутылки (Сталин ее не пил, но знал, что Толбухин и Конев коньяк не очень-то любят, пусть себе порадуются «белой»).

Ужин удался на славу; хороший тост произнес Берия; он знал, что тост этот нравится Сталину, поэтому разыгрывал его в лицах: «Однажды юноша зашел на старое кладбище в горах и подивился надписям на крестах и могильных плитах: „Гиви Кварцхава, родился в девятисотом году, умер в девятьсот пятнадцатом, жил тринадцать лет“; „Ладо Гудиани, родился в восемьсот сорок пятом, умер в девятьсот двадцатом, жил сорок два дня“... Что такое, думает юноша?! Как такое может быть?! А навстречу ему шел седобородый мудрец в белых одеждах с посохом. И обратился к нему юноша: „Скажите, уважаемый, отчего такие странные надписи на крестах?“ — „Оттого, сын мой,— ответил седобородый мудрец,— что возраст людей в этом краю определяется не годами, прожитыми на земле, но часами дружбы!“ Так выпьем же за дружбу наших маршалов, выдающихся военачальников эпохи гениального стратега наших побед Сталина!»

Рассказал свой любимый анекдот и Молотов: «Мужчина был в гостях, постоянно прикладывался к рюмочке, а жена, как и полагается всем женам, удерживала его: „Не надо да не надо!“ В конце концов она взмолилась: „Ну хоть съешь что-нибудь! Вон, смотри-ка, хорошая булочка!“ Ее муж покорно съел булочку и сразу же обвалился со стула, прошептав при этом: „Это твоя булочка виновата!“»

...Потом плясал Буденный.

Ах, как он плясал в восемнадцатом, когда собирались узким кругом; как *шел* Ворошилов; как же быстролетно время, как неудержимо уходит оно, словно песок сквозь пальцы...

...Сталин чувствовал, что вечер удался; редкое состояние спокойствия размягчило его, он откинулся на спинку кресла, чуть вытянул ногу и с прищурливой доброжелательностью обсматривал лица гостей: все *свои*, никакой затаенности, недоговоренности; случилось то, чего он столько лет добивался: наконец-то окружен гвардией, не кто-либо, но именно они передадут поколениям правду о том, что он, Сталин, сломал шею гитлеризму; конец — всему делу венец! Это еще надо будет посмотреть, по чьей вине случился сорок первый год; не сейчас, конечно, сейчас нельзя мешать людям делать их дело, но придет время, и мы найдем истинных виновников трагедии. Генерал Павлов — что? Сошка, мелюзга... Ворошилов не зря рассказывал, как он нашел его в Белоруссии, в кюле, на проселке, под дубом,— ноги солнцу подставил, портянки сушил на глазах у всех... «А я ведь читал твои *донесения*, которые ты против меня сочинял, Павлов,— сказал ему тогда Клим.— Ты ведь *сигнализировал* на меня, псевдонимом подписывался, хотел под монастырь подвести, нехорошо...»

...Перед тем, как пришло время разъезжаться, после того, как все произнесли тосты за Верховного, Берия попросил слова; Сталин несколько удивился — это не в обычаях *стола* просить второй тост, тем не менее посчитал неудобным отказывать, военные могут этого не понять, у них свое представление о тех, кто на вершине пирамиды, нет смысла это представление менять...

— Товарищ Сталин, я предлагаю выразить благодарность вашим поварам, охране, всем, кто готовил сегодняшний стол,— Берия обернулся к тем, кто стоял у мангалов,— наши грузинские янычары верны вам, как никто!

Сначала Сталин поднял свой бокал, но потом заметил, как Жуков и Конев, обернувшись, следом за Берия внимательно рассматривали поваров и охрану — рослые грузины, в основном голубоглазые, видимо, менгрелы, лица счастливые, вот-вот заплачут от гордости...

Сталин поставил бокал на место, лицо собралось старческими морщинами и, не глядя на Берия, а словно обращаясь ко всему столу, сухо посмеялся:

— Значит, грузины Сталина любят и верны ему... Хм... А что русские? Любопытно, как они относятся к Сталину?

Через три дня, перед тем, как маршалы разъезжались по своим фронтам, Сталин неожиданно устроил прощальный обед: ни одного грузинского повара не было; стол обслуживали рослые охранники,— все, как один, русские.

Сталин постоянно наблюдал за Жуковым и Коневым, за их реакцией; однако ни один из маршалов попросту не обратил на это внимания.

«...А Троцкий бы понял? — подумал Сталин.— Все-таки разница между профессионалами, техниками войны и политиком весьма значительна».

...Грузин, однако, возвращать в Москву не стал: то, что сделано — сделано, нельзя менять решения, интеллигентщина, слава богу, ушла в прошлое, и, полагаю, никогда не вернется.

9

Звонок в секретариат Молотова раздался рано, в девять тридцать:

— Американский посол Аверелл Гарриман просит соединить его с министром иностранных дел.

— Министр проводит совещание.
— Когда вы сможете соединить посла с министром?
— Я затрудняюсь дать точный ответ. Пожалуйста, позвоните в двенадцать.
...Помощник Молотова был предупрежден заранее, что с утра будет звонить Гарриман, ибо уже в восемь подписчики получили «Литературную газету» со статьей лауреата Сталинской премии Бориса Горбатова — «Человек в коротких штанишках». Заголовку было предпослано слово, разверстанное на три колонки: «*предатели*». Речь в статье шла о президенте Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэне, главе дружественного — согласно действовавшему тогда Договору — государства.
Молотову было дано указание уклониться от встречи с Гарриманом под любым удобным предлогом; указание пришло от Сталина прошлой ночью.
...Помощник посла звонил в приемную министра иностранных дел до трех часов; в три тридцать Гарриман сам набрал номер секретариата Сталина; по-русски произнес чеканную, заранее подготовленную фразу:
— Прежде чем я дам рекомендации правительству Соединенных Штатов по поводу известной вам публикации, мне казалось бы необходимым встретиться с маршалом.
(«Генералиссимусом» Сталина никогда не называл, только «маршалом», отговариваясь тем, что привык к его званию во время войны — с одной стороны, и — с другой — ему бы не хотелось иллюзий: тиран Испании Франко тоже генералиссимус, как и Чан Кай-ши, главный противник Мао, верного ученика русского лидера.)
— А почему бы вам не встретиться с Молотовым или Вышинским? — спросили Гарримана, заранее зная, что он откажется от этого предложения, протокол не позволяет,— слишком долго унижали отговорками.
— К сожалению, я не могу более ждать, пока господа Молотов или Вышинский найдут время для встречи с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов. Просил бы доложить маршалу, что встреча с ним была бы в высшей мере целесообразной,— в интересах двух наших держав.
Сталин дожидался именно этих слов Гарримана: игра, начатая в конце прошлой недели, входила в свою завершающую фазу.
Во-первых, он, Сталин, поручил сделать публикацию о *предателе* Гарри Трумэне, президенте Америки, не кому-нибудь, а Борису Горбатову, еврею по национальности. Поскольку в Штатах во время войны значительно увеличилось влияние еврейских кругов в прессе, можно рассчитывать, что далеко не все газеты за океаном выступят против публикации «Литературной газеты», а, наоборот, перепечатают пассажи из опуса Горбатова, особенно республиканцы,— выборы на носу, надо валить демократического кандидата Трумэна. Во-вторых, эта публикация есть не что иное, как пробный шар в переориентации не только советского народа, но и европейцев на нового противника, на человека, отринувшего идеи Рузвельта, а, следовательно, и всей Большой Тройки, и, наконец, в-третьих, позиция Гарримана — после такого рода публикации — поможет выработать курс на будущее: как будет реагировать Вашингтон на сокрушительные удары такого и не только такого рода? Кампания в прессе? Пусть. У нас их прессу не читают. А если какого-то рода санкциями? Какими именно? Где? Как скоро? С другой стороны, предстоят серьезные события в России, время «братьев и сестер» военной поры прошло, надо кончать с неизбежным либерализмом, отмеченным печатью союзничества с Западом; поговорили — и будет, время работы, суровой дисциплины, абсолютного единомыслия, иначе Россию из руин не поднять, народ надо держать в руках, направляя и контролируя каждый шаг.
Работник секретариата Сталина сказал послу, что он доложит помощнику генералиссимуса о его звонке незамедлительно, попросил оставить телефон, пообещав связаться в течение десяти минут.
И — ровно через десять минут — перезвонил, пригласив господина Гарримана прибыть в Кремль в восемнадцать тридцать.

...Гарриман вошел в кабинет Сталина, зажав в правом кулаке номер «Литературной газеты»,— тогда она выходила на четырех страницах, объемом «Известий»:
— Вы видели это, маршал?! — спросил он, вытянув руку с газетой.
— Здравствуйте, господин Гарриман,— поднявшись из-за стола, Сталин пошел ему навстречу.— Рад вас видеть, присаживайтесь, пожалуйста. Что будете пить?
— После этой статьи,— Гарриман кивнул на газету, по-прежнему зажатую в кулаке,— полагается пить коньяк за упокой наших союзнических отношений.
— Рискованно,— ответил Сталин.— Вам же предстоит составлять телеграмму в государственный департамент, давать рекомендации Белому дому... Неловко, если за океаном поймут, что вы делали эту работу нетрезвым... Что же касается номера «Литературной газеты», то я его прочитал лишь перед обедом...
— И каково ваше мнение?
— Видите ли, господин Гарриман, будь это напечатано в «Правде» или «Известиях», словом, в газетах, принадлежащих партии и правительству,— медленно, словно бы взвешивая каждое слово, ответил Сталин,— мы бы серьезно наказали главных редакторов за такого рода публикацию, можете мне поверить... Однако у нас в стране есть лишь одна газета, не подчиняющаяся ни ЦК, ни Совнаркому... Это газета Союза писателей... Конечно, если вы внесете официальный протест, мы еще больше ужесточим цензуру, еще более ужесточим политконтроль... Но ведь это именно то, за что нас так журят в вашей стране... Неужели вы хотите, чтобы мы завернули гайки?
Гарриман мгновение сидел окостенев от гнева, а потом рассмеялся, поняв весь ужас того положения, в которое он себя поставил: неужели ему, представителю демократического мира, пристало просить тирана начать новые чистки?! Даже против тех, кто написал пасквиль о президенте? Если он, Гарриман, будет настаивать на этом, то, можно не сомневаться, кара свершится, но мир будет проинформирован, что это произошло по настоянию Соединенных Штатов...
— Мы не хотим, чтобы вы «заворачивали гайки», маршал. Да и потом рано или поздно резьба может свернуться...
— У нас хорошая сталь,— ответил Сталин.— Мы верим в ее надежность... Тем не менее, я обещаю выполнить вашу просьбу: мы попросим компетентные органы, занимающиеся литературой, быть особо внимательными, кто может поручиться за то, что выкинут литераторы, благодарю вас за совет...

...Этот разговор произошел, когда Ахматова и Зощенко были уже «выброшены» из литературной жизни страны; предстояла кампания по травле «космополитов»; в большой политике мелочей не существует,— думая о стратегии, не упускай из вида тактику...

10

В пятидесятых, во время обсуждения кандидатов на соискание Сталинских премий, Александр Фадеев в Кремль не явился.
— Где он? — спросил Сталин помощника.
Поскребышев ответил:
— Прихворнул.
Сталин усмехнулся; знал, что это слово обозначает известную слабость первого секретаря Союза писателей, случавшуюся с ним во время стрессовых ситуаций.
— А Тихонов где? — поинтересовался он, продолжая медленно прохаживаться по кабинету — согбенный, в мягких кавказских ичигах; брюки с маршальскими лампасами заправлены трубочками, военный френч обвис, словно стекая с сутулых старческих, очень узеньких плеч.
— Болен,— ответил Поскребышев.
— Что, и этот *страдает*? — спросил генералиссимус.
— Нет, нет, простуда,— ответил Поскребышев,— ему не разрешили приехать врачи, боятся, неноситель ли бацилл...
— Бациллы не носят,— заметил Сталин.— Они слишком маленькие для этого. Носят заразу, так говорят по-русски, пора бы выучить родной язык...

...Он никогда не мог забыть, как Поскребышев *вполз* к нему в кабинет на коленях, зажав под мышкой список, присланный Берия: среди тех, кого надлежало *устранить*, он, Поскребышев, работавший со Сталиным четверть века, увидел имя своей жены.
— Товарищ Сталин, за что?! — шептал он, продолжая ползти по желтому паркету.— За что, товарищ Сталин?!
Сталин дождался, когда Поскребышев подполз к нему вплотную, протянул руку; тот поднял голову — губы трясутся, слезы катятся по щекам,— подал список, словно челобитную, только что лбом пол не бил.
Сталин просмотрел несколько страниц (на этот раз список на ликвидацию был довольно коротким, всего четыреста тридцать человек), вздохнул, покачав головою:
— Позвони Берия, скажи, я согласен... И не плачь... Мы тебе русскую жену найдем... Русские — вернее... Она тебя слушаться будет... Она — тебя, а не ты ее... А если не согласен — борись, пиши в ЦКК, будем разбираться...
Через час он снова вызвал Поскребышева. Тот был бледен, но глаза сухие; принес доклад финансиста Зверева о заработках ряда писателей; Сталин просмотрел докладную, глухо спросил.
— Где Зверев?
— В приемной.
— Письмо о жене сочинил?

— Нет, товарищ Сталин.
— Почему?
— Потому что ваша воля — это воля народа...
Сталин покачал головой:
— Я человек маленький, Поскребышев, нечего из меня делать монарха... Я всего не знаю и знать не могу, но я верю моим коллегам по работе, что и тебе советую... Пригласи Зверева...
Когда тот вошел, Сталин, не предложив ему сесть, рассеянно кивнул в ответ на слова приветствия министра и продолжал медленно перелистывать страницы докладной записки о гонорарах.
— Значит, считаете,— негромко заметил он,— у нас появились писатели-миллионеры? Ужасно... Писатели-миллионеры,— он перевернул еще одну страничку, пробежав столбцы цифр.— Писатели-миллионеры... Хм... Ужасно, а, Зверев? Миллионеры-писатели...
— Да, товарищ Сталин, это ужасно.
Сталин поднял свои рысьи глаза на министра и протянул ему папку:
— Ужасно, что у нас так мало писателей-миллионеров, Зверев... Писатели — это память нации! А что они напишут, если будут жить впроголодь? Финансы — это политика. А вы мыслите как завистливый крестьянин, считающий заработки усердного соседа, который не самогон пьет, а работает от зари до зари, вместо того, чтобы на собраниях глотку драть...
Снова вызвал Поскребышева, предварительно посмотрев на стенные часы; попросил чая; тот вернулся через десять минут с маленьким подносом — стакан на блюдечке, три кусочка сахару и два обязательных сухих печенья. Обходя стол, Поскребышев ноги поднимал высоко, *словно страус*. (Сталин усмехнулся: помощник начал ходить так в сорок четвертом. У Сталина тогда сидели Жуков и Рокоссовский. Поскребышев вошел в форме генерал-лейтенанта,— одел впервые в жизни, только-только сшили в спецателье на Пятницкой. Сталин заметил, как переглянулись Жуков и Рокоссовский: в их глазах ему почудилась издевка; он снова вызвал Поскребышева и попросил разложить на его письменном столе карту — обычно с такой картой работали на длинном столе заседаний. Поскребышев аккуратно расправил клееное полотнище, повернулся, чтобы уйти, и в этот момент Сталин стремительно выставил ногу; Поскребышев неловко споткнулся, чуть не упал; не разжимая рта, Сталин сухо посмеялся:
— Что ж ты, Поскребышев? Генерал, а на ровном месте спотыкаешься?
С армией в ту пору нельзя было не считаться; пусть маршалы сделают свое дело, там видно будет: стратегия и тактика — вопрос вопросов любой политической комбинации; мы, русские, не можем без вождя, без живого бога, так уж мы скроены, но кто знает, что в голове у каждого из нас? Должность бога — заманчива, однако далеко не каждый понимает свою ответственность перед будущим, мы, русские, больше прилежны размышлениям о прошлом, вот в чем опасность...
Через двадцать минут Поскребышев вернулся,— Верховный попросил убрать карту; был в своем обычном костюме — сталинка, зеленые брюки, заправленные в белые фетровые бурки на мягкой подошве, чтобы шуму не было, когда идешь по паркету, потолки-то высокие, звук *шлепает*, мешает вождю думать...
Жуков с Рокоссовским снова стремительно переглянулись, и Сталин увидел в их глазах нечто похожее на изумление; той издевки, которая почудилась ему ранее, не было и в помине...)
Генералиссимус пососал пустую трубку,— новые медики, начавшие лечить его после ареста и разоблачения еврейских врачей-изуверов из «Джойнта», категорически отменили все те лекарства, которыми пользовали врачи Сталина, лечившие его с начала двадцатых годов; потребовали провести новые обследования, перешли на качественно новые медикаменты; запретили табак. Сталин, выслушав рекомендации, рассердился: «Братья Коганы и Вовси вытащили меня из инфаркта и инсульта, но отчего-то не требовали ломать привычный ритм! Зачем насиловать волю человека?!» Тем не менее, курить прекратил,— дисциплина, прежде всего дисциплина, если ты начал комбинацию с врачами, чтобы сделать Средиземное море русским,— следуй ей до конца; стратегия и тактика, ничего не попишешь...
— Хорошо, а кто же будет докладывать вопрос о премиях? — спросил Сталин.— Видимо, товарища Фадеева не волнует судьба писателей и артистов, которые ждут награды за свой труд? Или он обиделся на мои замечания?
...На прошлом заседании Сталин спросил Фадеева, известно ли ему, что один из выдвинутых им, первым секретарем Союза, на премию — литератор с русской фамилией,— на самом деле является евреем?
Фадеев ответил, что ему известно об этом, но ведь партия учит пролетарскому интернационализму, важно, чьему делу служит творчество мастера, какой идее...
— А вам известно, что этот *мастер* был репрессирован в свое время как враг народа?

— Да, товарищ Сталин,— ответил Фадеев,— но мы знаем и то, что этот литератор прошел фронт, удостоен правительственных наград, ранен, искупил свою вину кровью...
— Смотрите,— усмехнулся Сталин,— вы внесли предложение, вам его и отстаивать...
Вот после этого-то разговора Фадеев и *занедужил*.

— Значит, следует понимать так,— несколько удивленно, словно себе самому, заметил Сталин,— что мы сегодня работать не сможем?
Поскребышев знал Сталина, как никто; он не торопился отвечать на его вопрос, потому что генералиссимус, спросив, повернулся и медленно пошел в угол, где стояли часы с вестминстерским боем; к окнам не подходил, хоть они и были затянуты белым шелком, сквозь него контур человека уловить нельзя, плотен.
Лишь когда Сталин обернулся, Поскребышев сказал:
— Прибыл ответственный секретарь комиссии Фадеева, товарищ Сталин. Его фамилия Кеменов.
Сталин остановился перед Поскребышевым, обсмотрел его, словно видел впервые, и горестно вздохнул. (В день, когда он, Сталин, санкционировал устранение жены своего помощника, он не зря посмотрел на часы, заказав себе чай; обычно Поскребышев приходил со стаканом через шесть-семь минут, а в тот день вернулся через десять.
Сталин тогда к чаю не прикоснулся, вызвал Кобулова, предупредив по телефону, чтоб прихватил «чемоданчик Генриха» (наркомвнудел Генрих Ягода в начале тридцатых годов занимался ядами и медициной), и попросил одного из самых близких помощников Берия взять на анализ чай, сахар и печенье. Тот позвонил через полтора часа: «Лаборатории сообщают: все чисто, товарищ Сталин». С тех пор верил Поскребышеву до конца: русский человек добр, не мстителен и быстро смиряется с судьбой,— раз так надо, значит, надо, плетью обуха не перешибешь.)
— Кеменов, говорите? — Сталин недоуменно поднял плечи.— Ответственный секретарь?
И, обернувшись к столу, за которым сидели его коллеги по Политбюро, заметил:
— Накануне крушения Римской империи патриции предавались развлечениям, передав право управлять государством юным вольноотпущенникам. Похоже, а? Заседание отменяется...

...Неделю назад преемник Виктора Абакумова министр Игнатьев передал Сталину секретный отчет: людей, находящихся в лагерях,— двенадцать миллионов; членов семей врагов народа — «ЧСВН» — двадцать миллионов; крестьян, лишенных паспортов,— сорок два миллиона; исследования по компьютерной кибернетике, которые он, Сталин, запретил финансировать Академии как «космополитическую псевдонауку», возглавляемую агентом «Джойнта», так называемым профессором Виннером, ныне переведены в Штатах в промышленную разработку. Информация об успехах американцев — тревожна. Шумят о генетике в Америке — о лженауке Менделя и Моргана, замахнувшихся на основополагающую конструкцию Творца,— прямо-таки сногсшибательно, берут по семьдесят центнеров с гектара, а мы едва-едва скребем двенадцать...
Сталин чувствовал себя раздавленным и покинутым всеми,— особенно после того, как прочитал отчет Игнатьева; все чаще думал о своем заместителе Вышинском... Если бы процессы тридцать седьмого года провалились, прошел бы триумфальный суд над меньшевиком Вышинским, заговорщиком, внедрившимся в партию; именно они, меньшевики, организовали провокацию: ужас чисток, гонения ленинцев. Они, кто же еще?! Однако процессы Каменева и Бухарина прошли спокойно; победителей не судят, а поднимают; вот он и поднял генерального прокурора... Что ж, если действительно кибернетика внесет переворот в военную науку на Западе, Вышинский как заместитель председателя Совета Министров получит свое,— меньшевики были, есть и будут врагами советской власти,— намеренная ложь Политбюро, сокрытие правды, попытка ослабить оборонную мощь Родины... Да и один ли Вышинский выйдет на этот процесс в качестве обвиняемого?

...Через два дня Фадеев приехал в Кремль,— бледный, отекший, без того огня в глазах, который определял его прекрасный облик.
Генералиссимус просмотрел список лауреатов Сталинской премии, протянутый ему Фадеевым, и поинтересовался:
— Здоровье поправилось? Врачи помогли?
— Да,— глухо ответил Фадеев,— теперь все в порядке.
— Вы берегите себя, Александр Александрович,— Сталин впервые назвал его по имени-отчеству — высшая степень расположения.— Вы нам нужны, мы вас ценим...

— Спасибо,— нахмурившись ответил Фадеев.

Генералиссимус снова пролистал список и удивленно поднял голову:

— А где же ваш кандидат, которого вы так мужественно защищали?

— Значится сказать, товарищ Сталин, мы решили вычеркнуть его: действительно еврей... Сейчас, видимо, не стоит акцентировать эту проблему... Да и потом был врагом народа, это и кровью не смоешь — навечно...

Сталин удивился:

— Разве? Странно... По-моему, одним из первых лауреатов Сталинской премии стал профессор Рамзин, а ведь в тридцатом мы его приговорили к расстрелу,— диверсии, антисоветская деятельность, шахтинское дело, промпартия... Значит, Рамзин смыл прошлое? Или мы ошиблись? — Он обернулся к членам Политбюро, но ответа слушать не стал, продолжив: — И потом: что значит «еврейская проблема»? У нас нет и не может быть такой проблемы... Космополиты? Да, проблема. Шпионский «Джойнт» — да, проблема. А еврейской проблемы нет и не будет. Как может быть еврейская проблема в стране, где существует Еврейская автономная область, родина всех советских евреев?! В прошлый раз я выдвинул свои доводы, дискутируя предложенную вами кандидатуру лишь потому, что мне казалось целесообразным дать вашему подшефному Сталинскую премию третьей степени, но не второй, как настаивали вы... Есть возражения? — спросил Сталин членов Политбюро, вписывая фамилию писателя синим карандашом в *список*...

(Этот ненаписанный роман *заготовлен* на основании бесед с комендантом ДСК «Николина гора», вернувшегося из лагеря в 1955 году,— его брат был дежурным в приемной Сталина, начиная с двадцатых,— и генерал-лейтенантом Ильей Виноградовым, бывшим начальником разведки Третьего Украинского фронта, консультантом нашего с Ташковым телефильма «Майор Вихрь».)

11

В Гаграх, осенью шестьдесят четвертого, маршал Жуков — тогда уже уволенный — пришел посмотреть концерт мастеров эстрады; я сидел в двух рядах от него; после окончания представления я подошел к нему,— тогда это было нетрудно, поскольку люди смотрели на него с почтением, но — издали, как-никак опальный, а у нас и лыко могут в строку поставить: «с кем контактируешь? по какому праву?!»

Я как раз заканчивал подготовительную работу к роману «Пароль не нужен», заново исколесил Сибирь и Дальний Восток — в поисках хоть каких материалов о расстрелянных маршале Блюхере, командарме Уборевиче и кандидате в члены Политбюро, комиссаре гражданской войны Постышеве; именно во время этой поездки мне и рассказали в Красноярске о трагической судьбе Кати, жены Рихарда Зорге, и некоего мальчика, якобы сына Героя [1].

Потому-то я и спросил маршала, что он помнит о Рихарде Зорге, какие донесения произвели на него особое впечатление, как он оценивал его информацию.

— Я это имя впервые узнал из фильма «Кто вы, доктор Зорге?»,— ответил маршал.— Ни одно из его донесений мне ни разу не докладывали...

В тот вечер он к разговору, видимо, расположен не был, сказал, как отрезал, продолжать вопросы было бы бестактностью; в голову, однако, запало: предвоенный начальник Генерального штаба Красной Армии ничего не знал о выдающемся военном разведчике РККА.

Заново анализируя ответ маршала, я отметил для себя, что он соотнес Зорге с названием фильма французского режиссера Ива Чампи: мы узнали имя Героя не из материалов советской прессы, не из наших книг или картин, но из работы француза, да и то случилось это при весьма любопытных обстоятельствах.

Как в годы культа личности, так и во времена «волюнтаризма», не говоря уже о «застойном периоде», зарубежные картины в первую очередь смотрели *наверху*; только после этого, в случае благожелательного отношения к фильму, комитет кинематографии получал указание приобрести ленту у продюсера.

И вот однажды Хрущеву привезли на дачу фильм Ива Чампи о внуке одного из руководителей Первого Интернационала Рихарде Зорге, который жил в Шанхае и Токио как корреспондент немецких газет, являлся при этом секретарем партийной организации национал-социалистической рабочей партии Германии в Японии, но был одним из самых выдающихся разведчиков нашей пролетарской диктатуры.

Посмотрев картину, Никита Сергеевич не без восхищения заметил:

— Вот как надо снимать! Сидишь, как на иголках, а в наших фильмах сплошная тягомотина или барабанный бой, «ура-ура», смотреть тошно!

---

[1] Однако ветераны, знавшие Р. Зорге и его жену, утверждают, что сына у него не было. (Здесь и далее везде — *примечание автора*.)

Среди приглашенных на просмотр был и тот, кто знал правду о Зорге; он-то и заметил:

— Так ведь это не вымысел, товарищ Хрущев, а чистая правда.

Никита Сергеевич даже изменился в лице, огромный лоб свело морщинами, глаза погасли; помедлив мгновение, он поднялся и, не говоря ни слова, отправился к аппарату прямой связи; позвонил генералам армии Захарову и Серову; те подтвердили,— да, правда, был такой Зорге; на составление подробной *справки* попросили время; Хрущев дал день; через неделю, не посоветовавшись ни с кем из коллег, провел Указ Президиума Верховного Совета: Зорге стал Героем Советского Союза.

Ходили слухи, что кое-кто возражал против этого акта (я имею в виду ближайших соратников Хрущева; впрочем, «соратниками» их называть рискованно), славя его прилюдно, они уже тогда готовили против него заговор.

Тем не менее, с тех пор имя Зорге было канонизировано; не привези Хрущеву на дачу этот фильм Чампи, или будь на месте Никиты Сергеевича другой человек,— так бы это имя еще на десятилетия оставалось вычеркнутым из нашей истории.

Впрочем, ни один вопрос никогда не остается безответным, тайное — рано или поздно — становится явным, сие — историческая аксиома.

...Через несколько лет после мимолетной встречи с Георгием Константиновичем Жуковым я уехал с моим другом доктором Кирсановым на приокские разливные луга,— весенняя охота там была прекрасной, разрешали ее повсеместно и празднично.

Часов в десять, после того, как отцвела зоря и солнце упало на табачный слой облаков, мы встретились с Кирсановым в условленном месте на лугу, и побрели к нашей палатке.

Неподалеку горел костер, делавший луг тургеневским.

Мы подошли к трем охотникам, что грелись у огня.

Кряжистый человек с крупным, морщинистым, очень знакомым лицом спросил:

— Ну, как у вас дела? Был лёт?

Доктор Кирсанов, мой охотничий учитель, ответил, как и положено:

— Да так, болталась утка... Слабо... С тем, что было раньше,— не сравнить.

Кряжистый рассмеялся:

— Значит, полный мешок набил, знаю я вас, хитрецов... Чаю, небось, хотите?

И тут я понял: да это же маршал Чуйков, Василий Иванович! Легендарный командарм, герой штурма Берлина... После того, как Жукова сняли и он уехал к себе на дачу, откуда не выезжал многие месяцы, Чуйков опубликовал статью, в которой дерзко утверждал, что мог взять Берлин на несколько недель раньше, если бы не запрет Жукова; тот, понятно, ответить не мог,— у нас *бывший* не имеет права на слово, отрезанный ломоть...

...Чуйков кивнул сопровождающим, те протянули нам с Кирсановым по кружке крепчайшего чая; маршал поинтересовался, кто мы; представились; он нахмурился, вспоминая что-то, потом спросил, не я ли писал повесть о трагедии полярного летчика в тридцать седьмом; выслушав ответ, поглядел на меня с любопытством, переглянувшись с высоким синеоким полковником.

— Смелые вы стали теперь — Сталина цепляете,— усмехнулся он,— попробовали б раньше.

И я понял тогда, что удача сама по себе плывет в руки!

Поэтому, согласно посмеявшись крутому замечанию Чуйкова, я спросил:

— А вот интересно, почему Жуков даже сейчас утверждает, что он не слыхал о Рихарде Зорге?

Я намеренно подставился, думая, что Чуйков не преминет лишний раз ударить опального маршала, но он, сёрбающе отхлебнув чая из своей солдатской кружки, задумчиво ответил:

— Про Зорге все знал только Филипп Голиков... Он сменил «Павла Ивановича» [1] и тех, кто его замещал на посту начальника нашей разведки... Берзин-то оказался «троцкистом» — шлепнули...— Чуйков хмуро усмехнулся.— Вообще-то всех наших первых маршалов и командармов, даже Ворошилова с Буденным, по логике тех лет, можно было считать тоже троцкистами... Лев Давыдович утверждал в должностях, кто ж еще, конечно, он, народный комиссар по военным и морским делам... Только Климент Ефремович со времен Царицына работал вместе с Иосифом Виссарионовичем... А Тухачевского в Царицыне не было, да и Блюхера с Якиром и Примаковым — тоже, на других фронтах воевали, вот их и шлепнули в одночасье... Да... Все, абсолютно все высшие командиры времен гражданской войны были открыты и назначены не дядей Васей, а РВС [2]... Вот вы, писатели, об этом напи-

---

[1] «Павел Иванович» — так сослуживцы называли Яна Берзина; и он был рекомендован на эту должность Ф. Э. Дзержинским, М. В. Фрунзе (*примечание Н. В. Звонаревой, секретаря Берзина*).

[2] РВС — Реввоенсовет республики.

шите, а то все о председателях колхозов сочиняете... Так вот, Голиков этот самый,— коротышка-выдвиженец, сукин сын,— на всех рапортах Зорге писал: «Информация не заслуживает доверия». И — точка. Кто ж такой документ начальнику Генерального штаба будет докладывать?! Так что вы Жукову верьте, он человек высокопорядочный, ложь его характеру противна...

...Я любовался этим кряжистым человеком, его крестьянским лицом с рублеными, глубокими морщинами, чувствовал в его глазах какую-то скрытую, стыдящуюся муку, и невольно думал о том, что ломать человека можно не только в застенке, но и на воле: первооснова любого действа — рычаг, а сколько их на земле?! Бесчисленное множество, горазды людишки на изобретательство такого рода...

...Слова маршала о том, что Голиков называл Рихарда Зорге «не заслуживающим доверия», запомнились мне.

Поскольку впрямую искать объяснение такого рода заключению было тогда невозможно, я начал исследовать эту загадку, что называется, по касательной; опыт такого рода был у меня уже,— накопился в процессе работы над образами Блюхера, Постышева и Уборевича.

Ответ на этот вопрос я получил через два года, *навели* историки и военные, подсказав, что в конце двадцатых годов Рихард Зорге жил в Москве, работал в исполкоме Коминтерна, являясь помощником председателя исполкома и шефа журнала «Коммунистический Интернационал».

А секретарем исполкома был тогда Николай Иванович Бухарин.

Именно тогда, накануне решающей атаки Сталина против Бухарина, тот до конца точно сформулировал одну из своих концепций: судьбу мировой пролетарской революции решит — вместе с Советским Союзом — «большая деревня», то есть национально-освободительное движение Азии, особенно Китая; ситуация на Востоке рано или поздно понудит «большой город»,— то есть Западную Европу и Америку,— поиному взглянуть на мир.

Именно поэтому Бухарин так нуждался в избыточно-точной, по-настоящему интеллигентной информации о положении в Китае. Видимо, он довольно долго колебался, размышляя, на каком *фронте* Зорге мог принести наибольшую пользу (до того времени, понятно, пока Зорге не был приглашен Берзиным).

В свое время с подачи Зиновьева генеральный секретарь, являвшийся членом руководящей «тройки» (Каменев, Зиновьев и Сталин), выдвинул лозунг, обвинявший социал-демократию в сползании к фашизму. Бухарин занимал иную позицию; он настаивал на том, что невозможно и неразумно валить социал-демократов в одну кучу с фашизмом; наперекор Сталину и Зиновьеву, отстаивал возможность совместных выступлений с социал-демократическими рабочими, более того, с их *низовыми* организациями, в то время как обращение к фашистским организациям, даже в тактических целях, считал недопустимым.

(Лишь устранив Бухарина из Политбюро, Сталин *посмел* сказать на Семнадцатом съезде: «В наше время со слабыми не принято считаться, считаются только с сильными... Конечно, мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии, но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной».)

Несмотря на то, что Бухарина всегда поддерживала Крупская и Клара Цеткин, официальное отношение к социал-демократии оставалось неизменным, зиновьевскосталинским: немецкие коммунисты не смели объединяться с социал-демократами в борьбе против нацистов. А ведь объединись они, Гитлер бы не собрал большинства на выборах в рейхстаг, и дальнейшее развитие европейской истории могло пойти совершенно по иному руслу.

Поэтому, вероятно, Зорге был направлен сначала в Китай, а после в Японию,— в Германии он бы мог содействовать объединению коммунистов с социал-демократами, созданию единого фронта, однако это — по меркам тех крутых лет — было *изменой* выдвинутому лозунгу, то есть Слову, не Делу...

...Жуков о Зорге не знал, ибо он стал начальником Генерального штаба уже после того, как закончились процессы, и все те, кто начинал с Лениным, оказались шпионами и диверсантами; пришли новые люди, в стране изменилось качество государственной памяти: лишь малая часть делегатов Семнадцатого съезда партии дожили до Восемнадцатого, все остальные были расстреляны как враги народа. Все друзья Зорге были ошельмованы и уничтожены.

...А знал ли Сталин о Зорге?

Видимо, знал, ибо когда в сорок четвертом году суд в Токио закончился вынесением смертного приговора, советский посол запросил Москву, какие шаги следует предпринять для спасения Зорге.

Москва на запрос никак не реагировала.

А в Сибирь поступил приказ: «решить вопрос с женой» Зорге. В то же время погиб и тот мальчик, о котором некоторые говорили как о сыне Зорге.

Расстрел ребенка был тогда делом узаконенным: накануне «большого террора», десятого апреля 1935 года, по предложению Сталина был проведен закон, по которому уголовной ответственности — вплоть до расстрела — подлежали все граждане Советского Союза, начиная с двенадцатилетнего возраста.

12

Так уж повелось, что ни один фильм,— до просмотра его Сталиным,— на экраны страны не выходил.

Председатель кинокомитета Большаков всегда возил в багажнике машины не только новую советскую картину, но и две-три зарубежные,— вызвать в Кремль могли в самое неожиданное время, чаще всего поздней ночью, вплоть до четырех утра.

(Однако в августе тридцать девятого, после того как был подписан договор с Гитлером и Сталин обменялся дружеским рукопожатием с рейхсминистром Риббентропом, Большакова вызвали в десять вечера,— необычное время. Уже потом ему объяснили, что Сталин пригласил Риббентропа посмотреть любимый свой фильм «Волга-Волга». Риббентроп, однако, отказался: «Я должен написать отчет, господин Сталин».— «„Волга-Волга" — одна из лучших картин мирового кино, получите удовольствие».— «Благодарю, господин Сталин, однако фюрер ждет моего доклада». С этим, вскинув руку в нацистском приветствии, Риббентроп откланялся. Сталин осторожно мазанул взглядом лица Молотова и Ворошилова; они оказались невольными свидетелями того, как ему, Сталину, публично отказали,— непреклонно и холодно; последние годы такое в стране сделалось невозможным; его слово стало законом для всех. Сталин как-то странно хмыкнул, взял галифе,— словно танцор,— двумя пальцами, присел в жеманном поклоне и, кивнув на дверь, закрывшуюся за Риббентропом, тихо произнес: «А все равно мы тебя ......»)

Во время просмотров Большаков обычно сидел за Сталиным, потому что *главный* часто задавал вопросы, на которые надо было давать немедленный и определенный ответ,— приблизительности Сталин не терпел. Однажды, принимая фильм «Повесть о русской охоте» с Поповым-старшим в главной роли, заметил: «Почему у волков глаза желтые? Это — неправда, они у них зеленые». Большаков немедленно ответил: «Великий зоолог Брэм, товарищ Сталин, считает, что глаза волков именно желтые, а не зеленые... Впечатление, что они зеленые, складывается у тех, кто видел волчьи глаза лишь в высверке костра, в сумерках».— «На какой это странице?» Большаков назвал. Сталин кивнул удовлетворенно и поудобнее устроился в кресле.

В конце сороковых, специально ко Дню Военно-Воздушного Флота — генералиссимус этот праздник высоко чтил — был закончен фильм «Жуковский». Сталин в те годы решил, что в стране должно выходить не более двенадцати картин в год; больше — баловство, может помешать работе; не следует слишком уж баловать зрелищами наш народ; картины надо делать биографические, рассказывать — средством самого массового искусства — о великих деятелях русской науки и культуры, бороться, таким образом, с низкопоклонством перед загнивающим Западом и проявлениями безродного космополитизма.

Как на грех именно в дни празднования сталинских соколов генералиссимус уехал на Кавказ. Связываться со Сталиным по телефону было не принято. Место, где он отдыхал, не знал никто; он часто менял дачи, хотя более всех других на старости лет полюбил дом на озере Рица; Крым и Сочи почти не посещал, тянуло на родину.

А коробки с «Жуковским» лежали в багажнике большаковской машины, и он метался из одного начальственного кабинета в другой, спрашивая совета, как поступить: ждать возвращения товарища Сталина в Москву или же выпустить картину к празднику?

Молотов (говорили, что Большаков начал восхождение, работая у него шофером) от совета воздержался; Берия посмеялся: «Принимай инициативное решение, ты — министр, тебе и карты в руки!»

Полагая, что столь категорические слова ближайшего соратника вождя не могли быть произнесены случайно (чувственному искусству угадывания и математическому *просчету* вероятий учились быстро), Большаков подписал приказ о выпуске фильма на экраны. Улицы всех городов Союза заклеили афишами, о новой работе советских кинематографистов сообщило радио, причем неоднократно, да и пресса откликнулась рецензиями, понятно восторженными, ибо никто и представить себе не мог, что фильм вышел без санкции вождя.

А наутро после премьеры с Кавказа поступила вэчеграмма от Сталина с *просьбой* срочно поставить на повестку дня один лишь вопрос: «О положении дел в советском кинематографе».

Большаков понял: вот и пробил его последний час.
Вечером того дня, когда вернулся Сталин (его поезд был копией поезда Троцкого), председатель кинокомитета был вызван в Кремль и занял место за маленьким столином неподалеку от большой дубовой двери; перед ним лежала стопка желтоватой плотной бумаги, стояла бутылка боржоми, стакан и три разноцветных карандаша.
Молотов, Каганович, Берия, Маленков и Ворошилов заняли свои места за длинным дубовым столом; Сталин, как обычно, медленно расхаживал по кабинету, зажав в руке трубку.
Объявив заседание открытым, Маленков вопрошающе глянул на Сталина.
Тот, продолжая расхаживать по кабинету, молчал, словно бы собираясь с мыслями; остановился, наконец, под портретом Маркса, примял желтоватым пальцем табак в трубке и тихо, чуть не по слогам, спросил:
— Товарищ Большаков, нас интересует только один вопрос: каким образом на экранах страны появился новый художественный фильм «Жуковский»? Конкретно: кто из руководства смотрел эту работу, когда, какие высказал замечания? Еще конкретнее: кто дал санкцию на выпуск этой картины в свет?
Большаков медленно поднялся; лицо враз отекло, побелело.
— Да вы сидите, товарищ Большаков, сидите,— Сталин чуть махнул рукой.— Сидите...
Большаков, тем не менее, продолжал стоять, чувствуя в себе мерзкое желание вытянуться по швам:
— Товарищ Сталин... Мы тут посоветовались,— моляще глядя то на Молотова, то на Берия, начал он, ожидая их поддержки; те, однако, сосредоточенно писали что-то на листках бумаги.— Мы тут посоветовались и решили...
Сталин словно бы споткнулся; обернувшись к Большакову, изумленно спросил:
— Вы тут посоветовались? — пожав плечами недоуменно, повторил: — Значит, вы тут советовались... Хм... А посоветовавшись, решили...
Он постоял мгновение на месте, потом чуть что не крадучись пошел к двери, глухо повторяя слова Большакова, словно бы обсматривая их и примеряя к чему-то своему, заранее выношенному.
— Они посоветовались и решили,— говорил он все тише и тише, будто устав от этих слов.— Они тут все решили, посоветовавшись...
Открыв тяжелую дверь кабинета, он обернулся и, упершись взглядом в лоб Молотова, повторил в задумчивости:
— Итак, вы тут посоветовались... И решили...
С этим он и вышел.
Настала мучительная тишина, было слышно, как скрипел грифель в руках Берия, по-прежнему что-то писавшего на толстой желтоватой бумаге.
Внезапно дверь отворилась, Сталин заглянул в кабинет и вдруг улыбнулся своей чарующей, обезоруживающей улыбкой:
— И — правильно решили..
Когда дверь закрылась, Маленков, откашлявшись, заключил:
— Товарищи, вопрос о положении дел в советском кинематографе можно считать рассмотренным...

13

В начале пятидесятых Сталин, Ворошилов и Косыгин отплыли из Крыма в Сухуми на крейсере «Молотов».
Секретарь Сухумского обкома Мгеладзе, получив сообщение об этом, немедленно позвонил своему шефу Чарквиани — в Тбилиси; после этого распорядился накрыть праздничный стол на даче в честь генералиссимуса и отправился в порт.
(В это как раз время в Грузии были арестованы Рапава, Заделава и Барамия, выдвиженцы Берия; началось «менгрельское» дело; про Чарквиани стали говорить, что он каким-то краем тоже менгрелец.)
Прямо с аэродрома Чарквиани приехал на дачу; Сталин, Ворошилов и Косыгин были уже там; когда все расселись за большим столом, Чарквиани сказал:
— Я предлагаю поднять бокалы за самого выдающегося революционера всех времен и народов, соратника Ленина, гениального стратега нашего счастья, дорогого и любимого товарища Сталина!
Все зааплодировали; Сталин, неотрывно глядя на Чарквиани, поморщился; потом снисходительно усмехнулся в седые, прокуренные усы.
И тут неожиданно для всех поднялся Мгеладзе:
— Я возражаю...
Воцарилась зловещая тишина, оцепенение было общим, давящим; никто не смел глянуть друг на друга.

— Я возражаю,— повторил Мгеладзе еще тише.— По законам грузинского стола, первое слово произносит хозяин, а здесь, в этом доме, я — во всяком случае пока что — являюсь хозяином... Поэтому я не стану поднимать первый бокал за товарища Сталина... Он — грузин, он приехал к себе домой...
Сталин медленно отодвинул свой бокал; Мгеладзе заметил это, как и все присутствовавшие; побледнев до синевы, сухумский секретарь облизнул враз пересохшие губы и на какое-то мгновение замешкался...

...Чем дальше, тем больше Сталина настораживало все то, что было — хоть в какой-то мере — связано с его национальностью. Начиная с той поры, когда он закончил в Вене свою работу «Марксизм и национальный вопрос», к проблемам Закавказья Сталин серьезно не обращался, работал в основном в Петербурге, вращался среди русских рабочих, ни в Тифлис, ни в Баку более не ездил; в крае своей молодости он побывал лишь в начале двадцатых, в пору для него трагическую, когда Ленин требовал его отставки, а его позицию в «грузинском вопросе» клеймил как великодержавную, недостойную большевика.
Ему было непросто приезжать на родину потому еще, что слишком многие знали, как и с кем он начинал свой путь в революцию. У всех на памяти был Красин, координировавший в начале века всю революционную работу на Кавказе. Ладо Кецховели, Филипп Махарадзе, Мдивани, Курнатовский, Кавтарадзе, Енукидзе, Шаумян, Аллилуев, Каменев, Камо, Джапаридзе, Нариманов, Цхакая, Стуруа,— о нем, Сталине, в ту пору не вспоминали в газетах, не называли «вождем»; упоминали, да и то не часто, в *перечислении*.
В Москве помнили процесс, возбужденный Мартовым в революционном трибунале против Сталина, когда он шельмовал его тем, что за участие в экспроприациях он, Сталин, «социал-демократ меньшевистской ориентации», был якобы исключен из партии. Слушание дела началось в марте восемнадцатого года; народный комиссар по делам национальностей выиграл процесс: «бесчестно обвинять человека, не имея на руках сколько-нибудь серьезных документов; революционер и клеветник — понятия несовместимые!»
В Тбилиси помнили публикацию, подготовленную в декабре двадцать пятого года газетой «Заря Востока»; там приводилась выдержка из отчета начальника тифлисской охранки о нем, Джугашвили: «Сначала был меньшевиком, потом стал большевиком...»
В Тбилиси, Баку и Батуми архивы таили протоколы его допросов в охранке; кое-кто настаивал на республиковании этих документов; настаивал на этом не только Троцкий, но и Камо.
Лишь в двадцать третьем году, когда выдвиженец Сталина молодой Лаврентий Берия начал свое триумфальное продвижение *вверх*, началась неторопливая, но обстоятельная корректировка фактов. Все, что было неугодно *новой* линии, изымалось из печати, создавались легенды, выстраивалась новая концепция прошлого. Камо вычеркнули из истории,— боевик, экспроприатор, был близок к Сталину,— не нужно вспоминать об этом. Теоретик марксизма и стратег революции, начиная с начала века, каким должен *стать* Сталин, совершенно не обязан, более того, не должен быть связан с теми акциями, которые проводил Камо.
Затем Чичерина сменили Литвиновым,— все-таки именно он, Максим Максимович, был первым, кто в начале века написал Ленину о молодых кавказских публицистах-революционерах,— значит, речь шла о Сталине, о ком же еще?! Именно с ним Сталин работал в Берлине в девятьсот седьмом, стараясь облегчить участь Камо.
В начале тридцатых была напечатана статья о революционном *меньшинстве* «Месаме-Даси», возглавлявшемся Кецховели, Цулукидзе и Сталиным: именно таким образом был дезавуирован отчет тифлисского охранника, напечатанный «Зарей Востока»,— да, Коба был «меньшевиком» в «Месаме», но эти меньшевики были истинными ленинцами, национальная особенность грузинской социал-демократии, откуда было это знать царскому жандарму?!
Такого рода публикация окончательно дезавуировала и Мартова; впрочем, этот — не страшен, умер в эмиграции, мертвые обречены на молчание.
В тридцать четвертом, после съезда, а особенно когда опубликовали заметки Сталина против марксистского историка Покровского в переводе на грузинский, Берия приехал в Москву и положил на стол вождя папку с высказываниями кавказских большевиков о том, кто действительно стоял во главе революционного движения в Баку и Тифлисе. Хотя имя Сталина и упоминалось (слава богу, не двадцать пятый год), но все кавказские большевики на первое место ставили того же Ладо Кецховели, Наримана Нариманова, Джапаридзе, Мешади, Азизбекова; Виктора Курнатовского, Авеля Енукидзе, Степана Шаумяна, Сталина упорно называли следом за ними.
Просмотрев папку, Сталин усмехнулся:

— Истинным и единственным создателем грузинской социал-демократии был русский марксист Ленин... А Сталин... Что ж, Сталин не гонится за славой, он всегда был верным учеником Ленина, нет почетнее звания, чем быть его учеником и сподвижником...

В тридцать шестом Берия начал повальные аресты ветеранов большевистского движения на Кавказе; архивы безжалостно сжигались, пришла пора переписать историю: аппарат Берия подготовил ему книгу — «К истории большевистских организаций Закавказья».

Берия *помянул* «соратника» Сталина — Виктора Курнатовского; тот начал борьбу с царизмом в прошлом веке, был подвижником «Народной воли» в те уже годы, когда Сталин только читал «Закон Божий» в духовном училище; дружил с Лениным, когда Коба занимался в семинарии, готовясь стать утешителем людским, священником; вспомнил Берия и «учеников» вождя — Кецховели, Цулукидзе, Джапаридзе,— а ведь именно эти *ученики* и привели в свои рабочие кружки никому неведомого юношу; замалчивалась роль руководителя тбилисского подполья Джибладзе, большевистского ветерана Стуруа,— а ведь они преподавали молодому Кобе азы политической борьбы; тысячи и тысячи грузинских ленинцев и все те, кто все еще осмеливался помнить правду, были уничтожены.

...Просмотрев рукопись Берия, вождь сделал всего несколько редакторских замечаний, добавил абзацы о роли русского рабочего класса, вписал фамилию Калинина (все еще популярен среди крестьян, может пригодиться) и, возвращая манускрипт, заново обсмотрел Берия: этот не подведет, ему и кончать с Ежовым, *подчистит* и в Москве, здесь это легче сделать, Москва — не Тбилиси, здесь горцев нет...

...И вот сейчас в Сухуми молодой еще секретарь обкома (сколько ему было в двадцать втором?) прикоснулся к тому, чего так не любил Сталин — не любил и страшился; ах, люди, бедные, слабые люди, надо бояться грядущего, а мы несем в себе страх перед безвозвратно ушедшим прошлым...

Между тем, *собравшись*, Мгеладзе продолжил свой тост, запрокинув от волнения голову:

— У нас, грузин, первый тост положено поднимать за гостей. А самым дорогим гостем мы сегодня по праву должны назвать замечательного русского большевика Климента Ефремовича Ворошилова, героя гражданской войны, соратника товарища Сталина по работе в Государственном комитете обороны в годы Великой Отечественной, луганского рабочего, ставшего одним из руководителей первого в мире многонационального государства рабочих и крестьян... За Климента Ефремовича, товарищи, а в его лице — за великий русский народ!

Все сидевшие за столом молчали; бокалов никто не поднял.

Сталин глухо кашлянул, чуть пожав плечами, сказал:

— Спасибо за прекрасный тост,— и, холодно глянув на растерянного Ворошилова, поднял бокал, сделав легкий глоток.— Было бы плохо, доведись мне, москвичу, исправлять ошибку грузина Чарквиани, молодец, Мгеладзе...

...После обеда, удавшегося на славу, Сталин спросил жену Мгеладзе:

— Вы кто по национальности?

Женщина ответила:

— Полукровка.

Сталину говорили, что жена Мгеладзе еврейка; раскурив трубку, поинтересовался:

— Литературный грузинский хорошо знаете?

— Не очень, товарищ Сталин.

— Надо хорошо говорить на языке народа, среди которого живете. Учите грузинский, думаю, пригодится.

Вскоре Мгеладзе был перемещен в Тбилиси — первым секретарем ЦК. Подписывая назначение, Сталин заметил Маленкову:

— Я порою опасался, что последним отважным грузином был Авель Енукидзе; к счастью, ошибся; Мгеладзе достойный человек, не боится постоять за себя, такой наведет порядок...

(Маленков тогда — в который уже раз — подивился тому, сколь дружески Сталин отзывался о тех, кто был расстрелян по его указаниям; с особой теплотою, однако, вспоминал эпизоды, связанные с Енукидзе, Бухариным и Каменевым.)

...Вскоре после смерти вождя Мгеладзе назначили директором совхоза; потом и вовсе сошел на нет, «пенсионер республиканского значения».

14

...Свою последнюю речь Сталин произнес на Девятнадцатом съезде партии, когда ВКП(б) была переименована в КПСС,— большевизм как идейное течение русской революционной мысли формально перестал существовать, сделался достоянием истории...

Как всегда, он изредка заглядывал в текст,— однако на этот раз всего три страницы, может, чуть больше. Напечатано было на специальной машинке с большим шрифтом,— генералиссимус не хотел надевать очки; разрушение привычного образа вождя наверняка обыграют враги, да и советские люди будут недовольны,— они не любят перемен такого рода; каким был Сталин с двадцать четвертого года, когда начали печатать его фотографии в газетах, таким он должен оставаться навечно...

Сталин читал медленно, часто замолкая на минуту, а то и больше, словно бы наслаждаясь той гнетущей тишиной, какая была в зале. На самом-то деле сейчас ему это было совершенно безразлично, он давно привык к мертвенному вниманию в любом помещении, как только начинал говорить. Однако поскольку в зале сидели Мао, Торез, Энвер Ходжа, Тольятти, Готвальд, Берут, Ракоши, Пик, Георгиу-деж, Хо, Ким Ир Сен, Поллит, Долорес, он опасался, что они заметят его старческую шепелявость, хрипящую одышку и то, как порою заплетается язык; *свои* любым примут, Россия стариков чтит куда больше молодых; дожить до старости — значит войти в вечность; молодых политиков легко забывают, имя должно стать привычным, постоянно быть на слуху, как «отче наш»...

Сталину докладывали, что после последних процессов в Праге, когда расстреляли Генерального секретаря ЦК компартии Рудольфа Сланского, а вместе с ним большинство членов ЦК, евреев, воевавших в интербригадах, прошедших антигитлеровское подполье, на Западе началась кампания, организованная, конечно же, «Джойнтом», о том, что он, Сталин, стал творцом качественно новой антисемитской политики.

Генералиссимус попросил приготовить ему переводы из наиболее агрессивных статей в крупнейших журналах и газетах Запада, особенно, понятно, Европы.

Читал Сталин вдумчиво, медленно, делая карандашные пометки на полях; почерк у него был летящий, четкий, почти без нажима; в девятнадцатом году, убедившись, что все его резолюции, записки и пометки на документах навечно останутся в архивах, сделавшись достоянием истории, которая есть не что иное, как вечность, он несколько дней тренировался: раньше-то позволял себе резкости в отзывах, порою даже ломал грифель, раздраженно подчеркивая ту или иную фразу; во всем нужна самодисциплина, следование логике, не чувству,— даже в том, как и что помечаешь на полях.

Всего несколько раз в жизни он поддался чувству; он помнил каждый эпизод в мельчайших подробностях, цепенея от гнева. Особенно горько было вспоминать, как в двадцатом году он предложил альянс Троцкому; сделал это в своей обычной манере: намек, улыбка, приглашение к соразмышлению. Это было после трагедии в Польше, когда Варшаву не удалось взять, и он, Сталин, ждал, что Троцкий не преминет оттереть его и опорочить, но тот был занят ситуацией на Дальнем Востоке и в Закавказье, по отношению к нему, Сталину, вел себя на этот раз довольно корректно, не обвинил его ни в чем публично: «на войне как на войне». Сталин испытал нечто вроде чувства благодарности Троцкому за это, и после нескольких дней, ушедших на взвешивание всевозможных прикидок, написал ему — во время заседания Политбюро — записку, предлагая встретиться, чтобы исследовать комплекс причин поражения,— урок на будущее.

Пробежав послание, Троцкий даже не взглянул *на него*, Сталина, шепнул что-то Ленину, а уж потом, усмехнувшись, начал что-то быстро писать в своем блокноте. Сталин следил за каждым его жестом: сначала захолодел от обиды, когда заметил, сколь рассеянно пробежал Троцкий его предложение о заключении пакта дружества,— дурак не поймет, что значит такая записка, новичок в политике, а Троцкий дипломат тертый. Когда же Сталин увидел, что тот, низко склонившись над столом, пишет свою записку, отошел, ибо понял: вот он, ответ предреввоенсовета. Троцкий, конечно же, прав, зачем обмениваться взглядами,— и Зиновьев и Каменев наблюдают за каждым движением вождя РККА, тяжко не любят его и завидуют. Они, ученики Ильича, работавшие с ним бок о бок пятнадцать лет (эпизод двадцать четвертого октября не в счет), оттерты на третье, а то и на четвертое место, а тот, кто постоянно воевал против Ильича, стал «человеком номер два», и его портреты почти столь же популярны в стране, как Ленина...

Сталин нетерпеливо ждал, что Троцкий ему напишет; он был убежден, что Лев Давыдович верно поймет его, их блок гарантирует несокрушимое единство ЦК, ибо только они, два исполина, могут удержать страсти: в руках Троцкого армия, без которой невозможно гарантировать порядок, у Сталина — не только государственный контроль, инспекция всех наркоматов, но и окраины республики, конгломерат национальностей, а это, как-никак, Украина, Белоруссия, Кавказ и Туркестан...

Троцкий, однако, перебросил первую записку Крестинскому, а вторую — Фрунзе, приглашенному на заседание в связи с предстоявшими боевыми действиями, план которых был вчера утвержден.

Именно тогда Сталин ощутил нечто, подобное ожогу; обычно бледный, он почувствовал, как кровь пульсирующе прилила к щекам.

Назавтра Троцкий позвонил ему по «вертушке»:

— Когда бы вы хотели заехать ко мне, товарищ Сталин?

— К сожалению,— ответил Сталин,— ситуация изменилась: навалилась куча дел.

— Хорошо,— усмехнулся Троцкий,— как разберете кучу,— звоните.

Сталин тогда медленно, как-то даже гадливо опустил трубку на рогоподобный рычаг и подумал: «Жди! Не дождешься!»

...Исследуя реакцию западноевропейской прессы, которая всячески обыгрывала тот факт, что среди расстрелянных руководителей компартий Восточной Европы — Ласло Райка в Венгрии, Анны Паукер в Румынии, Сланского в Чехословакии большинство были евреями, стояли у колыбели своих партий, Сталин поначалу решил разыграть карту Ракоши, Кагановича и Мехлиса. Действительно, руководителем Венгрии оставался еврей Матиас Ракоши (усмехнулся, вспомнив соленую шутку одного из своих коллег: «Матиас твою в ракоши»), здесь, в Москве, членом Политбюро является Каганович, а его многолетний помощник, Мехлис, стал министром госконтроля; о каком антисемитизме может идти речь?

Однако в свете того, что готовится в следующем, пятьдесят третьем году, Сталин понял, что такого рода ответ западноевропейским оппонентам будет тактикой, а ему пристало думать лишь об отправных вопросах стратегического плана,— на многие годы вперед, на века, говоря точнее. Он понимал, что запланированное им на будущий год (а он начал готовить это еще в тридцать шестом, когда Каменев и Зиновьев признались в том, что служили шпиону Троцкому; то, что было продолжено в кампании против космополитов в сорок седьмом; то, что подтвердили процессы Райка и Сланского, рассказавших, что они служили как Гитлеру, так и еврейскому «Джойнту») будет делом нелегким. Действительно, только наивный политик может верить в то, что старая гвардия простила ему расстрелы членов ленинского ЦК, что она не будет дрожжами памяти о том, что именно Троцкий был первым наркомом обороны, Зиновьев — председателем Коммунистического Интернационала, Каменев — заместителем Ленина; во имя торжества его, Сталина, дела, Карфаген должен быть разрушен. Память хранят люди, и только их изоляция гарантирует появление чистого листа, на котором можно написать то, что внуки его внуков будут считать Евангелием от социализма. Именно тогда он заново пересмотрел подготовленный им состав новых членов Президиума ЦК, который надлежит избрать завтра: из стариков, хранящих *память*, остались только Молотов, Ворошилов и Микоян; чужая душа — потемки; смешно предполагать, что Молотов забыл, как он работал с Каменевым, Рыковым и Крестинским; помнит, еще как помнит... А Ворошилов? Забыл, как славил «вождя Красной Армии» Троцкого? Вопрос с Кагановичем и Мехлисом будет решен иначе, все продумано и взвешено... Нет, именно сейчас, на Девятнадцатом съезде, он, Сталин, должен обратиться к Западной Европе совершенно иначе, никак не реагируя на развернувшуюся кампанию об его, Сталина, антисемитизме...

Поэтому-то, тяжело облокотившись на трибуну, он и прочитал то главное, что за кордоном поймут все — как политики, так и трудящиеся:

— Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт нынешними правителями Европы... Его некому поднять, кроме как коммунистам Запада...

(Не отсюда ли, кстати, и надлежит отсчитывать начало «еврокоммунизма»?)

...На закрытом заседании съезда, когда началось выдвижение кандидатур в ЦК, Сталин, сидевший, как обычно, на самой последней скамье президиума, совершенно один, неожиданно для всех поднялся и попросил у председательствовавшего слово; тот вместо ответа истерично зааплодировал.

Сталин медленно шел к трибуне, ощупывая ногами ступени, как слепец, а зал поднялся, устроив ему очередную овацию (первая, когда его имя было названо среди кандидатур в члены ЦК, длилась около пяти минут).

Он снова облокотился на теплое дерево трибуны, словно бы повиснув на ней, как-то безучастно осмотрел неистовствовавший зал, потом медленно поднял руку, прося тишины.

— Товарищи... Я очень устал... Да и годы не те... Спасибо вам за то, что вы так честно и вдохновенно работали вместе со мною... Все эти четырнадцать лет,— после

Восемнадцатого съезда... Я прошу дать мне самоотвод... Прошу, так сказать, отставку... Я же — в свою очередь — назову того, кого мог бы смело рекомендовать на мое место,— и, повернувшись к президиуму, он медленно обвел взглядом лица членов Политбюро, задержавшись на лице Молотова чуть больше, чем на лицах остальных коллег.

...В зале началось невообразимое:

— Сталина! Сталина! Сталина! — скандировали делегаты съезда.— Хотим Сталина! Сталина! Сталина!

Сталин слушал овацию, по-прежнему обвисающе опираясь на трибуну, а перед глазами стояло демоническое лицо Троцкого, когда тот подал в отставку: было это в июле девятнадцатого из-за разногласий с ним, Сталиным, по поводу стратегии на Южном фронте.

Сталин никогда не мог забыть, что Ленин поручил именно ему, Сталину, подготовить решение ЦК; он понимал, что Ленин не зря поручил именно ему написать проект; обида была непередаваемо-тяжелая; это, однако, оказалось для него таким испытанием на прочность и выдержку, за которое он потом не раз благодарил судьбу.

В проекте решения Сталин писал, что Орг. и Политбюро ЦК, рассмотрев заявление т. Троцкого, пришли к единогласному выводу, что принять отставку т. Троцкого они абсолютно не в состоянии. Орг. и Политбюро ЦК сделают все от них зависящее, чтобы сделать наиболее удобной для т. Троцкого и наиболее плодотворной для республики ту работу на Южном фронте — самом трудном, самом опасном и самом важном в настоящее время,— которую избрал сам т. Троцкий... Твердо уверенные, что отставка т. Троцкого в настоящий момент абсолютно невозможна и была бы величайшим вредом для республики, Орг. и Политбюро ЦК настоятельно предлагают т. Троцкому не возбуждать более этого вопроса и исполнять далее свои функции, максимально, в случае его желания, сокращая их ввиду сосредоточения своей работы на Южфронте...

Прочитав проект решения, Ленин тогда как-то по-особому, *взвешивающе* глянул на Сталина и молча подписал документ, не сделав ни одной правки; вернул машинописную страничку Сталину, попросил согласовать с Каменевым, Крестинским, Калининым и Серебряковым; он, Сталин, свою подпись поставил последним; никогда не мог забыть, с какой помпой Троцкий после этого уехал на своем поезде на фронт, к Воронежу.

Тогда именно Сталин и понял всю томящую сладость отставки, которую просят, заранее зная, что никто ее не примет,— истинный триумф авторитета, еще одна ступенька вверх, звенящее ощущение собственной значимости...

Лишь семь лет спустя Сталин решился на то, чтобы повторить фокус Троцкого; он подал в отставку, когда Троцкий был уже снят с поста наркомвоена, а его бывшие враги Каменев и Зиновьев разгромлены, хотя и кровавой ценой: они публично потребовали зачитать завещание Ленина, в котором содержалось требование: Сталин должен быть смещен. Но с той поры, как Ленин написал свое завещание, прошло три года; Сталин сумел заручиться поддержкой Бухарина, истинного любимца партии, с ним был Председатель Совнаркома Рыков, руководитель профсоюзов Томский, с ним был Серго, которого Ленин называл другом, могущественный зампред ГПУ Ягода, заворготделом Каганович, Куйбышев и Андреев,— они сделают так, что делегаты не примут его отставки, отвергнут ее столь же решительно, как он, Сталин, в свое время подготовил решение, отвергавшее отставку Троцкого. Все течет, все меняется; побеждает тот, кто силен, умеет просчитывать вероятия и наделен даром памятливой выдержки. Его, Сталина, жизнь оделила этим даром с лихвой. Он помнил, он помнил все,— со страшившей порою его самого фотографической точностью деталей. Он, например, никогда не мог забыть, как в Вене, впервые встретившись с Троцким на квартире одного из меньшевиков, вошедшего затем во Временное правительство, он сидел в углу, возле книжного шкафа, страдая от того, что Лев Давыдович разговаривал с гостями по-немецки, не утруждая себя тем, чтобы хоть пояснить ему, о чем шла речь; один он, Сталин, не знал языков, приехал из глубинки, откуда же в товарище такая невнимательная черствость? Он плохо спал в ту ночь, вертелся под пуховой периной в доме приятеля; чувствовал себя обгаженным, заново анализировал, что думали о нем собравшиеся, когда он, истомившись своим вынужденно-непонимающим молчанием, достал какую-то книгу из шкафа, но и та оказалась немецкой,— не ставить же ее на место, да и дверца скрипит, могли б петли смазать... Тем не менее, когда Временное правительство заставило Ленина и Зиновьева перейти на нелегальное положение, а Троцкого и Каменева бросило в тюрьму, именно он, Сталин, написал воззвание: «Никогда еще не были так дороги и близки рабочему классу имена наших вождей, как теперь, когда обнаглевшая буржуазная сволочь обливает их грязью!»

Он боялся этих воспоминаний, гнал их от себя, но когда начальник кремлевской охраны Паукер рассказал ему, как Зиновьев перед расстрелом падал на колени и молил о пощаде, а Каменев презрительно сказал: «Перестаньте, Григорий, надо умереть достойно», Сталин с мучительной ясностью увидел свои строки, написанные им после

того, как Каменев, выпущенный Керенским из тюрьмы, был немедленно обвинен буржуазией в том, что якобы сотрудничал с охранкой: «Контрреволюционным дел мастерам надо во что бы то ни стало изъять и обезвредить Каменева, как одного из признанных вождей революционного пролетариата»...

Именно он, Сталин,— по поручению ЦК — разоблачил эту клевету, именно он доказал всю вздорность и гнусность такого рода обвинений Каменева, который был тогда его ближайшим другом.

То же самое с ним, Сталиным, произошло и после того, как по его требованию расстреляли Бухарина. Он лежал на диване, и не мог уснуть, и отгонял от себя навязчивые картины,— близкие, ощутимые, слышимые; их первая встреча с «Бухарчиком» в Вене, когда тот проводил с ним целые дни, работая в библиотеке, переводил ему немцев, французов и англичан, делал выписки, советовал, как лучше *строить* «Марксизм и национальный вопрос»... Именно тогда, в ту бессонную ночь, когда все было кончено с последними членами ленинского Политбюро, он услыхал в себе страшную фразу, произнесенную кем-то другим, незнакомым: «бухарчики кровавые в глазах»...

И, словно бы защищаясь от нее, этой зловещей, как бы усиленной динамиками фразы, он перекричал ее вопросом, обращенным ни к себе, а к кому-то громадному, нависшему над ним давящей тенью: «Каждый из них мог принять бой и умереть молча, но ведь они на это не пошли! А я бы пошел!»

Но он снова вспомнил Троцкого, его указание держать на учете семьи офицеров и принимать их на ответственные посты в том случае, если имеется возможность в случае измены захватить семью.

Он никогда не забывал этих жестоких слов Троцкого, но применил их он, Сталин, в тридцать шестом, когда перед Каменевым поставили дилемму: или два его сына погибнут, или он, Каменев, сыграет ту роль в спектакле процесса против Троцкого, которая будет для него написана...

«А если бы мне предложили такое? — спрашивал себя Сталин много раз.— Я бы отрекся от себя, своего прошлого, своего честного имени — во имя детей?»

Он никогда не отвечал сразу,— даже себе; любой ответ должен быть взвешенным и до конца точным.

Нет, сказал он себе, я бы не отрекся от себя и своего дела. Тарас Бульба пожертвовал сыном во имя общего дела, и он был прав; я бы смог повторить его подвиг, ибо человек до той поры человек, пока за ним не захлопнулась дверь камеры; выхода из нее — так или иначе — не будет, такова жестокая логика политической борьбы. Да и потом, почему я должен верить тому, кто заточил меня в темницу? Это — противоестественно. Почему я должен верить, что моих детей пощадят? Если меня не пощадили, чем они, дети мои, семя мое, лучше? Нет, я бы повел себя не так, как повели себя Зиновьев, Лева и Бухарчик...

Зиновьева — не любил, с Каменевым подружился еще в начале века на Кавказе, когда тот руководил пропагандой, поэтому и сейчас машинально называл его «Левой»; именно так обращался к нему и в ссылке, и весной семнадцатого, в «Правде», когда вместе редакторствовали, стараясь сдержать Ленина от его резкого поворота к социалистической революции, а уж Бухарчик — в самые трудные годы — был словно брат ему, как же ему иначе называть Николая, как?!

...Сталин стоял на трибуне безучастно, недвижно, потом вновь поднял руку, прося тишины, но это подлило бензина в огонь,— казалось, перепонки порвутся от грохота оваций.

Тогда, досадливо махнув ладонью, словно бы отгоняя надоедливую муху, Сталин сошел с трибуны и покинул зал заседаний...

...Назавтра, во время пленума, Сталин попросил слова сразу после того, как избрали членов Президиума, заменившего Политбюро. Сталин ввел молодежь,— не зря в завещании Ленин советовал делать ставку на новые кадры; он, Сталин, соратник Ленина, во всем следует ему. Он, Сталин, выполнил, кстати, и другой его завет: никогда, начиная с двадцать четвертого года, он не разрешал называть себя «генеральным секретарем ЦК».

...На трибуну он поднялся легко, обвисать не стал, овации пресек резко, словно бы наложив руку на рты кричавших в его честь здравицы.

— Если вы заставили меня вновь поработать в качестве секретаря ЦК,— атакующе, без давешних придыханий, сказал он,— то я должен сообщить вам, что в партии оформился и функционирует новый оппозиционный уклон. Правый уклон по своей сути. И рассказать об этом должны товарищи Молотов и Микоян... Вот чем нам надлежит заняться на заседаниях нового Президиума, именно этим, а ничем другим.

15

В Барвихе, на небольшой даче, где, ожидая второго ребенка, жила Юля Хрущева, внучка Никиты Сергеевича, я повстречался с маршалом Тимошенко — громадноростым, бритоголовым, в коричневом приталенном костюме и черных лаковых туфлях не менее как сорок пятого размера, наверняка заказных.

После первых же фраз разговор перешел на проблему «культа личности»: только-только закончился Двадцать второй съезд.

— Никогда не забуду лица Сталина,— рубяще, командно заговорил Тимошенко,— когда я приехал к нему на Ближнюю Дачу на второй день войны: запавшие, небритые щеки, глаза тусклые, хмельные... Он сидел у обеденного стола, словно парализованный, повторяя: «Мы потеряли все, что нам оставил товарищ Ленин, нет нам прощенья...» Таким я его никогда не видел, а знакомы-то с восемнадцатого, добрых четверть века... Хотя, помню, видел его однажды хмельным в двадцать седьмом году, в день десятилетия Рабоче-Крестьянской Красной Армии... И случилось это при любопытнейших обстоятельствах... Я тогда командовал войсками в Смоленске, провел торжественное заседание, только-только перешли в банкетный зал, как меня вызывают на прямой провод, звонит Лев Захарович Мехлис, помощник Сталина:

— Срочно выезжай на аэродром, бери самолет и жми в Москву! Я отправляю машину в Тушино.

Через два с половиной часа я подкатил на «паккарде» к Центральному Дому Красной Армии,— там гуляли годовщину РККА, не поминая, ясно, ни Троцкого (а ведь как-никак первый нарком обороны республики), ни Вацетиса, которого именно Троцкий протащил на пост Главкома: многие были против, мол, из царского генерального штаба, золотопогонник, но Лев Давыдович настоял на своем, крутой был мужик, Сталин у него, честно говоря, много взял, не во внешнем, конечно, облике, а в умении пробивать свое... Шапошникова Бориса Михайловича, полковника царской разведки, тоже Троцкий в РККА привел наперекор всем, но потом в поддержке отказал: тот уж больно поляков ненавидел, «католические иезуиты, ляхи», даже статью против них бабахнул в двадцатом, за что Троцкий журнал прикрыл, а Шапошникова — «за шовинизм» — бросил, как говорили, на низовку, слава богу еще не шлепнул сгоряча, он это тоже умел... Потом, когда Троцкого турнули, Шапошников снова поднялся, Сталин его поддержал, был у меня начальником генштаба — единственный беспартийный на таком посту... Думаю, кстати, Сталин его не без умысла ко мне приставил... Да... Прибыл, значится, вошел в банкетный зал, а там и Бубнов, и Блюхер, и Егоров, и Якир с Уборевичем, Позерн, Буденный, Лашевич, Раскольников, Примаков, Штерн, Подвойский, Крыленко, Корк, Эйдеман, Тухачевский, ясное дело, ну и Ворошилов со Сталиным... Все, гляжу, хоть и под парами, разгоряченные, но какие-то напряженные, нахохлившиеся... Сталин, пожав мне руку, говорит: «Мужик, ну-ка, покажи себя»... Он меня еще с гражданской называл «мужиком», любил рослых, а особенно тех, у кого в семье был кто из духовенства... Я его спрашиваю, что надо сделать. А он трубку раскурил,— лицо жесткое, глаза потухшие, хмельные,— пыхнул дымком и говорит: «Я предложил провести соревнование по борьбе,— кто из наших командиров самый крепкий... Вот Тухачевский всех и положил на лопатки... Сможешь с ним побороться? Но так, чтоб его непременно одолеть?» Я, конечно, ответил, что будет выполнено. «Ну, иди, вызови его на поединок». Я и пошел. А Тухачевский крепок был, не так высок, как я, но плечи налитые, гири качал, как только на скрипке своей мог играть, ума не приложу, она при нем крохотной казалась, хрупенькой, вот-вот поломает... Ну, я к нему по форме, он ведь старше меня был по званию, командарм, я только комдив, так, мол, и так, вызываю на турнир... Тухачевский посмотрел на Сталина, усмехнулся чему-то, головой покачал и ответил: «Ну, давайте, попробуем». Схватились мы с ним посредине залы; крепок командарм, жмет, аж дух захватывает, а поскольку я выше его, мне не с руки его ломать, захват приходится на плечи, а они у него, как прямо, понимаете, стальные... Вертелись мы с ним, вертелись, а вдруг я глаза Сталина увидел,— как щелочки, ей-богу, а лицо недвижное, будто стоит на весенней тяге, так весь и замер... Как я эти его глаза увидел, так отчего-то ощутил испуг, а он порою придает человеку пребольшую, отчаянную силу! Ухватил я Тухачевского за талию и вскинул вровень с собой, а когда борец ног не чувствует, ему конец, потому как опоры нету, будто фронт без тыла... Ладно... Держу я его на весу, жму, что есть сил, а он решил ухватить меня за шею, чтоб голову скрутить,— без нее тоже не с руки бороться... Но я этот миг как бы заранее почувствовал, вбросил командарма еще чуть выше, и что было сил отшвырнул от себя. Но — не рассчитал: он спиною ударился о радиатор отопления, и так, видно, неловко, что у него даже кровь со рта пошла... А Сталин зааплодировал мне, заметив: «Молодец, мужик! Положил забияку, будет знать, как своей силой похваляться»... Чокнулся со мной, выпил, повернулся и пошел к выходу, ни с кем не попрощавшись...

Тимошенко замолчал, поднял со стола рюмку и, неожиданно для всех, резко поднявшись, откашлялся:

— Предлагаю тост за выдающегося деятеля международного рабочего движения,— начал *рубить* он,— гениального военачальника Великой Отечественной, страстного борца за мир и дружбу между народами, нашего дорогого Никиту Сергеевича Хрущева...

...Воистину, никто так легко не отдает права править собою, как мы... Традиция? Или рок? Неужели закономерность?

16

Сергей Николаевич Новиков, большевик с восемнадцатого года, пришел в ЧК в двадцатом, принимал участие в борьбе с басмачеством, переехал в Москву, учился в институте, затем был отправлен в Казахстан, работал в Алма-Ате, в тридцать пятом году стал одним из руководителей местного НКВД.

Однажды ночью услыхал, как к дому, где он жил, подъехали три машины; выглянул из-за шторы, увидал оперативную группу, выскочил во двор, перемахнул через забор и ушел в *бега*.

В Москве он объявился в тридцать девятом уже, после расстрела Ежова, когда из тюрем начали выпускать тех ветеранов, кого не успели уничтожить физически, но сломали морально: именно тогда Сталин и начал разыгрывать карту «большого обмана»,— мол, прежнее руководство НКВД «обманывало» страну, арестовывая невинных людей.

Женившись на моей тетушке Александре Ноздриной, Сергей Николаевич сдружился с моим отцом; дружба перешла ко мне «по наследству»; выйдя на пенсию и поселившись в деревне, Новиков рассказал мне, отчего его должны были арестовать в тридцать шестом.

— Ни Филипп Медведь, начальник Ленинградского ЧК, ни его заместитель Запорожец, готовивший убийство Кирова, не были расстреляны,— Сергей Николаевич заметно нервничал, рассказывая мне сокровенное, что он носил в себе больше тридцати лет.— Их отправили на Восток, да и не в лагеря, а на стройки, и не заключенными, а руководителями... Поэтому от Медведя «пошли круги» — он не мог не поделиться с друзьями о том, как после убийства Кирова в Питер приехал Сталин, вызвал к себе Николаева и задал он ему всего три вопроса, один из них был решающим: «Вы где достали револьвер?» А Николаев ответил в ярости: «У Запорожца спросите, он всучил!» Сталин приказал немедленно Николаева ликвидировать, обматерив при этом Молчанова, одного из помощников наркома НКВД Ягоды, затем вызвал из камеры Борисова, начальника охраны Сергея Мироновича, побеседовал с ним с глазу на глаз; в тот же день Борисова убили.

Пресса, неподготовленная к тому, как комментировать произошедшее, сразу же обвинила в убийстве Кирова белогвардейцев. И лишь после того, как все свидетели были расстреляны или погибли при загадочных обстоятельствах, был дан залп против оппозиции, а в январе тридцать пятого был проведен закрытый процесс против Каменева и Зиновьева: им дали по пять лет лагерей за то, что они якобы несли моральную ответственность за убийство Сергея Мироновича.

Так вот, поскольку с Медведем я неоднократно встречался, в голове у меня шевельнулись первые сомнения,— что-то во всем этом деле не чисто... Но дрогнул я лишь после того, как наш казахский нарком вернулся из Москвы в Алма-Ату в январе тридцать шестого, собрал коллегию, стенографиста попросил покинуть кабинет и сообщил, что начальник управления Молчанов проинформировал собравшихся: в стране открыт грандиозный заговор, во главе которого стоят Троцкий, Каменев, Иван Смирнов, Зиновьев. Главная цель: убийство товарища Сталина и его ближайших соратников — Ворошилова, Кагановича, Орджоникидзе, Жданова, Чубаря; наркомат переходит на военное положение, все иные дела (будь то шпионаж, экономические диверсии, злоупотребления по должности) откладываются, *работаем* троцкистско-зиновьевских террористов... А я, брат, возьми, да и бухни: «а кто же этот заговор раскрыл? Почему мы, чекисты, не имели до сих пор никаких намеков на такую разветвленную цепь?» Мой нарком чуть съежился, на вопрос не ответил, но, многозначительно посмотрев на меня, заключил: «За работой следствия будет наблюдать лично товарищ Сталин, а руководить — секретарь ЦК Николай Иванович Ежов. Это все. Готовьте предложения. Срок — двадцать три часа. Точка».

Сергей Николаевич — бровастый, лупоглазый, большелобый — поднялся с табуретки, походил по маленькой кухоньке, застланной домоткаными дорожками, остановился возле печки, прижался к ней, словно бы стараясь вдавить в нее свое тело, вобрать ее тепло, ощутить *спину* (нет ничего важнее, чем чувствовать *надежду* у себя за спиной), и, закурив «гвоздик», продолжил:

— Ежова я встречал дважды,— маленький, быстрый, глаза оловянные, улыбка быстрая, располагающая,— и каждый раз дивился тому, отчего товарищ Сталин выдвинул именно его на это дело. Образованием он не блистал, говорил с плохо проставленными ударениями, порой путал падежи; я тогда подумал: мы ж горазды на самоуспокоение, точнее самообман,— мол, выражается так, чтобы быть понятным самым широким слоям народа. Эрудиция Каменева, честно говоря, порою ставила в тупик, не всем была понятна,— больно уж профессорский тон, сплошная искрометность, афоризмы, иностранные слова... Да, брат...

Был у Ежова друг, заместитель народного комиссара земледелия Конар, приезжал к нам единожды, за день перед этим пришла шифровка: «Обеспечить помощь по всем вопросам. Ежов». Ну, ясно, мы и прыгали вокруг Конара, да разве одни мы? А потом — ба-бах! — берут этого самого Конара, оказался шпионом, настоящая фамилия Полищук, польская разведка ему дала документы на имя красного командира Конара, убитого в перестрелке, внедрился, «рос» двенадцать лет, обосновался в Москве, вошел в «свет», а как свиделся с Ежовым,— сразу сел в кабинет заместителя наркома земледелия... А это, брат, не шутка,— вся стратегия борьбы с бухаринским уклоном в МТС проводилась в жизнь им, Конаром. Причем, не мы, ЧК, его раскрыли... Молодой большевик, из МТС, случайно увидавши Конара, ахнул: «Да я ж с товарищем Конаром в одном полку служил! Никакой это не Конар!» Только после этого мы поставили наблюдение и получили прямые улики шпионской деятельности замнаркома... А ведь поначалу Ежов звонил Ягоде, кричал: «Не сейте семена подозрительности! Не клевещите на честных большевиков! Занимайтесь лучше своими проходимцами, которые бегут на Запад!»

Да, брат, такие вот были дела... Словом, назавтра, в двадцать три по нулям собрались мы у наркома. Мне дал слово первому: «Ну, что у тебя? Давай фамилии троцкистско-зиновьевских убийц. Кто даст серьезные показания? Какие улики?» Я ответил, что, по данным тех отделов, что я курировал, никаких зацепок нет, оппозиционеры давно разоружились, честно трудятся, никаких претензий. А он: «Плохо работаете».— «Что ж, *выбивать* угодные показания, как в охранке?» Он аж крякнул: «Товарищ Ягода издал приказ, завтра огласите всем сотрудникам: „Любые меры принуждения, угрозы, обещания подследственным будут караться как преступление! Мы работали, работаем и будем работать с чистыми руками!"»

А назавтра наркома забрали. Ясно? А послезавтра я ушел в бега, убедившись, что действительно начался термидор, заговор против самой памяти Феликса Эдмундовича.

В *бегах* я отлеживался в горах, жил в пастушеской сараюшке, газеты,— хоть с опозданием,— но читал. И постепенно создалось у меня впечатление, что дружба Конара с Ежовым не случайна, Ежов — самый настоящий шпион, вражина, делает все, чтобы оставить товарища Сталина одного, лишить его всех тех, с кем он был в революции. И я написал подробное письмо Сталину. Почерк, конечно, изменил, не подписался, отправил из другого города, в полтысячи километров от тех мест, где скрывался; никакой реакции; еще, наоборот, больше портретов Ежова, да еще новый лозунг выдвинули: «Учиться жить и работать по-сталински у товарища Ежова»...

Когда Ежов исчез, после Восемнадцатого съезда уже, я прочитал в газетах отчет о судебном процессе над Луньковым, бывшим начальником НКВД в Кузбассе, который арестовывал малолеток и выбивал из них показания, что они, мол, готовили теракт против товарища Сталина. Детей бросали в те камеры, где было полным-полно старых большевиков, а тюрьма — организм особый, через стены, перестуком, информация расходится не то что по городу,— стране, не удержишь... Тогда-то я и понял, чем Ягода и Ежов вырывали показания у ленинцев: страхом за жизнь детей... Логика: если чужие малыши сидят, значит, и мои мучаются в соседней камере... Вот после того, как открытый суд приговорил Лунькова к расстрелу, я и решил вернуться в Москву... Устроился в Покровском-Стрешневе завхозом строительства и начал чекистскую комбинацию: поскольку в газетах ничего о Ежове не писали, я решил вновь вернуться к гипотезе о его шпионской деятельности: надо ж народу вразумительно объяснить, что страшная трагедия, свидетелями которой мы были,— дело рук иностранной разведки... Поэтому я начал слежку — да, да, именно так, форменную слежку — за домами, где жили сотрудники НКВД, там мои друзья, верные друзья, с гражданской еще... Я хотел поговорить со «стариками», глядишь, подскажут, как надежнее передать письмо о Ежове лично товарищу Сталину... Один дом я наблюдал месяц,— каждое воскресенье садился в скверике с газетой и «срисовывал всех входящих и выходящих»... Ни одного из стариков не увидал, все новые лица, значит, *моих* постреляли... Потом перешел ко второму дому,— тоже никого... Словом, брат, четыре месяца я *работал*... И только на пятом повезло: увидел Вадима, мы с ним в двадцатых учились вместе... Окликнул его негромко, он заметил меня, но не подошел, только чуть кивнул. Я обернулся,— слежки, вроде, за ним не было, остался на лавочке, сижу, читаю, жду... Он выскользнул вечером, проходя мимо, шепнул, чтоб, мол, я ехал в парк «Эрмитаж», там поговорим. Ну, и поговорили... Выслушав меня, он выпил граненый стакан водки, закусывать не стал, словно воду минеральную проглотил, и, склонившись ко мне, шепнул: «Дурак ты,

Сережка! Дурак, как все мы... Я присутствовал на собрании, когда Ежов нам объявлял, отчего Ягода арестован... Он, оказывается, изобличен в том, что был агентом охранки еще с девятьсот седьмого года... А ведь Ягода в девяносто седьмом родился, об этом в энциклопедии было написано... Десятилетний агент?! А мы? Молчали, Сережа. Все, как один, молчали... А потом я узнал, что важнейшие ответы Бухарина на процессе писал Сталин... И сочинил ему такое признание, что, мол, я, Бухарин, подозревал Ленина в том, что тот немецкий шпион еще с семиадцатого года, когда проехал в «пломбированном» вагоне Германию, чтоб скорей попасть в Россию... А после того, как Ленин потребовал Брестского мира, я, Бухарин, до конца убедился, что Ленин — немецкий шпион, и поэтому решил его убить... И тут Бухарин взорвался: «Ради Нюси и Юры я готов погибнуть, оклеветав себя, но такого я не подпишу! Стреляйте всех нас, убивайте нас троих, но я не дам Сталину обвинить мертвого Ленина в шпионаже! Не дам, и все тут!» Сережа, Сережа, о чем ты?! Бухарин спас Ленина,— согласись он сказать на процессе то, что написал ему Сталин,— вычеркнули б Ильича из учебников, помяни мое слово! А кто нам телеграмму прислал: «применяйте пытки»? Сталин, Сережа, Сталин... Нам эту телеграмму зачитали, потому я тебя домой и не пригласил, я один остался из тех, кто ее слыхал, значит, дни мои сочтены, так или иначе *подберут*... А ты — «письмо товарищу Сталину»... Забудь, Серега, Ежов был его подметкой, а никаким не шпионом...

Сергей Николаевич прерывисто вздохнул, еще резче вмял свое кряжистое крестьянское тело в печку и глухо закончил:

— После Двадцатого съезда я на партсобрании выступил против того, чтоб о Сталине говорили, как о человеке, который руководил войной по глобусу... Это было... Но я и за то выступил, чтоб открыть всю правду про убийство Кирова... Зачем я тебе говорю все это? Отвечу. Один старик, из могикан, сказал мне: «Ты ж Юльку знаешь, спроси, зачем он в „Семнадцати мгновениях“ Сталина помянул? Разве можно славить сатрапа?!» А я ему ответил: «Трагедия наша в том, что Сталин, который выбил ленинцев, стоял на трибуне Мавзолея седьмого ноября сорок первого, и для нас, в окопах, это было счастьем,— для всех без исключения: и кто знал правду, и кто не знал ее... Хочешь, чтоб снова писали лишь одну грань правды? Но разве это история? Нет, брат, история, это когда пишут *все*... И — как бы со стороны — без гнева и пристрастии. Иначе — не история это, а подхалимский репортаж; тоже придется вскорости переписывать...»

17

Сразу же после расстрела Каменева и Зиновьева самый массированный удар был нанесен по дзержинцам, ибо все они были потрясены коварством Сталина, обещавшего сохранить жизнь обвиняемым взамен на «спектакль».

Никто из ветеранов ЧК не верил, что те являлись агентами Троцкого, убийцами и заговорщиками, но все они были убеждены в необходимости окончательного идейного разгрома троцкизма,— в этом и видели смысл операции «Процесс 1936».

К концу тридцать восьмого года практически весь аппарат Дзержинского, то есть все те, кто создавал ЧК, были расстреляны — без суда и следствия, как злейшие враги народа, шпионы и диверсанты.

Один из создателей советской контрразведки Артузов первую коронную операцию за кордоном назвал «Трест»; название утвердил Феликс Эдмундович.

Именно «Трест» позволил молодой Республике Советов сломать боевые отряды контрреволюционной эмиграции.

Не один лишь Борис Савинков (человек беспримерного мужества, уходивший изпод царской петли, адепт террора, вождь боевки социалистов-революционеров) был обезврежен ЧК; генералы Кутепов и Миллер, руководители «Русского Общевоинского Союза» также были нейтрализованы службой Артузова.

После смерти Дзержинского (Артузов не верил в естественную *смерть* Феликса Эдмундовича; у всех на памяти была гибель Фрунзе,— кто владеет армией и ЧК, тот контролирует ситуацию) Артузов замкнулся, ушел с головой в работу; против Республики Советов работали все секретные службы на Востоке и Западе.

Попытку вовлечь его в написание *сценария* первого процесса против Зиновьева и Каменева в 1935 году отверг с гневом: «Я против своих не воюю, врагов достаточно».

Будучи арестован, с группой первых дзержинцев вскрыл вены и написал на простыне, вывесив ее — умирающим уже — в окно камеры (тогда они еще были без «намордников»): «Каждый большевик, верный идеям ленинской революции, обязан — в случае первой же возможности — изобличить Иосифа Сталина, предателя, изменившего делу коммунизма, сатрапа, мечтающего о государстве единоличной тиранической диктатуры!»

Воюет со мною и спорит судьба.
Ах, это бывает... Не надо скорбеть.

Махмуд

Вошли твои слова в сердца и в души,
Не знали горы слов таких доселъ.

Гамзат Цадаса

1

Это было в Галицийском крае,
Где в разгаре Первой мировой
Сталь свистела, воздух разрывая,
И клубился смрад пороховой.

Это было на карпатских склонах,
На дорогах, устремленных ввысь,
Где кавказцы в эскадронах конных
«Дикою дивизией» звались.

В ней служил и дагестанский всадник,
Выросший в седле и на скаку.
Люди говорят, что *первой саблей*
Был он признан у себя в полку.

Но его острейшее оружье
Дополнял и добровольный груз.
Был солдат с певучим словом дружен
И берег испытанный кумуз.

Преданный походной этой лире,
Создавал стихи свои Махмуд
И мечтанья о любви и мире
Смело выносил на общий суд.

Сам он родом был из Кахаб-Росо,
А теперь, от отчих мест вдали,
Воспевал и тот аул, где рос он,
И селенье горное Бетли.

Сам он родом был из Кахаб-Росо,
А посланья посвящал свои
Мариам — бетлинке чернокосой,
В обиходе попросту — Муи.

2

Пел Махмуд, и всадники внимали
Слову друга, дрогнувшей струне:
«Эту землю пламя обнимает
И душа моя в сплошном огне.

Кровь свою пролив на поле брани,
Где грохочут лютые бои,
Я еще ведь и тобою ранен,
Пропадаю без тебя, Муи.

Хижина моя — не ровня дому,
Что построен для твоей семьи.
Ты роднёй обещана другому,
Я отвергнут, милая Муи.

Но пока, врагами ошельмован,
Я скрывался в ближней стороне,
Вышла ты за этого *другого*...
Где найду забвенье? На войне?

Как поверить мне в твою жестокость,
В лицемерье этих глаз и губ?
Я отвергнут, предо мною — пропасть.
Все стерплю я, ибо — однолюб!

Так сложилось... Мы с тобой не ровня.
Но — уж ты, Муи, не обессудь —
В здешние соборы и часовни
Я вхожу, чтоб на тебя взглянуть.

Знаю, мусульманину негоже
К иноверцам заходить во храм,
Но Мадонна на тебя похожа,
Имя у богинь одно и то же,
Ведь Мария — это Мариам.

Снится мне — Бетли все ближе, ближе,
Мнится мне, что я пришел домой,
Снова луг высокогорный вижу
И тебя, цветок альпийский мой.

Мариам, невечны наши сроки,
Очень краток времени запас.
Может, эти горестные строки —
Все, что уцелеет после нас...»

3

Так аварца посещала муза,
Струны стройно вторили словам.
Пел Махмуд под перебор кумуза:
«Земляки, теперь взываю к вам.

Вам не надоела эта бойня,
Эта обоюдная резня?
Есть и дали, и дела достойней
Для джигита и его коня.

Всадники, солдаты Дагестана!
Дети ждут, не убраны хлеба.
Ну, а мы воюем непрестанно,
Множим не потомство, а гроба.

Истина проста и неизменна —
Кличут нас родные очаги.
Обращаюсь к вам, солдаты Вены,
Что делить нам? Разве мы — враги?

Братья, слову моему поверьте,
Безнадежна эта круговерть.
Лишь любовь дарует нам бессмертье,
А война повсюду сеет смерть».

Тут и вправду совершалось чудо.
Примолкал губительный металл,
Понимали русские Махмуда,
К австро-венграм голос долетал.

Пусть негромок, но исполнен силы,
Зов поэта пробуждал людей.
И Махмуда сызнова просили
Спеть о доме, о любви своей.

4

Хоть разноязычны, но не глухи
Многие постигли этот зов.
...Но дошли о песнопевце слухи
До высоких воинских чинов.

Тех, что состоя при генерале,
Хоронясь от стали и свинца,
Подчиненных дружно призывали
Драться до победного конца.

Шаркуны из тылового штаба
Зашумели, проявляя прыть:
— Этому смутьяну нам пора бы
Трибуналом строго пригрозить!

...Офицер и четверо конвойных
Суетливо ускоряли шаг.
Но Махмуд прошествовал спокойно
В белый генеральский особняк.

Он не дрогнул и при генерале,
Не страшась допросов и улик.
Лишь усы густые оттеняли
Чуть заметно побледневший лик.

Генерал рывком откинул шторы.
Дымные открылись небеса,
Битвой перепаханные горы
И полусожженные леса.

Изрекло начальство: «Погляди-ка.
Это — фронт. Война идет кругом.
Ты ж себя ведешь и вправду дико.
Чуть ли не братаешься с врагом.

Патриоты храбро умирают
За царя, за родину... А ты
Разве не рожден в орлином крае?
Разве не рожден для высоты?

Ты для боя создан от природы,
Племенем воинственным взращен.
Но, увы, в семье не без урода.
Ты нарушил воинский закон.

Ты обязан быть рубакой храбрым,
Отчего же, как презренный трус,
Всем внушаешь, что дороже сабли
Твой туземный, как его... кумуз.

Поешь и бренчишь... Но здесь не место
Для таких кавказских серенад.
Слух прошел: твои пустые песни
Подрывают ратный дух солдат.

Пуля приготовлена... Однако
Я в последний раз тебе даю
Право искупить вину в атаке,
Умереть не в сраме, а в бою».

5

Все на этом завершалось вроде,
Но аварец в жуткой тишине
Вдруг промолвил: «Ваше благородье,
Разрешите оправдаться мне.

Ко всему готов я... Воля ваша.
Я — солдат. Вы — полководец мой.
Я не трус. Мне смертный час не страшен.
Разрешите дать ответ прямой.

Верно, я рожден в краю орлином,
Где в цене отвага и полет.
Но любовь и мир — мои вершины,
Лишь они превыше всех высот.

Вы могучи, ваше благородье.
Все у вас — войска, чины и власть.
Я — песчинка малая в народе,
Призванная без вести пропасть.

Наши силы неравны, я знаю.
Уж от века так заведено.
Конь казенный, сабля фронтовая,
Вот и все, что мне подчинено.

Есть у вас и бомбы и снаряды
И неумолимый трибунал.
У меня — кумуз. Иной отрады
Я, пожалуй, в армии не знал.

Горы и долины вам подвластны,
Наши судьбы, чаянья и сны.
Я — певец любви моей несчастной,
Мне подвластны только две струны.

Я рискую жизнью не впервые,
Знаю все провинности мои.
Люди молятся святой Марии,
Я — своей возлюбленной Муи.

Что могу я? Дом родной восславить
И друзьям своим стихом помочь...»
Генерал прервал его: «Отставить!»
Воспалился: «Уведите прочь!»

И добавил: «Этого болвана
Сразу — в пекло, в сечу, под обстрел,
Чтобы смертью или рваной раной
Заплатил за все, что здесь напел».

6

Не был я при давнем разговоре,
Но предания о нем хранят
Наши дагестанские нагорья,
Склоны зеленеющих Карпат.

Что потом произошло с Махмудом?
Страстью и надеждой обуян,
В шрамах весь, но уцелевший чудом,
Возвратился он в Аваристан.

Многое осталось за плечами
У джигита. Повидал он свет.
Своего певца однополчане
Выбрали в солдатский комитет.

Свет забрезжил над российской ширью
И уже — начало всех начал,—
Посреди огня Декрет о мире
В Питере бурлящем прозвучал.

Из полка, что был расформирован,
Разошлись кавказцы по домам.
Но порог отеческого крова
Все еще окутывал туман.

Холод ощутим перед рассветом.
Шел Махмуд знакомою тропой.
Но судьба вершила над поэтом,
Как и прежде суд неправый свой.

В Цудахаре или в Унцукуле
Он узнал, блуждая по горам,

Что мечту его перечеркнули,
Что ушла из жизни Мариам.

Шел Махмуд по каменным откосам,
Брал за перевалом перевал.
Побывал он дома в Кахаб-Росо
И в Бетли злосчастном побывал.

И повсюду, на любом привале,
Где Махмуд усталый ночевал,
Песни, им рожденные, звучали
И пришельца каждый узнавал.

Но его не радовала слава
И застолья были ни к чему,
И вино горчило, как отрава,—
Лишь Муи мерещилась ему.

7

Заглушал он боль в своих скитаньях,
Шел, с кумузом, как всегда, в ладу.
Вспоминая строки песен ранних,
Новые слагая на ходу.

Постепенно набирая силы,
Обживая Дагестан родной,
Он ловил известья из России,
Увлеченный этой новизной.

Будто начиная все сначала,
Замышлял он добрые дела.
И хвала вослед ему звучала,
Но порой случалась и хула.

Что ж, талант когда взлетит высоко,
Змеи сразу выделяют яд,
А когда парит над саклей сокол,
Все шакалы яростно рычат.

Удивляясь этой давней злости,
Сварам, что с годами не прошли,
Песнопевец, приглашенный в гости,
Посетил селенье Игали.

В доме, где радушье и веселье
Властвовали, здешний люд собрав,
Видно, одуревший от похмелья
Разошелся некий Магдилав.

Слухами коварными подстегнут
Иль обидой давней оглушен,
Дикий, взбудораженный, не дрогнув
Со стены сорвал оружье он.

И, когда Махмуд, почти покинув
Этот дом, переступил порог,
Выстрелил Магдил поэту в спину,
В исступлении рванув курок.

Так солдат, бывавший в схватке конной,
Выживший, всем ранам вопреки,
Пал, шальною пулею сраженный,
От случайной и слепой руки.

8

...Знал Махмуд (и дома, и в походе
Помудрел он, многое постиг),
Что друзей не на пиру находят,
Что аул суров и многолик.

Что один сосед — роднее брата,
А другой — до первых передряг,
Что блюститель рьяный шариата —
Самый мрачный и опасный враг.

Что бездарность одаренных травит,
Что ростку грозит внезапный град,
Что бесславных палачей оравой
Славный поражен Хаджи-Мурат.

Что в неравной схватке погибали
Лермонтов, Анхил, Эльдарилав,[1]
Не избыв сомненья и печали,
Лучшие стихи не написав.

Исчезают имена монархов,
Рушатся и камень, и металл.
Нашу память освещают ярко
Те, кто кривде противостоял.

Кто сегодня помнит генерала,
Что на горца храброго орал?
Лирика Махмуда воссияла,
Канул в Лету белый генерал.

Разве нынче помнят Магдилава,
Что поэта застрелил в упор?
Строки о Муи звучат по праву
И за гранью дагестанских гор.

Одряхлели давние орудья,
Старятся клинки и палаши.
Но десятилетья не остудят
Жаркое движение души.

Пусть любовь умерщвлена бесчестьем,
Завистью, корыстью и молвой,
Женщине подаренная песня
Навсегда останется живой.

Если и в застолье и в концерте
Строфы незабвенные поют,
Значит, завоевано бессмертье,
Бой неравный выиграл Махмуд.

Перевел с аварского Яков ХЕЛЕМСКИЙ

[1] *Анхил Марин* — аварская поэтесса (начало XX в.). Религиозные фанатики, не смирившиеся с тем, что женщина слагает песни, по приказу наиба зашили ей губы воловьими жилами. *Эльдарив* — аварский поэт (вторая половина XIX в.), отравленный своими врагами.

Над биографией Державина В. Ходасевич работал два года — с 21 января 1929 г. до 6 января 1931 г. Писал он, по свидетельству одного современника, «на обрывках и клочках бумаги, то лихорадочно-торопливо, то мучительно-медленно», наперегонки с издателями, которые уже по ходу писания печатали фрагменты из книги, небольшие — в газете «Возрождение», а более крупные — в журнале «Современные записки». Полностью «Державин» вышел в Париже в 1931 году.

Личность и творчество Державина интересовали Ходасевича на протяжении всей жизни. В некрологе Ходасевичу в 1939 году его жена и издатель ряда его книг Нина Николаевна Берберова подчеркнула, что «он сам вел свою генеалогию от прозаизмов Державина». Не удивительно, что именно книге о Державине было суждено стать его первым большим литературным трудом, после того, как, издав в 1927 году свое итоговое «Собрание стихов», он по существу отошел от поэтического творчества — стихотворения, написанные им за последние двенадцать лет жизни, можно буквально пересчитать по пальцам.

«Для критической и историко-литературной работы эмигрантские условия можно назвать исключительно неблагоприятными как ввиду отсутствия необходимых источников, так и вследствие слишком немногочисленной аудитории»,— сетовал Ходасевич на страницах «Возрождения» 13 января 1929 года, буквально приступая к «Державину». Он ясно видел стоявшие перед ним трудности и все же брался за перо. Между тем задача, которую ему предстояло разрешить в этих «исключительно неблагоприятных условиях», и без того была в высшей степени сложна.

Очевидно, что рассказ о жизни деятеля прошлого, оставившего свою автобиографию, требует особого искусства, тем более если она столь подробна и красочна, как державинские «Записки». Слишком покорное следование по вышитой канве приведет здесь к пересказу, слишком резкий разрыв с нею — к необоснованным домыслам, неприемлемым для писателя, полагавшего, что биографу, в отличие от романиста, «дано право изъяснять и освещать, но отнюдь не выдумывать».

От необходимости собирать по крупицам материалы для своей книги Ходасевич был свободен. В его распоряжении было образцово подготовленное академиком Я. К. Гротом девятитомное Собрание сочинений Державина (1864—1883), восьмой том которого занимало монументальное жизнеописание поэта. Вместе с тем само существование замечательного исследования Грота, во многом облегчая работу биографа, в то же время увеличивало для него опасность сбиться на простую популяризацию сведений, добытых другими, тем более что намерения сообщить читателю «новые, неопубликованные материалы» у него не было и не могло быть.

Избранный Ходасевичем метод работы можно с некоторой долей условности назвать методом психологических расшифровок. Известные эпизоды биографии Державина последовательно излагаются в книге в проекции на душевное состояние «действующих лиц», их побуждения, переживания и реакции. Принципиальный апсихологизм державинских «Записок», в которых мемуарист рассказывает о себе в третьем лице, и академическая осторожность Грота, не считавшего возможным идти за документ, оставляли здесь большой простор для писательской интуиции.

Начиная с Н. Полевого и Белинского, все, писавшие о Державине, усматривали трудноразрешимое противоречие между его государственной деятельностью и поэтическим творчеством. Именно проникновение во внутренний мир своего героя позволило Ходасевичу снять этот вопрос, показав, что для самого Державина никакого противоречия здесь не было. «К началу восьмидесятых годов,— пишет он,— когда Державин достиг довольно заметного положения в службе и стал выдвигаться в литературе, поэзия и служба сделались для него как бы двумя поприщами единого гражданского подвига».

В «Державине» совсем немного говорится о стихах. Ходасевич сколько-нибудь подробно разбирает всего пять-шесть произведений своего героя и, за единственным исключением, не показывает его в работе. И все же книга в целом остается книгой о поэте, ибо автору удается обнаружить поэтическую сторону державинской судьбы и служебной деятельности. Но, чтобы сделать это, предстояло пересмотреть устоявшиеся представления о Державине как о ретивом, но ограниченном служаке, честном ретрограде, певце дворянской монархии. Важно отметить, что такой пересмотр Ходасевич провел, по существу, первым.

Читателю, который хотел бы познакомиться с судьбой Державина, трудно порекомендовать более ответственное чтение, чем книга Ходасевича. И в то же время это очень исповедальное произведение.

Во мне конец, во мне начало,
Мной совершенное так мало!
И все ж я прочное звено.
Мне это счастие дано,—

писал Ходасевич. Сознание собственной прочности давалось ему ощущением опоры на русскую поэтическую традицию, хотя порой ему казалось, что в этой цепи он призван сыграть роль последнего звена. Но чем тяжелее давило на него ощущение конца, тем более настоятельной становилась в нем потребность вглядеться туда, где он видел начало,— в Державина. В Державине он постигал и себя, и ту полуторавековую историю отечественной поэзии, которая и разделяла и связывала их.

«Друг друга отражают зеркала, Взаимно умножая отраженья»,— сказал современник и знакомый Ходасевича поэт Георгий Иванов. «Взаимно умноженные» отражения двух больших поэтов и предлагает нам эта книга.

Андрей ЗОРИН

I

В XV веке, при великом князе Василии Васильевиче Темном, татарин мурза Багрим приехал из Большой Орды на Москву служить. Великий князь крестил его в православную веру, а впоследствии за честную службу пожаловал землями. От Багрима, по записи Бархатной книги российского дворянства, произошли Нарбековы, Акинфовы, Кеглевы (или Теглевы). Один из Нарбековых получил прозвище *Державa*. Начал он свою службу в Казани. От него произошел род Державиных. Были у них недурные поместья, от Казани верстах в 35—40, меж Волгой и Камою, на берегах речки Мёши.

Земли, однако ж, дробились между наследниками, распродавались, закладывались, и уже Роману Николаевичу Державину, который родился в 1706 году, досталось всего лишь несколько разрозненных клочков, на которых крестьяне числились не сотнями, не десятками, а единицами.

Еще в 1722 году, при Петре Великом, Роман Николаевич вступил в армию и служил попеременно в разных гарнизонных полках. Подобно достаткам, и чины его были невелики, хотя от начальства он пользовался доверием, от сослуживцев — любовью. Но был человек неискательный, скромный, отчасти, может быть, неудачник. Тридцати шести лет он женился на дальней своей родственнице, бездетной вдове Фекле Андреевне Гориной, урожденной Козловой. Брак не прибавил ему достатку: Фекла Андреевна была почти так же бедна, как он сам, и ее деревеньки в таких же лежали клочьях. Впрочем, и из-за этих убогих поместий Державиным приходилось вести непрестанные тяжбы с соседями. Времена же были бессудные. Дело иной раз доходило до драки. Так, некий помещик Чемадуров однажды зазвал Романа Николаевича в гости, напоил крепким медом, а потом, не пощадив чина-звания, избил с помощью своих родственников и слуг. Роман Николаевич несколько месяцев прохворал, а после того Державины с Чемадуровыми враждовали из рода в род без малого полтора лет: только в восьмидесятых годах минувшего века их распри кончились.

Женившись, Роман Николаевич жил то в самой Казани, то поблизости от нее, в одной из деревень своих,— неизвестно, в которой именно. Там и родился у него, в обрез через девять месяцев после свадьбы, первенец. Это событие произошло 3 июля 1743 года, в воскресенье. По праздноемому 13 числа того месяца собору Архангела *Гавриила* младенец и наречен.

От рождения был он весьма слаб, мал и сух. Лечение применялось суровое: по тогдашнему обычаю тех мест, запекали ребенка в хлеб. Он не умер. Было ему около году, когда явилась на небе большая комета с хвостом о шести лучах. В народе о ней шли зловещие слухи, ждали великих бедствий. Когда младенцу на нее указали, он вымолвил первое свое слово:

— Бог!

* * *

Вскоре Державина-отца перевели по службе в город Яранск, Вятской губернии, потом в Ставрополь, что на Волге, в ста верстах от Самары. Городишки были убогие: кучи деревянных домишек. Жизнь — тоже убогая, захолустная, гарнизонная. К тому же — достатки малые, а семья росла. Через год после первого родился второй сын, а потом и дочь, которая, впрочем, прожила недолго.

Державины были люди небольших познаний. Фекла Андреевна и вовсе была полуграмотна: кажется, только умела подписывать свое имя. Ни о каких науках либо искусствах в доме и речи не было. По трудности этого дела, детей, может быть, не учили бы ничему, если бы не дворянское звание.

В видах предстоящей службы некоторые познания в науках были тогда для дворянских детей обязательны. Объем этих познаний был весьма невелик, но приобрести их было чрезвычайно трудно. На всю Россию было два-три учебных заведения, в Москве да в Петербурге. Помещать туда детей удавалось немногим — по дальности расстояния, по недостатку вакансий и проч. Поэтому дворянским недорослям давались отсрочки для обучения наукам на дому. Обучение, однако же, проверялось правительством, для чего надо было в положенные сроки представлять детей губернским властям на экзамены, или, по-тогдашнему, на «смотры». Первый такой смотр полагался в семь лет, второй в двенадцать, третий в шестнадцать. В двадцать лет надобно было начинать службу.

Столичные жители, при известном достатке, могли отдавать детей в пансионы (впрочем — плохие и немногочисленные), либо нанимать учителей. Для провинциалов, к тому же бедных, каковы были Державины, все это было недоступно. Поэтому вопрос об образовании мальчиков очень рано и очень надолго сделался для них своего рода терзанием. Уже по четвертому году Ганюшку стали приучать к грамоте. Это было еще не столь затруднительно: нашлись какие-то «церковники», то есть дьячки да пономари, которые были его первыми учителями. От них научился он читать и писать. Конечно, мать прибегала и к поощрениям: игрушками да конфетами старалась его приохотить к чтению книг духовных: то были — псалтырь, жития святых. Впрочем, для первого смотра этого было достаточно, и Державин благополучно отбыл его.

Дальше стало труднее. Познания «церковников» были уже исчерпаны, а мальчик рос. Ему минуло уже восемь лет, когда судьба занесла семью в Оренбург. Город в те поры перестраивался: его переносили на новое место. На работы были в большом количестве пригнаны каторжники. Один из них, немец Иосиф Розе, устроился, однако ж, особым образом: он открыл в Оренбурге училище для дворянских детей обоего полу. В этом не было ничего удивительного: и в те времена, и много еще спустя, иностранцы-учителя чаще всего вербовались из разного сброду. Благороднейшие оренбургские семьи стали охотно отдавать ребят на выучку к Иосифу Розе. Другой школы не было. Попал туда и Державин.

В своем заведении Розе был и директором, и единственным преподавателем. Нравом и обычаем был он каторжник, а познаниями невежда. Детей подвергал мучительным и даже каким-то «неблагопристойным» карам. Обучал же всего одному предмету — немецкому языку, грамматики которого сам не знал. Учебников не было. Дети списывали и заучивали наизусть разговоры да вокабулы, написанные самим Розе, впрочем — с великим каллиграфическим искусством, которого он требовал и от учеников. Как бы то ни было, Державин все-таки у него научился говорить, читать и писать по-немецки. То было важное приобретение: немецкий язык тогда был началом и признаком всякой образованности. Французский вытеснил его лишь впоследствии.

Мальчик был даровит и смышлен от природы. Но и сама жизнь очень рано заставила его быть любознательным: хочешь не хочешь — *надо* было приобретать познания, собирать их крохами, где только случится. Каллиграфические упражнения натолкнули его на рисование пером. Ни учителей, ни образчиков не было. Он стал срисовывать богатырей с лубочных картинок, действуя чернилами и охрой. Этому занятию предавался «денно и нощно», между уроков и дома. Стены его комнаты были увешаны и оклеены богатырями. Тогда же случайно приобрел он и некоторые познания в черчении и в геометрии — от геодезиста, состоявшего при его отце: тот по службе был занят какими-то межеваниями.

Прожив года два в Оренбурге, снова

перебрались на казанские свои земли. Осенью 1753 года Роман Николаевич решился предпринять далекое путешествие, в Москву, а потом в Петербург. Было у него на то две причины. Первая: от полученного когда-то конского удара страдал он чахоткою и намеревался выйти в отставку; это дело надобно было уладить в Москве. Вторая причина заключалась в том, что хотел он устроить будущую судьбу сына, заранее, по тогдашним законам, записав его в Сухопутный кадетский корпус или в артиллерию. Это уже требовало поездки в Петербург, и Роман Николаевич взял мальчика с собою. Но в Москве хлопоты об отставке затянулись, Роман Николаевич поиздержался, и на поездку в Петербург у него уже не осталось денег. Так и пришлось ему возвращаться в родные места, не устроив сына. В начале 1754 года вышел указ об отставке Романа Николаевича, а в ноябре того же года он умер.

Вдову и детей он оставил в самом плачевном состоянии. Даже пятнадцати рублей долгу, за ним оставшегося, уплатить было нечем. Имения по-прежнему не давали доходу; самоуправцы-соседи то просто захватывали куски земли, то, понастроив мельниц, затопляли державинские луга. Теперь вся судебная волокита легла на плечи вдове. У нее не было ни денег, ни покровителей. В казанских приказах сильная рука противников перемогала. С малыми сыновьями ходила Фекла Андреевна по судьям; держа сирот за руку, простаивала у дверей и в передних часами,— ее прогоняли, не выслушав. Она возвращалась домой лить слезы. Мальчик видел все это, и «таковое страдание матери от неправосудия вечно осталось запечатленным на его сердце».

* * *

Меж тем приближалось время второго смотра. Как ни трудно было, Фекла Андреевна взяла двух учителей: сперва гарнизонного школьника Лебедева, а потом артиллерии штык-юнкера Полетаева. И тот и другой сами были в науках не очень сведущи. В арифметике ограничивались первыми действиями, а в геометрии черчением фигур. Впрочем, для смотра этого было достаточно, и в 1757 году Фекла Андреевна повезла обоих сыновей в Петербург, намереваясь представить их там на смотр, а затем отдать в одно из учебных заведений.

В Москве остановились, чтобы оформить в герольдии дела с бумагами мальчиков. Но у Феклы Андреевны не оказалось нужных документов о дворянстве и службе покойного ее мужа. Пока тянулась волокита, подошла распутица, да и деньги иссякли. О Петербурге опять нечего было думать. Хорошо еще, что нашелся в Москве добрый родственник. С его помощью получили для недоросля Гавриила Державина новый отпуск, до шестнадцати лет, и вернулись в Казань, положив ехать в Петербург через год.

Но не судьба была Державину учиться в Петербурге. В следующем году открылась в Казани гимназия — как бы колония или выселки молодого Московского университета. Державин поступил в гимназию.

Обучали в ней многим предметам: языкам латинскому, французскому и немецкому, а также арифметике, геометрии (без алгебры), музыке, танцам и фехтованию. Но учителя были не лучше гарнизонного школьника Лебедева и штык-юнкера Полетаева. Учебников не было по-прежнему. Учили «вере — без катехизиса, языкам — без грамматики, числам и измерению — без доказательств, музыке — без нот, и тому подобное». Учителя ссорились и писали в Москву доносы друг на друга и на директора Веревкина. Веревкин же был воспитанник Московского университета, человек молодой, не слишком ученый, зато деятельный и умевший пустить пыль в глаза начальству. Недостатки преподавания старался он возместить торжественными актами, на которых ученики разыгрывали трагедии Сумарокова и комедии Мольера. Также произносили затверженные наизусть речи на четырех языках, сочиненные учителями. Служились молебны, палили из пушек. В аллегорических изображениях картонные фигуры Ломоносова и Сумарокова (оба тогда еще были живы) взбирались на скалистый Парнас, дабы там, по указанию картонного Юпитера, воспевать императрицу Елисавету Петровну... Иногда лучших учеников, в том числе Державина, отправляли в странные командировки: то производить раскопки в Болгарах, древнем татарском городе, то перепланировывать город Чебоксары. Обо всем этом Веревкин писал велеречивые донесения в Москву, главному куратору, Ивану Ивановичу Шувалову. В 1760 году Державину объявили, что за успехи по геометрии зачислен он в инженерный корпус. Он облекся в мундир инженерного корпуса и с тех пор при гимназических торжествах состоял по артиллерийской части.

Через три года по поступлении в гимназию неожиданно пришлось ее бросить, не приобретя особых познаний. Шувалов в Петербурге чего-то напутал с бумагами казанских гимназистов, и вместо инженерного корпуса Державин оказался записанным в лейб-гвардии Преображенский полк солдатом, с отпуском всего лишь по 1 января 1762 года. Когда из Преображенского полка пришел в казанскую гимназию «паспорт» Державина, этот срок уже миновал. Выхода не было: Державин из гимназиста очутился солдатом. Надо было немедленно отправляться в Петербург. Мать собрала денег на дорогу и еще сто рублей на предстоящую жизнь. Был февраль месяц 1762 года. До Петербурга Державин добрался только в марте.

II

— О, брат! просрочил! — с хохотом закричал дежурный по полку майор Текутьев, взглянув на паспорт.

И громовым голосом приказал отвести Державина на полковой двор.

Для начала грозил арест за просрочку и опоздание. Но в канцелярии Державин не растерялся и заставил пересмотреть все дело. Он вправе был требовать отчисления в инженерный корпус и отпуска до двадцати лет. Но для того нужны были деньги и покровители. Пришлось удовольствоваться тем, что, не подвергнув наказанию, его зачислили рядовым в третью роту. По бедности он не мог снять квартиру, как пристало бы дворянину. Пришлось поселиться в казарме.

Его облачили в форму Преображенского полка. То был кургузый темно-зеленый, с золотыми петлицами, мундир голштинского образца; из-под мундира виднелся желтый камзол; штаны тоже желтые; на голове — пудреный парик с толстой косой, загнутой кверху; над ушами торчали букли, склеенные густой сальной помадой.

Времена для военных были суровые. Император Петр III царствовал всего третий месяц, самодурствуя, круто преобразуя армию на голштинско-прусский манер и готовясь к бессмысленному походу в Данию.

Унтер-офицер (по тогдашнему флигельман) с первого дня стал обучать Державина ружейным приемам и фрунтовой службе. Мысли Державина были направлены в иную сторону, солдатчина ему представлялась бедствием и обидою. Но по неизменному усердию своему и по упорству, с каким давно привык браться за все дела, он и в этой учебе захотел догнать ротных товарищей, начавших службу раньше него. Из ста рублей, данных матерью, вздумал он платить флигельману за добавочные уроки, и вскоре так преуспел в экзерцициях, что стали его в числе прочих отряжать на смотры, до которых Петр III был великий охотник.

Служба была не шуточная и отнимала весь день. Кроме строевых учений и смотров, приходилось нести караулы, то на полковом дворе, то при дворцовых погребах (во внутренние дворцовые караулы Державину поначалу попадать не случалось); солдат то и дело отряжали на работу, вроде уборки снега, очистки каналов, доставки провианта из магазинов; наконец, офицеры гоняли их по своим поручениям. Отпусков не было.

С работ и учений он возвращался вечером. Казарма, в которой стоял он, была невелика; дощатые перегородки делили ее на несколько каморок. Кроме Державина, жило здесь еще пятеро солдат: двое холостых и трое женатых; при женатых были солдатки и дети; у одной из солдаток Державин и столовался.

Еще в Казани он пристрастился к рисованию пером и к игре на скрипке, которой в гимназии обучал преподаватель по фамилии Орфеев. В казарме и то и другое пришлось забросить: рисование — по причине темноты, а скрипку — чтобы не докучать сожителям. Зато по ночам, когда все улягутся, он читал книги, какие случалось достать, русские и немецкие.

Его литературные познания до сих пор были скудны. В гимназическую пору прочел он перевод Фенелонова «Телемака» (неизвестно чей, прозаический; знаменитая «Тилемахида» Тредьяковского вышла позже); затем — политический роман Джона Барклая «Аргенида» и «Приключения маркиза Глаголя», то есть «Mémoires du marquis *** ou Aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde» — роман аббата Прево. Из отечественных авторов знал оды Ломоносова да сумароковские трагедии.

Тогда же, еще в Казани, он стал сочинять и сам. Теперь, в ночной тишине казармы, порой продолжал свои упражнения: без правил, по слуху писал стихи, подражая сперва все тем же Ломоносову и Сумарокову, а потом — прочитанным в Петербурге немцам: Галлеру, Гогедорну. Выходило коряво и неуклюже; ни стихи, ни слог не давались,— а показать было некому, спросить совета и руководства — не у кого. Впрочем, он вскоре закаялся следовать высокому ладу славных пиитов. Для торжественных од и важных предметов он не располагал ни ученостью, ни знанием жизни. Олимпийцев он путал, царя видывал разве что на разводах. Он решил впредь не гнаться за Пиндаром и петь попросту, в таком роде:

> Чего же мне желать? Пишу я и целую
> Анюту дорогую.

Впрочем, никакой Анюты в действительности не было. Однако солдатки почему-то проведали, что он грамотей, а за солдатками — вся компания. Державинской Музой, разумеется, не любопытствовали. Но стали просить его писать для них письма в деревню, и вскоре, умея потрафить крестьянскому вкусу, он сделался живым казарменным письмовником. Надо еще прибавить, что все из тех же неиссякаемых ста рублей материнских он порою ссужал товарищей по рублю, по два — и стал, таким образом, любимцем всей роты. Сама его Муза не чуждалась

казармы: ради упражнения он прелагал стихами казарменные прибаски скоромного содержания, то насчет разных полков гвардейских, то по случаю любопытных событий полковой и трактирной жизни. Стишки имели успех.

Но держался он все-таки себе на уме. В разговоры мешался мало: был занят службою да своими думами. Между тем наступило лето.

* * *

Недаром явилась на небе 1744 года та шестихвостая комета, которую указали младенцу-Державину. Сулила она не бедствия, как в народе думали, но все же события величайшей важности. В тот самый год, девятого февраля, прибыла в Москву принцесса София-Фредерика Ангальт-Цербстская. Императрица Елисавета Петровна вызвала ее в Россию и выдала замуж за своего племянника, великого князя Петра Феодоровича. Принцесса стала великой княгиней Екатериной Алексеевной, женою наследника русского престола. 25 декабря 1761 года, за два месяца с небольшим до приезда Державина в Петербург, Елисавета Петровна скончалась, и Петр III стал императором. Будучи глуп и груб, он в первые же месяцы своего царствования сумел привить народу и войску то отвращение к своей особе, которое давно испытывала его супруга. Войска роптали на вводимую прусскую форму, на прусскую экзерцицию, на ежедневные вахтпарады. Но всего более раздражало то, что император привел в Россию полки из своей родной Голштинии, расквартировал их в своей резиденции Ораниенбаум и оказывал голштинцам явное предпочтение перед русской армией.

Державин, конечно, замечал этот ропот, но держался в стороне. Жгучая обида заглушила в нем многое. Его положение в гвардии было унизительно, и он не хотел разделять ее чувства. Мало того, что он был принужден служить рядовым,— его уже начали обходить чинами: некоторые молодые солдаты, начавшие службу позже него, были уже капралами, а он попрежнему оставался рядовым. Причина была все та же: бедность. Наконец, дошло до того, что он встретил некоего пастора Гельтергофа, которого знал по Казани, и с его помощью вознамерился перейти в голштинские войска. Это дело для него облегчалось знанием немецкого языка. В любезных императору голштинских войсках Гельтергоф обещал Державину офицерский чин.

Тем временем подошел июнь месяц. Очередной дворцовый переворот назрел. Устранение императора имело подавляющее большинство сторонникоа при дворе и в войсках. Во главе заговора стояла императрица Екатерина.

27 июня, утром, с Державиным приключилось несчастие. Покуда он был в строю, украли у него все деньги: те самые заветные сто рублей (или что от них оставалось), которые он хранил в подголовке. Украл слуга молодого солдата Лыкова, тоже дворянина, стоявшего в одной казарме с Державиным. Вор с добычею скрылся, а Державин весь день ходил сам не свой.

Между тем кто-то из солдат, по пьяному делу, вышел на галерею и стал кричать, что как выведут полк из города (тут подразумевался ожидаемый поход в Данию), «то мы спросим, зачем и куда нас ведут, оставя нашу матушку Государыню, которой мы рады служить».

Державин на эти речи не обратил внимания: пропажа денег сделала его ко всему безучастным. Он только и ждал, чтоб вернулись солдаты, которые, любя его, бросились по дорогам ловить вора. Наконец, к вечеру, вор был пойман, деньги нашлись при нем почти полностью; Державин утешился и только теперь начал замечать, что в полку творится неладное.

В полночь разнесся слух, что гренадерской роты капитан Пассек арестован и посажен под караул. Казармы всполошились. Солдаты, вооружась, выбежали на ротный плац. Однако несколько пошумев, они разошлись, и все, казалось, утихло.

На самом деле события только теперь начались. Пассек был в числе заговорщиков. Императрица жила в Петергофе, Петр III — в Ораниенбауме. Арест Пассека заставил заговорщиков торопиться. В пять часов утра Алексей Орлов посадил Екатерину в одноколку и привез в Петербург, прямо в казармы Измайловского полка. Возмущение началось.

В восьмом часу утра в Преображенский полк прискакал верховой, который кричал, чтобы шли к государыне в каменный Зимний дворец. Рота выбежала на плац, Державин за нею. Из казарм Измайловского полка доносился барабанный бой. Поднялась тревога. Город уже всполошился.

Державин видел, как роты преображенцев, на бегу заряжая ружья, помчались к Зимнему дворцу. Офицеры бездействовали. Только на Литейной улице майор Воейков, верхом на коне, пытался остановить свою гренадерскую роту. Обнажив шпагу, он с бранью стал рубить гренадер по шапкам. Рота вдруг зарычала и кинулась на него со штыками. Воейков поскакал прочь, гренадеры за ним. Они загнали его вместе с конем в Фонтанку, а сами кинулись дальше.

Постепенно весь полк стянулся к Зимнему дворцу. Потом преображенцев разместили внутри здания.

Дворцовые революции XVIII столетия давно втянули гвардию в политику. Солдаты уже привыкли штыками решать династические вопросы и в этом смысле знали себе цену. Должно быть, среди преображенцев один Державин не разделял общего одушевления. Новичок в жизни и несмышленыш в делах государственных, вряд ли он даже понимал смысл и необходимость переворота. Ему было ясно лишь то, что переворот наносит сокрушительный удар последней его надежде: если Петр III будет низложен,— не станет голштинских войск, а Державин не будет в них офицером.

Он не кинулся с прочими, а не спеша пришел по следам полка во дворец, не спеша отыскал свою роту и стал по ранжиру в назначенное место. Вскоре прибыл Измайловский полк, и разнеслась весть, что императрица во дворце. Солдаты поочередно ей присягали, целуя крест. Полки прибывали один за другим, гвардейские и армейские. Их также приводили к присяге, а затем выстраивали: гвардейцев по берегу Мойки, армейцев вдоль по Морской и прочим улицам, до самой Коломны.

Так прошло время до самого вечера. Погода стояла ясная. Наконец появились всадники. Впереди, на белом коне «Бриллианте», сидя верхом по-мужски, в сапогах со шпорами, в преображенском мундире, медленно ехала Екатерина. Опускаясь, вечернее летнее солнце, солнце Петербурга, светило ей прямо в лицо — ясное, благосклонное, с тонким носом, круглеющим подбородком и маленьким, нежным ртом. Распущенные волосы, лишь схваченные бантом у шеи, падали из-под треуголки до лошадиной спины. Ветер их шевелил. Маленькая ручка в белой перчатке поднимала вверх узкую серебристую шпагу. Полки кричали «ура». Барабаны били. Такою впервые увидел ее Державин.

Она проехала. Скомандовали церемониальный марш, выстроились поваводно, и войска за ней двинулись.

Так маршировали до полуночи, когда, вместе с Екатериной, остановились на отдых у Красного Кабачка. Потом двинулись дальше. Было светло, белые ночи еще не кончились. Рано утром, опередив государыню, стали подходить к Петергофу. Голштинские войска, стянутые туда Петром III, но им покинутые, сдались без единого выстрела. В одиннадцать часов прибыла Екатерина, вновь встреченная кликами «ура» и пушечною пальбой.

В Петергофе полки были расположены по саду. Тут же и отобедали; были даны солдатам быки и хлеб; сварили кашу. Войска отдыхали. Часу в пятом увидел Державин большую четырехместную карету, запряженную в шесть лошадей, с опущенными гардинами. На запятках, на козлах и по подножкам стояли и сидели гренадеры; конный конвой ехал за каретой. Это везли в Ропшу только что отрекшегося императора.

В седьмом часу двинулись в обратный путь. На сей раз шли медленно и до Петербурга добрались только в полдень, а по квартирам распущены в два часа.

Это был самый петров день, и день выдался самый жаркий. С непривычки Державин едва доплелся до казармы. Теперь, на свободе, он мог призадуматься над превратностию Фортуны: как-никак, он сам только что принял участие в свержении Петра III и тем самым — в разрушении своей мечты сделаться голштинским офицером. С другой стороны, хорошо было то, что все-таки не успел сделаться: иначе его положение было бы теперь не из легких.

Времени для таких размышлений у него оказалось довольно: строевые учения были отменены, кругом шло ликование. «Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены: пошел пир на весь мир; солдаты и солдатки, в неистовом восторге и радости, носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе без всякого разбору в кадки и бочонки, что у кого случилось».

Так продолжалось весь день, ночь и еще весь день. На второй день гульбы, к полуночи, Измайловский полк, возведший Екатерину на трон, окончательно потерял голову, будучи обуян пьянством, гордостью и «мечтательным превозношением». Разнесся слух, что Екатерина похищена. Солдаты требовали, чтоб она была им показана. Уговоры не действовали, потому что солдатам равно хотелось и проявить усердие к государыне, и над ней покуражиться. Они явились ко дворцу. Екатерина уже спала. Ее заставили встать, одеться в гвардейский мундир и проводить полк до казарм.

Ей вообще не легко было унять разгулявшихся своих сторонников. В подкрепление приказам, на мостах, площадях и перекрестках, а в особенности вокруг дворца, пришлось расставить пикеты с заряженными пушками и зажженными фитилями. Тревожное состояние длилось больше недели. Наконец Алексей Орлов отправился в Ропшу — и 6 июля отрекшийся император скончался «обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком гемороидическим». Это известие отрезвило всех. Тишина водворилась сама собою...

За три дня до того мушкатеру Державину исполнилось девятнадцать лет.

* * *

Минуя восьмилетнего своего сына, императрица торопилась закрепить престол за собою. На другой же день после убийства Петра III, когда тело его еще не было

погребено, в манифесте было объявлено «о бытии коронации в сентябре». Затем началось переселение лиц, учреждений и гвардии из Петербурга в Москву.

В августе месяце Державину дан был отпуск с тем, чтоб явиться к полку в Москве, в первых числах сентября. Он отправился в путь своим коштом, «снабдясь кибиточкой и купя одну лошадь». В Москве слонялся без дела, вызывая насмешки голштинским своим нарядом. Такой же солдат из дворян, Петр Шишкин, дорогою перебрал у него почти все деньги взаймы (без отдачи). Так что пришлось бы и голодать, если б не поселился он у двоюродной тетушки, Феклы Савишны Блудовой. Жила тетушка на Арбате, в собственном доме, и была женщина по природе умная, но крайне непросвещенная. Зато отличалась прочностию воззрений, благочестием и властным характером.

Наконец Екатерина с двором приблизилась к Москве и остановилась невдалеке от нее, в селе Петровском, имении графа Разумовского. С этого дня начались коронационные торжества, а для Державина — новые тяготы. Тетушку пришлось покинуть и вернуться к житью солдатскому. Только и утешения было, что выдали новые мундиры, уж не такие смешные, каковы были прежние.

Пирами, празднествами, потешными огнями чествовал счастливый Кирила Григорьевич Разумовский высоких гостей в великолепном дворце, в обширных садах, на славных прудах своего поместия. Мушкатер Державин при сих событиях стоял на часах.

13 сентября, при звоне колоколов, при громе пушек, при кликах народа, средь пышного шествия вступила Екатерина в первопрестольную столицу. Державин терялся в нескончаемых рядах парадом построенных войск. 22 числа Екатерина короновалась в Успенском соборе, по обрядам благочестивых царей и императоров Российских. Она торжествовала, ее приближенные ликовали, на них сыпались ордена, чины, дома, земли,— мушкатер Державин все так же стоял на часах. Потом на Красной площади гуляли народные толпы; для них были выставлены жареные быки, начиненные живностью, из ренского вина пущены были фонтаны; вечером город переливался иллюминацией; чадили плошки, по зданиям, по кремлевским стенам реяли черные тени флагов, гремела музыка,— Державин стоял на часах.

Схлынула первая волна празднеств, но Москва вся еще полна была шумом событий, балов, разговоров. Из внутренних покоев кремлевского дворца Екатерина хаживала в присутствия Сената: давать широкие предначертания, воскрешать память Петра Великого, закладывать первые основы великолепного царствования, привлекать сердца, восхищать умом, чаровать улыбками. А Державин все был мушкатером и все стоял на часах. Разве два, впрочем, проходя мимо караула, его пожаловали к руке.

На зиму из неблагоустроенного кремлевского дворца императрица переехала в Головинский, в Немецкую слободу; Державин стаивал на часах и тут; однажды ночью, позади дворца, в поле, он чуть было не замерз в своей будке; подоспевшая смена его спасла.

На масленице опять пировала Москва народная. Были блины, гуляния, горы. По улицам разъезжал театр; под управлением славного актера Федора Григорьевича Волкова представляемы были разные комедии, пелись песни, осмеивались пороки и порочные люди: картежники, пьяницы, мздоимцы-подьячие, судьи-взяточники. Державин не веселился. Жилось ему трудно.

Опять стоял он с даточными солдатами на Тверской, в доме Киселевых, во флигеле. Кроме караулов, отправлял и другие «низкие должности». Особенно часто случалось ему разносить по офицерским квартирам полковые приказы, с вечеру отданные. На ту беду офицеры порасселились по всей Москве: кто жил на Никитской, кто на Тверской, на Арбате, на Пресне, за Москвой-рекой на Ордынке... Чтоб раздать все пакеты к утру, приходилось отправляться в путь с самой полуночи. Зима же была многоснежная, вьюжная; улицы темны и непролазны; глубокою ночью на глухой Пресне как-то раз чуть было вовсе не утонул он в снегу,— а тут напали собаки, и он насилу отбился от них, рубя тесаком.

В другой раз, поздним вечером, принес он пакет прапорщику третьей роты кн. Козловскому, небезызвестному стихотворцу. У Козловского были гости — и неспроста: Василий Иванович Майков, будущий творец «Елисея», изволил читать учиненный им перевод «Меропы» вольтеровой. При появлении вестового чтение прервалось, затем снова возобновилось. Вручив пакет, Державин не спешил выйти, стал у дверей и заслушался. Тогда, обернушись к нему, хозяин дома сказал спокойно: — Поди, братец служивый, с Богом; чего тебе попусту зевать? Ведь ты ничего не смыслишь...

Наконец откуда-то он проведал, что Шувалов собирается за границу. Сочинил к вельможе письмо: напомнил об успехах своих в Казанской гимназии и просил взять в чужие края, «дабы чему-нибудь там научиться». С письмом явился в переднюю Шувалова, среди бедников и челобитчиков. Шувалов, проходя мимо, принял письмо, остановился, прочел и велел побывать еще раз. Обрадованный Державин поспешил к тетушке Блудовой — поделиться надеждами. Но Фекле Савишне оказалось известно, что Шувалов — масон. Она же твердо знала, что масоны — безбожники, еретики, богохульники, преданные антихристу, и что за несколько тысяч верст заочно неприятелей своих умерщвляют. Следственно, учинила она неопытному племяннику за знакомства такие ужаснейший нагоняй и накрепко запретила ходить к Шувалову, грозя в случае ослушания обо всем написать в Казань, матери. Для Державина это было «жестоким поражением», но, воспитанный в страхе Божием и родительском, не дерзнул он ослушаться тетушки и к Шувалову более не бывал.

Зима кончилась, прошла и весна. Только в июне, в годовщину петергофского похода, счастие впервые улыбнулось Державину слабой улыбкой: много раз обойденный при производствах, подал он челобитную самому Алексею Орлову и произведен был в капралы. От капральства до офицерства было еще весьма далеко, но он и тем был доволен. Захотел показаться матери в новом чине и отпросился в годовой отпуск в Казань.

Нашлись и попутчики: своего же полка такой же капрал Аристов и некая «прекрасная, молодая благородная девица», возвращавшаяся в Казань к родным. Впрочем, девица была снисходительных нравов и состояла любовницей того самого Веревкина, который некогда был директором Казанской гимназии, а теперь сделался товарищем губернатора. Аристов за нею ухаживал. Державин пленился красавицей чрезвычайно. Дорогою курамшил, подлипал и махался, как только мог. «Будучи непрестанно вместе и обходясь попросту, имел удачу живостью своею и разговорами ей понравиться так, что товарищ, сколь ни завидовал и из ревности сколь ни делал на всяком шагу и во всяком удобном случае возможные препятствия, но не мог воспретить соединению их пламени». После соединения пламени как-то так вышло, что Державин взял на себя путевые издержки благородной девицы. Сие было принято с благосклонностью, но оказалось не под силу тощему кошельку его. На реке Клязьме паромщики и извозчики отказались ехать по цене, предложенной Державиным. Оставив путников на пароме, они разбежались, а красавица, прождав полчаса, стала роптать и плакать. «Кого же слезы любимого предмета не тронут? Страстный капрал, обнажа тесак, бросился искать перевозчиков». Те упрямились, куражились. Вскоре дело дошло до нового, только что купленного в Москве ружья. К счастию, оно не выстрелило. Державин вновь взялся за тесак и стал носиться с ним по деревне. Все это могло кончиться кровопролитием, но Державина кое-как уняли.

Добравшись, наконец, до Казани, хотел он и там с красавицей своей чаще видеться. «Но, будучи небольшого чина и не богат, не мог иметь свободного входа к ней в покой». К тому же мать поспешила отправить его в город Шацк: то ли по наследственным делам, то ли чтобы убрать его от греха подальше. Из Шацка проехал он прямо в оренбургскую деревню, где и мать находилась к тому времени. Словом, больше уж он никогда не видал «сего своего предмета».

Так кончились его первые любовные шашни, и так, в бою с паромщиками, он проявил впервые свой буйный нрав.

* * *

Через год в Петербурге возобновилась прежняя жизнь: та же все солдатня, служба, чтение и кропание стихов украдкою от товарищей. Державин прочитал Клопштока, Клейста-старшего, пробовал переводить стихами «Телемака», клопштокову «Мессиаду». Сам довольно много писал в различных родах; сочинял мадригалы, идиллии, сатиры, эпиграммы, басни, в которых подражал Лафонтену чрез немца Геллерта. Отдал он также дань и распространенному тогда виду поэзии — конфетным билетцам. То были двустишия, предназначенные для бумажек, в которые завертывались конфеты. Державин, впрочем, писал их не ради прибыли, но для упражнения.

Старался он усвоить и правила ремесла стихотворного: тщательно изучал теоретические сочинения Тредьяковского, Ломоносова, Сумарокова. По сочинениям обидчика своего, кн. Козловского, наконец научился правильно ставить цезуру в александрийском стихе. Этим размером написал он тогда же стансы к *Наташе*, «прекрасной солдатской дочери, в соседстве в казармах жившей». Завел и знакомство литературное: бывал иногда на пирушках у земляка своего, купеческого сына Осокина, любителя поэзии, издавшего, впрочем, одну только книгу: «Примечание для приведения в лучшую доброту разных российских шерстей». У Осокина он встретился с Тредьяковским. Тредьяковскому было уже за шестьдесят, жизнь его клонилась к концу, влиятельною литературною силой он уже не был. Но он мог быть прекрасным учителем для Державина, тем более, что тотчас угадал его дарование. Развить это знакомство Державин, однако же, не сумел или не посмел. При всей живости, был он солдатчиною по-прежнему как бы придавлен: все это время и жил, и работал, словно бы съежившись, подобравшись. Его успехи в поэзии были невелики: все та же корявость и неумелость, скучные песни, тяжеловесные идиллии, беззубые эпиграммы.

Только скоромные стишки по-прежне-

му вызывали веселость товарищей. Но одна пьеска обошлась ему на сей раз дорого. В ней шла речь о некоем капрале, жену которого любил полковой секретарь. Стишки пошли гулять по казарме, перекинулись к офицерам и попали в руки самому секретарю. После того полковой секретарь целых два с половиною года вычеркивал Державина из списка представляемых к повышению, и два с половиною года Державин ходил в капралах. Одно было облегчение: жил он теперь с дворянами. Те были почище и не столь грубы в обращении. Зато предавались всяческим шалостям, и Державин, глядя на них, стал понемногу «в нравах своих развращаться».

Наконец враг его, полковой секретарь, был сменен другим, неким Неклюдовым, и в сентябре 1766 года Державин произведен в фурьеры, а вслед за тем в каптенармусы. В начале 1767 года императрица предприняла вторую поездку в Москву — для открытия Комиссии по составлению нового уложения. Державин, под началом двух офицеров, братьев Лутовиновых, командирован был на ямскую подставу — надзирать за приготовлением лошадей к проезду двора. Один Лутовинов был послан в Яжелбицы, другой — в Зимогорье. То были две станции, расположенные вблизи знаменитого Валдая, о котором Радищев писал: «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает Валдайских баранок и Валдайских разрумяненных девок? Всякого проезжающего наглые Валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия». Разумеется, Лутовиновы проводили все время в гостеприимном Валдае. Они либо играли в карты с проезжими, либо пьянствовали, иной раз на всю ночь запираясь в кабаке и никого, кроме девок, к себе не пуская. Державин волей или неволей делил забавы начальства. Правда, от вина он воздерживался, но карты мало-помалу его увлекли, он к ним пристрастился. Так жил он четыре месяца. Наконец в конце марта двор проехал, старший Лутовинов попал под суд за растраты и буйство, а Державин благополучно добрался до Москвы.

С началом теплой погоды императрица отправилась в путешествие по Волге, а гвардии было приказано возвратиться в Петербург. Державин этим воспользовался и вновь отпросился в отпуск в Казань, к матери и брату, которых не видел больше двух лет.

Неизвестно, случилось ли хоть отчасти Державину видеть историческое «шествие» императрицы по Волге. Неизвестно и то, кто кого обогнал на этом пути: Державин императрицу или императрица Державина. Во всяком случае ему довелось быть свидетелем ее пребывания в Казани. Словно сама судьба так устраивала, что он вновь, уже в который раз, оказался незаметным спутником Екатерины. В те поры он нарушил обет, некогда данный самому себе — не гоняться за Пиндаром и не петь царей. Еще в Валдае, живя с Лутовиновыми, он отважился написать «ямбические экзаметры» на переезд царицы через речку Мохость, протекавшую в тех местах. Теперь же, в Казани, дал себе волю: явились стихи «На шествие Императрицы в Казань», «На маскарад, бывший перед Императрицей в Казани» и, наконец,— первая «Ода Екатерине II».

Но царица проехала, поэтический пыл Державина ослабел (потому, может быть, что и стихи опять вышли не так хороши, как хотелось бы), и Державин вновь погрузился в дела житейские. Мать по-прежнему билась как рыба об лед, хозяйствуя в деревеньках, тягаясь с соседями и непрестанно что-то закладывая, покупая и продавая. Брат окончил гимназию, и уже давно пора было ему вступать в службу. Прожив лето и осень с родными в Оренбургской губернии, Державин собрался в Петербург: отпуск его кончался. Наконец он тронулся в путь, приняв на себя два поручения: во-первых, довезти брата до Петербурга и там определить его в полк; во-вторых, будучи проездом в Москве, купить у неких господ Таптыковых небольшую, душ в тридцать, деревушку, лежавшую на реке Вятке. На это мать дала ему денег.

В Москве случилось дело слишком обыкновенное: совершение купчей крепости с господами Таптыковыми замедлилось. Тогда Державин отправил брата в Петербург, к полковому секретарю Неклюдову, с просьбой зачислить молодого человека в тот же Преображенский полк, что и было исполнено. Себе же Державин просил двухмесячной отсрочки для устройства дел. Эта просьба тоже была уважена, и Державин даже был около того времени произведен в сержанты. Он остался в Москве, намереваясь довершить покупку имения. Но внезапно дела приняли оборот совершенно невероятный.

Поселился Державин по-родственному, у двоюродного своего брата, майора Ивана Яковлевича Блудова, сына той самой тетушки Феклы Савишны, о которой выше говорено. Вместе с Блудовым жил его дальний родственник и закадычный друг, отставной подпоручик Максимов, человек забубенной жизни, друг-приятель не одному Блудову, но и всей Москве, особенно разным сенатским чиновникам. Можно было через него обделывать всевозможные дела, чистые и сомнительные,— сомнительные в особенности. Блудов находился под его влиянием. Дом с утра до вечера полон был всякого люда. Картеж и попойки не прекращались.

Карты занимали Державина сильно еще со времени пребывания в Валдае. Теперь, в обществе Блудова и Максимова, он стал иногда понгрывать. Сперва играл робко и понемногу, но потом, разумеется, втянулся. Новичкам обычно везет, но с Державиным случилось иначе. С каждой игрой дела его становились труднее, но был он упрям, горяч и не знал поговорки: играй, да не отыгрывайся. Лишившись собственных денег, он не бросил игры, а пустил в ход материнские, данные на покупку имения,— и в недолгое время проиграл их все до последней копейки.

Двоюродный братец Блудов из этой беды как будто бы его выручил, но на самом деле забрал в сущую кабалу. А именно — он дал Державину денег на покупку имения, но в обеспечение долга взял с него закладную, да не только на эту деревню, а еще и на другую, тоже принадлежавшую матери. Совершать подобную сделку Державин не имел никакого права; следственно, ему теперь уже до зарезу надобно было раздобыться деньгами, чтоб закладную у Блудова выкупить. Для этого был единственный способ — опять-таки отыграться.

И вот, располагая всего лишь грошами, он стал с отчаяния день и ночь ездить по трактирам — искать игры. Вскоре он сделался завсегдатаем таких мест и другом тамошних завсегдатаев. Иначе сказать — «спознакомился с игроками или, лучше, с прикрытыми благопристойными поступками и одеждою разбойниками; у них научился заговорам, как новичков заводить в игру, подборам карт, подделкам и всяким игрецким мошенничествам».

Надо сказать правду: и в этом обществе сохранил он известное благородство души, впрочем весьма не редко свойственное и заправским шулерам. Конечно, он не гнушался «обыгрывать на хитрости» — иначе бы и не вступал в такую компанию. Но, помня, должно быть, собственную свою историю, новичкам и неопытным людям иногда покровительствовал. Так, однажды он спас от мошенников заезжего недоросля из Пензы, «слабого по уму, но довольно достаточного по имуществу». В отместку за это составлен был целый заговор, чтоб Державина поколотить, а может быть, и убить вовсе. Но, по странному совпадению, тут его спас другой, тоже им облагодетельствованный человек: офицер Гасвицкий, которому как раз незадолго до того в каком-то трактире Державин успел шепнуть, что его обыгрывают на биллиарде при помощи поддельных шаров.

Однако шулерство не принесло ему пользы. То ли он горячился и сам проигрывал еще более ловким игрокам, то ли существовали другие, неизвестные нам причины,— только сколотить нужную сумму и расплатиться с Блудовым Державин не мог. Хуже того: иногда проигрывался до нитки и принужден был бросать игру, пока не раздобывался какими-нибудь деньжонками. Случалось, не на что было не только играть, но и жить. Тогда, запершись дома, «ел хлеб с водою и марал стихи». Иногда на него находило отчаяние. Тогда затворял он ставни и сидел в темной комнате, при свете солнечных лучей, пробивавшихся в щели. Так проводить несчастливые дни осталось его привычкою на всю жизнь.

Прошло уже более полугода с тех пор, как отсрочка, ему данная, кончилась. До полка дошли слухи, что Державин в Москве «замотался»,— а сам он не только не помышлял о возвращении в Петербург, но и не представлял никаких объяснений. Ему грозил суд и разжалование в армейские солдаты. Спас тот же благодетель Неклюдов, который, не спросясь Державина, приписал его к московской команде. Пребывание в Москве было, таким образом, узаконено, и Державин одно время даже служил секретарем, или, по-тогдашнему, «сочинителем» в депутатской законодательной комиссии. Потом мать вызвала его в Казань, он ездил к ней, каялся,— а вернувшись, снова взялся за прежнее.

Шалая жизнь постепенно его засасывала. Самое в ней опасное было то, что Державин как-то нечаянно сблизился с Максимовым, которого проделки были отнюдь не невинного свойства. Впрочем, первая из историй, в которую попал Державин, была скорее забавна и ничем особенным не грозила. Произошла она из-за дьяконовой дочери. Максимов и Блудов умели обращаться с прекрасным полом. Дьяконова дочь по соседству к ним хаживала. Однажды вечером дьякон с женою уговорили будочников ее подстеречь. Блудовские люди, однако, приметили, что будочники хоронятся за углами, и спросили, чего им тут надобно. Разговор быстро перешел в брань, а брань в драку. Будочников поколотили, пользуясь численным превосходством. Но будочники не сдались. Отступив с поля битвы, залегли они в крапиве, возле церковной ограды, где девица должна была проходить,— и поймали ее. Дьякон с дьяконицей, подхватив дочь, «мучили плетью и, по научению полицейских, велели ей сказать, что была у сержанта Державина». На другой день, когда Державин, возвращаясь из Вотчинной коллегии, в блудовской карете подъезжал к воротам, будочники с трещотками окружили карету, схватили лошадей под уздцы «и, не объявя ничего, повезли через всю Москву в полицию. Там посадили его с прочими арестантами под караул. В таком положении провел он сутки. На дру-

гой день поутру ввели в судейскую. Судьи зачали спрашивать и домогаться, чтоб он признался в зазорном с деакою обхождении и на ней женился; но как никаких доказательств, ни письменных, ни свидетельских, не могли представить на взводимое на него преступление, то, проволочив, однако, с неделю, должны были со стыдом выпустить».

Эта история кончилась смехом. Другая была не столь невинна, и хоть Державин не принимал в ней прямого участия, о ней все же следует рассказать, потому что она послужила как бы прологом к событиям более поздним. Кроме того, она сама по себе живописна и любопытна.

Еще в кратковременное царствование Петра III некий Серебряков, экономический крестьянин Пензенской губернии, Малыковской волости, в прошлом — монастырский слуга, представил правительству проект о расселении выходящих из Польши раскольников на пустопорожних землях, лежащих по реке Иргизу, притоку Волги. Уже при Екатерине проект удостоился одобрения, и раскольники были поручены ведению того же Серебрякова. Первое время все шло хорошо, но затем Серебряков стал к выходцам из Польши подмешивать просто беглых крестьян, которых за известную плату укрывал от господ, наделяя землей и снабжая документами. За это в конце концов он угодил в сыскной приказ, где и содержался под караулом до окончания о нем следствия.

В тюрьме сошелся он с человеком, которого биография была в своем роде блистательна. Это был запорожский атаман Черняй. Незадолго до того запорожские казаки под предводительством Черняя и еще другого атамана, Максима Железняка, бывшего послушника, весьма отличившегося в так называемой *Уманьской резне* 1768 года, разграбили польскую Украину и разорили за Днепром турецкую слободу Балту. Разорение Балты и послужило поводом к первой при Екатерине турецкой войне. Русским войскам велено было тех запорожцев с их атаманами переловить, что и было исполнено. Румянцов, командовавший войсками, отправил Железняка и Черняя через Москву в Сибирь, но в Москве Черняй заболел (или притворился больным). Поэтому впредь до выздоровления он был посажен в тот же сыскной приказ, где и познакомился с Серебряковым.

Тюремные дни коротали они в беседах, и Черняй поведал Серебрякову о несметных богатствах, награбленных его шайкою и зарытых на Украине. Речь шла о целых ямах, наполненных серебром, и о пушках, набитых жемчугом и червонцами (Черняй, может быть, и привирал).

Выпрашиваясь иногда из-под караула, Серебряков посещал Максимова, который был его земляком. Мысль о черняевом кладе не давала Серебрякову покоя, и он заразил ею Максимова. Стали они совещаться, как бы Черняя с Серебряковым выручить из тюрьмы, чтоб отправиться добывать богатства. С Серебряковым дело уладили быстро: Максимов просто взял его на поруки. Но как высвободить Черняя? Тут были привлечены юристы из сенатских чиновников, даже довольно видных, и способ найден.

По тогдашним законам, если у колодников оказывались долги, то, по требованию заимодавцев, разрешалось их посылать в магистрат, для уплаты долгов. Из магистрата их под конвоем отпускали по разным надобностям: в баню, в церковь и к родственникам. Поэтому на Черняя составили подложный вексель, произвели взыскание и затребовали ответчика в магистрат. Оттуда, под наблюдением одного гарнизонного солдата, Черняй был отпущен в баню, а по дороге отбит какими-то «незнаемыми людьми». С той минуты он исчез,— разумеется, от всех, кроме Серебрякова с Максимовым, которые не теряли его из виду. Дорога к кладу была, таким образом, открыта, но Серебряков и Максимов не торопились по ней отправиться. Державин отчасти был посвящен в их затеи, но к самому предприятию привлечен не был: Серебряков и Максимов хотели обогатиться одни. Но встретиться с ними Державину еще предстояло впоследствии.

Побег Черняя сошел Максимову с рук легко: за Черняя он не ручался. Зато вскоре всплыла наружу проделка, в которой к тому же весьма замешан был и Державин. В конце 1769 года мать прапорщика Дмитриева подала в полицию жалобу на Максимова и Державина вместе. По словам жалобщицы, Максимов с Державиным обыграли ее сына в банк Фаро и выманили с него вексель в триста рублей, а также пятисотрублевую купчую на имение отца его. Максимова, Державина, двоих свидетелей и обыгранного прапорщика вызывали для допроса. Дмитриев подтвердил заявление матери, а Державин и Максимов уперлись. От всякой игры с Дмитриевым они отреклись, а происхождение векселя и купчей объясняли иными, вполне законными причинами. Делу этому дан был ход, оно поступило в Юстиц-коллегию и неизвестно, чем могло кончиться. Забегая вперед, мы скажем, что оно тянулось долго, запуталось (не благодаря ли связям Максимова?) и наконец уже в 1782 году было прекращено за нерозыском жалобщиков. Но тогда, в конце 1769-го и в начале 1770 годов, оно должно было тревожить Державина в высшей степени. Оно грозило самыми страшными последствиями — но именно потому как-то внезапно и сразу его отрезвило.

Два с лишним года, прожитые в таком обществе и среди таких приключений, показались Державину ужасны. Друзей не было — душевное свое состояние он излил в стихах, написанных, надо думать, при сдвинутых ставнях. То были первые стихи Державина, в которых ни предмет, ни чувства не были позаимствованы. Можно сказать, он взвыл. Стихи назывались «Раскаяние»:

Ужель свирепства все ты, рок, на мя пустил?
Ужель ты злобу всю с несчастным совершил?
Престанешь ли меня теперь уж ты терзати?
Чем грудь мою тебе осталось поражати?
Лишил уж ты меня именья моего,
Лишил уж ты меня и счастия всего,
Лишил, я говорю, и — что всего дороже —
(Какая может быть сей злобы злоба строже?)
Невинность разрушил! Я в роскошах забав
Испортил уже мой и непорочный нрав,
Испортил, развратил, в тьму скаредств
погрузился.
Повеса, мот, буян, картежник очутился;
И вместо, чтоб талант мой в пользу обратил,
Порочной жизнию его я погубил;
Презрев теперь от всех и всеми презираем,—
От всех честных людей, от всех уничижаем.
О, град ты роскошей, распутства и вреда!
Ты людям молодым и горесть, и беда!

. . . .

О, лабиринт страстей, никак неизбежимых,
Борющих разумом, но непреодолимых!
Доколе я а тебе свой буду век влачить?
Доколе мне, Москва, в тебе распутно жить?
Покинуть я тебя стократно намеряюсь
И, будучи готов, стократно возвращаюсь.
Против желания живу, живя в тебе;
Кляну тебя — и в том противлюсь сам себе...

Наконец уже в марте 1770 года, в самые те дни, когда в Москве начиналась чума, Державин решился: он занял пятьдесят рублей у приятеля своей матери, «бросился опрометью в сани и поскакал без оглядок в Петербург».

Впрочем, не совсем без оглядок. Московские страсти еще в нем жили. Раскаяние говорило душе одно, бес — другое. Началось с того, что, отъехав всего полтораста верст, Державин встретил в Твери одного из московских приятелей и с ним прокутил все деньги. Что было делать? У такого же проезжего (у садовника, везшего ко двору виноградные лозы из Астрахани) он занял еще пятьдесят рублей, кое-как отделался от приятеля и поехал дальше.

Но благоразумия хватило у него только до Новгорода. В те времена, когда на станциях приходилось подолгу ждать лошадей, а иногда ночевать, станционные трактиры были рассадниками игры и мошенничества. Темные люди подстерегали в них проезжающих. В таком трактире, три года спустя, ротмистр Зурин обыграл Петрушу Гринева, ехавшего в Оренбург; еще гораздо позже, в таком же трактире, в Пензе, пехотный капитан, умевший удивительно срезать штоссы, сильно поддел коллежского регистратора Хлестакова. Словом, в Новгороде Державин не выдержал, еще раз попытал счастия — и остался у него всего-навсего один рубль-крестовик, некогда данный на счастие матерью.

Не тронув этого рубля (он сберег его во всю жизнь), Державин кое-как тронулся дальше. Но уже неподалеку от Петербурга, в Тосне, ждала его новая напасть, в которой на этот раз он был неповинен. В предотвращение занесения чумы в столицу здесь была устроена карантинная застава, на которой полагалось прожить две недели. На это у Державина не было денег. Стал он упрашивать карантинного начальника, чтобы тот пропустил его ранее; ссылался на бедность, на неимение лишнего платья, которое нужно окуривать и проветривать. Карантинный страж был готов согласиться с его доводами, но препятствием оказался сундук, наполненный бумагами и содержавший все, что за предыдущую жизнь, с самого детства, сочинил Державин в стихах и в прозе. Не оставалось иного выхода, как избавиться от сундука, и в присутствии караульного Державин его сжег вместе со всеми бумагами.

Пробыв почти три с половиною года в отсутствии, он теперь въезжал в Петербург налегке, без денег, без имущества, даже без стихов.

Но стихи он тотчас же начал восстановлять по памяти.

* * *

Покуда старший Державин куролесил в Москве, младший скромно служил в том же Преображенском полку, в бомбардирской роте. Чины доставались Андрею Державину так же трудно, как Гавриилу. Та же была и причина — бедность. За два с половиною года дослужился он всего только до капральского чина.

Здоровья он был вообще не крепкого, а тут еще произошло с ним несчастие. Однажды на ученьи, поворачивая пушку, он сильно вспотел, простудился и, придя домой, слег. Начался жар, озноб. Чем он заболел — неизвестно: тогда всё называли лихорадкой. Он обратился к знаменитому шарлатану Ерофеичу, тому самому, что на долгие времена передал свое имя целебной настойке, известной в России по сию пору. От ерофеичева лечения он стал кашлять кровью, и Гавриил Романович, приехав в Петербург, застал брата уже в чахотке. Самое лучшее было — выхлопотать ему отпуск и отправить домой, к матери. Так и сделано. Андрей уехал в Казань и там умер осенью того же года.

Проводив брата, Державин стал осматриваться. Петербургская жизнь сразу сложилась немного печально, буднично, тихо. Но это было как раз то, что нужно.

После московских беспутств Державин искал покоя. Втягивался в полковые дела, в службу.

Приехав, как сказано, без гроша в кармане, он на первое время занял у однополчанина восемьдесят рублей. В будущем, однако же, не предвиделось никаких доходов; не только что отдавать долги — не на что было жить. Тогда он решился еще раз прибегнуть к помощи карт, но теперь игра его была совсем уж не та, что московская, хотя в основе ее лежал опыт, в Москве добытый. Державин взял себя в руки и прежде всего раз навсегда отказался от игры нечестной, что обеспечило его от опасных столкновений с правосудием, а главное — дало спокойную совесть, в которой он так нуждался, и душевное равновесие — этот сильнейший козырь в азартных играх. Кроме того (что не менее важно), он перестал гоняться за крупным выигрышем. И тогда десятая муза, муза игры, которая, как все ее сестры, зараз требует и вдохновения, и умения, и смелости, и меры, улыбнулась ему благосклонно. Он стал выигрывать и прибегал к этому средству всякий раз, как бывала нужда в деньгах.

Подозрительных людей он научился избегать. Свел дружбу с несколькими офицерами, не принадлежавшими к числу шалунов гвардейских: с Петром Васильевичем Неклюдовым, давним своим покровителем, с капитаном 10-й роты Толстым, у которого служил под началом, с Александром Яковлевичем Протасовым, который порою не прочь был сразиться в банк. Люди были не Бог весть какого развития, но почтенные. Как бывало и прежде, еще в солдатской казарме, он больше всего им нравился «за некоторое искусство в составлении всякого рода писем. Писанные им к императрице для всякого рода людей притесненных, обиженных и бедных всегда имели желаемый успех и извлекали у нее щедроты. Случалось, обрабатывал он и приказные и полковые письма, и доклады иногда к престолу, и любовные письма для Неклюдова, когда он влюблен был в девицу Ивашеву, на которой после и женился».

В 1771 году его перевели в 16-ю роту фельдфебелем. Теперь он опять служил не только исправно, но истово, а летом, в лагере под Красным Кабачком, даже отличился. В полку его уважали и любили по-прежнему. Надо было ждать производства в первый офицерский чин, но тут вновь оказалось препятствие. У полкового адъютанта Желтухина был брат, сержант того же полка. Этого брата Желтухин хотел провести в офицеры вместо Державина, к которому стал всячески придираться. Кончилось тем, что по наговорам адъютанта полковое начальство решило отделаться от Державина таким образом: не производить его за бедностию в офицеры Преображенского полка, а выпустить офицером в армию. Державину помогло только хорошее отношение однополчан. «Аттестация» в конце концов зависела от собрания офицеров, и это собрание решительно заявило, что помимо Державина оно никого другого (иными словами — Желтухина-младшего) «аттестовать» не может. Благодаря этому, 1 января 1772 года Державин, наконец, произведен в гвардейские прапорщики. Ему шел уже двадцать девятый год!

Но и эта радость была омрачена. Офицерская служба в гвардии обходилась не дешево: «предпочитались блеск и богатства и знатность, нежели скромные достоинства и ревность к службе». Державин стал изворачиваться. В счет жалования получил из полка на обмундировку сукна, позументу и прочих вещей; продав свой сержантский мундир, приобрел английские сапоги; наконец занял небольшую сумму на задаток и купил-таки «ветхую каретишку в долг у господ Окуневых»: без каретишки невозможно было «носить звание гвардии офицера с пристойностию».

Исполнилась и еще одна давнишняя мечта Державина: из казарм он перебрался на частную квартиру. По ничтожным достаткам его пришлось бы ждать этого еще долго, но тут помогло одно обстоятельство, которое следует изъяснить с осторожностию. Около того времени вступил новоиспеченный офицер в любовную связь «с одною хороших нравов и благородного поведения дамою» — некоей госпожой Удоловой, замужней или вдовой — неизвестно; вероятно — вдовой. Вот у нее-то, «на Литейной, в доме господина Удолова», Державин и поселился, «в маленьких деревянных покойчиках», «хотя бедно, однако же порядочно, устраняясь от всякого развратного сообщества».

Это положение Державина в доме госпожи Удоловой ни с какой стороны не должно казаться предосудительным. Необходимо только принять во внимание, что дело происходило в XVIII столетии, когда на все формы фаворитизма вполне принято было смотреть без всякого предубеждения. Кроме того, Державин был очень привязан к госпоже Удоловой, которая, со своей стороны, «не отпускала его от себя уклоняться в дурное знакомство». В такой мирной, благообразной, непритязательной, почти — можно сказать — семейной жизни «исправил он помалу свое поведение, обращаяся между тем, где случай дозволял, с честными людьми и в игре, по необходимости для прожитку, но благопристойно».

Ближайшим его приятелем был в ту пору поручик Маслов, человек не плохой, не без познаний в словесности, особенно французской, но при всем том ветреник, мот, щеголь и сердцеед. Он «также имел интригу с одною довольно чиновною дамой».

Жизнь в общем налаживалась приятная и безбурная. Но Державину были суждены бури.

* * *

К сентябрю 1773 года мятеж, охвативший многие местности юго-восточной России, принял тяжелый и опасный оборот. Пугачев (уже пятый самозванец, принявший имя императора Петра III) сумел собрать вокруг себя огромные толпы недовольных яицких казаков, башкир, калмыков, киргиз, чувашей, мордвы и господских крестьян, бунтовавших против помещиков. Мрачные вести пришли в Петербург как раз во время бракосочетания великого князя Павла Петровича с принцессою Вильгельминой Гессен-Дармштадтской. Отношения Павла Петровича с Екатериной были недружеские. Павел считал, что мать незаконно лишила его престола. К тому же он сам принадлежал к числу людей, не вполне веривших в смерть Петра III. Весть о Пугачеве явилась на брачные торжества как призрак убитого императора и придала им несколько зловещий оттенок. Екатерина была глубоко встревожена. Между тем дела становились все хуже и хуже. Пугачев со своими сообщниками (Ульяновым, Мясниковым, Белобородовым и проч.) захватывал одну за другою крепости, расположенные по течению Яика. Илецкий городок, Рассыпная, Нижне-Озерная, Татищева, Чернореченская, Сакмарский городок, Пречистенская были взяты. Продвигаясь на северо-восток, Пугачев подошел уже к Оренбургу и 5 октября начал его осаду.

Обстановка в мятежной области была крайне неблагоприятна для правительства. «Весь черный народ был за Пугачева; духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты, и архиереи... Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из сих последних были в шайках Пугачева». Надежных войск было мало. Несогласованные и растерянные действия губернских и военных властей вели к неудачам. Решено было послать подкрепления и вручить начальствование опытному боевому генералу. Выбор императрицы пал на Александра Ильича Бибикова, которого, впрочем, она недолюбливала. В конце ноября ею подписаны рескрипты о назначении Бибикова главнокомандующим.

За всеми слухами о событиях Державин следил внимательно. Жить с госпожой Удоловой было не плохо, но он давно и слишком хорошо знал, что в гвардейской службе ему не выдвинуться, а время идет. Он в свое время мечтал отличиться в усмирении польских конфедератов или в турецкой войне. Но гвардия оставалась в Петербурге, а записаться добровольцем в армию было ему не по средствам: это обошлось бы еще дороже, чем гвардейская служба в обстановке мирного времени. Державин «повергался иногда в меланхолию».

Помимо командования войсками, Бибикову поручено было также ведение следственных дел о сообщниках Пугачева. Державину пришла мысль этим воспользоваться, чтобы получить место в офицерской следственной комиссии, которая должна была обосноваться в Казани. Никакого хода к Бибикову у него не было. Он отважился ехать без всякой рекомендации. Явившись к главнокомандующему, стал он проситься в комиссию, заявив, что он сам уроженец Казани, а также бывал в Оренбурге и хорошо знает тамошние места и людей. Это была правда. Бибиков его выслушал, но сказал, что взял уже из гвардии офицеров, лично ему известных. Державину ничего не оставалось, как откланяться. Но уйти — значило упустить случай безвозвратно. Он не двигался с места. Наконец удивленный Бибиков разговорился со странным офицером, понемногу втянулся в беседу и остался им доволен. Отпуская Державина, он, однако, ничего не обещал ему,— а вечером в полковом приказе Державин с изумлением прочитал, что ему высочайше повелено явиться к генералу Бибикову. Наутро явился он к Бибикову и получил приказание через три дня быть готовым к отъезду.

Госпожа Удолова была, вероятно, огорчена предстоящей разлукой с возлюбленным. Но Державину было не до элегий. Он чувствовал, что будущее зависит теперь от него самого. Ему не терпелось, он готов был начать свои действия тотчас же, тут же, еще в Петербурге, за полторы тысячи верст от мятежников. Так и вышло.

У госпожи Удоловой была деревня, расположенная при Ладожском канале. В тех же местах стоял на зимних квартирах Владимирский гренадерский полк. Владимирцев вызвали из армии для участия в торжествах по случаю свадьбы великого князя, но тут же и обидели: «не дали им при таком торжестве ниже по чарке вина» да еще заставили бить сваи на Неве, при постройке дворцовой набережной. А теперь их отправляли в Казань — против Пугачева. Вот и решили они от такой худой жизни, что «положат ружья пред тем царем, который, как слышно, появился в низовых краях, кто бы таков он ни был». Такие разговоры вели гренадеры в селе Кибол, у постоялого двора укладываясь перед походом на ямские подводы. Один из дворовых людей удоловских, ехавший к своей госпоже из

деревни, эти разговоры слышал и по прибытии в Петербург передал Державину: узнал, вероятно, что тот едет в Казань усмирять Пугачева.

К таким слухам можно было отнестись без внимания: мало ли что говорится на постоялых дворах? Но Державин, как сказано, весь кипел. Он кинулся к Бибикову. Тот сперва сказал: «Вздор». Но Державин не унимался, ездил к Бибикову еще дважды, ночью возил к нему удоловского человека, заставил допросить командира Владимирского полка,— и добился того, что среди гренадер действительно был открыт заговор.

Все это произошло в несколько дней. Державин был как в лихорадке. Наконец в первых числах декабря, «весьма налегке, в нагольной овчинной шубе, купленной им за три рубли», он отправился в путь.

III

Когда члены следственной комиссии, опередив Бибикова, приехали в Казань (это было перед самыми святками), они нашли город в панике. Пугачевские разъезды уже появились верстах в шестидесяти оттуда. Не только многие жители — сами власти бежали; уехал даже и губернатор.

Назначение Бибикова произвело стремительный переворот в умах. Известие о приближении генерала, уже однажды, за десять лет до того, спасшего местных дворян от крестьянских волнений, разом вселило уверенность, что теперь все пойдет отлично. Беглецы, во главе с губернатором, стали возвращаться. Недавнее уныние сменилось самым легкомысленным весельем, в котором приняли буйное участие офицеры, приехавшие с Державиным. Но сам он не веселился: он с первого дня принялся за работу.

Следует вникнуть в то обстоятельство, что Державин был взят Бибиковым в *секретную следственную комиссию*, то есть в орган, отнюдь не имевший прямого отношения к военно-оперативной части и за нее не ответственный. Правда, круг действий комиссии не был строго регламентирован, ее членам давались весьма различные поручения, далеко выходящие за пределы следствия о сообщниках Пугачева. Но все эти поручения непременно относились либо к следственной области, либо к разведочной, либо к политической. Поэтому появление Державина на театре военных действий и даже участие в таких действиях, по самому роду службы его, должны были носить лишь эпизодический и подсобный характер. Положение Державина, как члена специальной комиссии, а не как боевого офицера, заранее определяло его отношения и с гражданскими властями, и с начальниками войсковых частей, и даже с самим главнокомандующим.

Обратимся теперь к положению дел. Казанские дворяне веселились напрасно: они были окружены врагами, явными или тайными, деятельными или выжидающими, когда придет время действовать. Сказать: Пугачев усиливался — было бы не точно. Усиливалась пугачевщина — и это было всего страшнее. Как подземный огонь, она уже разлилась на огромном пространстве. Где ступал Пугачев или его сообщники — огонь вырывался наружу и начинал бушевать. Главари мятежников, где бы ни появлялись, тотчас обрастали толпами, навербованными из местного населения. Таким образом, запас человеческого материала у Пугачева был неиссякаем и не нуждался в переброске; он в любую минуту оказывался там, где пугачевскому «штабу» угодно было развернуть свои силы.

Что мог этому противопоставить Бибиков? Никакой стратегический план не был осуществим при условии, что толпы, рассеянные в одном месте, немедленно собирались в другом — и при этом еще иногда возрастали. Правда, Бибикову не суждено было дожить до той поры, когда это можно было бы осознать отчетливо. Призванный заместить своих незадачливых предшественников, он готовился действовать согласно данным военной науки и собственного боевого опыта. Он вырабатывал стратегический план. Но у него почти не было войск. Местные гарнизоны были ничтожны численно и разложены пугачевщиной изнутри. Другие войска еще только стягивались: с недавно освободившегося польского фронта, из губерний, еще не охваченных пугачевщиной. Наконец для гражданской войны и эти войска были не довольно надежны (в чем Бибиков только что убедился на примере Владимирского полка). Не только на солдат — нельзя было вполне положиться даже на офицеров.

Бибиков прибыл в Казань 25 декабря, ждал войск и нервничал. 28-го числа Державин уже явился к нему с докладом. Пока прочие члены следственной комиссии в ожидании начальства кутили, блистали и дебоширили, он уединенно жил в доме матери и от своих крестьян, приезжавших с оренбургского тракта, старался разведать «о движениях неприятельских и о колебании народном». Сведения были неутешительные. Брожение чувствовалось и в окрестностях, и в самой Казани. Бездействие правительства становилось опасно. Державин счел нужным доложить о том Бибикову. Тут произошла сцена, с первого взгляда не вовсе правдоподобная: отродясь не нюхавший пороху подпоручик заявляет заслуженному боевому генералу Бибикову, что «надобно

делать какие-нибудь движения», а главнокомандующий оправдывается:

— Я это знаю, но что делать? Войски еще не пришли.

— Есть ли войски или нет, но надобно действовать,— возражает подпоручик.

Бибиков сердится, но не прогоняет его. Напротив, схватив за рукав, тащит к себе в кабинет и там сообщает тайную и мрачную новость: Самара взята пугачевцами, а население и духовенство встретили мятежников колокольным звоном и хлебом-солью.

— Надобно действовать,— в десятый раз повторяет Державин.

Что за нелепость: он требует невозможного! И кто дал ему вообще право чего-то требовать от генерал-аншефа Бибикова? Право дал Бибиков, назначив его в следственную комиссию. А требовал действий Державин именно потому, что военные операции — вне его компетенции: с *его* точки зрения, чисто политической, именно так все и обстоит, как он докладывает: «надобно действовать, ибо от бездействия город находится в унынии», а уж *как* действовать и «есть ли войски или нет» — это дело Бибикова.

Бибиков сознает и правоту Державина, и свое бессилие. Поэтому он сердится пуще прежнего, молча расхаживает по кабинету, молча отсылает Державина прочь,— но на другой же день дает ответственное поручение: отправиться в Симбирск, там присоединиться к команде подполковника Гринева и с ним, а также с идущими из Сызрани гусарами и командою генерал-майора Муффеля, идти на освобождение Самары. Задача Державина — во время этого перехода собрать сведения об исправности и настроении не только самих команд, но и офицеров, и даже начальников. Командировка носила самый тайный характер: отправляясь из Казани, Державин еще сам не знал, куда и зачем он едет: ему были вручены два ордера в запечатанных пакетах, которые он должен был вскрыть не раньше, как удалясь от города на 30 верст. Первый ордер касался вышесказанных наблюдений. Вторым предлагалось ему, по взятии Самары, «найтить того города жителей, кто первые были начальники и уговорители народа к выходу навстречу злодеям со крестами и со звоном, и через кого отправлен благодарственный молебен». Главных зачинщиков предписывалось отправить закованными в Казань, а менее виновных «для страху жестоко на площади наказать плетьми при собрании народа, приговаривая, что они против злодеев должны пребывать в твердости». В заключение Бибиков писал: «Сей ордер объявить можете командующему в Самаре и требовать во всем его вспомоществования».

С такими поручениями Державин едет в Симбирск, не застает уже там Гринева, догоняет его и с ним вместе идет к Самаре, которая к их приходу оказывается уже занята Муффелем. Последний, таким образом, уже сам себя показал, и по отношению к нему миссия Державина отпадает. Но с Гриневым Державин идет очищать от пугачевских сторонников крепость Алексеевскую и под Красный Яр — на усмирение калмыков. И то и другое он предпринимает опять-таки не в качестве «военной силы», а для того только, «чтобы увидеть в прямом деле г-на подполковника Гринева, его офицеров и команду». Наконец он возвращается в Самару руководить следствием, допрашивает виновных в сдаче города Пугачеву, отсылает главнейших преступников в Казань и сам отправляется вслед за ними. Его первая командировка закончена.

В пору пугачевщины казанское дворянство и местные власти, вообще говоря, не покрыли себя славою. Непонимание обстановки, нерадивость, а главное — легкомыслие тут были проявлены много раз. Еще в самом начале 1773 года Пугачев был схвачен и прислан в Казань под стражею. Из острога его отпустили собирать по городу милостыню — он, конечно, бежал. Потом, как мы видели, казанцы впадали в отчаяние и кидались из города прочь — без особых к тому оснований; потом веселились, столь же напрасно чувствуя себя за Бибиковым как за каменною стеной. Пробудить в них сознание и подвигнуть к действиям было не просто. Между прочим, надо было добиться, чтобы они составили и содержали на свой счет нечто вроде конного ополчения в помощь правительственным войскам. По поручению Екатерины, проявившей и в этом случае свое знание людей, Бибиков стал действовать с именитыми казанцами, как с ребятами. Он дважды их собирал, звонил в колокола, служил молебны и произносил речи. В речах изображал грозность обстановки, обещал награды и пугал наказаниями. Наконец казанцы как будто сами придумали выставить ополчение. Не давая им остыть, Бибиков тут же составил от их имени соответственное определение и переслал его государыне. Продолжая игру, Екатерина прислала Бибикову рескрипт, в котором именовала себя казанской помещицей и объявляла, что, следуя примеру дворянства, со своей стороны также дает по рекруту с каждых двухсот душ из казанских дворцовых земель своих. Остроумный рескрипт имел успех чрезвычайный. Бибиков, чтобы еще поддать жару, вздумал продлить приятную переписку с «казанской помещицей». Дворяне собрались вновь, и губернский предводитель Макаров перед портретом Екатерины прочитал благодарственную к ней речь: «Признаем тебя своею помещицей. Принимаем тебя в свое товарищество. Когда угодно тебе, равняем тебя

с собою», — и проч. Кому же не лестно было принять государыню «в свое товарищество»? После этой речи в составлении отрядов захотели участвовать не только дворяне соседних уездов, но и купцы, и даже мещане. Составил же речь, разумеется, не Макаров: это дело было поручено Бибиковым Державину, который тут действовал не столько в качестве казанского помещика, сколько в качестве члена секретной комиссии: агитация прямо входила в ее задания.

Ответом на эту речь был новый рескрипт, а затем и особый манифест, который, впрочем, прибыл в Казань, когда ни Бибикова, ни Державина там не было. К тому времени оба уже покинули город, направляясь в разные стороны.

Чтобы изъяснить причины этой второй командировки Державина, приходится вернуться назад, к людям, которых мы потеряли на время из виду.

* * *

Вскоре после того, как Державин, в марте 1770 года, гнушаясь самим собою, бежал из зачумленной Москвы, его тамошние знакомцы, Серебряков и Максимов, тоже исчезли из Белокаменной. Прихватив с собою Черняя, они отправились в польскую Украину — добывать свои клады. Но в ту пору вся эта область была театром русско-турецкой войны. Войска передвигались по ней во все стороны, и шататься в степях, не навлекая подозрений, оказалось невозможно. Кладоискателям пришлось бросить свои затеи. Отпустив Черняя на все четыре стороны (а может быть, только припрятав его до лучших времен), вернулись они в родные места: в дворцовое село Малыковку, что лежало на Волге, верстах в 140 выше Саратова, при впадении Иргиза, того самого, на котором Серебряков некогда расселял раскольников и обделывал свои дела (за что, как мы видели, он и угодил в тюрьму при сыскном приказе). Жили они притаившись, но неожиданно сами события сплелись вокруг них в довольно причудливый и неприятный узел.

После начала пугачевского возмущения правительство долго еще не знало, кто таков самозванец. Явилась мысль, не есть ли это Черняй, бежавший из Москвы и исчезнувший вместе с Серебряковым. Серябрякова и Максимова по этому делу допрашивали. Что отвечали они — неизвестно. Надо думать — Максимов отрекся от всякого знакомства с Черняем, а Серебряков заявил, что не видел его с тех пор, как вышел из тюрьмы, будучи взят на поруки Максимовым. Дело заглохло.

Однако ж, когда настоящее имя самозванца было установлено, положение Серебрякова с Максимовым вновь осложнилось. Дело в том, что Пугачев имел большие знакомства среди киргизских раскольников. Там, на Иргизе, он и явился в конце 1772 года со своими возмутительными речами, за которые схвачен и отправлен в Казанскую тюрьму. (Из Казани он, как уже говорилось, бежал летом 1773 года, после чего и стал во главе мятежа.) Этот арест Пугачева произведен был не где-нибудь, а как раз в той же Малыковке, по доносу крестьянина Трофима Герасимова, который был Серебрякову приятель. Таким образом, к Серебрякову с Максимовым как бы шли нити и от воображаемого самозванца Черняя, и от настоящего — Пугачева. Это отнюдь не улучшало их положения. Тогда они, чтобы укрыться от беды, а может быть — и выслужиться, и загладить прежнее, решились предложить Бибикову свои услуги для вторичной поимки Пугачева. Они знали, что Державин находится при главнокомандующем, и вознамерились действовать через него.

В самом начале марта Серебряков, захватив с собою Герасимова, приехал в Казань. Его план был не сложен. Предполагалось, что теперь, когда войска постепенно стянулись к мятежной области, пугачевские толпы вскоре будут разбиты; в этом случае самозванцу придется искать тайного убежища, и он, всего вероятнее, отправится на Иргиз, где у него много друзей среди раскольников; тут-то Серебряков и рассчитывал его схватить, для чего требовал особых полномочий себе и Максимову.

При всем различии положений и лет, у Бибикова с Державиным было в характерах общее: и начальник, и подчиненный легко увлекались; оба слегка были фантазеры. В самой таинственной обстановке, ночью с 5-го на 6 марта, состоялось свидание Серебрякова с Бибиковым. Самого Серебрякова раскусить было не трудно, но его план показался Бибикову достойным внимания. Главнокомандующий призвал Державина и сказал ему:

— Это птица залетная и говорит много дельного; но как ты его представил, то и должен с ним возиться, а Максимову я его не поверю.

Такого оборота Державин, пожалуй, не ожидал и сам. В следственной комиссии у него было много работы: он вел журнал всей деловой переписки по бунту, с описанием и самых мер, принимаемых к его подавлению; кроме того, составлял алфавитные списки главных сообщников Пугачева и лиц, пострадавших от мятежа. «Возиться» с Серебряковым — значило бросить все, отдалиться от благосклонного начальника, ехать в Малыковку и посвятить себя выполнению серебряковской затеи. Но поручение ответственное, сопряженное с властью; но работа в таинственной обстановке; но наконец-то — возможность действительно себя выказать — все это его прельщало. В случае же успеха, если бы в самом деле он, Державин, оказался поимщиком Пугачева... Словом, он решился.

На другой же день после встречи с Серебряковым Бибиков дал Державину «тайное наставление», которого главные пункты сводились к следующему:

«Вы отправляетесь отсюда в Саратов и потом в Малыковку... Прикрыв ваше прямое дело подобием правды, а в самом деле посылка и поручаемая комиссия в следующем состоять имеет: 1) Известно, что вора и злодея Пугачева гнездо прежде произведения его злодейства были селения раскольнические на Иргизе, а потому и не можно думать, чтоб он и ныне каковых-либо друзей, сообщников или, по крайней мере, знакомцев там не имел. Вероятно быть кажется и то, что он по сокрушении его под Оренбургом толпы и по рассеянии ее (что дай Боже!) в случае побегу искать своего спасения вознамерится на Иргизе... Вам понятна важность сего злодея поимки. Для того вы скрытным и неприметным образом обратите все удобь-возможное старание к тому, чтоб узнать тех людей, к коим бы он в таковом случае прибегнуть мог... 2) Доколе к поимке злодея случай не приспеет, употребите вы все ваше старание о том, чтобы узнать о действиях и намерениях злодея и его толпы, их состояние и силу, взаимную меж ими связь, и чем подробнее вы узнаете, тем более и заслуги вашей Ее Императорскому Величеству нашей всемилостивейшей Монархине будет. А сии известия как ко мне, так и марширующим по Самарской линии г. г. генерал-майорам князю Голицыну и Мансурову с верными людьми доставлять имеете, ведя о тайном деле *(переписку)* посредством цифирного ключа, который вам вверяется. 3) Чтобы доставить в толпу к злодею надежных людей и ведать о его и прочих злодеев деяниях, не щадите вы ни трудов, ни денег, для чего и отпускается с вами четыреста рублев... Чтоб в случае надобном делано было вам и от вас посланным всякое вспоможение, для того снабжаетесь вы письмом пребывающему в Саратове г. астраханскому губернатору Кречетникову, а к Малыковским дворцовым управителям открытым ордером... 4) Не уставайте наблюдать все людей тамошних склонности, образ мыслей и понятие их о злом самозванце... Проповедайте милосердие монаршее к тем, кои от него отстанут и покаются. Обличайте рассуждениями вашими обольщения и обманы Пугачева и его сообщников. 5) Наконец, при вступлении в дело возьмите себе в помощь представленных вами известных Серебрякова и Герасимова... Впрочем, я, полагаясь на искусство ваше, усердие и верность, оставляю более наблюдение дела, для которого вы посылаетесь, собственной вашей расторопности. И надеюсь, что вы как все сие весьма тайно содержать будете, так не упустите никакого случая, коим бы не воспользоваться, понимая силу прямую посылки вашей. *Ал. Бибиков»*.

7-го марта Державин выехал из Казани. Уезжая, он был преисполнен надежд и веры в себя. Точно так же, как Бибиков, он полагал, что для успешности и плодотворности его предприятия надобны три условия, из которых два находились вне его власти и не зависели от него. *Первое* — чтобы пугачевские полчища действительно были наперед разбиты. *Второе* — чтобы у Пугачева, в случае его поимки или смерти, не нашлось заместителя или преемника. Только за *третье* Державину предстояло быть в ответе: он должен был хорошо расставить капканы и не упустить зверя. Тут он полагался на свою «расторопность».

На самом деле этих условий было недостаточно. Требовалось еще одно, простейшее; и Державин, и Бибиков о нем знали, но как будто нарочно почти не касались его; как будто боялись, что если прямо и ясно поставят о нем вопрос — их пыл ослабеет, и придется Бибикову задуматься, стоит ли ради этого дела отсылать от себя Державина, а Державину — стоит ли уезжать от Бибикова.

* * *

В Малыковке Державин прежде всего обзавелся «подлазчиками», которых послал к Пугачеву — разузнавать о его делах, намерениях и силах. Серебрякова с Герасимовым он оставил на Иргизе — стеречь друзей самозванца и выслеживать его самого, когда он появится. Наладив целую сеть лазутчиков, Державин счел нужным обеспечить себе и чисто военную помощь, то есть получить отряд в свое распоряжение. Для этого он отправился в Саратов к астраханскому губернатору Кречетникову (Саратов входил в состав Астраханской губернии, а губернатор там жил для того, чтобы находиться ближе к театру военных действий). Вручив Кречетникову рекомендательное письмо Бибикова, Державин потребовал помощи — и внезапно получил самый решительный отказ: то ли губернатору не понравился властный тон Державина, то ли Кречетников захотел подсидеть Бибикова, с которым был не в ладу,— только отряда получить от него не удалось.

Это взволновало Державина чрезвычайно. Но он не сдался. В Саратове находилась «контора опекунства иностранных», то есть управление немецкими колониями, которые Екатерина расселила вниз по течению Волги, начиная от устья Иргиза. В распоряжении конторы, которая не зависела от губернатора, имелись три роты артиллерийского фузелерного полка. Начальник конторы Лодыжинский был с губернатором в плохих отношениях и, чтоб

ему досадить, разрешил Державину, буде понадобится, брать эти роты. Кречетников обозлился раз навсегда.

Меж тем до Саратова дошла весть, что кн. Голицын освободил Оренбург, дважды разбив самозванца наголову,— под Татищевой и у Сакмарского городка. Это заставило Державина поторопиться обратно в Малыковку: как знать, может быть, теперь-то и кинется Пугачев скрываться на Иргизе? Но Пугачев, потеряв больше двух третей всего войска, нимало не думал бежать и прятаться. Он пробрался в Башкирию — обрастать новыми толпами, чтобы опять устремиться к Яику. Его поимка явно откладывалась.

Сидеть в Малыковке сложа руки не улыбалось Державину. Он задумал военную экспедицию — на свой страх и риск. Яицкий городок был осажден мятежниками, страдал от голода и уже не имел снарядов. На выручку его шел Мансуров. Но Державин рассудил, что Мансурова должны задержать разливы рек,— и решился «сикурсировать» крепостцу, подойдя к ней с другой стороны. Вновь стал он требовать войск — и вновь губернатор ему отказал. Тогда Державин, послав Бибикову жалобу на губернатора (уже не первую), составил отряд из фузелеров и казаков опекунской конторы, прибавил сотни полторы малыковских крестьян, выпросил у Максимова провианта для яицкого гарнизона и 21 апреля двинулся в поход. Предстояло пройти верст 500.

Увы, на второй день пути от встречного своего лазутчика он узнал, что Яицк уже занят Мансуровым. Ему ничего не оставалось, как вернуться назад, в Малыковку,— к великому торжеству Кречетникова. Узнав о его конфузе, губернатор поспешил кстати поздравить его с производством в поручики. Поздравление прозвучало насмешкой. Державин не обрадовался.

Свои рапорты он посылал прямо Бибикову, который покинул Казань на другой день после Державина и направился к армии. Пришлось послать донесение также и о злосчастной попытке выручить Яицкий городок. Но велико было удивление и огорчение Державина, когда получил он ответ не от Бибикова, а от кн. Щербатова. Бибиков умер на пути к Оренбургу, и Щербатов временно его заменил на посту главнокомандующего.

Силы Бибикова давно были подорваны тревогами и трудами. Заболев горячкою, он скрывал болезнь, перемогался и таял. Лечить его было некому. За два дня до смерти, коснеющею рукой, он написал государыне: «Si j'avais un seul habile homme, il m'aurait sauvé, mais hélas, je meurs sans vous voir». Человек благородный, патриот истинный, он отдал все силы своему трудному делу и умер, едва получив известие о победе Голицына — о первом достигнутом успехе. Ему было всего сорок четыре года. Обстоятельства этой кончины потрясли Державина. Сам он терял начальника, которым был отличен и которого успел полюбить.

Все вообще складывалось печально. Нужды нет, что Мансуров с Голицыным высоко ценили его разведочную работу, что сам Щербатов его одобрял. Его главная цель — поимка самозванца — вдруг оказалась совсем не столь вероятна, как он себя убедил — как *они* с Бибиковым себя убедили.

Не то было всего хуже, что разбитый Голицыным Пугачев оказался способен к дальнейшей борьбе; Державин не сомневался, что рано или поздно враг будет побежден. Уже и теперь, по последним известиям, самозванец опять окружен у Вязно-Петровских заводов и без поражения выйти оттуда не может. Плохо было то, что и эти добрые вести опять содержали горчайший для Державина намек на вероятную участь всей его командировки: одновременно сообщалось, что если Пугачеву суждено прорваться, то отнюдь не в сторону Иргиза! Это замечание, сделанное мимоходом, Державина угнетало. Впервые Державину стало ясно, что как ни искусно расставил он свои западни, на сей раз они не понадобятся наверняка, а вообще могут и никогда не понадобиться, *если зверь сюда не пожалует*. А многое ли говорило за то, что пожалует? Вот что они упустили из виду с покойником-Бибиковым. И внезапно с такой же твердостью, как прежде он был уверен, что самозванец придет прятаться на Иргиз,— теперь Державин решил, что Пугачев не придет сюда никогда. Скрытая досада на самого себя стала его томить. Кто придумал все это? Кто вскружил головы и ему, и Бибикову? Серебряков? Нет, Серебрякова по чести винить нельзя: Серебряков, конечно, придумал ловить Пугачева на Иргизе, но он предлагал в поимщики самого себя. Он не звал Державина в Малыковку. Державин сам привязал себя к этому проклятому месту. И зачем, зачем Бибиков подтолкнул его?

Такое уныние овладело Державиным, что он стал проситься «о увольнении себя с его поста, для того, что по удалении в Башкирию Пугачева, по вверенной ему комиссии он ничем действовать не мог». Временами он даже подумывал бросить все и ехать обратно в полк, в Петербург.

* * *

На его беду им были довольны — и не отпустили. Только о поимке Пугачева, как о цели его пребывания на Иргизе, теперь уже речи не было. Выяснилось, что секретная комиссия до сих пор даже не знала, зачем Державин послан в Малыковку. Ему стали давать поручения то по разведке, то по охране спокойствия, то по делам провиантским.

Действия против Пугачева шли с переменным счастием. Из окружения самозванец вырвался и усилился вновь — уж в который раз. Стремительно, как степной пожар, разливаясь все шире и шире, он шел к северо-востоку, за Урал, в киргизскую степь, меж тем как главные силы правительства стянуты были южнее. Однако 21 мая Декалонг разбил его при крепости Троицкой. Самозванец пошел к Челябинску, но тут впервые встретился с Михельсоном и вновь потерпел поражение. Хотел идти к Екатеринбургу — и тоже встретил препятствие. Тогда он повернул под прямым углом на запад и устремился к Казани.

Победа, одержанная при Троицкой, возбудила такие же надежды, как перед тем победа при Татищевой. Пошли даже слухи, что Пугачев спасся всего с восемью человеками и, конечно, будет искать убежища на Иргизе (очевидно, и Щербаков теперь заразился серебряковской идеей). Державина известили об этих чаяниях. Надежда мелькнула снова. Он ожил, стал расставлять пикеты и рассылать лазутчиков. Внезапно пожар истребил большую часть Малыковки. Хлебные запасы сгорели. Начался голод, в народе чувствовалось брожение. Дом Державина уцелел, но его дважды пытались поджечь. Малыковка становилась плохою базою. Оставив немногочисленные свои команды и сделав распоряжения на случай прямого мятежа, Державин поехал в Саратов.

Туда призывали его дела второстепенные. Но события развернулись так, что эта поездка оказала важное влияние на всю его дальнейшую судьбу.

По смерти Бибикова императрица вместо одной следственной комиссии учредила две: казанскую и оренбургскую. Оставив военное командование в руках князя Щербатова, эти комиссии временно отдала она в ведение местных губернаторов, а затем решила сосредоточить управление в одних руках. Новым начальником комиссий назначен был молодой генерал-майор Павел Сергеевич Потемкин, человек неглупый, но и не выдающийся, образованный, но и не даровитый; зато — троюродный брат нового фаворита, только что вошедшего в силу. Потемкин выехал из Петербурга в Казань как раз в то время, когда с востока к ней шел Пугачев. В Казани они столкнулись: Потемкин прибыл в ночь на 8 июля, а 12 числа на заре туда же пожаловал Пугачев. В Казани войск почти не было. Потемкин вышел навстречу самозванцу с четырьмя стами солдат, был разбит и едва успел укрыться в крепости внутри города, вместе со многими жителями. Пугачев не мог овладеть крепостью, но сжег и разграбил город. Местная чернь присоединилась к пришлой. Часть жителей при этом была убита, прочие подверглись мукам и разорению. «Люди зажиточные стали нищими; кто был скуден, очутился богат!»

Михельсон, пришедший по пятам Пугачева, освободил казанские пепелища через три дня, после упорных боев. Самозванец, выгнанный из Казани и вновь растерявший часть войска, однако ж не унялся. Собирая новые полчища, устремился он вверх по Волге, думали — на Москву. Но внезапно он перешел Волгу у Кокшайска и по правому ее берегу пошел к югу. «Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием. Никогда успехи его не были ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой; от провинции к провинции». Он двинулся на Саратов. Державин узнал об этом раньше местных властей и поспешил их оповестить.

Саратовцы до тех пор почитали себя в безопасности. Губернатор Кречетников даже уехал в постоянную свою резиденцию — в Астрахань. Уезжая, он вверил охрану города коменданту Бошняку, но с тем, чтобы тот в важных случаях совещался с другими начальниками и действовал с общего согласия. Самым видным из этих начальников был упомянутый выше Лодыжинский, начальник опекунской конторы. Нет надобности объяснять, что Бошняк с Лодыжинским были на ножах и, по службе будучи независимы, не желали ни в чем уступать друг другу. У каждого были к тому же свои войска. Полковник Бошняк считал себя выше, как воевода и комендант. Лодыжинский, хоть находился в гражданской службе, был зато старше чином: он был статский советник, что соответствовало бригадиру. Бошняк был порывист, переменчив и не умен; зато держался прямым солдатом и носил огромнейшие усы. Лодыжинский усов не носил, но превосходил противника хладнокровием и дальновидностью. Наконец, Бошняк был в хороших отношениях с губернатором, а Лодыжинский в плохих (что, как мы знаем, и сблизило его в свое время с Державиным).

Узнав от Державина об угрожающем движении Пугачева, Лодыжинский созвал совещание для обсуждения мер к обороне Саратова. Кроме Державина, были приглашены Бошняк и некий Кикин, сослуживец Лодыжинского. Тут-то голоса и разделились.

Бошняк находил, что надо укрепить город и в нем отсиживаться. Лодыжинский с Кикиным возражали, что город слишком велик и так скоро его не укрепишь, да и не хватит ни войск, ни артиллерии, чтобы отстаивать такое большое пространство. Поэтому надо встретить самозванца вне города, для чего собрать всех жителей, способных носить оружие, а прочих укрыть на берегу Волги возле

магазинов и казарм опекунской конторы, построив там особое земляное укрепление. Лодыжинский, как бывший офицер инженерного корпуса, уже составил и план такого ретраншемента. Державин с горячностью присоединился к этому мнению, на стороне которого, таким образом, оказалось большинство голосов. В этом духе составили и подписали общее постановление. Бошняк обязался доставить рабочих, инструменты и часть оружия.

Между тем новый начальник секретных комиссий требовал, чтобы Державин представил рапорт об исполнении данного ему поручения. Для составления рапорта Державин на другой же день поскакал в Малыковку, где находилось все его делопроизводство. В Малыковке он получил от Потемкина второе письмо. Потемкин сообщил, что уже получил сведения о действиях Державина от кн. Щербатова и остался ими особливо доволен. «Таковый помощник много облегчает меня при обстоятельствах, в каких я наехал Казань», писал Потемкин и далее прибавлял: «может быть, принужден будет злодей обратиться на прежнее гнездо, то представляется вам пространное поле к усугублению опытов ревности вашей к службе нашей премудрой Монархини. Я уверен, что вы знаете совершенно цену ее щедрот и премудрости. Способности же ваши могут измерить важность дела и предстоящую вам славу, ежели злодей устремится в вашу сторону и найдет в сети, от вас приготовляемые».

На этот раз вряд ли Державин серьезно поверил в поимку Пугачева на Иргизе. Уже не раз его обманула это мечта, еще имевшая для Потемкина прелесть новизны. Но самолюбие Державина было польщено и возбуждено, честолюбивые надежды его всколыхнулись,— и «сие самое побудило его горячее вмешаться после в саратовские обстоятельства».

Повод не замедлил явиться. В самый день отъезда державинского из Саратова Бошняк уже пошел на попятный: заявил, что не даст рабочих для постройки ретраншемента, потому что опасность миновалась. Это была неправда: опасность не миновалась, а возросла — Пугачев был в 450 верстах. Обо всем этом Державина тотчас же известили саратовские друзья. Некто Свербеев, чиновник опекунской конторы, писал: «Приезжай, братец, поскорее, и нагони на них страх».

Державин помчался «нагонять страх». Но пока он ехал, саратовские жители узнали, что Пугачев уже миновал Алатырь. Поднялась тревога. Состоялось совещание при участии купечества и членов Низовой соляной конторы. Вновь утвердили план Державина и Лодыжинского, но на сей раз Бошняк отказался его подписать. Он вернулся к первоначальной своей мысли и заявил, что согласен на ретраншемент, но, кроме того, не может оставить на расхищение город, церкви, остроги и винные склады, а потому будет строить укрепление вокруг всего города.

Это было 27 июля. А 29-го Бошняк уже заявил, что и вовсе отказывается от ретраншемента, а будет строить лишь укрепление вокруг города. На другой день, подкрепившись добытым от губернатора ордером о подчинении коменданту всех воинских сил, Бошняк явился сообщить свое решение Лодыжинскому — и встретил у него только что вернувшегося Державина. Горячие споры не привели ни к чему — Бошняк стал строить свои укрепления.

Тогда Державин написал коменданту письмо. В выражениях самых резких повторял прежние доводы, доказывал, что Бошняк не умеет возводить укреплений; что укрепления вокруг всего города бесполезны, ибо требуют стольких защитников, сколько в Саратове не найдется; что жители, неспособные носить оружие, могут укрыться в ретраншементе, который должно строить немедленно; что там же можно поместить и церковную утварь; что должно встретить врага вне города, оставив лишь небольшой отряд для защиты ретраншемента. Наконец, о себе писал: «Когда вам его превосходительство г. астраханский губернатор П. Н. Кречетников, отъезжая отсюда, не дал знать, с чем я прислан в страну сию, то чрез сие имею честь вашему высокоблагородию сказать, что я прислан сюды от его высокопревосходительства покойного г. генерал-аншефа и кавалера А. И. Бибикова, вследствие именного Ее Императорского Величества высочайшего повеления по Секретной Комиссии, и предписано по моим требованиям исполнять все».

Эти раздоры грозили Саратову тем, что в конце концов он останется безо всякой защиты. Жители волновались. Большинство, видимо, было на стороне Державина и Лодыжинского. 1 августа состоялось собрание всех бывших в городе офицеров. Принято было определение действовать по плану Лодыжинского — «несмотря на несогласие означенного коменданта». Это уже был, в сущности, бунт. В качестве поручика лейб-гвардии (что весьма придавало ему весу в глазах армейцев) и члена секретной комиссии, Державин этим бунтом водительствовал, причем грозился Бошняка арестовать. Настроение собравшихся было самое повышенное; так спешили, что согласились подписываться без соблюдения старшинства.

После этого постройка ретраншемента возобновилась по распоряжению магистрата. Но через день Бошняк приказал полиции объявить, что к работе привлекаются лишь *добровольцы*. «Легкомысленный народ рад был такой поблажке, а из сего произошла и у благоразумнейших колебленность мыслей, дурные разгласии, и работа вовсе остановилась».

Державин не уставал жаловаться на Бошняка Потемкину, Бошняк на Державина — Кречетникову. Оба были и правы, и не правы. Бошняк был старше чином и имел боевой опыт, которого не имел Державин. Державин ссылался на то, что он прислан от секретной комиссии и что «предписано по его требованиям исполнять все»,— это была неправда: в сущности, он был прислан в Малыковку, а не в Саратов, и оборона Саратова если даже касалась его, то разве только с политической, а не с военной стороны. «Горячее вмешался» он в это дело только потому, что в прямую цель своей командировки, в поимку Пугачева на Иргизе, уже сам не верил, а хотел отличиться где бы то ни было и во что бы то ни стало. И держал он себя с заносчивостью недопустимой, не говоря уже о военной субординации, которую сам нарушал и склонял нарушать других. Но по существу дела все-таки прав был он, точнее — прав был Лодыжинский, на сторону которого он стал против Бошняка. Он видел, что Бошняк губит дело,— и это, и сознание собственной правоты, и скрытое чувство, что действовать так, как он действует, он все-таки не имеет права,— все это доводило его до пределов дерзости и упрямства.

Наконец, 3 августа, Кречетников прислал Бошняку ордер, в котором предлагал отправить Державина к настоящему месту его службы — на Иргиз. Бошняк тотчас переслал ордер Державину, но тому было не до губернатора: уже он готовился в новую экспедицию.

* * *

В девяноста семи верстах от Саратова, на реке Медведице, лежала крепость Петровская. Пугачев к ней приближался. Державин послал в Петровск приказание перевезти в Саратов казенные деньги и архивы. Все это уже было сложено на подводы, но, как случалось почти всегда, при приближении самозванца часть гарнизона взбунтовалась и остановила возы. 3-го числа (в тот же день, когда пришел ордер Кречетникова) Державин получил письмо из Петровска от секунд-майора Буткевича («воеводского товарыща», как он себя именовал) с просьбою прислать на помощь отряд «человек до ста».

Державин немедленно выслал вперед отряд казаков под начальством есаула Фомина, а 4-го числа утром выехал и сам. Не одни архивы и деньги занимали Державина: он мечтал вывезти из Петровского порох и пушки, а также произвести разведку, чтобы узнать, с какими силами наступает враг на Саратов.

Державин ехал в кибитке с некиим Гогелем и со слугою, которого нанял еще в Казани; это был гусар из польских конфедератов. Уже верстах в пяти от крепости узнали они от встречного мужика, что Пугачев находится тоже в пяти верстах от Петровска, только с севера (Державин ехал с юга). Державин остановился, а Гогель поехал вперед, чтобы нагнать и предупредить казачий отряд. Нагнав его, Гогель отрядил четырех казаков к Петровску — на разведку. Те уехали — и пропали. Наконец, двое из них вернулись и сообщили, что Пугачев уже в городе и надо ему сдаваться. Фоминские казаки тотчас взбунтовались и объявили, что переходят на сторону «государя». Покуда Фомин хитрил и вел с ними переговоры, со стороны Петровска приблизился отряд мятежников под предводительством самого Пугачева. Фомин с Гогелем бросились назад, к Державину, крича: «Казаки изменили, спасайтесь!» Пересев на верховую лошадь, Державин поскакал вместе с ними к Саратову. Пугачев со своим отрядом гнался за ними. С наступлением сумерек погоня остановилась. Державин благополучно достиг Саратова; его кибитка с ружьями, пистолетами и слугою-поляком осталась в руках мятежников.

* * *

Весь следующий день (5 августа) ушел на бесполезные переговоры с Бошняком. Пугачевские скопища надвигались, падение Саратова было неминуемо. Во исполнение губернаторского приказа, Державин мог бы уехать в Малыковку, но, «нося имя офицера, за неприличное почел от опасностей отдаляться», и «чтобы не быть праздным, выпросил в команду себе одну находящуюся без капитана роту».

Вдруг вечером получил он тревожную весть: партия малыковских крестьян, им вызванная на помощь саратовскому гарнизону, взбунтовалась, не дойдя двадцати верст до города. Герасимов, бывший при этой партии, сообщал, что крестьяне отказываются идти дальше, если Державин не явится к ним самолично. Державин поехал — и тут незначительная случайность разом все изменила. На ближайшей станции, в слободе Покровской, не оказалось лошадей. Державин застрял на всю ночь, а когда на другой день добрался, наконец, до своих крестьян,— пришло известие, что Саратов взят. Боясь, что крестьяне открыто перейдут на сторону Пугачева, Державин их распустил, а сам поехал в колонию Шафгаузен. Здесь надеялся он через колонистов разведать, куда намерен идти Пугачев из Саратова: на Яик или вниз по Волге.

Шафгаузен лежал на левом берегу Волги, немногим ниже Малыковки. Сообщение между ними постоянно поддерживалось. Печальная новость ожидала Державина.

Незадолго до отъезда из Саратова Державин решил просить помощи у ген.

Мансурова, который тогда находился со своими войсками в Сызрани. Письмо к Мансурову Державин послал в Малыковку, Серебрякову, с приказом лично доставить по назначению. Серебряков, прихватив с собою сына, отпрааился в Сызрань; по дороге, в степи, оба были убиты и ограблены шайкою беглых солдат.

Шаек, состоявших из всякого сброду, к тому времени расплодилось великое множество. Между прочим, не терял времени даром и тот слуга-поляк, что остался вместе с кибиткой Державина в пугачевском плену: за десять тысяч рублей он взялся изловить бывшего своего господина. Он явился в колонии, взбунтовал многих колонистов и разослал подручных искать Державина. 8 числа, на второй день своего пребывания в Шафгаузене, Державин узнал, что злодеи остановились в пяти верстах, в ближайшей колонии,— заатракать. Охраны у него не было — он вскочил на лошадь и помчался за девяносто верст, в Сызрань, к генералу Мансурову. Дорогою, при переправе через Волгу, он едва не погиб: двести малыковских крестьян, которых он сам же некогда здесь расставил стеречь Пугачева, теперь узнали о азятии Саратоаа, и «дух буйства» в них пробудился; на пароме они хотели схватить Державина, чтобы отправить в стан Пугачева; не поворачиваясь к ним спиной, он прислонился к борту и держал руку на пистолете, заткнутом у пояса; «а как всякий из них жалел своего лба, то он и спасся».

10 августа Державин приехал в Сызрань к Мансурову, а вслед за тем узнал, что и сама Малыковка пережила бурные события. «Сего августа 9 дня,— доносил писарь Злобин,— приехав в село Малыковку известной злодейской шайки разной сволочи человек с 12 и во первых набрав во оном подобных себе злодеев села Малыковки дворцовых и экономических крестьян человек до 50-ти, начали разбивать питейные домы и, напився пьяны, чинили многое злодейство и в хороших крестьянских домах разбои, а сверх того г. казначею и всему его семейству, такоже его расходчику, села Воскресенского крестьянину Александре Васильеву и малыковскому жителю Иаану Терентьеву учинили смертное убийство, коих ругательски я повесили, чем устращивая привлекали малыковских первостатейных к питью вина и к поздравлению якобы Государя Петра Федоровича, то есть государственного аора и злодея Пугачева, кои то и чинили, а сопротивления с ними, злодеями, за неимением никакой команды, чинить было некому, где тот день в Малыковке они и ночевали, а напоследок 10-го августа те злодеи, быв до полдень и более и чиня такое злодейстао, сказали, что они с батюшкой Петром Федорычем, то есть означенным злодеем, будут в Малыковку во вторник 12-го августа, и сказав, уехали обратно».

В Малыковку злодеи больше не приходили, но после их ухода часть населения пребывала в великом страхе, другая же разнуздалась и буйствовала. Дворцовый управитель Шишковский, который «едва спас живот свой», от страху никак не мог «придти в совершенную память» и писал Державину: «Обыватели смотрят весьма немилосердным вглядом... Помилуй, батюшка! Не оставь беспомощного и разоренного и страсть терплющего человека... Поверьте, милостивый государь, что писать не могу: ненатуральная трясовица обдержит меня». Максимов, бежавший из Малыковки подале, тоже азывал к Державину: «Поспеши, голубчик, и хотя внутренним злодеям отомсти за пролитую неповинно дворянскую кровь».

Малыковка делалась все менее надежной точкой опоры. Державин к тому же предвидел, что Пугачев будет оттеснен от Саратова еще южнее; ждать самозванца на Иргизе теперь казалось ему бессмысленно. Донося об этом Потемкину, он просил указаний, что в таких обстоятельствах делать дальше и куда направиться. Ответ долго не приходил. Уже к Сызрани явился со своими войсками Голицын; уже Мансуров ушел оттуда преследовать Пугачева,— ответа все не было. Державин сидел при Голицыне безо всякого дела. Бездействие вообще было не в его нраве — теперь оно томило в особенности: вся командировка грозила кончиться *ничем*; как и в Саратове, он искал случая сделать *что-нибудь*.

* * *

Юго-западная часть колоний, почти на полпути между Малыкоакой и Саратоаом, длинною, узкою полосой вдается в киргизкайсацкую степь. Киргизы давно уже беспокоят ее набегами. Теперь, при общей разрухе, набеги становятся чаще и жесточе. Дома сжигают и грабят, скот угоняют, жителей избивают или уводят в плен, в степь. Колонисты просят защиты,— но войск у Голицына слишком мало.

Другое дело — Державин. В Малыковке наберет он верных крестьян (кстати, наведя там порядок и посчитавшись с кем следует), колонисты ему обещают отряд в триста человек: с этими силами можно рискнуть на киргиз-кайсакоа... Но чтобы дойти до Малыковки и колоний, ему нужны были двадцать пять челоаек гусар и хотя бы одна пушка. Такие силы Голицын мог ему предоставить, и 21 августа выступил он в поход.

Голицын отправил с ним девять колодников — «восемь человек и одну женку». То были крестьяне, которые недавно схватили голицынского курьера и отправили к Пугачеву. Преступление было совершено в селе Поселках, через которое Державину лежал путь. Главного зачинщика, Михаила Гомзова, Голицын приказал там же, а Поселках, для примеру повесить, прочих же отпустить по домам, наказав плетьми.

Исполнив этот приказ, Державин из Поселков двинулся дальше. 24 числа, в селе Сосноаке, привели к нему пятерых разбойников; из них трое были повинны в убийстве Серебрякова. Одного Державин велел тут же повесить: приближаясь к беспокойной Малыковке, где предстояло ему навербовать главные силы будущего отряда, он хотел, чтоб молва о жестокостях предварила его появление. Действительно, его ждали с ужасом.

Придя в Малыковку, он тотчас нарядил следствие; троих мужиков, повинных в убиении казначея Тишина с женой и детьми (которым голоаы размозжили об угол), «по данной ему от генералитета власти, определил на смерть». Замечательна смесь воображения и расчета, с ко-

ями он затем действовал. На другой день всех жителей, мужеского и женского полу, согнали на близлежащую гору. Священнослужителям всех семи церквей малыковских приказано было облечься в ризы. Пушку, заряженную картечью, навели на толпу; двадцать гусар с обнаженными саблями разъезжали вокруг, чтобы рубить всякого, кто захочет бежать. На осужденных надели саваны, дали им в руки зажженные свечи и при погребальном звоне привели к месту казни. «Сие так сбившийся народ со всего села и из окружных деревень устрашило, что не смел никто рта разинуть». Прочтя приговор, Державин велел этих троих повесить, а еще двести крестьян, тех самых, что осадили его недавно при переправе,— пересечь плетьми. «Сие все совершили, и самую должность палачей, не иные кто, как те же поселяне».

Тогда-то приказал Державин выставить до тысячи конных ратников и сто телег с провиантом — для похода на киргизов. Малыковка, хоть и была в трепете, могла набрать только семьсот человек. Державин и тем удовольствовался. Голицын обещал прислать ему на подмогу казаков, но Державин не стал дожидаться. Первого сентября переправился он через Волгу и углубился в степь по *сакме* — по дороге, протоптанной шедшими здесь киргизами. Через несколько дней, на верховьях Малого Карамана, увидали в долине киргизов; вместе с толпою пленных и множеством угнанного скота орда казалась страшною громадою. Державин атаковал ее — кочевники бросились бежать во все стороны, оставя на месте пленных и скот. С полсотни киргизов при этом перекололи. Таким образом было отбито восемьсот колонистов, семьсот русских поселян и несколько тысяч голов скота. Еще около двухсот пленников киргизы угнали с собой, но Державин не мог уже их преследовать: полторы тысячи пленных, которых он только что отнял у киргизов, стесняли движение его отряда. Он повел их в ближайшую колонию Тонкошкуровку, в ту самую, откуда большинство их недавно было уведено киргизами. Колонию застали в развалинах; всюду валялись трупы; Державин предал их погребению. Были поставлены вооруженные отряды, учреждены пикеты и разъезды; однако набеги киргиз-кайсаков с той поры прекратились вовсе.

Голицын благодарил Державина и доносил о его подвиге высшему начальству,— но оно уже было не то, что прежде. В последнее время произошло много событий.

* * *

Перелом в действиях против Пугачева начался еще с того дня, когда Михельсон не пустил самозванца во глубину Сибири и погнал его на Казань. Но взятие Казани, но самое бегство Пугачева под напором Михельсона, Мансурова, Муффеля было слишком опустошительно: как сказано выше, оно еще представлялось нашествием.

Екатерина тревожилась чрезвычайно; подумывала сама стать во главе армии; полагала, что вялость и нерешительность генералов всему виною; против главнокомандующего кн. Щербатова ее восстановляли в особенности. Гр. Никита Иванович Панин, государственный канцлер, имел выгоду под него подкапываться.

Никита Иванович Панин еще императрицей Елисаветой Петровной был определен в воспитатели к малолетнему великому князю Павлу Петровичу. Когда, совершив переворот 1762 года, Екатерина возложила корону на себя, говорили, будто Орловы готовят Павлу Петровичу участь его отца. Панин, открытый противник Орловых, почитался единственною защитой ребенка. Впоследствии Екатерина долгие годы не могла удалить Панина от великого князя (которого он восстановлял против матери). Только в сентябре 1773 года, когда Павел Петрович женился, императрица с облегчением объявила воспитание наследника законченным, а воспитателя уволила, на радостях осыпав милостями и (без особого удовольствия) оставив государственным канцлером.

Меж тем, в 1770 году, брат Никиты Ивановича, Петр Иванович, за покорение Бендер получил Георгия 1-й степени и две с половиною тысячи душ. Этого показалось мало. Петр Иванович вышел в отставку и поселился в Москве — в обычном пристанище ворчунов и обиженных вельмож. На досуге он целых три года болтал, понося императрицу и зная, что ей неудобно было бы с ним расправиться. 25 сентября 1773 года Екатерина писала о нем кн. Волконскому, московскому главнокомандующему: «Что же касается до дерзкого известного вам болтуна, то я здесь кое-кому внушила, чтоб до него дошло, что если он не уймется, то я принуждена буду его унимать наконец. Но как богатством я брата его осыпала выше его заслуг на сих днях, то чаю, что и он его уймет же».

В самом деле, пора было государственному канцлеру помирить брата с императрицей: влияние Паниных уже падало. Никита Иванович стал действовать в двух направлениях. Брату посоветовал проявить крайний патриотизм и готовность к жертвам, а сам доложил о том государыне. Потом, на собранном ею совете, он предложил назначить Петра Ивановича на место кн. Щербатова. Екатерина согласилась с неудовольствием. Зато в восторге был Петр Иванович. В усердии дошел до того, что, забыв прошлое, в донесениях своих к слову *всеподданнейший* стал приписывать слово *раб* — что вовсе не требовалось. Радость его отчасти омрачена была только тем, что императрица не подчинила ему следственных комиссий: они остались в руках Павла Потемкина. Отсюда, конечно, вскоре возникли трения: Панин старался унизить Потемкина вместе с его комиссиями, а Потемкин стал нарочито проявлять свою независимость от главнокомандующего. Мы вскоре увидим, что Державину суждено было очутиться между молотом и наковальней.

17 августа новый главнокомандующий выехал из Москвы. Он направился не в Казань, а южнее, ближе к театру военных действий. По дороге остановился он в своем имении. 24 числа (в тот самый день, когда Державин казнил убийцу Серебрякова) приехал к нему Суворов, также назначенный действовать против Пугачева.

Суворов примчался без шапки, в одном кафтане, на простой мужицкой телеге. Получив от Панина предписание командирам и губернаторам исполнять все его распоряжения, он в тот же день кинулся дальше — на Пугачева!

Однако ж, он мог не спешить так сильно. После трехдневных саратовских зверств Пугачев двинулся вниз по Волге. Полчища его были громадны, но беспорядочны. Он разбил майора Дица, который пытался преградить путь, и 21 августа подступил к Царицыну. Дважды отбитый от этой крепости, он, может быть, все-таки овладел бы ею, но услышал о приближении Михельсона и поспешил опять вниз, на Сарепту. Здесь отдыхал он в течение суток и пошел дальше. Но Михельсон двигался быстрее и настиг его в ста верстах за Царицыным, у Черного Яра. Самозванец не мог уклониться от боя. Его поражение оказалось решительно; он потерял до четырех тысяч убитыми и до семи тысяч взятыми в плен; остальные бежали. Сам Пугачев едва спасся с горстью казаков, переправившись на левый берег Волги. Это было 25 августа — на другой день после описанного свидания Суворова с гр. Паниным. Таким образом, славный полководец на сей раз мчался напрасно: когда 3 сентября он прибыл в Царицын, сражаться уже было не с кем. Оставалось принять участие разве только в поимке самого Емельки, и Суворов постарался придать своим действиям наиболее военную видимость. Приняв начальство над корпусом Михельсона, он посадил часть пехоты на лошадей, отбитых у Пугачева, и 4 сентября переправился на луговую сторону Волги — ловить самозванца. Но в сем предприятии он оказался слишком не одинок.

В точности неизвестно было, куда направился Пугачев по луговой стороне. Но отряды, посланные на поимку, надвигались со всех сторон. Кольцо вокруг самозванца сжималось.

Со своей стороны кн. Голицын перешел у Сызрани на левый берег. Как раз в те дни, когда Державин закончил поход на киргиз-кайсаков, Голицын со своими войсками очутился поблизости. 9 сентября, в селе Красном Яре (его не надо смешивать с городом того же названия) назначена была встреча.

К этому времени стало известно, что самозванец находится где-то на Узенях — двух речках, текущих в киргиз-кайсацкой степи, между Волгой и Яиком. Голицын не изменил своего намерения отправиться на восток, к Яицкому городку, чтобы заранее преградить Пугачеву путь в этом направлении. Но Державину он дал предписание ловить самозванца на Узенях. В отличие от шедших туда же воинских частей, Державину предложено было действовать через обывателей и тайных «подлазчиков»; это был поздний отголосок серебряковского плана.

Отряд малыковских крестьян, с которыми он ходил на киргиз-кайсаков, еще находился при Державине. Из этих-то людей отобрал он сто самых надежных. В ночь на 10 сентября подлазчики собраны в лесу и приведены к присяге. Их жены и дети объявлены заложниками. Для поощрения каждому дано по пяти рублей, для устрашения — тут же повешен последний из четырех убийц Серебрякова, до тех пор находившийся в бегах. Наконец свора спущена; она бросилась в степь, к Узеням, на зверя.

Державин с прочими крестьянами остался на Иргизе, в слободе Мечетной. Здесь предстояло ему охранять окрестности от бродячих шаек; сюда же должны были приходить сведения от подлазчиков. Надеялся ли Державин, что его людям удастся схватить Пугачева? Конечно, он признавал, что «наступило самое то время, где ему, Державину, надлежало исправлять порученную ему г. Бибиковым комиссию, потому что Пугачев находился бессильным и в самых тех областях, которые наблюдению Державина вверены». Но обстановка была совсем уж не та, которую он себе представлял, уезжая из Казани полгода тому назад. Теперь уж не он один, а и Голицын, и Муффель, и Меллин, и Мансуров, и Дундуков, и Суворов — кто только не ловил Пугачева! И у каждого было больше к тому возможностей, нежели у Державина. Между прочим, он только что получил впервые письмо от Суворова. «О усердии к службе ее императорского величества вашего благородия я уже много известен», писал Суворов, «тоже и о последнем от вас разбитии киргизцев, как и о послании партии для преследования разбойника Емельки Пугачева от Карамана; по возможности и способности ожидаю от ва-

шего благородия о пребывании, подвигах и успехах ваших частых уведомлений». Это было, конечно, лестно, но чувствовалось, что особых надежд на державинскую «партию» полководец не возлагает. О себе самом Суворов прибавил: «Иду за реченным Емелькою, поспешно прорезывая степь».

Вдруг, 15 числа, надежда еще раз вспыхнула ярко, чтобы тотчас погаснуть вовсе. Подзорщики возвратились и привели пленника. Как? Неужели?.. Но то был не Пугачев, а его «полковник», крестьянин сообщил, что Емельян Пугачев своими сообщниками увезен в Яицкий городок и там отдан в руки властей. Посланные Державина опоздали на двое суток.

Итак, все было кончено.

Пока Державин ждал самозванца на Иргизе — тот удалялся от этих мест; когда Державин отчаялся ждать — Пугачев начал приближаться; когда же приблизился, подошел вплотную,— был схвачен, но не Державиным.

* * *

Было бы несправедливо одоление пугачевщины приписывать одному Михельсону. Однако для современников им одержанные победы были наиболее очевидны. Многих военачальников это беспокоило. Начались попытки связать свое имя хотя бы с поимкой Пугачева. Тут поле было для всех открыто: самозванец попал в руки властей без прямого участия кого бы то ни было из тех, кто его ловил.

Суворов первый примчался в Яицкий городок и усердно занялся «поспешным выпроважением» супостата, уже заклепанного в колодку. Потом всем захотелось быть первыми вестниками счастливого события; начались гонки курьеров. Потом Потемкин, находясь в непрестанном соревновании с Паниным, пожелал заполучить знаменитого пленника в свои руки; он намекнул Державину, чтобы тот поспособствовал доставлению Пугачева не в «военную команду» (то есть к Панину), а в секретную комиссию (то есть к Потемкину). Но уже Суворов в Яицке завладел Пугачевым и, посадив в клетку, картинно вез его в Симбирск, к Панину. Державин был тут бессилен. Потемкин все же обиделся.

Но эта обида была ничто перед новой грозой, которая шла с другой стороны и теперь над Державиным разразилась.

Назначение Панина почти совпало с падением Саратова. Саратовским властям пришлось отчитываться в своих действиях уже перед новым главнокомандующим. Недруги Державина, Кречетников и Бошняк, дождались праздника. Разумеется, и в собственных объяснениях, и в объяснениях, ими подсказанных другим лицам, они старались обелить себя и очернить Лодыжинского с Державиным. Поихнему выходило, что «ветреный человек гвардии поручик Державин» держал себя дерзко и вызывающе, вслух поносил коменданта и бунтовал против него офицеров; что действиями своими Лодыжинский и Державин ослабили оборону города (уже неправда); что они не возвели необходимого укрепления (да, но потому, что именно Бошняк этому противился); что экспедицию к Петровску совершил Бошняк, а не Державин (ложь грубая и наивная); что перед появлением самозванца Державин из города скрылся без надобности (главная и самая тяжелая для Державина ложь: он уехал по необходимости и лишь не успел вернуться; к тому же сам Кречетников перед тем *требовал* его удаления из города).

Панин был человек умный; умел быть смирным, когда надо, и дерзким, когда можно; сам умел польстить и хотел, чтоб ему польстили; сам знал свое место и любил, чтоб другие знали. Заносчивый поручик ему по всем донесениям не понравился; он даже забыл, что недавно сам благодарил Державина за действия против киргизов, и решил быть к нему особливо строгим. А тут еще слухи о Державине дошли до императрицы, которая попросила Панина «когда случай будет, пообъяснить наведанием об обращениях сего гвардии поручика Державина и соответствовала ли его храбрость и искусство его словам».

Обо всем этом Державин еще ничего не знал. В таких обстоятельствах ему нужно бы заручиться благосклонностью Панина. Вместо этого он нечаянно навлек на себя его лютый гнев.

О выдаче самозванца Державин узнал от Мельникова, своего пленника, в тот самый день, когда Пугачев был доставлен в Яицкий городок, к офицеру Маврину. Но Державин находился географически ближе к начальству, нежели Маврин. Поэтому он-то и был, в сущности, первым вестником. Но свои донесения он отправил двум непосредственным начальникам своим, Голицыну и Потемкину, а не Панину. По субординации он так и должен был поступить. Однако случайно узнав об этом, Панин пришел в бешенство: его особенно беспокоило, как бы Потемкин не опередил его в донесении государыне. Рассвирепев, от тотчас велел Голицыну и Мансурову затребовать от Державина объяснений по поводу саратовских дел. Узнав о взводимых на него обвинениях, Державин оскорбился, вскипел и, через головы генералов, послал объяснения прямо Панину. В заключение требовал над собою военного суда. Это опять было неприятно Панину: он знал, что заслуги Державина, засвидетельствованные Бибиковым, Голицыным, Потемкиным, Суворовым и самим же Паниным, были больше его провинностей; а вот для Кречетникова, которому Панин вообще покровительствовал, суд мог кончиться большими неприятностями. Панин написал Державину длинное, нравоучительное и едкое письмо; «насмехался, что не им, Державиным, Пугачев пойман»; но в суде отказал.

В это самое время Потемкин, который ничего не знал о невзгодах Державина, вызвал его в Казань. Державин отправился, но дорогою не стерпел: решился заехать к Панину — объясниться лично.

* * *

Он вырос в глуши, воспитался в казарме, да на постоялом дворе, да в огне пугачевщины. С младенчества было ему внушено несколько твердых и простых правил веры и нравственности. Они и теперь, к тридцати годам, остались главным его мерилом. Добро и зло разделял он ясно, отчетливо; о себе самом всегда знал: вот это я делаю хорошо, это — дурно. Словом, умом был прям, а душою прост. Прямота была главное в нем. И это уже тогда было главное, за что любили его одни и не любили другие.

Себя он считал «горячим». Горячность и была в нем. Но прежде всего он был просто нетерпелив. Видя вокруг лукавство и ложь, он нередко отчаивался в прямом пути, решал быть хитрым и скрытным, как все другие. Тогда любил уверять себя, будто действует проницательно, предусмотрительно, трезво и хладнокровно. Но всего этого хватало лишь до тех пор, пока все шло гладко и пока, в сущности, нв хитрость, ни хладнокровие не подвергались настоящему испытанию. При первом препятствии, при первом же столкновении с ложью, с обидой, с несправедливостью, то есть как раз когда хитрость и хладнокровие действительно становились нужны,— Державин терял терпение, срывался и уж тут давал волю своей горячности. Не смотрел ни на что, шел прямиком, делался «в правде черт», как однажды сам о себе сказал.

Подъезжая к Симбирску, постановил он понравиться Панину, чтобы тот сложил гнев на милость. Решил выказать себя с лучшей стороны, пустить в ход все: и благонравие, и почтительность, и скромность, и даже свою горячность и прямоту — в той самой мере, насколько они могут понравиться начальству. Это была особенно тонкая хитрость, и Державин особенно на нее рассчитывал.

В Симбирске он прежде всего явился к Голицыну: Панин был на охоте, Державин его даже встретил, приближаясь к городу.

Увидев гостя, Голицын перепугался:

— Как? Вы здесь, зачем?

— Еду в Казань по предписанию генерала Потемкина, но рассудил главнокомандующему засвидетельствовать свое почтение.

— Да знаете ли вы, что он недели две публично за столом более не говорит ничего, как дожидает от государыни повеления повесить вас вместе с Пугачевым?

— Ежели я виноват, то от гнева царского нигде уйти не могу.

— Хорошо,— сказал князь,— но я, вас любя, не советую к нему являться, а поезжайте в Казань к Потемкину и ищите его покровительства.

— Нет, я хочу видеть графа.

Вечером Панин приехал с охоты. Пошли в главную квартиру. Панин сидел у себя в кабинете, с ним был Михельсон. Державин представился. Ничего не отвечая на представление, Панин важно спросил:

— Пугачева видал?

Это опять был намек, но Державин, решив быть смирным, сделал вид, что не понял. Ответил почтительно:

— Точно так, видел на коне под Петровском.

Граф отвернулся и сказал Михельсону:

— Прикажи привести Емельку.

Привели самозванца; он был в широком, потертом тулупе, по рукам и ногам в оковах. Вошед, он стал перед Паниным на колени. Лицо у него было круглое, волосы и борода окомелком, черные, всклокоченные; глаза черные, с желтыми белками. На вид ему было лет тридцать пять или сорок.

— Здоров ли, Емелька? — спросил Петр Иванович.

— Ночи не сплю, все плачу, батюшка, ваше графское сиятельство.

— Надейся на милосердие государыни,— сказал Панин. Ни на какое милосердие Пугачеву рассчитывать не приходилось.

Его увели. Панин «весьма превозносился» тем, что самозванец в руках у него, а не у Державина и не у Потемкина. Для того и разыграна была вся сцена. Державин крепился.

После этого пошли ужинать. Панин не отпустил Державина, но и не пригласил к столу. Тогда-то благоразумие и покинуло «гвардии офицера»: он вспомнил с негодованием, что пред отъездом из Петербурга, находясь при карауле в Зимнем дворце, получал приглашение к столу самой государыни: «то без особого приглашения с прочими штаб- и обер-офицерами осмелился сесть». Ужин начался. Вдруг Панин, окинув взором сидящих, увидел Державина, которого недавно за тем же столом грозился повесить. Сперва он нахмурился, потом заморгал глазами (такая была у него привычка), потом встал и вышел из-за стола, сказав, что забыл отправить курьера к императрице. Державин спокойно отужинал.

На другой день, еще до рассвета, он вновь явился. Его провели в галерею, служившую приемной. Там он прождал несколько часов. Один за другим собрались офицеры. Наконец Панин вышел. Он был в широком атласном шлафроке, светло-серого цвета и в большом колпаке французского фасона, перевязанном розовыми лентами. Он стал ходить по галерее взад и вперед, не заговаривая ни с кем и не удостоив Державина даже взглядом. Долго Державин ждал, но внезапно терпение его покинуло. Он внезапно подошел к Панину, однако «с почтением»:

— Я имел несчастие получить вашего сиятельства неудовлетворительный ордер; беру смелость объясниться.

Панин все еще шел — Державин взял его за руку и остановил. Панин вытаращил глаза, потом приказал следовать за собой.

В кабинете поднялась буря. Все саратовские вины Державина вновь и вновь ему перечислены. Пока Панин кричал, Державин успел припомнить благие свои намерения. Он выслушал генеральские окрики «с подобострастием» и разом пошел с главных своих козырей: с лести и простодушия:

— Это все правда, ваше сиятельство,— сказал он,— я виноват пылким моим характером, но не ревностною службою. Кто бы стал вас обвинять, что вы, быв в отставке, на покое и из особливой любви к отечеству и приверженности к высочайшей службе всемилостивейшей государыни, приняли на себя в толь опасное время предводить войсками против злейших врагов, не щадя своей жизни? Так и я, когда все погибло, забыв себя, внушал в коменданта и во всех долг присяги к обороне города.

Все это «с чувствительностию выговорено было».

Сердце Панина дрогнуло. Значит, этот молодой, пылкий, такой неопытный в жизни, такой прямодушный офицер действительно верит, что он, Панин, пошел предводить войсками из особливой любви и приверженности, не щадя жизни и проч.? В словах Державина он увидел себя прекрасным. Слезы ручьем покатились из глаз его — а ведь умный был человек! Он сказал:

— Садись, мой друг, я твой покровитель.

Потом пришли генералы, зашла речь о вчерашней охоте. Панин хвалился, что очень была успешна. Потом, веселый и бодрый, пошел переодеваться, вновь вышел и пригласил всех к обеду. Державину указал место против себя и говорил почти с ним одним, рассказывая все о том же: как до его, Панина, назначения главнокомандующим дворянство московское ничего не делало для защиты отечества, а после назначения — все делало и ничего уже не жалело. После обеда он пошел отдыхать.

У Панина в штабе было как при дворе: в шесть часов генералы и офицеры опять к нему собирались. Так было и в этот вечер. Увидев Державина, полководец опять к нему устремился. Повествовал о семилетней войне, потом о турецкой, а всего более о том, как он взял Бендеры. При этом пустился в нравоучения, говорил непрестанно и на все лады, что молодым людям во всех делах подобает прежде всего почтительность, а потом *практика*, главное — *практика*.

Потом он сел играть в вист с Голицыным, Михельсоном и еще с кем-то. Державин долго смотрел на игру — и вдруг ему стало скучно. Он забыл мгновенно и все благие свои намерения, и только что выслушанный урок о *практике*. Надобно было ему как можно дольше остаться при Панине, делать вид, что не хочет расстаться с ним, что Потемкина с его секретной комиссией совсем забыл... Вместо того подошел он к графу и доложил, что сейчас едет в Казань к генералу Потемкину,— так не будет ли каких поручений?

Лицо Панина дернулось гневом. Но он отвернулся и холодно сказал:

— Нет.

Державин нажил врага.

* * *

Когда Пугачев брал Казань, державинский дом был разграблен, сама же Фекла Андреевна попала в число тех «пленных», которых башкиры, подгоняя копьями и нагайками, увели за семь верст от города, в лагерь самозванца. Там поставлены были пленники на колени перед наведенными пушками. Женщины подняли вой — их отпустили. Ни жива ни мертва вернулась старуха в Казань. Сын, приехав, застал ее в горестях. Деревни Державиных — и казанские, и оренбургские — тоже оказались разорены.

Дома было уныние, в служебных делах — неприятности. Потемкин был неспособен на бурный гнев, подобный панинскому. Но он был обижен: зачем Державин не перехватил Пугачева у Панина? зачем объяснения по саратовским делам представил прямо Панину, а не через секретную комиссию? Впрочем, эти вздорные неудовольствия Державину, вероятно, удалось бы рассеять. Но к ним вскоре прибавилось еще одно — неизгладимое: между генералом и офицером возникло «небольшое любовное соперничество, в котором, казалось, одною прекрасною дамою офицер предпочитаем был генералу». Потемкин придумал способ избавиться от соперника: приказал опять ехать на Иргиз — искать Филарета, раскольничьего старца, который, по слухам, некогда благословил Пугачева на принятие императорского имени. Делать нечего — стал Державин готовиться к отъезду. Но в суетах, разъезжая по городу в сильный мороз (был уже ноябрь), он простудился и слег.

Он пролежал долго, месяца три. За это время его товарищи по секретной комиссии были отпущены в Москву; на поиски Филарета Панин отправил целые воинские команды; посылка Державина теряла смысл, но Потемкин хотел сорвать злобу: несмотря ни на что, велел ехать.

В конце февраля вновь увидел Державин места знакомые — Малыковку и колонии. Но какая разница! Год назад он приехал сюда любимцем Бибикова — теперь чуть не ссыльным; тогда манили его честолюбивые замыслы — теперь от них ничего не осталось; тогда он был в упоении властью — теперь обречен унизительному бездействию. В Малыковке управляют другие люди. Пугачевщина отшумела. Герой Бибиков умер, как и пройдоха Серебряков. В Москве, на Болотной площади, упала под топором голова Пугачева.

Только в Шафгаузене, у немцев, все, как будто, по-прежнему. Тот же радушный и обходительный крейс-комиссар Вильгельми, у которого иногда Державин гостил, приезжая сюда по делам или просто отдохнуть в свободные дни; та же милая фрау Вильгельми, Елена Карловна, для которой Державин в Малыковке закупал муку (там была дешевле). Впрочем, и перемены чувствуются: понемногу прилежные немцы уже забывают бурные дни пугачевщины. Но Державину здесь всегда рады по-прежнему; здесь берегут его уязвленное самолюбие; здесь он среди друзей; иногда заходит почтенный Карл Вильмсен, простой колонист, но любитель наук и поэзии.

Державин почти все время стал проводить в Шафгаузене.

Год назад он здесь начал оду Екатерине, но оборвал,— бросился на выручку Яицкого городка (досадное воспоминание!). Потом, пораженный известием о смерти Бибикова, он здесь же взялся за другую оду — и тоже не кончил: было не до стихов.

Теперь, на досуге, он их кончает. В оде императрице по-прежнему больше слов, чем мыслей. «На смерть Бибикова» удается лучше. Державин пишет по всем правилам одической строфы, но странная мысль приходит ему: в знак скорби лишает он оду рифмы. Потом тяжело, точно топором, отрубает стопы; громоздит согласные; ямбический женский стих кончает спондеем. Многое еще не дается, он еще не вполне сознает, что делает, собственные влечения неясны ему, но суровый, глухой, погребальный стих местами звучит уже так, как раньше не звучал он ни у кого. Еще *державинский* стих не найден, но это уже не ломоносовский, и в самой поэзии Державина что-то сдвинулось:

Не показать мое искусство,
Я здесь теперь пишу стихи,
И рифм в печальном слоге нет здесь...
Пускай о том и все узнают:
Я сделал мавзолей сим вечный
Из горьких слез моих тебе.

Верстах в семи от колонии, в степи, тянется параллельно Волге цепь песчаных холмов. Речка Вертуба проворно стекает отсюда к Волге. Немцы зовут ее Watlbach. Самый большой из холмов всего ближе к Шафгаузену; он носит татарское имя — Читалагай. У подножия залегло болото, поросшее высокой травой вроде камыша. На самой горе, на ее плоском песчаном темени, оберегая колонию от набегов, еще недавно стояли пушки; Державин сам их привез сюда, сам выбрал место. Вот и просторный шанц, построенный четырехугольником; он совсем еще цел...

В мыслях Державина Читалагай связан с книгой, недавно взятой у Вильмсена. На заглавном листе, без имени автора, стоит просто: «Vermischte Gedichte». Это — переведенные на немецкий язык стихи Фридриха II. Их французский подлинник вышел тому назад лет пятнадцать под более многозначительным заголовком: «Poésies diverses du philosophe de Sans-Souci».

Дотоле ни одна книга не поражала Державина так, как эта. Здесь, подле пустынного Читалагая, на пепелище недавних надежд, стоические оды «беспечного философа» отвечают чувствам Державина и помогают ему разобраться в мыслях. В этих стихах Державин находит и объяснение своему настоящему, и суровые, но возвышенные девизы для будущего. Его величество король прусский, насмешник и острослов, может быть, усмехнулся бы, если бы увидел восторженный пыл дальнего своего поклонника. Но для Державина эти оды сейчас — Евангелие. Кто их автор, он, кажется, еще и не знает. Он выбирает из них четыре и переводит, но с таким жаром, как если бы творил сам. Переводит прозою, потому что боится хоть чем-нибудь погрешить против подлинника.

«*Жизнь есть сон*. О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь!.. Лишь только ты родился, как уже рок дня того влечет тебя к разрушающей нощи... Это вы, которые существуете на то, чтоб исчезнуть,— это вы стараетесь о славе?.. Прочь, печали, утехи, и вы, любовные восхищения! я вижу нить дней моих уже в руках смерти. Имения, достоинства, чести, власти, вы обманчивы и яко дым. От единого взгляда истины исчезает весь блеск проходящей красоты вашей. Нет на свете ничего надежного, даже

и самые наивеличайшие царства суть игралище непостоянства... Терзаемая беспрестанно хотением и теряемая в ничтожестве! Сей есть предел нашей жизни».

Удрученный горестями, Державин учится взирать на жизнь с высоты. Он переводит другие оды, в которых речь идет. как нарочно, о том, что его терзает. Он пострадал от клеветы — и вот ода на клевету: «Я узнаю тебя по подлым изворотам лица твоего, варварское порождение зависти!..» Он наживает сильных врагов, потому что ему не по нраву пресмыкаться и льстить,— вот «Ода на ласкательство»: «Оно, приседя непрестанно при подножиях трона, фимиамом тщеты окружает оный и упоевает им мужей и царей великих. Личиной учтивости прикрывается пресмыкающаяся подлость лживых его потаканий... Восстаньте из упиения вашего, государи, князи, мудрецы и герои, и победите слабость вашу, владычественные лавры ваши делающую поблеклыми. Мужайтеся, бодрствуйте против ласкателей и разбейте неверное зеркало, сокрывшее пред вами правду»...

Но «Ода на постоянство», «Die Standhaftigkeit», душе его ближе всех. Многое в ней применяет он к своей участи — и извлекает высокие правила для будущего: «Во всех наших участях беды с нами: я вижу Галилея в узах, Медицис в заточении и Карла на месте лобном... Здесь похищенное у тебя счастие возжигает в тебе отмщение; тамо неповинное твое сердце прободают стрелы зависти; тут изнуряющая скорбь разливает свои страхи на цветущее твое здравие. Сегодня больна жена, завтра мать, или брат или смерть верного друга, заставляют тебя проливать слезы... Итак, в смущенных днях, противу всех наветов твердость щит... Когда бозлливая подлость исчезает без надежды, тогда крепкий дух мужаться должен... Чуждуся я Овидия: печален, грустен, бозлив и даже в самой бедности ползающий льстец своего тирана не имеет ничего мужественного в сердце своем. Должно ли заключить из его жалоб, что, кроме пышных стен Рима, нет нигде надежды смертным? Блажен бы он был, когда бы в своем заключении, как Гораций, сказать мог: „Счастие мое со мною!"... Велизария я более чту в его презрении и в нищете, нежели на лоне его благополучия... Сие же опыт совершенной добродетели, когда сердце в жестокостях рока растет и возвышается...»

В жизни каждого поэта (если только не суждено ему остаться вечным подражателем) бывает минута, когда полусознанием, полуощущением (но безошибочным) он вдруг постигает в себе строй образов, мыслей, чувств, звуков, связанных так, как дотоле они не связывались ни в ком. Его будущая поэзия вдруг посылает ему сигнал. Он угадывает ее — не умом, сердцем. Эта минута неизъяснима и трепетна, как зачатие. Если ее не было — нельзя притворяться, будто она была: поэт или начинается ею, или не начинается вовсе. После нее все дальнейшее — лишь развитие и вынашивание плода (оно требует и ума, и терпения, и любви).

Такая минута посетила Державина весною 1775 года. Начав переводом, Державин перешел к творчеству. Он успел написать лишь две оды — «На знатность» и «На великость». В них есть явные отголоски од фридриховых, но сильней отголосков — собственный голос Державина. В зеркале, поднесенном рукою Фридриха, Державин впервые увидел свое лицо. Новые, дерзкие мысли, пробудясь, повлекли за собою резкие образы и новые, неслыханные дотоле звуки. Державин впервые нащупал в себе два свойства, два дара, ему присущих — гиперболизм и грубость, и с этого мига, быть может, не сознавая того, что делает,— начал в себе их вынашивать, обрабатывать. Эти две оды — первые, тяжкие камни, которые, в жару вдохновения и в трудовом поте, надрываясь, вскатил он на темя Читалагая — для своего памятника. То срываясь и падая, то достигая совершеннейшей точности, то дико косноязычествуя, Державин карабкается на свой Парнас. Можно сказать — берет его приступом. Сила его родится от гнева и добродетели. Берегитесь теперь, вельможи,— Панины и Потемкины:

Не той здесь пышности одежд,
Царей и кукол что равняет,
Наружным видом от невежд
Что вмя знати получает,
Я строю гусли в тимпан;
Не ты, сидящий за кристаллом,
В кивоте, блещущий металлом,
Почтен здесь будешь мной, болван!
На стогн поставлен, на позор,
Кумир безумну чернь прельщает;
Но чей в него проникнет взор —
Кроме пустот не ощущает.
Се образ ложныя молвы,
Се образ грязи позлащенной!
Внемлите, князи всей вселенной:
Статуи, без достоинств вы!..

Другую оду он начинает темными, но величественными словами, в которых призывает к себе *Великость:* величие духа. Он хочет, чтобы она вдохновила его поэзию, и сам несет ей свои обеты.

Живущая в крутах небес
У Существа существ всех сущих,
Кто свет из вечной тьмы вознес
И твердь воздвиг из бездн борющих,
Дщерь мудрости, душа богов!
На глас моей звенящей лиры
Оставь гремящие эфиры
И ставь среди моих стихов!
. . . .
Светила красныи небес,
Теперь ко мне не наклоняйтесь;
Дубравы, птицы, звери, лес,
Теперь на глас мой не сбирайтесь:
Для вас высок сей песни тон.
Народы! вас к себе сбираю,
Великость вам внушать желаю,
И вы, цари! оставьте трон.
. . . .
Высокий дух чрез все высок,
Всегда он тверд, что ни случится:
На запад, юг, полнощь, восток
Готов он в правде ополчиться.
Пускай сам Бог ему грозит,
Хотя в пыли, хоть на престоле,
В благой своей он крепок воле
И в ней по смерть, как холм, стоит.

В таких мыслях он прожил почти три месяца. Внезапно всем офицерам гвардии приказано было явиться в Москву: Екатерина торжествовала мир с Турцией. Со своих высот Державин спустился на землю и опрометью кинулся в Москау. Участь его должна была там решиться. Заветную немецкую книгу он второпях забыл вернуть собственнику. Потом, по дороге, оставил ее в Казани. А через девяносто лет почтенный ученый купил ее там же на рынке, совсем истрепанную. На заглавном листе, старинным почерком, было выведено: Karl Wilmsen.

* * *

Кн. Щербатов, не тот, что временно после смерти Бибикова был главнокомандующим, а другой, герольдмейстер Сената, известный историческими своими трудами, до такой степени спешил познакомиться с Державиным, что написал свияжскому воеводе Чирикову письмо: «Когда будет проезжать мимо вас некто гвардии офицер Державин, находящийся теперь в вашем краю, то скажите ему от меня, чтоб увиделся со мною в доме моем, когда приедет в Москву».

Такое странное приглашение удивило Державина, но и возбудило в нем сильную надежду приобрести покровительство этого высоко стоящего человека. Державин решил побывать у Щербатова непременно.

Посещение, однако же, пришлось отложить. Начальство в Преображенском полку сменилось. Державин был встречен без всякого внимания. Велено было просто числить его при полку, словно вернулся он из отпуска. Это крайне его уязвило. Командовал полком теперь граф Григорий Александрович Потемкин, фаворит. Без покровителей добиться его внимания казалось немыслимо. Державин в тот же день бросился к Голицыну и к другим генералам, которые некогда обещали представить его даже «прямо к высочайшему престолу». Куда там! Теперь усмирители Пугачева и победители турок рвали чины и награды из рук друг у друга. Хлопотать за Державина — того и гляди, что свое упустишь. От него отвернулись. Тут бы и обратиться за помощью к Щербатову.

Но на другой день нарядили Державина в дворцовый караул. Преображенцы были одеты в новую щегольскую форму, по вкусу Потемкина. Выстроились перед дворцом. Сам фельдмаршал граф Петр Александрович Румянцов явился в окне, вместе с Потемкиным, который хотел перед ним похвастаться. Рота должна была проходить повзводно. Державин скомандовал:

— Левый стой, правый заходи!

Вместо блестящего захождения вышло одно замешательство: солдаты не знали, что делать, потому что без Державина введена была новая команда — «вправо заходи». Потемкин рассвирепел и приказал, когда полк выступит на Ходынку в лагерь, нарядить Державина в палочный караул. «Сие наипаче поразило честолюбивую его душу». Давно ли вверено было ему важное поручение? Давно ли через свои сообщения двигал он корпусами? Давно ли хозяйничал в казначействах, соперничал с губернаторами, наводил ужас и карал смертью? А теперь, без всякого уважения, поставлен в палки, как негодяй.

Внезапно над головой Державина разразилась еще одна буря. Два года тому назад, живя в деревянных покойчиках госпожи Удоловой и водя веселую дружбу с поручиком Масловым, он по приятельству поручился за вертопраха в Дворянском банке. В два года Маслов совсем замотался, бежал в Сибирь и там скрылся. Теперь с Державина требовали весь банковский долг. Сверх того, так как он, не имея собственной недвижимости, не имел права ручаться за Маслова, то его привлекли за подложное ручательство, а денежное взыскание было обращено на имение его матери. Для старухи это был жесточайший удар: все, что она с таким трудом собирала больше двадцати лет, теперь должно было пойти прахом. Добыть нужную сумму из деревенских доходов не было никакой надежды. Правительственные войска, шедшие на выручку Оренбурга в числе 40 000 подвод, в две недели разорили державинские земли дотла, солдаты съели весь хлеб, забрали солому и сено, уничтожили скот и птицу, пожгли дворы и обобрали крестьян до нитки, отняв одежду и все имущество. За все это с казны причиталось Державиным тысяч двадцать пять, но Голицын, в руках которого находилось дело, насилу-то согласился выдать квитанцию на семь тысяч. Словом, беда шла со всех сторон. Только награда за действия против Пугачева могла бы спасти Державина. Теперь надобно было ее добиваться не из тщесла-

вия (хоть и тщеславие было больно уколото) — но ради пропитания. Вся надежда была на Щербатова. Державин к нему поехал.

Историк принял его наиприятнейшим образом. Тотчас объяснилось и особливое желание князя с ним познакомиться. Вместе с другими бумагами, относящимися к пугачевщине, получил Щербатов от государыни державинские реляции. Историки жадны до документов. Щербатов смекнул, что у Державина должно быть еще немало любопытных бумаг и сведений; рассыпался в любезностях; предлагал даже несколько покоев у себя в доме; не скупился на похвалы.

— Но при всем том,— прибавил он,— вы несчастны. Граф Петр Иванович Панин — страшный ваш гонитель. При мне у императрицы за столом описывал он вас весьма черными красками, называя вас дерзким, коварным и тому подобное.

Теперь Державин окончательно понял, откуда идут на него напасти. Он сказал князю:

— Когда ваше сиятельство столько ко мне милостивы, что откровенно наименовали мне моего недоброхота, толь сильного человека, то покажите мне способы оправдать меня против оного в мыслях моей всемилостивейшей государыни.

— Нет, сударь,— ответил Щербатов,— я не в силах подать вам какой-либо помощи; граф Панин ныне при дворе в великой силе, и я ему противоборствовать никак не могу.

— Что же мне делать? — в отчаянии воскликнул Державин.

— Что вам угодно. Я только вам искренний доброжелатель.

На этом они расстались. Последняя опора рушилась. Приехав на квартиру, Державин захлопнул ставни, сел, задумался, крутые брови его сдвинулись к переносице, пухлые щеки вздулись, углы широкого рта растянулись еще более и поползли книзу, тяжелый нос покраснел... Лейб-гвардии поручик, усмиритель Пугачева, автор стоических од сидел в темноте и плакал.

* * *

Екатерина купила у князя Кантемира подмосковную деревню Черные Грязи (что впоследствии стала селом Царицыным). Здесь, в маленьком домике о шести всего комнатах, уединялась она с Потемкиным. Утром 11 июля граф сидел у себя в уборной; его причесывали. За дверью дежурил камер-лакей. Но вот послышался гневный говор, лакей отлетел в сторону, гвардейский офицер вошел в комнату и подал письмо, в котором его заслуги и бедствия были перечислены. «Вот обстоятельства под командою вашего сиятельства служащего офицера. Для чего я обижен пред ровными мне? Дайте руку помощи и дайте прославление имени вашему. Сиятельнейший граф, милостивый государь, вашего сиятельства всепокорнейший и послушнейший слуга Гавриил Державин». Так заканчивалось письмо.

Прочитав, Потемкин сказал, что доложит государыне. Прошло несколько дней, и Державин узнал, что приказано его наградить, а как — он узнает в Преображение, 6 августа (это был день полкового праздника). 6 августа наступило. Офицеры были приглашены на Черные Грязи к обеду, императрица присутствовала. Державин все ждал, когда будет объявлено об его награждении,— да и не дождался. Потерпев еще сколько-то, вновь явился к Потемкину. Но, завидев его, вельможа вскочил с досадой — и вышел вон. Последние деньги меж тем подходили к концу. Масловский долг висел над душой. Державин со дня на день ждал, что его потянут в суд. Кроме голицынской квитанции на получение семи тысяч, у него не было ничего. Но чтобы получить эти деньги, надо было ехать в Петербург. Державин туда отправился, надеясь кстати похлопотать: нельзя ли добиться каких-нибудь облегчений по масловскому делу?

В Петербурге выяснилось, что единственная для него надежда — попридержать ход дела, покуда придет обещанная награда. Державин стал обивать судейские пороги. Время шло, полученные семь тысяч таяли. За время пугачевщины он совсем обносился и растерял все добро свое. Пришлось обзаводиться платьем, бельем, экипажем. В отчаянии Державин еще раз писал Потемкину — на сей раз ответа не было вовсе.

К середине октября, за уплатою некоторых долгов, осталось всего пятьдесят рублей. Как их употребить? Не видно было другого выхода, как только искать счастия старым способом. Семеновского полка капитан Жедринский держал нечто вроде игорного дома. Державин туда поехал и в первый же вечер выиграл тысяч восемь. Затем, развивая игру, он в несколько дней оказался обладателем целых сорока тысяч. Фортуна ему доплатила то, что не додано было отечеством.

Половина выигрыша тотчас же пошла на покрытие масловского долга. Этот камень, наконец, свалился с души Державина. Однако будущее не сулило ничего доброго. Державин очутился в обстоятельствах худших, нежели те, от которых некогда кинулся он на усмирение Пугачева. Имения были разорены, госпожи Удоловой с ее уютными покойчиками уже не было, среди полкового начальства друзья сменились недругами.

Продолжение следует

Владимир ШАЛЫТ

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

Боковое стекло, ты безлико,
Слева, справа — тоска верениц...
Ветровое стекло — это книга,
Это веер горящих страниц!

Вижу: лошади, зайцы, собаки
Перекрашены музыкой фар,
Перекошены лица и знаки.
Внешний мир — разноцветный пожар!

Ветровое стекло — это ветер
Убегающих прочь площадей.
Ветровое стекло — это вечер
Красно-желто-зеленых людей.

Боковое стекло — это казни
Слева, справа распятых надежд.
Ветровое стекло — это праздник,—
Горизонт разноцветен и свеж!

Я не верю в число роковое.
Автогонка меня завлекла.
Но я знаю, стекло боковое —
Это тень ветрового стекла.

МОСКВА-ЦВЕТАЕВА

Ворота Новодевичьего тронутся,
Раскроются, как летопись, как сон.
Мне лебеди в пруду московском
вспомнятся,
Два лебедя — сплошной крылатый звон.

Вдоль берега тот звон лился серебряный,
И задевал верхушки тополей,
И замирал, дыханьем ветра прерванный,
И воскресал у крепостных камней.

Была Москва — и древняя, и новая —
Врисована в прозрачный синий цвет.
Там юная Цветаева, бессловная,
Цветаева,— как слепок, как портрет.

Люблю тебя навек, Москва-Цветаева,
Люблю тебя, Цветаева-Москва!
Люблю за то, что музыку оставила,
В весенних стаях окрылив слова.

⊡ ⊡ ⊡

Я начинаю сызнова, сначала.
Потеряно мной все и до конца.
Во мне иная песня зазвучала.

Я в поле белом, я в средине дня,
И ночь моя светла и многоцветна,
И темнота тепла вблизи огня.

И радостна мне эта новизна
Свободного стиха и, как вначале,
Свершение, как продолженье сна.

Я верую — бесспорен этот час,
Когда весна уходит за границу
Трех месяцев, не покидая нас.

СОВЕСТЬ В ПУСТЫНЕ

Небо закрыто деревьями сна.
Сад на песке умирает от жажды.
Совесть в пустыне, кому ты нужна?

Слышу опять разговоры песка —
Вот он лежит, умирая от жажды,—
Так от любви умирает тоска.

Что и отвечу? — любовь и вражда
Были на свете и стали песками.
Совесть в пустыне, кому ты нужна?

Совесть в пустыне, кому ты нужна?
Вот я уйду, и закончится повесть,
Но, как и прежде, под небом одна
В каждой песчинке останется совесть.

Александр КОВАЛЕВ

◻ ◻ ◻

Девушка, почти подросток,
в стопке с буквой «К» поищет,
улыбнется, скажет просто:
— Вам, товарищ, только пишут.

Не солжет, за ложь не взыщет —
мы ведь даже не знакомы,—
снова в букве «К» поищет
и подаст конверт другому.

А другой, он за конвертом
руку тянет, как за сдачей.
Что ему в посланьи этом? —
Он и без того удачлив.

Он прочтет письмо поспешно,
он конверт в руках повертит,
сунет в свой карман небрежно
и, быть может, не ответит.

Разве только вспомнит позже,
в день, когда под этой крышей
девушка еще моложе
скажет: — Вам, товарищ, пишут.

Не припомнит и не взыщет,
не прибегнет к слову злому.
Просто в букве «К» поищет
и подаст конверт другому.

◻ ◻ ◻

Рядом с тихим киоском у школы,
где торгуют «Вечеркой», «Футболом»,
«Огоньком» и газетою «Труд»,
в лыжной шапке и в куртке-болонья,
согревая дыханьем ладони,
кто сегодня стоит на ветру?

Он приходит к киоску у школы
каждый вечер в начале шестого —
перед самым последним звонком.
Он привык к этим ветреным вахтам,
потому что он учится в пятом,
а она, к сожаленью,— в шестом.

Впрочем, дальше вы знаете сами,
ибо в этой классической драме
с удивительно грустным концом
вы и сами играли когда-то,
потому что тогда были в пятом,
а она, как известно,— в шестом...

Рядом с тихим киоском у школы,
репетируя старые роли,
поколение входит в игру.
Присмотритесь с улыбкой
к подмосткам —
рядом с вашим газетным киоском
кто сегодня стоит на ветру?

◻ ◻ ◻

Чья-то память стародавняя
за стеной выводит шатко
довоенные страдания
на обшарпанной трехрядке.
Чьи-то пальцы,
как по краешку,
ходят медленно,
нетвердо,
трудно складывая клавиши
в позабытые аккорды.

Чей-то голос
кружит около,
вслед за клавишами
сбивчиво,
повторяя, точно проклятый,
незатейливый мотивчик.
Словно всей-то жизни главная —
хоть и незамысловатая —
эта память стародавняя,
недопетая когда-то.

◻ ◻ ◻

Значит, уже ничего не получится.
Это удобно —
пенять на распутицу.
Это естественно —
в письмах под занавес
вечно ссылаться
на страшную занятость.
Значит, уже ничего не случится —
голос не дрогнет
и взгляд не смутится.

Вместе с обычной, незначащей шуткой,
вновь равнодушно повешена трубка.

Значит, уже ничего не поможет...

Из дому выйду —
добрый прохожий
всепонимающе улыбнется...

Пусть ему это однажды зачтется.

М. КОНОНОВ

ПОПЕРЕК ТЕЧЕНИЯ

Вместе с работниками Главного управления культуры Ленгорисполкома и научными сотрудниками ленинградских музеев я участвовал в поездке по дамбе до Кронштадта. Цель — не только экскурсионная. Необходимо было решить судьбу защитных ряжей, обнаруженных гидростроителями на обнаженном дне залива. А также определить место будущего Музея истории морской защиты нашего города, борьбы его за море и с морем.

С трудом преодолевая притяжение центра, наш комфортабельный автобус миновал Петроградскую сторону, выбрался, наконец, на Приморское шоссе. Летний день сиял, но вода залива была по-болотному бурой, густой. Пояснив, что замутненность Невской губы — это всего лишь временное следствие намывных работ, наш гид, представитель заинтересованной организации, вернулся к теме, уже обсуждавшейся в первые же минуты поездки: о вине писателей и журналистов перед ленинградской дамбой.

— Я вам Паустовского — о Ленинграде нашем, о заливе — зря, думаете, цитировал? Нет, товарищи, к сожалению, не зря! Вот как раньше писатели о природе заботились! А теперь что пишут? Читали и «Литературке»? Выносят на неподготовленную ленинградскую аудиторию опусы академика Лихачева! Что он в гидростроительстве понимает? А поэт Михалков как выразился? «Я,— говорит,— не знаю, что сказал бы об этой дамбе Киров». Только полнейшее бескультурье свое показывают! Не дамба, а защитные сооружения! А другие писатели? Вечно лезут не в свои дела. И почему это, мол, с ними не посоветовались? А?

В ответ экскурсоводу донесся с заднего сиденья старческий подрагивающий голосок:

— Может, с ними и насчет космоса советоваться, да? Куда чего запускать!..

— А Паустовский что писал? — продолжал гид.— Я вам сейчас напомню! — Он угрожающе воздел перст: — Вот, цитирую по памяти: «Ленинградцы не замечают, что они морской город». И ведь действительно! Вспомните! Ничего, кроме чтива о том, что Петр «прорубил окно в Европу»,— о наводнениях наших — ни слова! Ни у Достоевского! Ни у Гоголя! А теперь мы решили, наконец, проблему выхода города к морю. Вот он, сейчас мы там будем! — Он широко повел рукой, и верный черный галстук лизнул его колени.— Паустовский как писал? «Для некоторых это грязная „маркизова лужа“, а на самом деле...» Там у него дальше красивое что-то, туманное. В общем, понимал человек!

Взглянув на меня с победной улыбкой, гид оборотился к окну и стал любоваться далью, вздыхая широкой грудью освобожденно, словно мы ехали не в закрытом душном автобусе, а на прогулочном катере по синим волнам.

Я опустил голову. Тяготило неясное чувство вины. Не то от неточных цитат, не то от помянутых всуе высоких имен. А больше от интонаций голоса гида, словно уверенного, что и право его на откровенную угрожающую враждебность к противоположному мнению оплачено в законном порядке, как, скажем, этот полупустой автобус с уютными занавесками.

Действительно, как это не сообразил Достоевский, где собака зарыта? А Гоголь из-за чего мучился? Не мог себе простить, что не нашел в жизни убедительной альтернативы, светлого противовеса миру призраков, шаржей, исчадий... Вот же она, эта гармоничная альтернатива. Панацея от всех противоречий современного города-гиганта. Мы проедем по дамбе в

светлое будущее, где само море возблагодарит нас за новые, рукотворные течения древних вод, которые нам помогут прочистить не авгиевы конюшни саму душу города. Ибо только с душой жизни, не менее, хотелось мне сравнить стакан прозрачной невской воды, напитавшей почти три века ленинградской русской культуры. Этой хрустальной водой утоляли жажду болотной лихорадки первые строители Северной Пальмиры. На ней замешивали известковый раствор для кладки легчайших дворцов. «И пунша пламень голубой», солнце нашей литературы, Пушкин,— тоже «Невы державное теченье». Пушкин, автор, по словам нашего гида, «чтива о том, что Петр „прорубил окно в Европу“...»

Человек сетует порой на время своей судьбы. Одному ни часы, ни годы не приносят покоя. Другого не оставляет беспокойство, даже страх — не успеть исполнить свое предназначение. Третьи, поддерживая свою уверенность в необходимости происходящего, повторяют строчки известного ленинградского поэта: «Времена не выбирают, в них живут и умирают...»

Ленинградский инженер-гидролог Гелий Гетманский погиб в расцвете сил.

В смерти его винить некого. Транспортное средство, доставлявшее Гетманского в запланированный район Невской губы, потерпело аварию. Это было весной семьдесят восьмого года. Ладожский лед выходил в залив, и Гетманский, сотрудник Ленгидроэнергопроекта, очень хотел пронаблюдать, каким путем разойдутся пласты льда в том районе, где впоследствии встанет защитная дамба. Результат наблюдений мог помочь институту в расчетах, по которым проектировщики будут принимать окончательное решение.

О последнем дне и непростой судьбе Гелия Гетманского рассказали мне его друзья — инженеры, исследователи, полярники, преподаватели ленинградских вузов. Просили написать о погибшем товарище. Он был центром большой компании бывших однокашников, выпускников Ленинградского гидрометеорологического института. Он был из них самым... Скажу пока только одно — друзья иногда называли его так: Гелиос.

Говорят, что есть проект монумента в честь строителей защитной дамбы. Там должна быть мемориальная доска с именами тех, кто за эту работу отдал жизнь...

И мне, и многим ленинградцам известны некоторые из этих имен.

Агалаков, главный инженер проекта. Нет, он не стал жертвой аварии. Просто не выдержало сердце.

Инженер Гидропроекта Владимир Садков — тоже инфаркт.

Погиб на служебном посту инженер Соколин, работавший в Ломоносове...

Прервем траурный список. Погибших героев чествуют после боя. После победы, добытой ценой их жизней, их оборванных судеб.

И Ленинград хочет верить, что главным памятником честным работникам станет безупречное воплощение наших общих сил и надежд — великолепный образец искусства гидростроителей, архитекторов, рядовых огромной стройки.

Ленинград хочет верить. И не хочет верить в то, что венцом творчества ленинградцев по нашему собственному недосмотру окажется сооружение столь далекое от совершенства, как далеки прославленные гранитные набережные от гиблых болот.

Но возможно ли такое?

Вопрос этот не оставляет меня давно. Очень многие друзья Гетманского связаны с проектом и строительством защитных сооружений — кто косвенно, а кто и прямо. Кто прямо, а кто и косвенно утверждает сегодня: если не принять срочно надлежащие меры, дамба станет не победой нашей — бедой.

Догадывался ли об этом Гелий Гетманский тогда, в конце семидесятых? Проект еще не был утвержден. И, как все, гидролог Гетманский верил твердо: окончательный вариант будет разработан с учетом всех объективных научных данных. Последний выход его на акваторию предлагали отменить по погодным условиям. В кармане у Гетманского лежали билеты на премьеру в театр. Но такое интересное ледовое поле движется вниз по Неве! Данные можно получить просто уникальные...

— Гелий не был искателем риска,— утверждала Юлия Ивановна Казакова, работающая и сегодня в Ленгидропроекте.— Прирожденный гидролог-практик. Великолепно знал и любил технику, приборы. Умел заставить оборудование работать на полную мощность. Как-то после очередной экспедиции он поделился со мной добытыми данными. Я обратила внимание: никто до него не мог получить результаты подобного эксперимента в штормовой обстановке. «Тебя же могло волной смыть!» Смеется! Говорю ему: «Тебе о диссертации пора, в конце концов, подумать...» А он прихлопнул по ленте барографа: «Мне интересно — вот это!» Понимаете, ему было всегда интересно сделать, добыть то, что другим не давалось. Благодаря таким людям наука вперед идет. И кто-то строит на их трудах диссертации...

Человек этот интересовал меня не как удалец — как мастер. Умел «сделать, добыть». Понимал цену разумного риска. Необходимого, безусловно, в работе экспериментатора. А допустим ли риск при проектировании? Когда речь идет о системах многофункциональных, само существование которых должно быть так обеспечено экологически, так «вписано» в среду, чтобы и тени риска не подвергались взаимодействующие с ними акватории, лесные массивы, зоны нашего отдыха и самой жизни... Бывает ли в таких случаях риск разумным?

Недавно принято, наконец, решение о прекращении работ по сбросу северных рек. По ленинградской дамбе сегодня вы можете проехать в Кронштадт — великолепная победа! А в районе Лисьего Носа, Горской в воду лучше не заходить. Повышенные концентрации сточных продуктов в образованных дамбой «карманах», общая протяженность которых исчисляется уже в десяток километров,— один из результатов запланированного риска. Акватории курортных зон побережья — под угрозой. И строителям дамбы это известно.

Впрочем, простите, строителей дамбы не существует на свете. Попробуйте в разговоре с руководителями стройки произнести слово «дамба». Наверняка услышите отповедь.

— Какая дамба? Мы строим не какую-то там допотопную дамбу — современные защитные сооружения! Дамба — это что-то глухое, зажимающее любое течение. А у нас одиннадцать дамб. Одиннадцать! При чем тут дамба? Поймите главное: благодаря нашей защите обстановка на губе станет не хуже — лучше! Засорилось дно? Просочились стоки? Покажите — где? Ах, вот здесь? Пожалуйста! Вот эти ворота закрываем, а эти — открываем. И — все! Создается направленный сток. Он вам всю акваторию вычистит! Станет чище, чем было при Петре.

Уж не Геракл ли увел поборников проекта по пути очищения авгиевых конюшен? Для своего времени его идея была, безусловно, прогрессивной. Уже потому, хотя бы, что мифический Авгий выпасал знаменитых коней отнюдь не на берегу Ладоги, не на Васильевском острове. Геракл не рисковал пустить в залив с повышенной скоростью фосфаты ладожских отложений, отходы птицефабрик, тех предприятий Ленинграда, которые не обеспечены сегодня современной очистной техникой и не будут, вероятно, обеспечены завтра.

Главный инженер проекта Агалаков предупреждал: главное — очистные сооружения в Ольгине, Стрельне, Зеленогорске! Фразу эту можно услышать от каждого, кто, оставаясь, в силу служебной принадлежности, поборником уже почти осуществленного проекта, ратует за чистоту Невской губы.

Все больше узнавая о Гетманском, о его преданности работе, предельной добросовестности исследователя, я как бы принял его отношение к дамбе, словно к живому существу. Как к ребенку, лишенному судьбой кормильца и воспитателя. Понимаю натянутость сравнения, но верю простоте непосредственного ощущения. Допустим, что Гетманский не отвечал за дамбу в целом — за какую-то часть ее сложного механизма-организма, за определенные моменты ее существования. Но мы знаем, что организм частично здоровым или частично больным не бывает, не так ли?

Кто же перенял заботы о будущем нашего «трудного подростка», чья судьба сегодня привлекает внимание страны? Кто взял на себя ответственность за него? Агалакова вспоминают как рачительного отца. Тех, кто отдал за эту стройку жизнь,— как ее защитников. Сегодня мы ищем того, кто назовет себя трезво хозяином. Дамбы? Защитных сооружений? Наших общих ошибок, допущенных в запале дозволенности, не подкрепленной научно? Ему, хозяину, будет видней. С него спрос.

О сегодняшнем дне нельзя рассуждать, не касаясь истории.

Самое белое из всех белых пятен в биографии проекта — его прошлое. И далекое, и близкое. Винить ленинградскую общественность в отсутствии интереса к дамбе смешно. Но удобно: это дает основание говорить о ее «неподготовленности». Средства же массовой информации сообщали преимущественно о решениях и приказах, определяющих начало проектирования и его заведомо утвержденные сроки, о традиционно репортажных моментах закладки, стыковки, сопровождаемых непременными заверениями в скорой досрочной победе над стихией.

Дамбу окружает туман тайны.

Туман порождал слухи и легенды.

Развеять туманы тайн, окружающих дамбу, можно было простым способом: обнародовать экономическое обоснование строительства. Все знают, что оно имеется, о нем упоминается в парадных выступлениях, но никто его до сих пор не видал. Даже специалисты видели только отдельные выводы, которые вызывали порой удивление, вопросы и насмешки.

Особенно излюблен гидроинженерным фольклором знаменательный момент утверждения проекта.

Легенда первая. Доведенный борьбой до предынфарктного состояния, главный инженер проекта находит таинственные аргументы в тайном конфиденциальном разговоре с лицом облеченным. Убежденное лицо садится в самолет и вместе с главным инженером, имеющим под мышкой проект, тут же вылетает в Москву. Там, тоже мгновенно, облеченное лицо вместе с главным инженером получают определяющую подпись. Разгадка: в Москве в это время главный противник проекта был болен. Мораль: удаль города берет!

Легенда вторая. Лицо, облеченное правом безапелляционной подписи, прилетает в Ленинград. Ему, между прочим, показывают строящуюся дамбу. Лицо, в очень довольном расположении духа, ставит искомую подпись. Мораль: умей встречать высокое начальство.

В жуткую суть этих «апокрифов» мы отказываемся верить и сегодня. Альтернативы же не имели! Альтернативой теперь становится наша бесстрашная готовность к самой широкой гласности, к откровенному разговору о сегодняшнем дне и будущем дамбы, залива, Ленинграда. Однако инерция заколдованности, одержимости безапелляционно принятым решением еще продолжается...

Встретив нас на стройплощадке, выступив с краткой обнадеживающей речью в штабе стройки, энергичный, подтянутый представитель мощной строительной организации принял полномочия нашего гида. Мы проезжали по бетонным настилам, выходили на смотровую площадку, старались запомнить круглые цифры.

Поездка продолжалась в мягкой гамме зелено-коричневых тонов. К Кронштадту уходил сырой серо-бежевый песок высокой насыпи, по которой пойдет со временем шестиполосная автострада, часть кольцевой дороги в объезд города, ради которой, если верить строителям, они в основном и торопятся. Над заливом и берегом в отдалении, где на темном горизонте выделялись белые, беззащитные в своей белизне, параллелепипеды курортных городков, громоздились грязно-охристые тучи. Водоросли на валунах вдоль тела дамбы, словно выложенная на просушку, только что выкрашенная в малахитовую зелень добротная прибалтийская шерсть. И зеленовато-кофейный бульон Невской губы...

Лет десять назад я часто купался в заливе — в Зеленогорске, Ушкове, в районе поселка Серово. В прошлом году мне довелось выступать в пионерлагере в этом поселке с рассказами о природе. На обратном пути долго шел по берегу залива, увязая в грязном песке. Все выбирал место, где окунуться. И удивлялся, где тут и кто лакокрасочную фабрику, что ли, поставил? И почему стоки все сплошь зеленые? Администрация, быть может, спутала, из какой трубы на траву стоки лить, из какой — в залив?

Друзья биологи потом растолковали, в чем дело. В семьдесят девятом году биологическую очистку проходили лишь три процента ленинградских стоков. Сейчас, после ввода очистных сооружений на острове Белом, современную очистку проходит уже пятьдесят процентов сточных вод. Полная очистка стоков запланирована к девяносто пятому году. Лет через пятнадцать, стало быть, вполне можно будет купаться хоть в любом месте Невской губы. К тому времени, надо надеяться, очищенной от ладожских фосфатов, промытой створами перегородившей природное течение дамбы...

— А если не получится, мы ее взорвем! — бодро утешил нас в финале долгого, аргументированного с обеих сторон спора один из поборников проекта.

Меня поразила простота этой мысли. Но в следующий миг она мне показалась логичной. Ведь если можно построить, не спрашивая мнения горожан, то кто же запретит и разрушить?

Глядя в окно нашего комфортабельного автобуса, плывущего по недавнему морю уже посуху, я радовался одному: не видит этих зеленых камней, этой кофейной волны Гелий Гетманский, не видит Агалаков...

С крыши форта «Константин» мы наблюдали панораму Кронштадта, стройки. Вдали, над обнаженным бежевым дном, возвышались темные бастионы ряжевых заграждений, воздвигнутых нашими предками для защиты от неприятельского флота. Целый городок темных мореных срубов. Мы подъезжали к ним вплотную, и можно было коснуться сохраненных морем венцов, слитых в монолит единой работой. На расстоянии нескольких метров друг от друга, как литые скалы, вросшие в дно, не достиган поверхности вод, не преграждая путь природным течениям и корюшковым густым косякам, не выдерживающим сегодня единоборства с бетонными узкими створами дамбы, ряжи более двух веков несли тайную верную службу на подступах к Кронштадту и нашему городу. Сруб каждого ряжа — высотой в современный дачный дом и такого же объема. Его ставили на льду, спускали прочную избу без крыши на дно и заполняли через прорубь валунами. Так расчетливо и надежно, что до сих пор гряда камней над краем сруба подымается ровной горкой.

— Сохранить! Во что бы то ни стало! Перенести — и сохранить! Хоть пару ряжей сохранить! — взволнованно говорил представитель Эрмитажа.— Это памятник нашей культуры... Это просто величественно, наконец!..

И я снова вспомнил спокойную уверенность моего недавнего собеседника в том, что дамбу «а случае чего» можно просто взорвать...

— А здесь, на форту «Константин», прекрасное место для музея,— мечтательно проговорил сотрудник Музея истории города.— Чтобы вся история борьбы с морем — как на ладони!

— На крыше форта строители намерены поставить центральный пульт управления. Морзащитой управлять отсюда очень удобно! — Представитель стройки поставил ногу в кроссовке на выступ замшелого крепостного монолита.

— Только через наш труп! — спокойно постановила женщина из Музея истории Ленинграда.

— Только через наш труп,— кивнул седой высокий человек из Эрмитажа.

В этих, почти ребяческих восклицаниях слышалась, однако, готовность к бескомпромиссной... нет, не к атаке. К обороне. Убежденность, вера в добро, уважение к памяти народной извечно избирают средства обороны, а не штурма.

Может быть, в этом ошибка и слабость?

Услышав над головой какой-то непривычный, но явно авиационный звук, я посмотрел в небо. Старенький самолет гидрометслужбы совершал плановый облет акватории.

— Самолет-шпион! — усмехнулся строитель.— Каждый день тут летают, шпионят, выводят нас на чистую воду. Да кто на них внимание-то обращает!

Снова этот молодецкий, как перед чаркой с княжеского стола, взмах рукой удалого рубаки. Все, мол, давно решено и подписано. А подписано,— так и с плеч долой!

И я сам почувствовал себя каким-то лазутчиком. Ведь я приехал не просто посмотреть, а чтобы написать обо всем. Не называя фамилий, разумеется, чтобы не ворочаться ночью с боку на бок моим активным или невольным «информаторам».

Честнее, быть может, не в блокнот заносить вопросы к недообоснованному проекту, к недопринявшим на себя ответственность организациям, а с первого же знакомства убеждать всех и каждого, что пора, наконец, признать поспешность принятых решений, прервать набравшее силу строительство и объявить конкурс на проект спасения благой идеи, на доработку проекта? Когда в прошлом веке был объявлен конкурс на проект защиты Петербурга от наводнений, комиссия рассмотрела свыше полутора сотен предложений. А сегодня в нашем распоряжении имеется, наконец, и гидродинамическая модель дамбы, которая и должна была, по первоначальному плану, ответить на все самые острые вопросы. И ответы ее сегодня зачастую озадачивают гидрологов...

Просто и радушно принял меня заведующий лабораторией Океанографического института Роальд Владимирович Пясковский, чья интересная книга о ленинградских наводнениях вышла недавно в Гидрометеоиздате. Пясковский сразу развернул ленту машинных данных.

— Строители сделали запрос. Они намерены, в очередной раз убыстряя и удешевляя строительство, сначала отсечь воды губы здесь, на юге, а потом уже «прорубать» в дамбе окна. Гидродинамическая модель оперирует только фактами. Вот результат — смотрите. Мы предположим, что в данном месте, перед глухой дамбой, возникает определенная концентрация вредных веществ. Следствие? На графике различимо четко. Через несколько дней угрожающее пятно перемещается в район Стрельны, где образуется квазизастойная зона...

— Значит, предложенный строителями «силовой прием» применен не будет?

— Этого мы гарантировать не можем. Ведь и данные гидрометслужбы,— те самые, результат полетов «самолета-шпиона»,— Пясковский невесело улыбнулся, до последнего времени и в Ленморзащиту не попадали, как будто и не были нужны. Повторяется старая, надоевшая всем история: у семи нянек дитя без глазу.

Вы не задавались вопросом, почему никогда всерьез не рассматривался городом никакой альтернативный путь уменьшения ущерба от наводнений — только дамба? А нам известно несколько генеральных планов развития города с указанием нормативной отметки минимального подъема фундаментов при строительстве. Можно было бы создать орган при горисполкоме по надзору за планомерным выполнением превентивных мер — подъем территории, перенос, в порядке реконструкции, тех заводских и складских помещений, которые могут пострадать при наводнении. В свое время при Ленинградском институте коммунального хозяйства был создан отдел по борьбе с наводнениями, а в его составе — группа контроля и консультации промышленных предприятий по защите. Там осуществлялась проверка планов реконструкции предприятий. Однако современного научного обоснования альтернативного проекта не было и нет до сих пор.

Я пересказал Пясковскому потрясшие меня сказания об удали молодецкой и подписи дозволяющей.

И вновь эта невеселая усмешка.

— Да, факт келейности поспешного решения достоверен. Скажу больше: перед началом строительства публикации по проблемам дамбы были ограничены вообще. Что скверно — ничтожное количество научных публикаций по проекту. А серьезных работ — вообще единицы. До последнего времени Ленинград, в сущности, не имел современной канализации. Очистные сооружения на острове Белом — первое, что сделано по-настоящему. До сих пор не все части города имеют коллекторы, десятки и сотни труб спускают стоки в Неву. Вместе с тем город очень быстро растет. На наших глазах происходит угрожающее наложение двух процессов: усиление антропогенного, то есть человеческого фактора воздействия на среду и ускорение строительства дамбы. Мы же заняты попытками теоретически оценить те изменения, которые дамба вносит в гидрологический, экологический

режим региона. Я вам показал машинные данные — так мы и пытаемся прогнозировать всю дамбу. Пока удалось выяснить следующее. С течением времени должна установиться средняя концентрация вредных веществ в Невской губе. Собственно, сама дамба оказывает на этот процесс влияние только в пределах единицы, то есть самые пессимистические прогнозы — до тридцати, местами — пятидесяти процентов увеличения концентрации. Но вся беда в том, что и период строительства дамбы, проходящего под слишком слабым контролем совершенно не властных организаций, происходит очень мало сдерживаемое увеличение нагрузки акватории. Недавно главный санитарный врач города на заседании междуведомственного совета по охране и рациональному использованию водной системы признал, что со строительством дамбы врачи связывают многие случаи неопознанных заболеваний. Имеют место микробные вспышки в Невской губе.

Первые же наши опыты с моделированием дамбы дали здравый результат: если Нева будет чистой, никакая дамба нам не страшна. Неосуществимо? Но почему?! Да вместо того, чтобы возводить очистные на острове Белом,— вывели бы трубу за Кронштадт, на глубину метров на пятнадцать! И вместо Ольгина — туда же, за форт «Тотлебен» тоже на глубину! С точки зрения экологии, было бы, может быть, рациональнее вложить отпущенные на дамбу средства на сооружение новых очистных, по последнему слову науки и техники. А что мы видим на данный момент? Очистные сооружения в Ольгине почти построены, а коллектора к ним до сих пор нет. Весь район, где я живу, спускает стоки в Муринский ручей и реку Охту. В северной части залива уже купаться не рекомендуется. До самого Зеленогорска!

Тут я прервал Пясковского, рассказав ему, как на обратном пути из Кронштадта размечтался наш уважаемый гид. «Замутнеется вода, конечно, цветет, а что поделаешь?.. Вот мне рассказали недавно, что на Байкале биологи жучка такого нашли: он водоросли ест и очищает воду. Букашка эдакая! Пропускает через себя, можно сказать, весь Байкал — вот и сохраняется там вода чистой. Вот бы и нам такую букашку, товарищи, а? Ведь сколько проблем она решила бы сама!..»

Смеяться нам с Пясковским уже не хотелось.

В конце разговора я спросил Роальда Владимировича, могу ли вместе с его соображениями и доверенными мне неудобными для кого-то цифрами объявить и его фамилию.

— А что — были жертвы? — Собеседник вновь улыбнулся насмешливо.— Больше всего мы боимся — знаете кого? Самих себя! А Гетманский, кстати, всегда говорил о том, что думает...

Все летние месяцы и осень я продолжал встречаться со строителями, учеными, инженерами, чей труд так или иначе связан с защитной дамбой. Принимал участие в пресс-конференции по этой теме, проходившей во ВНИИ имени Веденеева, в различных «круглых столах». Но чем шире становился круг моих «информаторов», тем острей вставала проблема подачи материала. Как не повредить тем людям, которые, откликаясь душевно на мою просьбу поделиться своими соображениями, опасениями, тревогами, предупреждали, что откровенность может стоить им очень дорого, так как слишком широк масштаб затрагиваемых проблем. Приводили примеры закрытых «сверху» тем, сломанных карьер. Выполняя свои обязательства перед уважаемыми собеседниками, я не стану приводить фамилии и должности. Достаточно сказать, что полный список людей, с которыми пришлось встретиться в последние месяцы, кто в той или иной мере помог мне понять существо дела, занял бы не одну страницу.

Кроме того, мною использованы данные нашей печати, материалы некоторых опросов Института социально-экономических исследований.

Не будем касаться вновь истории вопроса. Хотя такая история существует, и ключевыми ее моментами являются не научно обоснованные, а келейно принятые решения об утверждении проекта дамбы, о начале ее строительства, о введении в строй отдельных ее участков без опережающего, согласно проекту, завершения строительства очистных сооружений. Такой взгляд разделялся большинством специалистов. Но обратимся к сегодняшнему дню и поразмыслим о будущем...

Санитарно-гигиеническое состояние Невы на большей части ее протяжения нынче крайне неудовлетворительно. Требованиям ГОСТов к качеству воды поверхностных водоемов оно не соответствует. Почти по всей реке обнаружены кишечные бактериографы, что свидетельствует о фекальном загрязнении и указывает на эпидемическую опасность вод. Неудовлетворительно и качество вод Невской губы: нормы по санитарно-гигиеническим показателям превышены в отдельных районах акватории в десятки, сотни, тысячи раз.

В Ленинграде и области имеются случаи неопознанных или с трудом опознаваемых заболеваний, источником которых врачи считают загрязненную воду Невы, Невской губы, Ладожского озера. Самые оптимистические прогнозы ученых на будущее предполагают сохранение критической ситуации в восточной части Финского залива, в Невской губе, воды которой будут представлять эпидемическую опасность. Такое положение дел — следствие не только строительства дамбы без опережающего строительства очистных сооружений, но и роста Ленинграда, развития промышленности, сельского хозяйства. Процесс этот изучен очень слабо. Как же при этом идет строительство очистных сооружений? Значительно медленнее, чем строительство дамбы. В то время как строительство дамбы набирает темп. Но за счет чего? Отважиааясь соединить дамбой берег залива с островом Котлин, строители обещали дать воде ход в пропускные сооружения В-5 и В-6 через три месяца, а осуществили свое обещание спустя лишь полтора года. Как влияют подобные эксперименты «ускорения» на положение в акватории, объясняет такой факт: зимой восемьдесят четвертого года ученые потребовали принять решение о подготовке участка дамбы к взрыву. Этого требовало качество воды в невентилируемой части Невской губы. К счастью, удалось обойтись без взрыва. Надолго ли? Известно, что возведенную в шестидесятые годы в заливе Золотые Ворота дамбу у Сан-Франциско американцы вынуждены были взорвать уже в следующее десятилетие, поскольку среди населения близлежащих районов стал распространяться менингоэнцефалит. Кстати, глубина акватории Золотых Ворот в несколько раз больше, чем в Невской губе...

Когда общественность ратует за гласность, за информацию населения о происходящих на территории города и области изменениях экологической обстановки, спасительный контрдовод — «неподготовленность» людей правильно воспринимать эту информацию. Но о какой подготовленности может идти речь при отсутствии информации? Для жителей соседних стран качество потребляемой ими воды давно является предметом общего внимания и обсуждения. У нас же, стоит лишь прикоснуться к самым насущным вопросам экологии,— и непроходимой «дамбой» встают запретные грифы. Все это не может не порождать самые чудовищные слухи и предположения, скептическое отношение к деятельности печатных органов, пытающихся вести пропаганду экологических знаний, не давая фактов и цифр.

Разумеется, закрывая глаза на правду, можно чувствовать себя гораздо увереннее и безопасней. Из года в год, с первых публикаций, расхваливавших западный вариант дамбы, ленинградцам обещали, что путем открытия или закрытия тех или иных водопропускных сооружений сама дамба будет способствовать «промывке» определенных участков акватории Невской губы, ее отторгнутой от моря части. Но не первый год мы знаем, что «промывка» эта по образцу мифических авгиевых конюшен просто невозможна: маневрирование затворами защитных сооружений может обеспечить влияние на качество вод лишь в непосредственной близости к створу сооружений. Столь же неэффективны и неоправданны, по мнению специалистов, предполагаемые мероприятия по улучшению проточности у побережья курортной зоны Ленинграда путем направления туда потока невских вод. Но на встрече проектировщиков с писателями и общественностью Ленинграда во ВНИИ имени Веденеева мы вновь слышали те же обещания: «Будет чище, чем при Петре!»

Расчет защитников дамбы прост: большая часть аудитории не в курсе самых насущных проблем, возникших в процессе строительства, возникающих ежедневно. Какие могут быть аргументы у «стороннего» гражданина? Он не может представить расчетов и выкладок, только вновь напомнит технократам: природа — не модель, представляющая Невскую губу в одну пятисотую подлинной величины, да еще и в измененном соотношении площади акватории и ее глубины...

Действительно, даже коренной ленинградец, быть может, не выбрал времени обойти все набережные города, сосчитать, сколько труб сбрасывают без всякой очистки сточные воды в реки и каналы нашего города. Труб этих более семисот. И каждое наводнение, поднимая уровень воды в черте города, автоматически промывало эти часто забивающиеся, почти параллельно срезу воды идущие канализационные трубы. Мы отсечем наводнение дамбой, а закольцевать к тому времени все трубы коллектором и направить на очистные сооружения не успеем...

А сами очистные? Сегодня мы радуемся: впервые проблема канализации нашего города решается на современном европейском уровне. На современном ли? К очистным сооружениям, аналогичным тем, что строятся и уже начали работать в Ленинграде, наши соседи шведы имеют обыкновение «пристраивать» еще более мощный и дорогостоящий комплекс очистки остаточного продукта. Смысл? Они считают, что конечный продукт таких очистных, как наши, сам является потенциальным разносчиком инфекций, причем гораздо более мощным, поскольку хранит микробную опасность в концентрированном виде. Зарыть в землю? Но из земли абсолютно все может попасть и в воду...

Наконец, и такой существенный вопрос: обеззараживание стоков. Наши очистные сооружения не могут обеспечить обеззараживания сточных вод. Вопрос этот плохо изучен в мировой науке. Есть предложения наших ученых, есть зарубежный опыт. Ленинград сегодня лидирует в том отношении, что эксперимент

под названием «дамба» ставит наш город лицом к лицу с этой проблемой в условиях, когда море уже не может дезинфицировать Невскую губу и устье Невы наводнениями регулярно и бесплатно... А положение и без того, напомним, характеризуется учеными как «критическое», «тяжелое», «угрожающее»...

Мы знаем, что сегодняшний день Невской губы — это не результат прямого злого умысла строителей. Знаем, что во многом положение усугубляется бедственной судьбой Ладоги, которую спасать нужно в первую очередь и так же решительно, как было прекращено отравление великолепного озера стоками Приозерского завода.

Мы не можем приказать Неве или Ладоге мгновенно улучшить качество своей воды, но вести строительство дамбы разумными темпами можно и необходимо уже сейчас. Что можем мы потерять, бросив все силы на завершение очистных сооружений? Лавры за досрочный пуск окончательно пресекающей природные течения дамбы? Уже понятно, что при нынешнем положении дел такие «лавры» и в суп не годятся. Если же мы завершим на сто процентов все очистные, приведем в порядок Ладогу, то виднее станут в расчистившейся обстановке ожидающие нас перспективы. Не исключена возможность, что тогда-то и станет ясно для всех окончательно: дамба в таком виде, в каком она запроектирована на сегодняшний день, Ленинграду не нужна. Многим это ясно уже сегодня. Но доказать что-либо в то время, когда с дамбой или без дамбы Невская губа представляет собой, по образному выражению одного эколога, «огромную чашку Петри» для выращивания микробов, может только специалист. Он и доказывает. А ему из года в год в качестве контрдоводов преподносят на встречах и в многочисленных отписках ценимый только строителями дамбы аргумент: «Будет чище, чем при Петре!»

Наконец, последний вопрос: возможность практического прояснения экологической атмосферы сегодня. Выдавая на будущее рекомендации по оздоровлению Ладожского озера и Невской губы, Гидрологический институт рассчитал два варианта. Первый из них рисует будущее с учетом стопроцентного выполнения всеми организациями региона всех природоохранных мероприятий. Есть и «пятидесятипроцентный» вариант. По второму прогнозу мы скоро станем жертвами экологической катастрофы. Напомним, что по стопроцентному варианту положение Ладоги и восточной части Финского залива останется сегодняшним, то есть критическим: город-то и промышленность растут. Но почему могла возникнуть идея «пятидесятипроцентного» уважения к рекомендациям науки? Дело в том, что ученые подсчитали, на сколько процентов исполнялись рекомендации по проведению природоохранительных мероприятий в прошлое десятилетие. Приблизительно на пятьдесят процентов. Следовательно, мы не можем себе позволить надеяться, что эффективность нашей общей заботы о природе вдруг мгновенно возрастет сразу в два раза. Значит, нужно ожидать срывов, отставаний, недоделок. То есть развитие сверхкритических ситуаций в Невской губе и Финском заливе уже неминуемо, неотвратимо. Защищаться от них мы можем только одним способом: опередить коварство дамбы мощными демпферами очистных сооружений.

Самое удивительное, что непонятно, к кому сегодня можно обратиться с конкретной просьбой, предложением, кого лично, персонально убеждать. Есть организация, отвечающая за строительство. Есть организация-заказчик. Но уже сейчас известно, что в качестве «хозяина» дамбы планируется новая, еще не созданная организация...

Говоря о воде, я не упомянул о ее главном жителе — рыбе. Наверное, потому, что в разговоре о дамбе места для плача о рыбе не остается. Это еще одна из заложенных в проекте потерь — шестьдесят тысяч центнеров рыбы, вылавливавшихся в семидесятые годы в Невской губе. Дамба перережет миграционные пути нерестящегося в Неве лосося, ряпушки, корюшки, миноги и других рыб, что может привести к их полному исчезновению...

Узнав о Гетманском, о его случайной и неслучайной гибели во имя ч и с т о т ы, научной точности, инженерной красоты проекта защитных сооружений, я, зараженный его гражданским чувством, должен, наверное, сомневаться в полезности строящегося сооружения. Со дня гибели гидролога Гетманского прошло уже десять лет. За это время мы накопили знания, которыми должны были владеть авторы поспешно подписанного проекта Подписанного, несмотря на постоянное сопротивление многих оппонентов. Почему же и сегодня о битых горшках, за которые придется, быть может, расплачиваться городу, мы говорим только вполголоса?

— Уже сегодня мы можем предполагать — большая гидродинамическая модель дамбы нам это позволяет,— что по завершении строительства в отдельных местах отторженной от моря акватории концентрация вредных веществ может возрасти вдвое...

Бросив на меня искоса острый взгляд, собеседник добавил:

— Временно, разумеется. На какие-то моменты... Но об этом не пишите!

Я задаю вопрос: на какие «моменты»?

Баланс острой информации — и острого взгляда, правды — и оговорок сбивал наш разговор в первый раз. И я опустил глаза, тягостно осознавая фатальность неприятной ситуации. Сейчас последует просьба не называть в готовящемся материале фамилию моего «экзегета», посвящающего меня в жреческие неисповедимые тайны с риском для своего служебного положения. В подобные минуты, пережитые почти каждым пишущим («Это не для печати...» «Я вам этого не говорил...»), вспоминался мне эпизод из жизни Гелия Гетманского.

Он служил гидрологом в «Мурманссельди». Вместе работал и делил каюту с другом. И друг Гетманского, полярник с двадцатилетним стажем, человек известный своим мужеством, бойцовскими качествами, не постеснялся рассказать мне о таком случае:

— Пятидесятые годы. Набрали мы на пароход, можно сказать, новую команду. Как раз после известной амнистии. Выдали рыбакам новые шведские шкерочные ножи. Лезвие — тронуть нельзя! Вышли в море. Туман. Я на палубу вышел продышаться. Ко мне подходят трое: «Пойдемка, кореш, вжарим спиртяшки за счастливый улов. Тащи своего друга-интеллигента!» Я сначала на принцип: «Не пью — и точка». Тогда один из них, с якорем на щеке, ножичком начал ногти себе подрезать. В общем, сломался я. А куда денешься? Пошел за Гетманским. А Гелька после вахты за книгой бдит. Рассказываю ему про обстановочку. Он продолжает спокойненько читать. «Ты понимаешь,— спрашиваю,— чем это кончиться может?» Кивает молча. Я снова поднимаюсь на палубу. Говорю тому, с якорем: «Не принимает, мол, товарищ, здоровье не позволяет» Тогда пошли они за Гелием. Я тоже, естественно, пошел. Не бросать же товарища в беде...

Я спрашиваю собеседника: «И что же, пошел Гелий спирт пить?» — «Даже от книги не оторвался».— «А эти, с ножами?» — «Потоптались у порога и ушли. Он всегда умел быть самим собой».

Сегодня принято считать, что отстоять свое человеческое, профессиональное, гражданское достоинство под шкерочным широким ножом легче, чем под взглядом непосредственного начальства. Тем более, когда взгляд этот не отблескивает сталью, а медом течет: «Ты ж меня без ножа режешь! Ну что мы с тобой вдвоем-то возразить можем, когда н а д о?!»

Кому — надо?

Там, где есть обман, уловки, заведомая ложь с глазу на глаз,— какое может быть «надо»? Надо ловчить, приспосабливаться, таить сообща опасную истину? Но для кого же истина может быть опасной?

Я цитирую услышанный от друзей Гетманского образец его обиходных размышлений. Они у него всегда звучали не как абстрактная проповедь, а удивленными, конкретными, насмешливыми, жгущими совесть вопросами. И товарищи знали: задавать эти вопросы Гелий имеет право. Заслужил.

Да, заслужил, заплатил. И не только той мутной ночью, когда в любой момент могли ворваться в кубрик, проткнуть ножом, как нежную нерпу, сбросить в темноте за борт: «Корми селедку, энтелехенция!»

Из Мурманска он вернулся в Ленинград. Пришел в НИИ Арктики и Антарктики. Но на работу его не взяли. Не простил ему бывший начальничек откровенности и бескомпромиссности. Прислал на него, как говорится, «телегу». Когда захлопнулись перед ним высокие двери Фонтанного дома, Гетманский укатил на юг. Долго работал в Средней Азии, хранил и рассчитывал воды поливных земель. Вернувшись в Ленинград, стал сотрудником Ленгидроэнергопроекта. И здесь вспоминают о его конфликтности — деловой, необходимой, бескорыстной.

И вот — его последний рейс...

О чем же эти мои заметки — о строительстве Невской дамбы или о пути гидролога Гетманского?

Не знаю. Хотелось хоть на десяток страниц продлить линию судьбы Гелия Гетманского. Хоть на десяток тысяч не пройденных им километров — по воздуху, по морю, по сопкам прекрасной Чукотки. По бетонным плитам временного настила перегородившей морские течения дамбы, в необходимость которой он верил. В необходимость, пользу для нашего города...

В. ОСКОЦКИЙ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ

Почему перечитывают «Иду на грозу»

Начнем с экспозиции ретроспективной, подсказанной содержанием «толстых» журналов за 1962 год.

Он не был беден на прозу ни «большую», ни «малую». Количественно публикации той и другой оставляют впечатление самое внушительное. Но достаточно пестрое — качественно. Казалось бы, так и должно быть в прозе года, коль скоро, как убежденно внушал Александр Твардовский на Третьем съезде писателей СССР (1959 год), «в области духовной деятельности, в частности литературы и искусства, предпочтение всегда только качеству... Зачем мне, читателю, триста шестьдесят пять романов в год? При всем разнообразии вкусов и необходимости выбора это противоестественно много... Значит, в литературном деле прежде всего и главным образом важно качество...»

Однако, как ни безоговорочно согласие с поэтом, последовательно и устремленно воевавшим за профессиональный авторитет литературы, словом и делом защищавшим самобытность мастерства, неповторимость таланта, оно не снимает едва ли не вечной, во всяком случае, не ослабевающей с годами проблемы ценностных критериев и ориентаций. Как получается, что от первоначальных оценок, высказываемых вслед за журнальными публикациями, досадно часто ускользает объективное значение некоторых произведений, со временем еще более укрупняющееся? И почему, напротив, быстро ослабевает и угасает интерес к тем, которые, не без рекламной натуги, во всеуслышание причисляются к явлениям событийным?

Возвращаясь четверть века спустя к журнальной прозе 1962 года и поверяя таким большим временны́м расстоянием ее тогдашние интерпретации в критике, не устаешь поражаться подобным несоответствиям и разночтениям. И это при всем том, что в годовых комплектах журналов значатся произведения, долгожительство которых было предугадано без каких-либо натяжек и скидок. Таковы романы Ивана Мележа «Люди на болоте», Сергея Залыгина «Тропы Алтая», Юрия Бондарева «Тишина», повесть Чингиза Айтматова «Первый учитель». Они остались путеводными ориентирами художественных исканий литературы, их качество оказалось величиной постоянной.

Но беда в том, что к приметной гряде этих вершин подстраивались, к ней приравнивались разноплановые произведения куда меньшего масштаба — романы Леонида Соболева «Капитальный ремонт», Бориса Полевого «На диком бреге» и Ивана Стаднюка «Люди не ангелы», повести Вадима Кожевникова «День летящий» и Александра Чаковского «Свет далекой звезды». Найдя своего читателя, они, тем не менее, не подтвердили выданных им авансов на долгую жизнь. Кто сомневается в этом, пусть рискнет повторить то, что писалось тогда о их ведущей, даже этапной роли в развитии литературы.

Бурная и развязная критическая реакция на «Вологодскую свадьбу» Александра Яшина — прискорбный и недостойный эпизод в истории советской литературы 60-х годов. Не иначе как с чувством стыда вспоминаются тогдашние фальсификации «общественного мнения», апогеем которых стало спровоцированное по указке «сверху» и там же сочиненное открытое письмо писателю земляков-вологодцев. Печальный, горький урок четвертьвековой давности обошелся непомерно дорого: писателю укоротил жизнь, а в литературе оставил чадный след спекулятивных и лицемерных наставлений в «правде», которые годами поддерживали в нестойких духом писателях инерцию робости и боязни перед лицом доподлинных проблем и конфликтов действительности. Но к чести литературы граждански беспокойная художественная мысль все равно прорывалась к ним под пером мастеров, чей правдивый и совестливый талант мужественно не признавал никаких компромиссов с должным, выдаваемым за сущее. Свидетельством тому — остроконфликтные повести Владимира Тендрякова «Короткое замыкание» и того же А. Яшина «Сирота», рассказы Федора Абрамова.

Не без комплиментарного пережима в похвалах были встречены роман «В долине Маленьких Зайчиков» и повесть «Нунивак» Юрия Рытхэу. Произведения, безусловно, добротные, они все же характеризовали скорее творческий путь писателя, нежели ориентировали процесс общелитературный. Иное дело — рассказы Эм. Казакевича «Приезд отца в гости к сыну», Юрия Казакова «Адам и Ева», хотя они-то как раз вызвали отношение настороженное, даже подозрительное.

С добрым, признательным чувством вспоминаются повести Павла Нилина «Через кладбище», Бориса Ямпольского «Три весны», В. Каверина «Семь пар нечистых», Е. Ржевской «Земное притяжение», Василия Рослякова «Один из нас». Нельзя сказать, будто они не были замечены своевременно, но внимание к ним критики на уровне преимущественно рецензионном носило несколько периферийный, что ли, характер, хотя ни изначально, ни после эти произведения не были оттеснены на периферию литературного процесса. Впрямую приложимо это и к повести «Крик» Константина Воробьева, писателя, чье самобытное творчество с непростительным опозданием лишь сегодня постигается во всей его полноте и силе.

Заметно представлены в журналах 1962 года Василий Шукшин, Нодар Думбадзе, Виктор Астафьев, Андрей Битов, Виктор Конецкий. Но заинтересованное внимание к ним пока что — дело будущего. В дебютах года выделяется «Третья ракета» Василя Быкова. С расстояния времени название повести кажется не просто симптоматичным — чуть ли не символическим. Молодой белорусский прозаик впервые выходил к всесоюзному читателю с третьей по счету фронтовой повестью (две предыдущие станут известны в русском переводе позднее), которой и в самом деле суждено было знаменовать ракетный старт. Не в пример другим, не столь, может быть, ослепительным, но тоже обещающим, он был своевременно увиден, понят и оценен по достоинству.

Оглядывая прозу 1962 года, негоже, да и просто несолидно прикидываться, лукаво делать вид, будто и слыхом в те времена не слыхивали о повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Внимание, которое выпало ей, объединило даже таких несхожих, разных по тогдашним творческим интересам и позициям критиков, как А. Дымшиц и Ф. Кузнецов.

Какие же выводы вытекают из столь беглого обзора, предпринятого единственно с целью спроецировать журнальные публикации года на дальнейшее движение литературы, соотнести их прежнее восприятие с теперешним, отстоявшимся и выверенным? Раньше и прежде всего: 1962 году современная советская проза обязана появлением таких романов, повестей и рассказов, которые и четверть века спустя не утратили своего ведущего, принципиального значения в истории литературы. (К месту заметить, что большинство из них приходится на публикации «Нового мира», журнала, не выходившего из-под прицельной критической пальбы. Следом справедливо назвать «Дружбу народов» и «Знамя». А вот «Октябрь», диктаторски претендовавший на законополагающую роль монопольного арбитра литературного процесса, не дал за год ни одного произведения, приметного высоким художественным качеством.) В то же время за бортом осталось немало признанных тогда, но сегодня забытых произведений, о которых нечего сказать, кроме того, что они были когда-то опубликованы. И без того длинный их перечень продолжают романы В. Очеретина «Сирень», Е. Пермитина «Первая любовь», Е. Пермяка «Последние заморозки». Мало того: иные из таких непомерно объемных публикаций — например, напрочь выключенные из читательской памяти романы Д. Павловой «Совесть», Л. Овалова «История одной судьбы» и «Секретное оружие» — вызывают лишь запоздалое удивление: неужто и они были напечатаны?

Так возникает непростая историко-литературная проблема: чем же объясняется долгожительство произведения или, наоборот, его кратковременное существование? Желанием поставить ее, попыткой разобраться в ней и вызваны настоящие заметки о романе Даниила Гранина «Иду на грозу», появившемся в том же 1962 году в «Знамени».

Судьба его сложилась в общем благополучно. Встреченный, если судить по большинству первых рецензионных откликов и последующих критических статей, с вниманием и пониманием, он был тут же зачислен в творческий актив современной прозы и, неоднократно с тех пор переизданный, сохранил за собой прочную репутацию произведения, которое выдержало испытание временем. Однако, признавая это, важно уяснить, чем и как испытывало его время, почему не приглушило читательского интереса, в силу каких причин «позаботилось», чтобы он равно принадлежал как тому поворотному, переломному рубежу конца 50-х — начала 60-х годов, так и нынешним восьмидесятым.

Первый и, может показаться, самооче-

видный ответ лежит вроде бы на по-верхности: идеи и образы романа стали мостом, переброшенным из дня вчерашнего в день нынешний. Но, крайне общий и приблизительный, он настоятельно требует конкретизации, поскольку не избавляет от новых важных вопросов, ведущих, в частности, в психологию писательского творчества, неотторжимую от творческой истории произведения. Разве, работая над романом, Даниил Гранин загодя думал о возможностях такой переброски, наверняка их предвидел?

Конечно же, нет. Вынашивая и воплощая замысел романа, он жил тем памятным временем и отвечал на его «социальный заказ», его духовные запросы. «Решающим рубежом был для меня Двадцатый съезд партии. Подействовал он разительно на меня, на все мое поколение фронтовиков, заставил по-иному увидеть и войну, и себя, и прошлое»,— свидетельствовал писатель в позднейшей автобиографии. Но в том-то и суть, что, глубоко проникшись переменами, вызреавшими в те годы под благотворным воздействием XX съезда, он не довольствовался первой эмоциональной реакцией на них, а шел в глубь явлений и процессов действительности, исследовательски постигал ее трудные и сложные проблемы, чутко распознавая тугие узлы новых конфликтов, которые остро скажутся уже в ближайшем будущем. Благодаря этому и мы сегодня воспринимаем «Иду на грозу» как бы в сдвоенном ракурсе, сопрягающем тогдашнее время создания и нынешнее время повторного прочтения романа.

Два органично взаимосвязанных, плотно состыкованных пласта взаимодействуют в содержании «Иду на грозу».

Первый — поразительно и пронзительно узнаваемых реалий действия, его временны́х примет, социальных и духовных координат. Последующие годы просеют их, отделив внешнее от глубинного, показное от сущностного, а пока — шумные баталии перед полотнами Пикассо и польских абстракционистов, тиражированные портреты Хемингуэя и Фиделя Кастро, «только что переизданные рассказы Бабеля, очерки Кольцова... стихи Цветаевой», первые спутники и космический старт Гагарина — все становится в ряд впечатляющих свидетельств крутой ломки, бурного обновления жизни. «На завод один за другим возвращались реабилитированные, то, что они рассказывали, было страшно и непонятно. Все чаще без опаски, с уважением произносились имена людей, которых Крылов с детства привык считать врагами народа. Каждое такое открытие было болезненным, но вместе с тем росло чувство общего очищения... Кое-кто из пожилых осторожничал. Над ними смеялись — дудки, этот процесс необратим... Крылов в одном был уверен твердо: правда никогда не может повредить. Правда всегда за нас. И ничто не заменяет правду».

С расстояния минувших лет сейсмографическая точность подобных узнаваний себя во времени тем дороже, чем глубже обостренное ими ностальгическое чувство по прожитому и пережитому как раз в пору действия «Иду на грозу», когда Сергей Крылов и Олег Тулин «горячо и самоуверенно перестраивали этот несовершенный мир. Вместе с Лангмюром, Нильсом Бором, Курчатовым и Капицей они владели важнейшей специальностью эпохи, от них, полагали они, зависит будущее человечества, они были его пророками, благодетелями, освободителями». В том, как «без особого труда», с энергией и задором сокрушают они квантовую механику и наводят «порядок среди элементарных частиц», опознается гражданское отрочество тех сегодняшних «отцов», которые четверть века назад были не неразумными «детьми», какими их нередко выставляли на публичные осуждения, а окрыленными романтиками-энтузиастами, преисполненными неизбывным доверием к обновлявшейся на их глазах жизни.

Этим живут — «возмутительно молоды» — герои романа, в чьем душевном настрое открывается духовная родословная поколения. Редкого из вх сверстников не завораживало «бесконечное разнообразие жизни», которая, как наивно полагал Ричард Гольдин, «не имела предела. Прошлого еще не было, а емкость будущего была безгранична». И мало кто остался бы глух к «вдохновенным мазкам», которыми «в полночь у булочной на углу Волхонки» Олег Тулин набрасывал «картину будущих работ... Он выжимал облака, как выжимают мокрое белье. Дожди лились туда, куда он приказывал, обильные, плодоносные дожди орошали пустыни... Он размахивал пучками молний. О молнии, о грозы! Таинственный сгусток энергии, перед которой отступает мощь атомных двигателей... Мы будем пробивать молниями горы, варить камни...»

Но погибает в авиакатастрофе Ричард Гольдин, так и не смирившийся с мыслью о том, что «сила и время — величины конечные». И Олег Тулин, сломленный этой трагедией, уступает сплетению амбиций и интриг, предпочитая журавлю в небе — манящей идее активных воздействий на грозу — престижную синицу в руке: «...берут на работы, связанные со спутником, ребята за него шуруют, обеспечат. Ведущее задание эпохи. Можно реабилитироваться в два счета». Крушение романтических грез под напором трезвого реализма?

На первый взгляд похоже, что так. Благо и дело, от которого отрекается «безмятежный счастливчик, навеки застрахованный от любых бед» Олег Тулин, мужественно берет на себя Сергей Крылов. Не волшебник, не чародей, а «медлительный тугодум», чье «противоречивое, временами нелепое поведение» неожиданно озадачивает каким-то скрытым смыслом, на поверку, однако, куда как прозаическим: «...работать, вкалывать, считать, мерить. Ничего другого у него не получается». Но проза практических экспериментов, исподволь накапливаемого опыта научному поиску всего нужнее. Как и свинец, налитый «в глубине крыловского характера». Вглядимся же вослед Сергею Крылову «в ночное небо, закрытое облаками», и возрадуемся за него, готового «браться за все сызнова, иначе, совсем по-другому. Или продолжать, но тоже иначе».

Хотелось бы, да не выходит. Не настраивает финал романа на мажорный, бодряческий лад, хоть и склоняет наши читательские симпатии от вдохновенного эгоцентриста к бескорыстному трудяге. Резкое противостояние их — внешняя, наружная сторона драматических событий, подводящих к формуле «кто-то должен», которую Даниил Гранин вынесет в название одной из последующих повестей. Катастрофа, постигающая в романе молодых ученых, не перечеркивает их работу, а ставит «вопросы, на которые нужно ответить. Все равно кому-то придется на них ответить». Для пользы дела, для блага науки, конечно, лучше, если «кем-то» станет Сергей Крылов, поддержанный в конце концов и стариком Голицыным, по праву слывшим «одним из основоположников науки об атмосферном электричестве», и другими. Но все равно окончательная его победа пока что крайне проблематична, а убежденность в своей научной правоте, даже при поддержке авторитетов, движет лишь одним из финальных мотивов, одновременно с которым набирает звучание и другой доминирующий мотив — мстительного торжества и соглядатая от науки Лагунова, и ничтожества Агатова. Первый упивается нагнетаемой им «атмосферой подозрительности, расследования», ревностно упрочивает за собой «репутацию человека, разоблачившего порочность целого научного направления, неумолимого стража государственных интересов». Второй изо всех сил пробивается и, недолог час, пробьется к «невидимому пьедесталу», дабы шагнуть с высоты его в «простор кабинетов, деловых и строгих, с отдельным столиком для телефонов, среди которых есть прямой, туда...». Согласимся: честолюбивые миражи Олега Тулина — первополосный, «среди букетов цветов», портрет в газете, люкс в гостинице, «конференц-зал, стенографистки, корреспонденты... Банкет. Премии. Загранкомандировки» и прочие невыпавшие выигрыши в лотерее — все-таки безобидней. Хотя бы потому, что списываются на самовлюбленность таланта. Административные вожделения Агатова — антиобщественный феномен, намного более грозный. «Он же не творческий человек. Он бесталанен. Это опасно, как гангрена».

Так заявляет о себе второй пласт повествования — настороженные предощущения, тревожные предугадывания ответной, встречной волны тайного и явного сопротивления разбуженным надеждам, социальным и духовным преобразованиям. Пройдет не так уж много времени, и эта волна снова вернет всколыхнувшуюся общественную мысль к рутине и застою, повергнет общество в новые кризисные явления. Уже в конце 60-х — начале 70-х «вновь возобладали административно-бюрократические методы руководства экономикой, культурой, наукой; разбух управленческий аппарат; нарушились принципы социальной справедливости; все очевиднее становился разрыв между словом и делом». Таковы поучительные уроки этого попятного движения, извлекаемые историком П. Волобуевым («Правда», 1987, 27 марта). «Еще многим памятны,— пишет философ А. Бутенко,— те годы, когда развернутая XX съездом партии критика ошибок прошлого стала сворачиваться под благовидным предлогом пресечения „очернительства". Это был сознательный маневр бюрократии, собиравшей силы и хорошо отдававшей себе отчет в том, что, „дай только волю", докопаются и до нее самой» («Советская культура», 1987, 23 июня).

Оговоримся: работая над романом «Иду на грозу» на обнадеживающем переломе 50—60-х годоа, Даниил Гранин вряд ли заглядывал так далеко вперед. Ни герои романа, ни стоявший за ними писатель еще не могли предсказать поворота вспять и его последствий с определенностью научных обоснований. Но сознание несвершенного или свершаемого половинчато уже входило в тогдашнее мироощущение, обеспокоенное нерешенностью или непоследовательностью решения больных проблем. Отсюда писательское стремление разобраться в себе и в своих героях, объяснить их общую горечь, природа которой, сдается, была пока что не до конца ясна. Даже в автобиографии, датированной 1980 годом, Даниил Гранин выявляет ее только отчасти. «В шестидесятые годы мне казалось, что успехи науки, и прежде всего физики, преобразят мир, судьбы человечества. Ученые-физики казались мне главными героями нашего времени. К семидесятым тот период кончился, и в знак прощания я написал повесть „Однофамилец", где как-то попробовал осмыслить свое новое или, вернее, иное отношение к прежним моим увлечениям. Это не разочарование. Это избавление от излишних надежд».

Интерпретируя самого себя, писатель несколько спрямляет свои творческие искания. Тревожное прощание с упованиями на безграничие «осчастливливающих» возможностей всемогущей науки происходило не вдруг, и знаменовала его не только повесть «Однофамилец», написанная в 1975 году, но и предшествующая ей «Кто-то должен» (1970). Мало того: как предвосхищение, предвестие этого звучат и некоторые мотивы в «Иду на грозу».

«Вряд ли люди станут счастливее оттого, что научатся управлять грозой. Они избавятся от некоторых несчастий, но меньше несчастий — еще не значит больше счастья». Не о чем-то стороннем, но о главном в своей жизни ученого деле, о конечной цели научных изысканий размышляет так Сергей Крылов, обостренно воспринимая природную красоту мира, которая открылась ему в горном лесу после спасительного прыжка с гибнущего самолета. «Слово „поле",— терзается он,— давно потеряло для него начальный смысл. Он забыл, что, кроме электрического поля, магнитного поля, есть просто зеленое поле с цветами и пчелами». Экстремальная ситуация едва ли не на краю гибели? Но и в другой, по-житейски обыденной ситуации разлученной любви герою романа думается о том же еще обобщеннее: «Никакие теории относительности, и системы координат, и понятия дискретного времени, и новейшие физические гипотезы не могли помочь ему, все оказывалось бессильным перед этим простейшим временем, отсчитываемым ходиками, листками календаря, закатами...»

Не безоглядное упоение всесилием научного знания, а неистребимая вера в разумные начала, здравый смысл жизни направляет и развернутый в романе спор «физиков» и «лириков». Он тоже — духовная мета того времени. И не отвлеченно высоких, а жизненно насущных материй касался этот спор, хотя внешне и походил порой на диспут схоластов, решающих, с какого конца удобней разбить яйцо. Гадали, найдется ли место на космическом корабле ветке сирени и томику Блока, а думали о совершенстве земной жизни и гармонии в душе человеческой. Толковали о преимуществах чувства перед разумом или превосходстве разума над чувством, а защищали вечные гуманистические ценности бытия от агрессии нахрапистого потребительства. Опасались технократического утилитаризма, прагматического делячества, а восставали против релятивизма в морали, размыва нравственных скреп, духовных опор, на фундаменте которых покоится гражданское достоинство личности.

Вот и Данкевич в «Иду на грозу», прижизненный Юпитер в сонме олимпийских богов современной физики, обеспокоенно вглядывается в будущее, грозящее оставить «всяким эстетикам, этикам и прочим бесполезностям» слишком малое место в жизни. «Происходит то же, что с лесами: человечество бездумно вырубает леса, начинается эрозия почвы, остаются бесплодные камни, и никто не задумывается над пагубными последствиями насилия над природой только лишь потому, что последствия эти не оборачиваются против самих нарушителей, страдают потомки». Из таких же, по существу, позиций исходит Сергей Крылов, когда в споре с художником Романовым не науку возвышает над искусством, а отвергает имитирующие его ремесленные суррогаты. «Вы пишете портреты людей, которых вы не любите... У вас нет к ним чувства, поэтому и у меня не возникает к ним чувства. Вы маскируетесь под искренность. Но сейчас труднее прятаться. Сейчас любая фальшь проступает как никогда раньше. Для вас эти рабочие — не люди. Модная тема. Расчет, арифметика...»,— наседает «физик», испытывая обиду на «лирика», стыд за его «работу, сделанную зря».

Жизнь как бы дописывает, завершает их спор, увы, не в пользу Сергея Крылова. Как раз в год выхода «Иду на грозу» состоится правительственное посещение художественной выставки в Манеже, когда «раскрашенные холсты», «картины-„верняк", холодные, скучные и в то же время неуязвимо отработанные», объявят шедеврами, признают эталонами. Произойдет это за пределами романа, но поразительно, что, защищая свой «реализм на подножном корму», художник загодя жонглирует бранным словцом «модернист», которое после Манежа расхоже войдет в ругательный обиход.

Аналогичных перекличек, совпадений художественных реалий повествования с доподлинными реалиями действительности в романе немало. Вроде бы ненароком, походя брошена фраза: «...дискутировали, сравнивали выгоды гидростанций и тепловых станций», а память сразу подсказывает, как, не успев начаться, дискуссия эта закончилась ничем, потому что была насильственно прервана административным окриком.

1956 год, с энтузиазмом встреченный, бурно пережитый героями «Иду на грозу», привел в движение здоровые, жизнедеятельные силы общества, но не дал нестесненного выхода их социальной энергии. И потому, как ни отрадны, скажем, для старика Голицына «перемены, происходившие в стране», он, руководитель научного института, «все еще не мог распрямиться», сбросить наваждение былых страхов, испытанных «в те времена, когда приходилось помалкивать, когда часто невозможно было сказать то, что думаешь... Такое не проходит бесследно. Страх въелся в него, пропитал его мозг. Появилась некоторая робость мысли, опасливость перед обобщениями, неожиданными ассоциациями». Отзовемся с пониманием на смятение ученого, болезненно переживающего свой душевный разлад. Но согласимся ли с его завистью к молодым? Ведь новое время, что «пришло слишком поздно для него», благоприятствует им не всегда, да и не во всем. Разве не показательно кощунство Лагунова, который обвиняет Сергея Крылова не в чем ином, как в «культовских позициях», хотя сам не сходил с них никогда? Ему, прямому их порождению с репутацией «железной руки», по-прежнему «выгоднее разоблачить, наказать, пресечь» чужое, нежели создать свое. Но почему? — возникает законный вопрос.

Ответить на него помогает фигура Денисова, персонажа, в романе непосредственно не действующего, но часто упоминаемого. Не Трофиму ли Денисовичу Лысенко обязан он не только фамилией, но самим авантюрным обликом конъюнктурщика, паразитирующего на науке? Все в его физических теориях «получалось заманчиво, просто, дешево, быстро», обещало «немедленные результаты», но, как и у прототипа в биологии, оборачивается мыльными пузырями неоправдавшихся посулов. Между тем на них строится «вся история возвышения Денисова», постигшего, ерничает Олег Тулин, великий закон, по которому «люди любят, чтобы их обманывали надеждами. При этом... у них короткая память на плохое, они предпочитают будущее прошлому. Пока суд да дело, пока разберутся, пока там кто-то вспомнит прежние сроки, Денисов уже далеко, он уже манит новой синей птичкой».

Растраченных при этом миллионов, как ни прискорбно, не вернуть, но их хоть подсчитать возможно. Интеллектуальных сил, душевных затрат, вхолостую ушедших на борьбу с академиком-временщиком, не исчислить ничем. «Не нравится вам русский ученый, товарищ Гольдин?» — глумится Агатов, не стыдясь гнусного намека на «космополитическое чужебесие» денисовских противников. «Вы отрицаете необходимость тесного переплетения науки с техникой? Вы за отвлеченную, чистую науку?» — наперебой сокрушают Данкевича, «пытающегося опорочить Денисова, убедить своими формулами», все те «начальники отделов и лабораторий, которые годами занимались пустяками, но зато никогда не рисковали и не ошибались». Они берут верх над ним, принужденным «доказывать элементарную истину» и потому идущим «напролом, не замечая расставленных ловушек». Последней, укоротившей дни ученого, становится клеветнический фельетон «Вдали от науки», наемный автор которого «с восторгом разоблачителя» описывал, как «лаборатория Данкевича переливает из пустого в порожнее, растрачивает государственные средства». Знакомая, что и говорить, ситуация...

На печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ в 1948 году одной из крапленых карт лысенковской клики была речь заместителя редактора газеты «Правда Украины» Александра Михалевича, рьяно клеймившего отечественную генетику за научное бесплодие, которое «можно считать доказанным», и демонстративный отрыв от насущных задач совхозно-колхозного производства, которое «к настоящему времени» — то есть ко времени сессии, состоявшейся 31 июля — 7 августа — на одной только Украине дало «в два раза больше хлеба, чем на то же число в прошлом году». Только так: «вдвое больше» принято было объявлять тогда, предусмотрительно не называя, заметим, конкретных цифр хлебозаготовок ни минувшего 1947-го, ни текущего 1948 года. Разумеется, неспроста: незадолго до этого в стране была отменена карточная система, но даже в благополучно снабжаемых Москве и Ленинграде не все еще ели досыта, а деревня, особенно северная, голодала, как и в войну. Зато пестрели ослепляющими цифрами радужные прожекты грядущих урожаев: их обеспечит, заверял журналист, передовая мичуринская наука, «развивающаяся под светлым, ободряющим взором товарища Сталина» и личным руководством академика-президента Лысенко, с помощью которого совхозы и колхозы добиваются «поистине чудес». Разумеется, цифры, с упоением рассыпаемые, как из рога изобилия, выдавали желаемое за действительное, ибо отражали не реальное положение дел на полях, а стахановские обязательства, принятые на будущее, но загодя названные «серьезным научным дерзанием». Им, авторам липовых обязательств, «данных товарищу Сталину», и противопоставлялись «книжные червяки» — оторванные от жизни, затеоретизировавшиеся ученые-генетики, которые-де просто не подозревают, «как выросли, как шагнули» советские люди: «они имеют свое твердое суждение по многим вопросам, которые вам кажутся предметом академических споров. Теперь уже никому не удастся отнять у них новый взгляд на природу, выбить из их рук оружие преобразователей природы».

Академик И. И. Шмальгаузен, которого А. Михалевич «для выяснения научной истины» зазывал на учебу к черкасским кукурузоводам, речь его ответом не удостоил. Но выступивший следом С. И. Алиханян не преминул заметить, как трудно ему, скромному специалисту, говорить о научных вопросах, над которыми работает восемнадцать лет, «после боевой речи журналиста»...

К сожалению, в силу то ли стойкой инерции прежнего администрирования, то ли собственного волюнтаризма новейшего образца, но демагогию и цинизм так называемых общественных акций — организованных сверху массовых проработок — не исключило и «великое десятилетие» 50—60-х годов. В сфере литературной к нему прямо восходят публичные погромы романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», рассказов Даниила Гранина «Собственное мнение» и Александра Яшина «Рычаги», а чуть позже — очерковой повести Федора Абрамова «Вокруг да около».

Такие вот сопряжения воскрешает в памяти ситуация, воссозданная Д. Граниным в «Иду на грозу». И неукротимый «фанатик», нерасчетливый «гений» Дан, поверженный Денисовым и его конъюнктурным приспешником Лагуновым, и жизнеупорный Сергей Крылов, едва не погубленный тем же Лагуновым, вкупе с воинствующе бездарным, нечистоплотным и злобным Агатовым,— каждый по-своему совершает ту самую ошибку, что и герой романа Александра Бека «Новое назначение». Как доказывает экономист Г. Попов, взглянувший на роман Бека со своей профессиональной точки зрения, «не конфликт с новым, а именно вера в то, что это новое *уже наступило*, привела к появлению у Онисимова зачатков самостоятельности, и он позволил себе самые робкие возражения и сомнения по поводу директивы Верха. Главная ошибка Онисимова в том, что Административную Систему он отождествил с одной ее конкретной формой — со Сталиным, с Берия. И устранение этой *формы* Административной Системы он воспринял как начало отхода от ее *сути*. А между тем его вывод об отказе от Административной Системы был явно преждевременным. Речи и намерения он принял за дела и реальные изменения, желание отойти от прошлого — за фактические перемены.. И эта ошибка Онисимова, несомненно, наиболее поучительный урок для всех нас из посмертного романа Александра Бека. Ведь не только Онисимов, но и Н. С. Хрущев, и все мы думали, что, устранив из Административной Системы культ личности, мы уже решим все проблемы нашего будущего. Теперь, с позиций исторического опыта, мы видим, что это не так. Система нам отомстила...» («Наука и жизнь», 1987, № 4).

В сфере научной, как засвидетельствовано романом «Иду на грозу», она «отомстила» раньше и прежде всего тем, что самонадеянно присвоила себе безраздельную монополию на высший «государственный интерес» и именем его узаконила такие формы организации, методы управления, которые зачастую отводили науке строго регламентированную прикладную роль. Одномоментная выгода, исполнительность и конформизм ценились в ней больше самостоятельности и принципиальности, а оригинальному, самобытному таланту предпочиталась нивелированная, зато покладистая усредненность. Как в шутливой, но мудрой песне Булата Окуджавы: «...С умным — хлопотно, с дураком — плохо. Нужно что-то среднее, да где ж его взять?». «Формирование человека послушного, исполнительного, но безынициативного, знающего „свой шесток" и не очень выпячивающего свои способности и задатки, были характерны механизму торможения. Он как бы изнутри „заряжен" психологией уравниловки, которая на руку как раз серости, посредственности» (В. Толстых. «Правда», 1987, 20 марта).

Образный аналог такой унифицированной обезличенности в «Иду на грозу» — точно найденная и не однажды повторенная психологическая деталь: размытые, стертые, безликие лица околонаучных пустоцветов, пробивных бездарей, напористых бесталанностей. «Гладкая белая поверхность» плоского лица Агатова, с которого «кто-то невидимый словно резинкой» то и дело стирает «обычную бесстрастную любезность»... «Маленький широкоплечий крепыш» Денисов, составленный «из частей, принадлежащих разным людям»... И снова «еле видимые, словно стертые резинкой» черты бледного лица Агатова, но по мере его карьерного преуспеяния будто каменеющие, проступающие «законченно, в мраморной твердости»... Право, перед выразительностью этой сквозной детали никнет даже такая несомненная находка, как обжигающее прикосновение «к обнаженной душе» того же Агатова, на какой-то миг приоткрывшей «в глубине расселины» самое сокровенное: «Вы, например, талант, а я нет... Что ж мне тогда? Чем я виноват? Не досталось соответствующих генов от родителей, так куда же мне прикажете?».

Нет, не слепая фортуна, не ирония судьбы выводят на руководящие орбиты Лагуновых и Агатовых, а объективная логика социальных и духовных деформаций, подрывающих общественный авторитет науки, нравственный престиж научного творчества. Перед лицом этого вовсе не «диковинное явление», — как несколько размагниченно представляет Сергей Крылов,— и захребетный цинизм некоего Петруши Фоминых, вольготно паразитирующего на внедрении — а «внедрять можно годами»! — автоматики в производство. Как ни эпизодично его появление в романе, оно столь же симптоматичный знак дискредитации и профанации науки, как и обывательские пересуды о ней безымянного экспедитора, который, дай ему власть, всех ученых порасставил бы у станков. Но «сперва, конечно, по партийной линии» за то, что «сидят на шее у государства и сосут и сосут... Два года ковыряются, а где продукция?.. За такую ставку и я могу думать... Всех бы разогнал. Все эти ихние НИИ. Копайте землю со своими профессорами. Спутники, спутники, а что толку от спутников? Летают, а рыбы нет. Студентов развели — это же форменный разврат. На завод их, чтобы по семь часов вкалывали!». Пародийное сгущение красок? Если бы. Нечто похожее звучало не только в сатирических монологах Аркадия Райкина, но порой и всерьез с ответственных трибун. Стало быть, не с писателя спрос, а с жизни, поставлявшей такого рода сюжеты.

И зарядившей ведущие мотивы романа неуступчивой, энергичной полемикой, в которую выливается убедительная и убежденная защита достоинства науки, таланта ученого. Этим предопределяется сосредоточенное внимание писателя на этических нормах, нравственных основаниях научного творчества, нескрываемая поэтизация бескорыстия, альтруизма героев, увлеченных делом, одержимых поиском. В этом смысле «Иду на грозу» продолжает и укрепляет тему первого романа Даниила Гранина «Искатели» (1954), но на новом витке общественного развития.

«Будь он пустышкой, можно было бы понять его, но ведь он талантлив, зачем же ему нужен успех, признание, слава, вся эта труха, к которой рвутся Агатовы и за которую держатся Лагуновы?» — недоумевает Сергей Крылов, переживая крах Олега Тулина. В том и драма, что губительному поветрию любить себя в науке больше, чем науку в себе, поддался молодой ученый с ярким, незаурядным дарованием. Но культивирующий в себе — под бравадой «беспечного шалопая», удачливого баловня судьбы — сильную личность, чьи жесткие, категоричные императивы обдают холодом аседозволенности: «...победителей не судят, победители сами судят», «принципы оцениваются по результатам, а не по намерениям». Этим вот «таланту позволено все» запрограммировано финальное падение Олега Тулина, которое он тщетно пытается облагородить призывом к вынужденному компромиссу. Благопристойный эвфемизм? Скорее, коварное слово — оборотень. Психологический знак готовности отступиться от себя и предать других, поступиться совестью и «не с подлецами бороться, а за свое местечко среди них». Именно здесь пролегает грань, разделяющая Олега Тулина, который малодушно не находит за собой «ни научного, ни морального» права отстаивать собственные позиции, и Сергея Крылова, который «мог уступить, но ...не умел отступать», потому что отступить от «собственного мнения» (как не повторить этого названия давнего гранинского рассказа!), отречься от выношенного убеждения для него то же, что отказаться от самого себя. «Раз у меня есть убеждения, я должен отстаивать их, а если я не сумел, то уж тогда лучше уйти, чем в сделку вступать... иначе нельзя, ведь только через себя мы можем для всех».

Остановимся на этом, подчеркнем и запомним: *для всех через себя*. Нравственный кодекс, воплощаемый Сергеем Крыловым в единстве слова и поступка, мысли и действия, существует «не от мира сего, но для мира сего», и в основе его лежит «древняя неутолимая жажда познания», побуждающая и призывающая «опять лететь в грозу», «снова идти на риск». Так гроза, исследованием которой заняты герои романа, и прорыв к ней поисковой научной мысли обретают, сверх прямого, непереносного, обобщенно образное, метафорическое значение, символизирующее вечное движение разумной жизни, в прерывистом ходе которой «исчезает все — города, империи, целые культуры; устаревают машины, книги, сменяются науки. Остается лишь одно — стремление к истине. Оно передается от поколения к поколению, сквозь любые разочарования, катастрофы».

К таким широким — общемировым, всечеловеческим — масштабам выходят писательские раздумья о нравственных критериях, духовных ориентирах научного творчества. По существу, в «Иду на грозу» еще полнозвучней, чем в «Искателях», заявлена сокровенная для Даниила Гранина тема, углубленной, фундаментальной разработкой которой он займется в документальных повестях об ученых — «Размышления перед портретом, которого нет» (1968), «Повесть об одном ученом и одном императоре» (1971), «Эта странная жизнь» (1974), «Зубр» (1987). «...Когда сталкиваются наука и нравственность,— раскрывает ее писатель на впечатляющем примере «странной жизни» А. А. Любищева,— меня прежде всего интересует нравственность. Не только меня. Пожалуй, большинству людей душевный облик Ивана Петровича Павлова, Дмитрия Ивановича Менделеева, Нильса Бора важнее деталей их научных достижений... Среди высших созданий человека наиболее достойные и прочные — нравственные ценности».

Почти слово к слову тому, во что в «Иду на грозу» свято верит Голицын («стиль ученого и человеческие его качества связаны между собой»), что внушает Данкевич: не атомная энергия или телефон определяют уровень человеческой цивилизации, а «нравственность, фантазия, идеалы. От того, что мы с вами изучим электрическое поле Земли, души людей не улучшатся».

Более десяти лет отделяют «Иду на

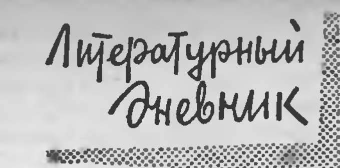
грозу» от повести «Эта странная жизнь» и четверть века от повести «Зубр». Но удивительно ли, что на протяжении столь долгого времени «взаимоотношения» науки и нравственности остаются для Даниила Гранина мало сказать излюбленной темой творчества, вернее и точнее — без устали осваиваемым плацдармом жизни, влекущим, как поле магнитного притяжения?

Не научно-популярный очерк о достижениях крупного, с мировым именем ученого, даже не биография его, не жизнеописание, а духовные масштабы личности, «история души, история мысли, история его душевных драм и трагедий»,— не устает повторять писатель об образной природе повести «Зубр» то в беседе с корреспондентом «Литературной газеты» (1987, 27 мая), то на творческом вечере в Политехническом музее («Книжное обозрение», 1987, 3 июля). И в абсолютном согласии с высокими аттестациями выдающихся генетиков как «рыцарей правды», создававших «критерии служения истине, убежденности», воспроизводит он портрет современного ученого-филолога — академика Д. С. Лихачева («Правда» 1986, 12 октября), чей непререкаемый «авторитет... воспринимается всеми уже не только как научный, но и как моральный авторитет». Самостояние — этим пушкинским словом определяет Даниил Гранин его корневую связь с традициями «старой русской интеллигенции, которой как бы не коснулась „порча времен“», его «сопротивляемость, способность не поддаваться, отстаивать свои взгляды». И «полное согласие со своей совестью», которой ученый не поступался и «в самые трудные рискованные времена».

Что питает такое упорное, как видим, многолетнее постоянство суждений, оценок, выводов? Само собой разумеется — непреклонная верность писателя своей нравственной программе. Но не забудем и об оборотной стороне медали: многолетнем же постоянстве неизменных адресатов полемики — агрессивной наступательности безнравственных явлений, продолжающих бытовать в научной среде мутной накипью. О них встревоженно размышляет и невыдуманный герой гранинского очерка Д. С. Лихачев, признавая назревшим разработать правила нравственного поведения в науке, «создать *моральный кодекс* ученого», ограждающий научную среду от «нарушений элементарной этики». Он называет его кодексом чести, важнейшим параграфом которого видит гражданскую ответственность ученого «за каждое свое действие. Нужна психологическая перестройка с учетом могущественности сегодняшней науки. Сила должна *быть ответственной*. Безответственная сила рискует стать разрушительной» («Литературная Россия», 1986, 21 ноября).

Созвучная мысль об ответственности науки, гражданским осознанием которой возможно сдержать ее разрушительные силы, вторгается и в роман «Иду на грозу». Скептическим неверием в это проникнута «сбивчиван, лихорадочная речь» зарубежного коллеги, профессора Дюра, чей парадоксальный ум изъеден паническим ужасом перед роковой кнопкой: нажав ее, любой маньяк-безумец за несколько минут уничтожит мир со всеми академиями и колледжами. «Земной шар будет протерт дочиста», и «мы вместе с нашими внуками и правнуками, все мы станем нейтронами и электронами и будем носиться по законам Гейзенберга, и сам Гейзенберг будет тоже носиться по своим законам... Вся история человечества кончается на этой кнопке, последняя точка истории». Для подобного апокалипсического мироощущения середина 80-х годов дала еще больше оснований, чем начало 60-х: безъядерный мир и выживание человечества, как никогда прежде, стали в нерасторжимую взаимозависимость. Тем жестче испытывает кризисный исход XX века гуманистическую веру в человека, тем больший спрос предъявляет совести людей, для которых «главное — это жизнь, а не угроза жизни».

В годы действия «Иду на грозу» понятие глобальных проблем человечества еще не вошло ни в философский и социологический обиход, ни в политический словарь современности. Но именно к ним устремлены писательские раздумья о нравственности в науке, их масштабами поверяется надежность «нравственной опоры» человеческого разума. Назовем это провидчеством, которое также укрупняет значение романа и в наши дни, когда он по-прежнему воспринимается как актуальный, остро современный роман проблемного и неослабно гуманистического звучания.



Игорь СУХИХ

ТЯЖЕСТЬ МЫСЛИ

«А сейчас... нет, сейчас уж никак не время для стихов»,— таков тезис, с которого Ст. Рассадин начинает обзор поэзии 1987 года («Знамя», 1988, № 1). Далее мысль поясняется: «сегодня для нас, заждавшихся правды фактов и трезвого их анализа», важны прежде всего газеты, публицистика и то, что способно выдержать с нею сравнение. Чуть позднее в этой же статье сказано несколько осторожнее: «Еще и еще: да, сегодня не время стихов. Сегодня — в р е м я п о э т о в».

Ход мысли критика понятен и, кажется, справедлив. Действительно, последние два года отодвинули куда-то в сторону споры о поэзии «вообще». Зато слышнее стали голоса поэтов. Причем читаем мы сегодня зачастую других поэтов или другое у поэтов. Последние публикации Ал. Кушнера, Б. Ахмадулиной или Б. Окуджавы уж никак не вызовут привычных упреков в камерности. Мы спорим о «новом» А. Жигулине, читаем хорошо забытого (не по своей вине) Вл. Корнилова и совсем неизвестного Б. Чичибабина...

Есть, впрочем, и иная точка зрения на место и роль поэзии. Параллельно со статьей Рассадина в первом номере «Невы» появился такой стихотворный манифест:

> Неотложные вопросы
> ждут немедленных ответов
> не от неподвижной прозы —
> от стремительных поэтов...

Снова с журнальных страниц донесся голос Бориса Слуцкого.

Думаю, когда начнут писать бурную литературную историю нашего времени — взрыв разновременных ярчайших публикаций, литературно-критические схватки — по достоинству будет оценен и этот факт: явление поэта Слуцкого.

«У умерших почему-то больше прав»,— с горькой иронией заметил Д. Гранин. Именно Слуцкий кажется сегодня самым активным действующим поэтом. Вряд ли когда-либо ему так везло при жизни. Большие подборки стихов в «Новом мире», «Знамени», «Юности», «Литературной газете», «Неве», снова «Юности», снова «Неве», наконец, целая книга «Вопросы к себе», почти шестьдесят стихотворений, опубликованная в «Знамени» (1988, № 1). Когда это будет собрано вместе, том, наверное, окажется бо́льшим, чем скромное прижизненное «Избранное» Слуцкого 1980 года. В привычные представления о поэте приходится вносить существенные поправки.

Слуцкий — «певец структур, законов и целесообразности», долга и здравого смысла, погруженный в быт, работающий на зыбкой грани поэзии и прозы и часто срывающийся в прозаизм, в «рифмованные прописи» — так о нем обычно писали. Все вроде бы похоже, узнаваемо, но слишком узко, слишком «эстетично». Не тот масштаб, не тот уровень разговора, определения не схватывают главного.

Оказывается, за всем этим в ящиках письменного стола скрывался и другой Слуцкий — незаурядный социальный мыслитель, неподкупный летописец «домашней истории общества» (так старый критик Анненков сказал однажды о Салтыкове-Щедрине).

Ю. Болдырев, постоянный публикатор Слуцкого, корректируя и другие, и собственные старые статьи, кажется, к месту произнес слово «эпос», вспомнив о «безмерно любимом» поэтом Некрасове: «Теперь, оглядывая все сделанное им и оставленное нам, можно смело сказать: эпос. Эпос нашей жизни со всеми ее радостями и страданиями, достижениями и прорехами, болью и счастьем, пафосом и враньем, реальностью и идеалами». Действительно, Слуцкий создавал эпос, но фрагментарный, лирический, если можно так сказать — эпос мысли.

В новых публикациях встречаются блистательно написанные баллады, очень пластичные, живописные, полные конкретных деталей (жанр, хорошо известный еще по «Кельнской яме» и «Лошадям в океане»). Таковы «Рука», «После реабилитации» или весь какой-то легкий, акварельный, ностальгически-пронзительный «Месяц — май». Но главное в

этом «новом» Слуцком — не здесь. Не «голая скорость» баллады или ностальгическая дымка элегии становятся основным тоном его лирики, а обнаженная пульсирующая мысль, прямое размышление о жизни.

В свободном стихе, в неклассических дольниках, даже в привычных ямбах и хореях идет мучительный поиск слова, смысл словно ищет себя, прощупывается поэтом в каком-нибудь бытовом эпизоде, в нафантазированной ситуации, в легком перезвоне слов или тяжелом столкновении метафор — и вдруг вспыхивает «молнией мысли» (Заболоцкий), которая воспринимается не как тривиальный, «дешевый» афоризм, а в ее собственной, самородной красоте и глубине, выстраданной мудрости.

Впрочем, Слуцкий, из размышлений которого об искусстве можно составить целую книгу, подумал и рассказал об этом сам:

Поэты подробности,
поэты говора
не без робости,
но не без гонора
выдвигают кандидатуры
свои
аа первые места
и становятся на котурны,
думая, что они высота.

Между тем детали забудут,
новый говор сменит былой,
и поэты детали будут
лишь деталью, пусть удалой 〈...〉
Между тем поэты сути,
в какие дыры их ни суйте,
выползают, отрясают
пыль и опять потрясают
или умилнют сердца
без конца, без конца, без конца.

Он писал, конечно, не о себе, но нам уже сегодня ясно, что Слуцкий был поэтом, постоянно устремленным к сути. Причем, говорил об этой сути «прямыми словами».

Отношение к лирике такого рода и до сего дня аесьма неоднозначно. Ее либо усиленно подтягивают на пьедестал «философичности» (для такой операции стих Слуцкого слишком земной, слишком конкретный и исторический), либо она проходит по разряду «дидактической социологии», той самой «поэзии подробностей».

На самом деле стих Слуцкого вовсе не эмпиричен и не риторичен. Приметой стихотворной «риторики» являются не «афоризмы», не «суждения», а необеспеченность слова мыслью и чувством. В стихах же Слуцкого—особый счет: тут за каждое слово заплачено трудным опытом, каждое стихотворение обеспечено судьбой. Это, впрочем, не означает, что мир Слуцкого эстетически однороден. Ю. Болдырев вспоминает тонкое суждение Л. Я. Гинзбург: «Великие поэты — это не те, которые пишут самые лучшие стихи... Великий поэт — это тот, кто шире всех постиг „образ и давление времени“ (как говорил Шекспир)».

«Образ и давление времени» можно считать главной темой поэта Слуцкого. Как старые летописцы, на первом плане он писал Жизнь, Историю, Время и лишь где-то в уголке — собственную судьбу: «Не как повод, не как довод, тихой нотой в общий хор в длящийся извечно спор я введу свой малый опыт...» «Время» было одним из ключевых слов его поэтики. Указание на него — в названии практически каждой его книги — просто «Время» (второй сборник), «Время моих ровесников», «Сегодня и вчера», «Годовая стрелка», «Доброта дня», «Продленный полдень», «Сроки» (последняя книга). Но, с другой стороны, Ю. Болдырев вспоминает реплику Слуцкого: «Я никогда не ставил дат под стихами, разве что иногда — камуфляжные». Противоречие? Нисколько. Слуцкий писал не узкокалендарное, «газетное» время, а духовную атмосферу и эпохальные сдвиги. В его стихах — горький и трагический опыт его поколения, данный (наконец-то!) без урезок, подчисток, умолчаний.

Если в прежних его книгах точкой отсчета была война, то новые публикации (новые-то они для нас, стихи писались тогда же, параллельно, в 50-е, 60-е, 70-е) резко сдвинули ее в годы предвоенные. «Культ личности», его формирование, его последствия и последействия (едва ли не до наших дней) — вот вокруг чего мучительно кружит мысль поэта, вот где главный источник его боли. Так в «Вопросах себе» появляются стихи о старых военных «с обязательной тенью гибели на лице и с постоянной памятью о скоростном конце», о коммунарах, «основателях этой державы», славе и совести революции, роющих землю в лагерях за полярным кругом, о «бессовестной, круглой и белой» руке, вырывающей в тридцать седьмом году одного из спящих в общежитии студентов, о поэтах малого народа, «который как-то погрузили в теплушки, в ящики простые и увозили из России». Лирический эпос Слуцкого органично включается в поток произведений о проблемах нашей недавней истории, который так мощно заявил о себе в последние два года. Причем (так получается в иных уже опубликованных романах) поэт не стремится быть задним числом умнее времени, беря и яа себя тяжесть его иллюзий и заблуждений: «Всем лозунгам я верил до конца... Вину и на себя я принимаю».

Когда-то Павел Коган в знаменитом «Письме» программно сформулировал: «Мы, лобастые мальчики невиданной революции». У позднего Слуцкого, «лобастого мальчика» из того же поколения, появляется стихотворение «Советская старина», тоже одно из программных, сводящее воедино многие мотивы и приметы времени. Поначалу оно, кажется, проникнуто тем же высоким и беспримесным романтическим пафосом:

Античность нашей истории. Осоавиахим.
Пожар мировой революции,
горящий в отсвете алом.
Все это, возможно, было скудным или сухим.
Все это, несомненно, было тогда небывалым.

Но дальше — резкий поворот, образ времени начинает раздваиваться:

Мы были опытным полем. Мы росли,
как могли.
Старались. Не подводили мичурины
социальных.
А те, кто не собирались высовываться
из земли,
те шли по линии органов, особых и
специальных.

Эпоха предстает здесь не в романтической дымке, а в жесткой и жестокой точности деталей, в сцеплении противоречий. Это, однако, не опровержение прежних истин, а избыток исторического зрения. Правда юношеского ощущения скорректирована горьким знанием трагедии тридцатых годов.

И вспоминая о войне, Слуцкий видит теперь не только сгоравших в танках своих товарищей, политрука, поднимающего людей в атаку, солдата, становящегося памятником и несущего посмертную службу,—но и старшин, распивающих «ведро мертвецкой водки», полученной на убитых бойцов, и Ваньку-взводного, который не может доказать своей невиновности и, единственный выживший в бою, получает пулю от своих. И в стихах о времени более позднем Слуцкий воспроизводит не только легкий аоздух мая сорок пятого года, но и трудности врастания в послевоенную жизнь: «Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны... Господствовала прямота, и вскользь сообщалося людям, что заняты ваши места и освобождать их не будем».

Путь к истинному пониманию времени был труден и мучителен. Но когда правда была обнародована и обретена, никакие силы не могли заставить поэта забыть ее, сделать вид, что ничего не случилось, вернуться к блаженству незнания. Когда из общественного сознания незаметно, но целенаправленно начали стирать одну дату, поэт Слуцкий отмечает ее как свой личный юбилей:

Десятилетье двадцатого съезда,
ставшего личной моей судьбой,
праздную наедине с собой.

Все-таки был ты. Тебя провели.
Меж девятнадцатым и двадцать первым —
громом с неба, ударом по нервам,

восстановлением ленинских норм
и возвращеньем истории в книги,
съезд, возгласивший великие сдвиги! 〈...〉

Ныве, когда поняли все,
что из истории, словно из песни,
слово — не выкинь, хоть лопни,
хоть тресни,
я утверждаю: все же ты был...

Противостояние механизму беспамятства становится личной задачей Слуцкого, на этом держится коллизия многих его стихотворений: «Воспоминаний вспомнить не велят: неподходящие ко времени. Поэтому они, скопляясь в темени, вспухают и болят». Но он вспоминает, он идет против потока, он (как потом оказалось, и другие) воюет в одиночку, он пишет, явно не надеясь на близкую публикацию многого: «Ставлю на через одно поколение, не завтра, а послезавтра».

Судьба таких стихов Слуцкого добавляет несколько существенных штрихов к портрету «недавнего давнопрошедшего времени». С трудом прорывалось на печатные страницы не только «идейно сомнительное» или «для читателя сложное», но прежде всего любое правдивое, тревожащее умы слово о современности. Понятие «несвоевременно» оказывалось необъятно широким. Достаточно сравнить «Избранное» Слуцкого 1980 года и те стихи, которые мы читаем сегодня. Казалось бы, вот она, гражданская лирика, за которую бились, которую призывали, о которой вели дискуссии, вот он, мощный демократический поэт, заставляющий вспомнить не только о Некрасове, но и о совсем близком Твардовском, однако...

Семь с половиной дураков
смотрели «Восемь с половиной»
и порешили: не таков
сей фильм,
чтобы пошел лавиной,
чтобы рванулся в киносеть
и ринулся к билетным кассам
народ. Его могучим массам
здесь просто нечего глядеть.

Отразившее эстетические битвы начала шестидесятых годов, когда картина Феллини получила Большой приз Московского кинофестиваля, но так и не вышла на широкий экран, это ироническое стихотворение имеет и более общий смысл. Оно — о времени, породившем феномен «полочного фильма» и «книги в столе».

Так и у Слуцкого: все главное идет в стол, все — на потом, в расчете на читателя будущего (кто же знал, что оно наступит так скоро). Все понимал, но иначе не мог: «так и надо жить поэту».

«Лакирую действительность — исправляю стихи. Перечесть — удивительно — и смирны, и тихи... Чтоб дорога прямая привела их к рублю, я им руки ломаю, я им ноги рублю, выдаю с головою, лакирую и лгу... Все же кое-что скрою, кое-что

сберегу. Самых сильных и бравых никому не отдам. Я еще без поправок эту книгу издам!» Это — к вопросу о том, что опубликонал бы, а что не опубликовал Слуцкий сегодня.

При всем неприятии культа, при восприятии двадцатого съезда как этапа личной судьбы Слуцкий, впрочем, далек от прямолинейного и скорого решения сегодняшних «проклятых вопросов». В подборке «Юности» есть стихотворение об отставном генерале, начинающееся весьма привычно по нынешним временам: «Генерала легко понять, если к Сталину он привязан,— многим Сталину он обязан, потому что тюрьму и суму выносили совсем другие. И по Сталину ностальгия, как погоны, к лицу ему». Но дальше черно-белая логика, как это часто бывает у Слуцкого, резко сламывается, и в этой судьбе тоже обнаруживается своя трагичность и глубина: «Кто остался тогда? Никого. Всех начальников пересажали. Немцы шли, давили и жали на него, на него одного... Для него же — свободой, благом, славой, честью, гербом и флагом Сталин был. Это уж закон! Это точно. "И правду эту,— шепчет он,— никому не отдам". Не желает отдать вождям. Пламенем безмолвным пылает, но отдать никому не желает». «И за это ему — воздам!» — кончает Слуцкий. Как и всюду, и здесь он исходит из правды отдельного человека, этой мерой судит, измеряет, оценивает все.

Впрочем, «новый» Слуцкий не обязательно ретроспективен. Он пристально вглядывается не только в «советскую старину» тридцатых, в «сороковые-роковые»...

Среди многочисленных «антиутопий» в стихах, прозе и на экране короткая баллада-предупреждение «Объявление войны» кажется одной из самых пронзительных:

Вручая войны объявление, посол понимал:
ракета в полете, накроют его и министра,
и город, и мир уничтожат надежно и быстро,
но формулы ноты твердил, как глухой
пономарь.

Министр, генералом уведомленный за полчаса:
ракета в полете,— внимал с независимым
видом,
но знал: он — трава и уже заблестела коса,
хотя и словечком своих размышлений
не выдал.

Но не был закончен размен громыхающих слов,
и небо в окно засияло, зажглось, заблистало,
и сразу не стало министров, а также послов,
и всех и всего, даже время идти перестало...

Столкновение новых реалий и старого мышления спрессовано здесь в строфы, стоящие целого романа. Но рядом — столь же пронзительные мольба, заклинание о будущем: «Будущее, будь каким ни будешь! Будь каким не будешь, только будь».

Судьба обрушила на него, может быть, самое страшное для пишущего человека — молчание. «В октябре 1983 года,— вспоминает А. Борщаговский,— Борис позвонил мне из больницы... Я попросил разрешения прийти к нему в палату. После долгой паузы он сказал: „Саша... Не к кому приходить..." — „Но стихи,— взмолился я,— мы ведь все время читаем твои новые стихи!" — „Новых нет. Все старое. Я больше не пишу"».

Он умер в феврале 1986 года, когда время ощутимо поворачивалось, но эта утрата словно была заслонена происходившими в стране важными событиями. В коротком некрологе, напечатанном в «Литературной газете», Д. Самойлов сказал, кажется, пророческие слова:

«Он кажется порой поэтом якобинской беспощадности. В действительности он был поэтом жалости и сочувствия... Я уверен, что именно так надо рассматривать поэзию Слуцкого, и черты жалости и сочувствия, столь свойственные великой русской литературе, делают поэзию Слуцкого бессмертной... Нетленность поэзии придает ее нравственный потенциал, и он с годами будет высветляться...»

И уже через несколько месяцев к читателю пошел непрерывный поток публикаций «нового» Слуцкого.

«Немаловажно, с каких книг начинаешь»,—записал он в рабочей тетради Хорошо помню, как начиналась его поэзия для меня. В журнале «Пионер» (ну почему «Пионер»? — с печатанием, видимо, было совсем плохо), в возрасте, когда ряд знакомых поэтов кончается на Пушкине и, может быть, Маршаке, вдруг остановили и запомнились навсегда необычайно «изобразительные», как теперь понимаешь, полные скрытой мастеровитости, ладно сколоченные строки:

Мы бы не дополали бы
Полви мы хоть ползимы.

И тоже хорошо помнится, как поразили в последних «Сроках» (кто же знал, что они окажутся последними?) стихи о «черном перечете» славы:

Черный перечет пора устроить —
может, нас читатель проглядел?
С полки снять,
в руки взять,
пыль стереть —
хотя бы с места стронуть
славы черный передел.

Нам, писателям второго ряда
с трудолюбием рабочих пчел,
даже славы собственной не надо.
Лишь бы кто-нибудь прочел.

Так хочется сказать: Вас читают, Борис Абрамович, Вас знают и любят, Вас не проглядели... Но кому скажешь?

У НАЧАЛА РУССКОГО РЕАЛИЗМА

Г. П. Макогоненко. Лермонтов и Пушкин. Л.: Советский писатель, 1987

Так случилось, что книга эта вышла через год после кончины ее автора. Она — итог творческого пути ученого, большой работы, которой Георгий Пантелеймонович отдал последние полтора десятилетия своей жизни,— монографии о пушкинском реализме, становлении реалистического метода в русской литературе 1830-х годов. Собственно (и это не раз подчеркивал Г. П. Макогоненко в беседах с учениками), понятия «реализм» и «романтизм» для характеристики литературного движения той поры достаточно условны. Нельзя видеть в одних произведениях Лермонтова-романтика, в других — реалиста. Реализм и романтизм — не неподвижные категории, они живут, эволюционируют, вступают в сложные взаимоотношения в литературном процессе. Однако в сложном художественном мире 1830-х годов доминирующая роль принадлежит Пушкину, потому что именно в его творческих открытиях возникла ясная перспектива литературного развития. Они были подхвачены его гениальными преемниками, по-своему продолжены ими в собственном творчестве. Поэтому, если две первые части монографии — «Творчество А. С. Пушкина в 1830-е гг.» — были посвящены пушкинским произведениям, то в работах «Гоголь и Пушкин» и «Лермонтов и Пушкин» речь идет об освоении и претворении писателями нового поколения опыта великого предшественника.

Вопрос о творческих связях Лермонтова и Пушкина имеет обширную историю, и Макогоненко подробно останавливается на ней. В итоге выделяется проблема преемственности. Но она не сводится к фиксации «заимствований» сюжетов и образов, к утверждению, опирающемуся, как убедительно показал исследователь, на неверно понятого Белинского: Пушкин и Лермонтов — поэты разных эпох, и последний, увлеченный своими проблемами на новом этапе русской жизни, скорее — преемник Пушкина в общественном плане. Исследование литературной реальности приводит Макогоненко к мысли, что пушкинское творчество было для Лермонтова живым фактом его времени, важнейшим событием именно 1830-х годов. Отсюда — непреходящий интерес молодого поэта не столько к ранним, сколько к поздним произведениям Пушкина, отсюда и убежденность ученого в том, что «пушкинское начало» у Лермонтова надо искать не на традиционных путях «влияния», не в прямых — достаточно ограниченных, несмотря на множественность фактов,— «следах» совпадений и заимствований, но в самом характере решений стоящих перед Лермонтовым проблем жизни и литературы. «...Историческая истина состоит в том, что и Пушкин активно действовал в этот период. Он творил в этот период, вступив в пору зрелости. Именно он ставил в тридцатые годы самые важные и насущные для общества и литературы вопросы. Более того — он открывал и подсказывал „в свой жестокий век" пути к будущему, к свободе и народу. И это было органически необходимо Лермонтову».

Целью Макогоненко становится исследование осуществлявшегося в 1830-е годы события «величайшего значения» — «преемственных творческих связей между поэтом младшего поколения и его гениальным предшественником и современником». Только на таком уровне, по мысли ученого, можно и должно исследовать проблему «Лермонтов и Пушкин». Разумеется, он учитывает опыт своих предшественников, в первую очередь труды Б. М. Эйхенбаума, Л. Я. Гинзбург, Д. Е. Максимова. Но его истина приходит как в освоении их завоеваний, так и в творческой полемике с ними. Так, как бы возвращаясь к тексту, обновляя сложившиеся представления, Макогоненко показывает движение лермонтовской мысли в ходе работы над драмой «Маскарад» (в частности, утверждая необходимость четвертого акта драмы — ее отрицал Эйхенбаум) к художественному отрицанию романтического героя-индивидуалиста не только как носителя нравственно разрушающего начала, но прежде всего как явления социального. «Маскарад», его мысль рассматриваются в движении, в единстве с другими произведениями Лермонтова, в первую очередь с его «юнкерскими поэмами», «Тамбовской казначейшей», «Демоном», что позволяет видеть динамику эволюции поэта.

Важнейшее место в этой эволюции принадлежит произведениям Пушкина, для

которого вопрос о судьбе поколения «молодых дворян, начавших самостоятельную жизнь в 1830-е гг.», не менее актуален. «Пушкин,— пишет Макогоненко,— не только ставил острые и больные вопросы времени, но, как реалист, оказался способным раскрыть и объяснить идейные истоки драмы нового поколения». Исследователь показывает различные уровни обращения Лермонтова к Пушкину. Тут и внешние атрибуты стиха, намеренно отсылающие читателя к Пушкину, и реалистически точные описания жизни — освоенные пушкинские уроки, и пародирование ситуаций (например, отношения Онегина и Татьяны в восьмой главе пушкинского романа и сцены «Тамбовской казначейши», «обдернувшийся» Германн в «Пиковой даме» и «обдернувшиеся» игроки Гарин в «Тамбовской казначейше» и Арбенин в «Маскараде»), когда драматизм «судьбы двух лучших людей эпохи» у Пушкина оттеняет лермонтовское разоблачение «пошлого человека», и тема демона у обоих поэтов...

Исследование сложно и многопланово. Но ведь многопланова и сам «Маскарад», и лермонтовский путь к его окончательной редакции. Доминирующим на этом пути, как показывает исследователь, становится «пушкинское начало». Вскрываются сложные отношения лермонтовского героя с Германном и Алеко, движения мысли в «Маскараде» — со «Сценой из „Фауста“», «Моцартом и Сальери». Их связь — как в единстве мучительных, больных проблем эпохи, выраженных на разных уровнях художественного обобщения в конкретных произведениях, так и в освоенных Лермонтовым пушкинских открытиях «поэзии действительности», пушкинском понимании человека. Именно они позволили Лермонтову «спустить героя с космических высот в реальный мир». Трагедия Арбенина — в нем самом и одновременно в его социальном бытии, определяющем характер и поведение героя. Образ типично романтический — Арбенин-демон — наполняется пушкинской мыслью о человеке, раскрывается в конкретном мире русского общества 1830-х годов.

Исследование Макогоненко проблемно. Оно охватывает огромное количество произведений Лермонтова и Пушкина. Анализ идет на различных уровнях — от постановки общефилософских проблем к исследованию отдельных мотивов, тем, образов-символов. Зачастую ученый сосредоточивается на конкретном разборе текста. Отметим хотя бы интереснейший анализ «Мцыри», образа поэта в стихотворении «Смерть поэта», открывающий новую страницу в исследовании темы поэта-пророка у Лермонтова и Пушкина, блистательное, тонкое проникновение в художественный смысл стихотворений «Родина» и «Выхожу один я на дорогу», меткие и всегда интересные наблюдения над пушкинскими текстами. Все спаяно единой мыслью, говорит об умении видеть литературные явления в их динамике и единстве, о подлинном историзме научного мышления автора книги. Его воспитывал Макогоненко в своих учениках, он был опорой открытий ученого.

Г. П. Макогоненко любил и умел спорить. Его книги, статьи, лекции всегда были полемичны, зачастую вызывали нападки. Свою правоту он доказывал жизнью и творчеством. Уходя, он оставил нам четырехчастную монографию о становлении русского реализма. После выхода последней части пришла пора собрать книгу заново, издать в едином корпусе. Думаю, что с ней тоже будут спорить. Это естественно, потому что не бывает «истины в последней инстанции». Об этом думал сам ученый. Недаром в заключении работы «Гоголь и Пушкин» он вспомнил о толстовской «энергии заблуждения», которая и есть творчество, ибо «определяет поиск истины». Монография Г. П. Макогоненко не только открывает и ставит важнейшие литературоведческие проблемы, но будит творческую мысль, требует новой «энергии заблуждения».

М. Г. МАЗЬЯ,
кандидат филологических наук

НЕЛЬЗЯ БЕЗ ГРУСТИ

Дмитрий Толстоба. Жить на земле. Стихи. Л.: Советский писатель, 1987

И десяти лет не прошло после первой книги стихов Дмитрия Толстобы, как читатель получил вторую. Драматичный срок, ставший, увы, для выхода второй книги почти закономерным. Причины этой драмы многообразны, но на одну надо указать особо.

Мне всегда казалось, что мысль, будто в печальной памяти эпоху печать у нас ставила препоны только произведениям с так называемой острой социальной проблематикой, отдает радикалистской наивностью. Нет, неугодного автора в редакциях улавливали по синтаксису, по колориту, по тембру, по интонации: все зябнет, например, и печалится, хотя пятилетка объявлена на пятилетку, и как-то не бросается в глаза, чтобы каждое утро газеты читал. Так год за годом личность и ее сокровенное бытие вычищали и вырезали ножницами из печатной литературы. Последствия этих операций хорошо известны.

К бесчисленным и всегда утилитарным градациям поэтов добавлю-ка еще одну: есть поэты разговорчивые и молчаливые. Это определение не качества, но характера. Толстоба — поэт молчаливый. Такова природа его способа жить, так, молчанием, красноречиво высказывает себя особого рода стыдливость, боязнь дать «петуха» при попытке форсировать пятетикой голос. Не каждый способен это в нем почувствовать — слух испорчен у кого бравурной, у кого эпатажной музыкой, а душа привыкла откликаться только на внятную слезу.

Когда прямое изъявление чувств почти совсем отсутствует, акцент переносится на деталь — о н а г о в о р и т. Как в стихотворении, где, узнав о смерти матери, герой «стоял в обнимку с пиджаком и думал — надо где-то денег взять». Какое кромешное одиночество соседствует с житейским раздумьем!

Стих Толстобы по-антеевски силен, когда обеими ногами стоит на земле, когда поэт, опустив взгляд, видит «бесшумные взрывы грибов дождевых» и что окунь — «тигровый», а подняв глаза, замечает, что молнии летят в залив, «как свежетесаные бревна». Меньше всего он стремится этими деталями украсить и расцветить стих. Они сами — смысл и содержание бытия, выражение его самоудивляющегося движения и разнообразия. Вольно и непредсказуемо всплывают они в памяти, встряхивают воображение; на философскую удочку их не поймаешь, живут сами по себе, и ты живешь:

> вбираешь разом, а глядишь вприщур,
> руками отводя сырые ветки,
> о посторонних думая вещах,
> что, мол, некрепок дым у сигаретки...

Впрочем, и здесь чувствуется озабоченность автора тем, чтобы никто не смог перехватить его взгляд, застать врасплох в минуту философского раздумья или восторга. «Как живете?» — спрашивают его. И он отвечает: «...понемногу. Не склоняя головы». Шутит, а глаза серьезные. «Веселый город все-таки Ташкент. Как говорят, чего в нем только нет»,— восклицает он и, чувствуя, что чуть было не впал в несвойственную ему интонацию, продолжает: «нет ни гроша». Призыв «давайте воспарять» явно не для него. Он заземлен, как радиоприемник, внимающий голосам вселенной.

Есть в сборнике стихотворный цикл «Кентавр». Строчки в нем гнутся и ломаются от романтического кипения копыт и роковых страстей. Судя по всему, он создавался поэтом не в том возрасте, когда книга шла в набор. Но и в сборнике сорокалетнего человека цикл не выглядит запоздавшим. Более того, он является в какой-то степени камертоном. Эта «фантазия» (таков подзаголовок цикла) о «полулюдях-полуконях», которые обречены «с рожденья скитаться с именем беды», недаром возникла однажды в «зеленом» папиросном дыму. Герой Толстобы и сам скиталец. Его некогда гордая прописка в шестидесятых, когда по двору прошли семидесятые да и восьмидесятые уже заканчиваются, как бы недействительна. Он бесприютен прежде всего потому, что душа осталась без определенного места жительства. Чуть ли не в каждой строке его сквознячок обиды. Мотив почти навязчивый. «Я все не спал. Все плавал в пустоте, соображая, кто меня обидел вчера». Перемена мест только усугубляет состояние: «заснул над Волгой. Просыпаюсь. Светло. Сибирь. Не по себе». Вот почему так легко и горько обобщается им, казалось бы, заурядный случай, когда попутки не останавливаются на протянутую руку:

> Я добрался до этих трасс.
> Чей-то муж я и чей-то зять.
> Я на Севере пятый раз —
> а меня не желают взять.

И тут же сам себя успокаивает: «даже сердце не всех берет подвернувшихся на пути...» — но, в сущности, только растравляет боль. Гамлетовское «распалась связь времен» разворачивает он в целый сюжет судьбы, то и дело отправляется в прошлое в поисках свидетелей и документов, но заколочены дома и умерли очевидцы. Тогда он пытается сам сложить кубики воспоминаний, чтобы рисунок совпал с рисунком и проявился, наконец, план жизни во все стороны, но... не получается:

> Никогда я не был в первом классе.
> Промокашка выпила чернила.
> Что-то склеил, что-то перекрасил.
> Что-то просто память сочинила.

И, как водится у этого поэта, он не рвет в отчаянии рубашку, а даже несколько бравирует: «но нам ништо — мы пасынки с рожденья»,— однако не расслышит в этом тоску лишь изувеченный непроницаемым благополучием.

В чем исток этого состояния? В послевоенной безотцовщине? В свойствах характера? В том, что юность и мечта талантливо разрисовали часть полотна, но фантазия эта так и осталась фрагментом, увы, уже ничего не обещающим? Не отсюда ли ощущение двоякой своей природы, где половинки болезненно срастаются и никак не могут срастись, где память о конной вольнице не позволяет кентавру примириться с местом в людском стойле. «Мир многолик, судьба — безвариантна»,— как смириться с этим тому, кто в своих пионерских лагерях пел с серьезным восторгом: «все пути для нас открыты, все дороги нам видны!» Нет-нет, и возжаждет душа беззакония, вспомнив свою первую природу: «давай выбираться из тихой квартиры, и жить на проспектах, и спать на граните», а то ведь «такой интерьер пропадает». Но жизнь гнет свое, и вот уже прогуливаешь себя, «как пса домашнего, приличного, к порядкам окружающим привычного», и даже не заглядываешь в те проулки, «где, шерсть сди-

рая, лают под воротами дворняги со своими поворотами». А сердце жжет ощущение какой-то фатальной недовоплощенности, и кто виновник, кто жертва — поди разберись.

Иногда творческая воля покидает автора, он по инерции проборматывает свою вечную жалобу, раздражается на себя и от этого начинает говорить не своим голосом. Порой не успевает донести эмоцию до листа, краска капает, порой клякса получается довольно выразительной, уже самому кажется, что так и было задумано, и стирать жаль. Думаю, если бы поэт регулярно выходил со своими стихами на суд читателей и критики, сборник «набивался» бы не так судорожно, но едва ли пятая часть книги была до этого опубликована в периодике.

Корю себя за то, что не обо всем сумел сказать: есть в книге и свет, и юмор, и медитации. И все же к другим ходите за палитрой, к Толстобе — за краской. После этих стихов вы различите ее и в своей душе, и в природе, и в череде дней. А для того, чтобы хоть одна краска проявилась на палитре мироздания, осталась в его керамической памяти, она должна быть непременно обожжена чьей-то жизнью, сгорающей прилюдно. Об этом и речь.

Николай КРЫЩУК

ВОПРОС ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ...

Ленинград. Путеводитель. Лениздат, 1986

Весной 1987 года на прилавках книжных магазинов и в киосках Союзпечати после десятилетнего перерыва появился «большой» путеводитель по Ленинграду. В предисловии подчеркиваются его предназначенность «и для домашнего чтения, и для использования в качестве источника информации во время прогулок по городу» и построение описанных в нем маршрутов «по линейному принципу, без уходов в стороны и возвратов».

При сравнении книги с предшествующим путеводителем (Лениздат, 1977) сразу видно, что в целом в ней информации больше. Но достаточно ли этого, чтобы сказать: литература о нашем городе сделала шаг вперед?

Прежде всего, вряд ли правильно, что столь нужная книга адресована в сущности лишь тому, кто не только знает о Ленинграде уже достаточно много, но и довольно глубоко знаком с историей и архитектурой. В путеводителе не разъясняются — очевидно, считаясь хорошо известными — такие термины, как «ярл», «писцовые книги», «перетекающие пространства», «протоконструктивистское направление» и многие другие.

Здесь полностью отсутствуют указатели. Читателю предлагается лишь адресная поисковая система («знаешь адрес — найдешь объект») с очень несовершенным ключом — оглавлением маршрутной части. Поэтому новый путеводитель крайне неудобен как справочник. К тому же авторы не раз нарушают заявленный в предисловии «линейный принцип». Например, в маршруте по Невскому проспекту говорится о памятнике А. С. Пушкину на Пушкинской улице, который нельзя увидеть, если не «уйти в сторону» с проспекта.

В маршрутной части авторы нередко не считают нужным объяснять читателю смысл того, что неизбежно привлечет внимание (например, смысл изображений на обелиске, находящемся на площади Восстания, на памятнике Николаю I на Исаакиевской площади). Характерна для этой части и непоследовательность в сообщении сведений об однотипных объектах (так, высота Александровской колонны указана, а обелисков на площади Восстания и в честь побед полководца П. А. Румянцева — нет).

Посмотрим теперь на вводную часть, например, на разделы «Начало города» и «Северная столица» (глава «История»). Оба раздела носят парадно-помпезный характер и создают у читателя впечатление, что история Петербурга до конца XVIII века — это непрерывная цепь побед, успехов и достижений. Однако подобная «панорама», в которой можно найти лишь несколько беглых упоминаний об острейших социальных конфликтах того времени, не позволит читателю даже приблизительно почувствовать, как же в действительности прожил город на Неве свое первое столетие. Ощущение «лакированной» полуправды остается и при чтении раздела «Именем Ленина» в той же самой главе «История». Раздел этот посвящен 1919—1939 годам. В 1921 году в Петрограде, как и во всей Советской России, начала проводиться новая экономическая политика. Нэп сыграл в жизни Петрограда-Ленинграда очень важную роль, но в разделе «Именем Ленина» об этом явлении даже не упоминается, как и о всех трудностях, с которыми сталкивался город в 1920—1930-е годы. Вместо этого — опять перечень побед и достижений.

Одним из двух первенцев Адмиралтейской верфи являлся, согласно путеводителю, корабль, носивший название «Прам». Но корабля с таким именем в русском флоте никогда не было, так как «прам» — это тип судна. Об архитекторе Ж.-Б. Леблоне говорится, что он приехал в Петербург в 1716 году, «после поездки Петра во Францию». Между тем, Петр I посетил Францию в 1717 году. Анна Леопольдовна отнесена к числу «монархов, всходивших на российский престол», но на самом деле она была лишь правительницей и «монархом» никогда не считалась. Усадьба Г. Р. Державина на левом берегу Фонтанки, принадлежавшая поэту в 1791—1816 годах, названа «загородной», хотя уже в 1770-е годы граница города проходила гораздо южнее Фонтанки, и левый берег последней в 1790—1810-е годы никак не мог быть «за городом». В рассказе о Монетном дворе говорится, что советские монеты чеканятся здесь с 1922 года, однако первые советские монеты, выпуск которых осуществил Монетный двор, имеют дату «1921». И это — еще не все неточности.

По своему стилю маршрутная часть все время сбивается на сухой подресный справочник, мало говорящий читателю-неспециалисту. Вот, например, абзац из маршрута по Невскому проспекту: «В застройке проспекта выделяется монументальный д. 107 с колоннадой в нижней части фасада и двумя башнями, увенчанными обелисками (1952 г., арх. В. Ф. Белов, Е. М. Лавровская). Напротив — два крупных здания, фланкирующих начало пр. Бакунина: д. 142 (1880-е гг., арх. А. В. Иванов, 1900 г., арх. Д. А. Крыжановский) и д. 146 (1930-е гг., арх. И. А. Вакс). В перспективе Полтавской ул. виден комплекс сооружений, возведенных в 1911—1914 гг. в „неорусском стиле" по проектам арх. С. С. Кричинского». Но многие ли знают, какое место в истории архитектуры занимают перечисленные здания и сооружения? Много ли тех, кто знает, каковы особенности творчества В. Ф. Белова, И. А. Вакса, Д. А. Крыжановского, Е. М. Лавровской? Кстати, во вводной части, в главе «Архитектура», они даже не упомянуты.

Итак, эта книга вряд ли может считаться полноценным путеводителем. Перед нами, в сущности, своего рода справочник по Ленинграду, который непригоден для неподготовленного специально читателя. Книга не дает ответа на ряд вопросов, естественно возникающих при осмотре упоминаемых в ней достопримечательностей; многое в ней неспециалисту непонятно без дополнительных справок. Наконец, она страдает как неточностями, так и умолчаниями о многих важных явлениях и событиях истории города на Неве. Вопрос о достойном города путеводителе остается, следовательно, открытым.

Т. ИВКИНА

ВОСПИТАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЕМ

Григорий Усыскин. В былое — для грядущих лет. Л.: Детская литература, 1987

Путешествие всегда привлекательно, особенно если имеет целью открытие. На это и опирается кандидат исторических наук Г. С. Усыскин — руководитель красных следопытов Ленинградского Дворца пионеров имени А. А. Жданова.

Девять часов нужно солнцу, чтобы пересечь нашу страну от края до края. Сколько еще неизведанного на этом огромном пространстве — умей только видеть, искать, развивать в себе пытливость. Как же воспитывает у читателя дух искания и познания автор? Вопрос существенный, учитывая, сколько потенциальных юных краеведов еще не знают, к чему бы с толком приложить силы и старания.

Автор ведет рассказ интригующе, раскрывая неизвестное в известном. Мы знаем, например, что в городе на Неве и его окрестностях сотни ленинских мест. Однако некоторые адреса исторических событий, связанных с деятельностью Владимира Ильича, нуждаются в уточнениях.

...После подавления первой русской революции большевики вынужденно избрали местом своих конференций финский городок Териоки (ныне Зеленогорск), а точнее, как доносили шпики, дачу «Оттенена». Но где этот дом, кто был его владельцем? В канун минувшей войны историки пытались это выяснить, нашли даже некоторых участников конференций, установили, что загадочный «Оттенен» — литератор Уотинен Микко Юха. Юные ленинцы взялись продолжить поиск, затрудненный теперь тем, что никого из очевидцев в живых уже не было.

Перед нами разворачивается исследовательский сюжет. Нелегко было найти старые карты окраин Териок, да я мало что они дали — так все изменилось за десятилетия. Когда же исторический дом был, наконец, опознан, все скрупулезные доказательства его подлинности разрушил протекающий подле ручей: по схеме 1907 года он должен быть не здесь. Надо было догадаться (и доказать!), что его отвели при благоустройстве территории нынешнего дома отдыха. «Зеленогорский», да и к старому зданию пристроили новое — симметричное.

Следопыты отыскали в архивах представленный в книге портрет Уотинена (1885—1931), узнали, что этот человек писал стихи и они печатались... Значит, их тоже надо найти! Когда на помощь пришли финские сверстники, у наших ребят оказался сборничек стихотворений Уотинена, какого нет в в крупнейших библиотеках страны. Поэтический перевод их — новая задача!..

Еще одной страничкой Ленинианы далеко не исчерпывается содержание книги. Ленинград и его окрестности — широкое поле для походов в революционную историю, однако ребят манят дальние дали. Кто знает историю школ, носящих имя В. И. Ленина? Маршруты повели в Горки Ленинские, Ульяновск, Ярославскую, Бухарскую области... В казахском селе Буран директор школы К. Нургалиев, поте-

рявший на фронте ноги и руку, делом доказал, что не только в крупных городах дети могут получить образование высокого уровня — здесь у них есть свои технический и телевизионный центры.

Дорога сплачивает юных, способствует коллективизму, знания, обретенные в пути, лучше закрепляются... Автор мог бы сказать словами А. Герцена: мы, «...глубже опускаясь в смысл былого — раскрываем смысл будущего; глядя назад — шагаем вперед...».

Думается, что наши школы еще робко используют этот воспитательный фактор. Приходит на ум опыт Торошковической сельской школы, что под Лугой. Ее директор, тоже бывший фронтовик, учитель истории В. И. Никифоров, вдохновил ребят на создание школьного совхоза. Дети выращивают ранний картофель, приобщаясь к труду и зарабатывая деньги, которые идут на покупку туристского снаряжения, автобусные экскурсии в Москву, Ленинград, Новгород. В пропаганде такого опыта — еще одно достоинство книги Усыскина.

О. КАРЫШЕВ

ПЕРВАЯ КНИГА

Владимир Гуд. Единственный берег. Стихи. Симферополь, Таврия, 1987

Стихи эти написаны в Белоруссии, в Ленинграде, где автор их учился в Военно-медицинской академии, в Севастополе, где он служит врачом, в неизвестном квадрате Мирового океана и в Афганистане (из последних в сборник вошло, правда, только одно стихотворение, остальные создавались уже тогда, когда книга была в наборе).

Что привлекает меня в книжке Гуда? Плотная метафоричность, умелая лепка образов? Да. Но в первую очередь — верность судьбам старших поколений, а еще — отражение поступков, трагедийных коллизий, чувств, позволяющих думать: это замечено впервые.

Еще живут в бессоннице отца
Землянки запотелое оконце,
Над бруствером ромашка,
словно солнце,
И встречное дыхание свинца.

Я подумал: да, любопытно, однако это — чужое переживание. Но вот вековечное, соединенное с заново увиденным — павшие зачислены навечно не только в «хвойный полк», но и

В сирень, где соловьи поют взахлеб,
В горбатую высотку за болотом,
Где гибкий можжевельник врос в окоп,
Как номер пулеметного расчета.

Нет, это уже прочувствовано самим, хотя со времени, когда окончилась Великая Отечественная война, прошла, пожалуй, целая человеческая жизнь. Гуд знает то, о чем говорит. Профессия врача и сегодня стоит иногда у порога трагедии.

...За ошибки судят
Мои палаты — восемнадцать судеб,
И как свои, чужие боль и плач.

При встречах уговариваю маму:
«Боюсь беды. Сними кардиограмму.
Сходи к врачу...»
Как будто сам не врач.

Я, как и Владимир Гуд, очень люблю вечность берегов Тавриды, чудом сохранившиеся развалины Херсонеса. Все это бережно воссоздано в книге. Локализация образа всегда соответствует общему замыслу стихотворения. Метафоры, умелая аллитерация оживляют здесь и пейзаж:

Узкий причал. Ни души
Море да берег покатый.
Белая чайка спешит
в Красную книгу заката,

— и повседневную флотскую жизнь:

И пластика морн,
И пластик кают,
И пласт глубины погруженья.

Поэт тщательно работает над образом: «Чернел надстройки крашеный металл, и медленными пальцами прибоя усталый океан перебирал кингстоны, как отверстия гобоя». Такое сравнение стоит многого, оно не самоцель, а средство оживления, казалось бы, инертного материала. Или:

Не здесь ли, из яаскальной прядки
Травы, трепещущей в воде,
Морской конек в конфедератке
В глаза Мицкевичу глядел?

«Крымские сонеты» Мицкевича обретают вторую жизнь в воображении современного поэта...

...Владимир Гуд. Мало знакомое (пока) читателю имя. Надеюсь, что в будущем оно заставит зазвучать стихи в нашей памяти еще не раз.

Всеволод АЗАРОВ

Поэль КАРП

ЖИВОЙ, А НЕ МУМИЯ

1

Гляжу на фотографию в декабрьском журнале «Америка» за 1986 год, запечатлевшую томительную очередь за билетами на спектакли Кировского театра, и убеждаюсь, что интерес, возбужденный великими открытиями русского балета, все еще не насыщен, и нам есть еще что показать.

Нам есть еще что показать! Как давно, казалось бы, западные страны, некогда положившие балету начало, а после его почти растерявшие, восхищались дягилевскими гастролями; сколько уже лет, как, опираясь на помощь русских звезд, начиная с Фокина и Павловой, они возродили балет у себя, и уже сколь многого достигли, какие замечательные труппы сами привозили к нам, а нам все еще есть, что показать! Мы показываем, собираем аплодисменты, побуждаем стоять в долгих очередях за билетами, и наши газеты радуют нас сообщениями об очередном триумфе.

Порой, впрочем, корреспонденты забывают, что писалось на тех же страницах прежде. Воздавая хвалу О. Виноградову, возглавлявшему гастроли, о которых как раз и писала «Америка», «Советская культура» объявила, что он сумел «восстановить репутацию ленинградского балета», и одновременно бесстрашно сообщила, что прежде, под руководством К. Сергеева, театр «ощутимо терял зрителя, жил прошлой славой и достижениями отдельных звезд». Прежде, однако, «Советская культура» не только сама этого не сообщала, но и честила тех, кто смел хоть словом обмолвиться, что в Кировском театре не все ладно. А между тем Кировский балет и тогда за рубежом выступал триумфально, там его репутация всегда была на высоте.

Вот как получается! На родине к театру,— и при К. Сергееве и при О. Виноградове,— предъявляют претензии, порой весьма суровые, а американцы валом валят на спектакли!

Но ведь и дома спектаклями, на которые по инерции славы рвутся американцы, не пренебрегают. Часть[1] отечественной критики недовольна *новым* репертуаром, а за рубежом демонстрируются прежде всего *старые* балеты «Жизель», и «Лебединое озеро», иногда «Спящая красавица», «Раймонда», «Баядерка». И если старые балеты нельзя счесть сегодняшними достижениями, то это одинаково справедливо и для К. Сергеева и для О. Виноградова.

И формула «ощутимо теряя зрителя» к Кировскому балету тоже не очень-то применима. Зрительный зал на балетных спектаклях переполнен при всех руководителях. И жить прошлой славой для балета Кировского или Большого театров в какой-то мере естественно. Ведь их традиционный репертуар вызывает такой же постоянный интерес, как Рембрандт и Ренуар в Эрмитаже или Рокотов и Суриков в Третьяковке, хоть, конечно, театр — не музей, хранить былые сокровища ему много сложней,— и старое и новое не зря здесь демонстрируются в одном зале и одними и теми же артистами. Но об этом после.

Не забудем, опять же, что такие театры, как Кировский или Большой, получают государственную дотацию, что реальная стоимость билетов здесь по меньшей мере вдвое выше цены, которую платит советский зритель. Мудрено ли, что он, не хуже американского, рвется в балет, что все билеты туда проданы, тем более, что

[1] Именно часть! В начале года «Советская культура» писала, что «Броненосец „Потемкин"» «отечественная критика начисто не приняла». Между тем, «Театр» опубликовал восторженную рецензию В. Гаевского, за новинку выступили Н. Чернова, Н. Эльяш и другие.

добран их половина и дома наперед забронирована для иностранных туристов. Словом, переполненный зал здесь еще нельзя считать доказательством художественной победы. Отношения академического балета со зрителем много сложней простого голосования ногами.

Тут могла бы помочь многоголосая критика. Ее споры о происходящем на сцене служили бы зрителям и театральным ведомствам, да и самим театрам, некоторым ориентиром. Но текущей критики балета у нас теперь практически нет. И не потому, что нет людей, способных ею заниматься, — мысль, возбужденная открытиями русского балета, продолжает биться. Но ни одна область культуры не была защищена у нас от гласности так прочно, как балет, ни в одной области искусства критика не была столь унизительно зависима, и кто не мог эту зависимость выносить, уходил или молчал.

Зависимость тут начинается с самой возможности увидеть спектакль. У литературного критика таких проблем нет. Прочесть в библиотеке можно и Булгакова, и Пикуля. Но пройти в переполненный балетный театр, купить туда билет без благожелательного содействия театральной администрации практически невозможно, а ведь балеты вне сцены не существуют. Даже известным исследователям удается регулярно посещать лишь те театры, где интеллигентный директор подымается над страстями балетных мастеров, остро реагирующих на малейшие сомнения в их непогрешимой гениальности. Иной руководитель труппы тут же перестает здороваться с вымолвившим критическое слово или в ходе публичного обсуждения своей новинки бросает критику: «Вы слишком много ходите в театр!» — и никто даже не удивляется.

Тем более затруднен выход критического слова на страницы печати. Понятно, что в журнале «Советский балет» статьи блещут глянцем не менее, чем страницы,— при формировании редколлегии в нее ввели руководителей всех важнейших хореографических центров: Большого и Кировского балетов, Московского и Ленинградского училищ и кафедр хореографии в Москве и в Ленинграде. Нет, вероятно, другого издания, где бы практики и должностные лица в столь полной мере получали возможность официально контролировать написанное о них. В общих же изданиях говорить о балете стало труднее,— там обычно не хотят входить в «специфику», коль скоро есть специальный журнал.

За огромным большинством статей и книг ясно различимы групповые интересы. Похвалы носят столь же абсолютный характер, что и поношения: у «своих» — все хорошо, у «чужих» — все ужасно. Вряд ли кто-нибудь за последние тридцать лет сделал больше, чем Юрий Григорович — для советского балета вообще и для Большого театра в особенности. Но и его, если уж хвалят, то сооружая памятник, на котором любой спектакль запечатлевается как очередная победа, а если бранят — то устраивая обсуждение, на котором, как недавно в «Огоньке», все выступают с осуждением. В чем и как Григорович меняется, что приобрел, что утратил, в каких спектаклях проявились его сильные, в каких уязвимые стороны, в чем он верен себе, в чем стал новым, где удачи, где неудачи,— узнать из печати почти невозможно. Если в пору утверждения его таланта его творчество было предметом споров, в которых ото всех сторон требовались доводы, то поздней споры все чаще уступали место огульным воспеваниям и столь же огульным развенчаниям.

Работа Олега Виноградова, пожалуй, еще быстрее перестала быть предметом исследования и удостоилась еще более огульных воспеваний и развенчаний. Здесь превосходные степени пошли в ход с еще большими перехлестами. То о Виноградове, сообразно с его нынешней должностью, пишут как об одном из крупнейших русских хореографов, то он, напротив,— чуть ли не идеологический агент зарубежных разведок. Опять же, понять, как он меняется, развивается его дарование или вянет, чем новые работы лучше или, может быть, хуже прежних и отчего,— узнать из печати невозможно.

Вместо проблем внимание сосредоточено на фигурах и надлежит быть «за» или «против» каждой. К. Сергеев, Ю. Григорович, О. Виноградов и другие выступают то ангелами, то бесами балета. Разговоры все идут о лицах, а ведь лица выдвинуты и сформированы целой совокупностью обстоятельств, да и сами интересны тем, какие условия они создают для дела.

2

Как же ныне обстоят дела в Кировском театре? За десять месяцев в году он мог бы показать дома до ста семидесяти балетных представлений. Но в минувшие два сезона их число, согласно подсчетам по еженедельнику «Театральный Ленинград», было много ниже. При этом половину составляли четыре балета («Дон-Кихот», «Сильфида», «Жизель», «Бахчисарайский фонтан») и балетные концерты, включавшие в себя даже отдельные акты спектаклей текущего репертуара, что едва ли правомерно на столь культурной сцене. Лучшие собственные создания Кировского театра — «Спящая красавица», «Раймонда», «Баядерка», даже «Лебединое озеро», идут куда реже, некоторые — два-три раза за сезон. Из достижений советского периода демонстрируются, причем не слишком часто, еще три-

четыре балета, а современное искусство представлено почти исключительно сочинениями главного балетмейстера.

За последние десять-пятнадцать лет основные академические сцены ярких хореографов не вырастили. И все же в Большом театре, по крайней мере, ставили открытые оппоненты главного балетмейстера — и О. Виноградов, и М. Плисецкая, и В. Васильев. Кировская труппа с 1977 года, когда ее возглавил Виноградов, показала восемь новых полнометражных балетов советских хореографов: «Гусарская баллада» (О. Виноградов и Д. Брянцев), «Пушкин» (Н. Касаткина и В. Василев), «Фея Рондских гор» (О. Виноградов), «Ревизор» (О. Виноградов), «Ангара» (В. Бударин), «Конек-горбунок» (Д. Брянцев), «Витязь в тигровой шкуре» (О. Виноградов), «Броненосец „Потемкин“» (О. Виноградов). Можно прибавить одноактный балет Д. Брянцева «Страница прошлого» и его хореографические миниатюры, да еще, с оговорками, переработку давнего балета О. Виноградова «Горянка», выпущенную заново под названием «Асият».

За десять сезонов — десять новых спектаклей. Ни один из них не стал значительным событием. Одни успели сойти со сцены, на другие зрители не ломятся. Шесть из десяти балетов принадлежат главному балетмейстеру, еще три поставлены под его руководством,— реальное художественное состязание явно не поощряется.

А, между тем, сетуя на перегруженность репертуара, О. Виноградов не так давно писал: «Так ведь нам планируют его постоянное расширение. Нам, как и другим театрам, предлагают выпускать по два балетных спектакля в сезон — за пятилетие это составит десять названий. Это и есть бездумное, по сути фиктивное планирование». И далее: «Мы бы, выпуская одну премьеру в два сезона, могли бы оставшиеся средства тратить на обновление традиционных спектаклей, составляющих лицо нашего театра».

Вот оно как получается! Балетному театру сегодня дают поставить лишь два спектакля в сезон, хоть жизнь, конечно, требует большего. Но, оказывается, новые спектакли важны для всех, кроме руководителя труппы. Потребности высказаться у него нет. Он уверен, что лицо театра на вечные времена составляют старые спектакли.

И так думает не только О. Виноградов, но и самые категоричные его противники. «Пусть балет остается балетом!» — писал С. Викулов еще в 1978 году. «Кто продолжит традицию?» — спрашивают Т. Вечеслова и А. Осипенко сегодня. Мы видим, что и по их мнению лицо театра — великие старые балеты. Но тогда им следовало бы не винить Виноградова в инакомыслии, а полюбопытствовать, почему он на практике сокращает в отечественном прокате именно те спектакли, которые и по его словам составляют лицо театра. Этот парадокс помогает понять, в чем корень зла.

А он в забвении простой истины: развитие искусства состоит не в том, чтобы сбросить Петипа (или Пушкина) с парохода современности, и не в том, чтобы сделать из Петипа (или из Пушкина) новинку в модном стиле «ретро». Подлинный Петипа (как и подлинный Пушкин) тем и велик, что продолжает быть частью современного искусства. Великое потому и великое, что сохраняет связь с продолжающейся жизнью и входит необходимым звеном в сознание современного человека. Балеты, которыми мы дорожим, отобрались из сотен, рождавшихся рядом, но те умерли вместе с породившим их днем, а эти продолжают жить, поскольку касаются и нас, нынешних. «Жизель» и «Баядерку», «Спящую красавицу» и «Лебединое озеро» надо хранить не из уважения к корням и истокам, а потому что они, подобно пушкинскому «Медному всаднику» и толстовской «Анне Карениной», нужны людям сегодня.

Механическое «обновление» старых балетов, за которое ратует и которым усердно занят Виноградов, им не на пользу. Великие балеты выживают не потому, что их возобновляют раз в пять лет, а потому, что их непрерывно поддерживают живым восприятием, созвучным тому, которое обращено к новым, впервые рождающимся балетам. Театр, как было уже сказано,— не музей, и шедевры прошлого блекнут, если всякий день не заботиться о нынешнем лице театра, о том, чтобы рядом с прежними шедеврами рождалось новое и подлинное искусство,— не вместо прежнего, а в дополнение к тому из него, что продолжает сохранять силу. Иначе и самые прекрасные традиции не продолжаются, а мумифицируются.

3

Могучий подъем советского балета в шестидесятых-семидесятых годах, конечно, плод воздействия лучших спектаклей Ю. Григоровича. Они стимулировали постижение и зрителями и артистами содержательности традиционных композиций, для многих остававшихся прежде безмолвными, дышащими лишь формальным совершенством. И так же, думается, вынужденный отказ хореографа от замечательной хореографии его самобытного «Лебединого озера» или пересмотр, уже по собственному почину, первоначальной версии его «Ромео и Джульетты», не говоря уже о компромиссной «Ангаре» или весьма искусно слаженном, но лишь внешне содержательном «Золотом веке»,

внесли смятение в умы танцовщиков и зрителей и посеяли семена нынешнего кризиса. Никто другой упущенного не восполнил.

Но Кировский театр тем и был всегда велик, что его актеры формировались в работе над новым репертуаром. Овладевая новым хореографическим мышлением, они постигали свои возможности и обретали самостоятельность. М. Семенова, едва окончив училище, участвовала в постановке «Крепостной балерины», которую осуществлял Ф. Лопухов, открытый оппонент ее учительницы А. Вагановой. Перечислять хореографов, с которыми работала Г. Уланова, слишком долго. Для Н. Дудинской сотрудничество с В. Чабукиани в работе над «Лауренсией» было важнейшей вехой артистического становления. И. Колпакова обрела себя в первых балетах Ю. Григоровича. Кажется, одна только А. Шелест прошла свой путь сама, получая роли, уже кем-то опробованные, и прочитывая их заново, как впервые.

А сегодня даже бесспорно одаренные Галина Мезенцева, Ольга Ченчикова, Любовь Кунакова все еще чаще подают надежды, чем в полной мере их осуществляют. Они все еще ученицы, хоть пройдена половина сценического пути. Но винить их было бы несправедливо и даже жестоко. Легко ли танцовщице вполне ощутить свой танец голосом жизни, если ей не доводилось участвовать в подлинных хореографических исканиях? Легко ли ей, при самом большом таланте, достигнуть совершенства, если она танцует нерегулярно,— иной спектакль и раз в год и раз в два года? И не потому ли на гастролях балерины выглядят лучше, чем дома, что танцуют чаще?

Гастроли оказывают, впрочем, на актеров не одно лишь положительное воздействие. Не секрет, что они сопряжены с немалой материальной выгодой. Преувеличивать ее не стоит: заработки наших актеров в сопоставлении с актерами того же уровня в зарубежных театрах все равно невелики. (Не забудем лишь, справедливости ради, что наши более скромные заработки компенсируются пожизненной пенсией, выплачиваемой артистам балета, независимо от возраста, после двадцати лет службы.) Но все же доходы от зарубежных поездок стали для артистов весьма существенной опорой, если не основой, их материального благополучия. И, поскольку перед каждой поездкой гастрольная труппа формируется наново, балетный актер попадает в невозможную ни в каком другом театре зависимость от руководства, далеко не всегда движимого лишь художественными соображениями. Ощущение повседневной материальной зависимости ложится на сознание тяжким грузом, внушая пассивность и покорность. Сегодня во много раз выгоднее быть последним артистом кордебалета, регулярно выезжающим за рубеж, нежели премьером, выступающим только на своей сцене. Искусство требует слишком больших и притом ненадежных жертв, на которые отваживаются единицы. Вряд ли такое положение можно считать нормальным. А оно ощутимо сказывается на формировании художественных индивидуальностей.

И ведь такое формирование необходимо не только балерине. Каждая из вилис, сильфид, теней или лебедей должна ощутить себя вилисой, сильфидой, тенью, лебедем. Иначе асе сведется к правильности движений и общей слаженности, и механическая слаженность сегодня нередко подменяет в театре вдохновение. Но мало составить кордебалет из красивых и технически вооруженных танцовщиц. И кордебалету необходима причастность к живому творчеству и культурной традиции. А традиция поддерживается непосредственной преемственностью.

В Ленинграде и сегодня живут Т. Вечеслоаа, Н. Дудинская, А. Шелест, И. Зубковская, А. Осипенко, Р. Гербек, К. Сергеев, А. Макаров, И. Бельский, Б. Брегвадзе и другие оставившие сцену мастера. А в театре видишь их редко, нынешние актеры, как правило, не слышат их голосов, хоть они должны бы звучать. И не затем, чтобы с ними непременно соглашаться, но чтобы каждый артист в своих исканиях мог учесть опыт прямых предшественников. Но Кировский театр разорвал со своими стариками, даже самыми прославленными. Не разорвал ли он тем самым отчасти и с традицией? Разумеется, еще только отчасти, еще танцует И. Колпакова, еще служат немногие прежние мастера, но ведь балет набирает и теряет медленно, и опасные тенденции стоит различать прежде, чем последствия стали необратимыми.

Мы по-прежнему хвастаем: в СССР существует непревзойденное эталонное искусство, и как бы ни старались богатейшие страны мира привлечь специалистов, меценатов для создания балетного театра, такого, как у нас, не создашь. Десятилетиями держась подобных ваглядов, мы бездумно расточали свои богатства, а зарубежный балет, между тем, успешно учился и многому научился, в том числе и у нас, так что никакими «эталонами», кроме великих старых балетов, мы больше не располагаем. Было бы самообольщением и дальше лишь эксплуатировать вчерашний день, пора больше и лучше работать для сегодняшнего.

4

В начале пятидесятых годов трудности балетного театра объяснялись просто: административно обеспечивалось преобладание балетной драмы, испытывавшей вследствие собственного монополизма все более глубокий упадок. Но едва претензии на монополию утратили поддержку, едва было сменено балетное руководство Кировского театра, он (а за ним весь советский балет) пережил подлинное возрождение,— явились новые хореографы и новые прекрасные артисты.

Ныне причины трудностей не столь наглядны. Все жанры и стили дозволены, и развитие хореографического искусства сдерживается не на поверхности лежащими препонами. Простой сменой руководства, даже ужасного на прекрасное, их до конца не преодолеть.

Если Большой и Кировский театры всегда переполнены, то многие из разбросанных по стране,— а их уже полсотни,— пусты или полупусты, и это не проходит бесследно для состояния балета в его старинных столицах. Можно спорить, что первично: низкий уровень постановок и исполнения или недостаток публики, успевшей полюбить балет, и все же главным средством пропаганды искусства бывает оно само, его уровень. У Перми, например, нет никаких общекультурных преимуществ, скажем, перед Горьким. Но в Перми в годы войны работал Кировский театр, и влияние на сердца, им оставленное, сказалось и на местном училище и на возникновении зрительского вкуса к балету. В большинстве же наших городов подобного мощного толчка не бывало, истинная потребность в балетном театре еще не оформилась, а коллективы, возникшие из лучших просветительских побуждений, сами вызвать любовь не в состоянии. Вот залы и пустуют.

Но даже изредка посещаемые, они создают у зрителей, то есть у подавляющего большинства жителей страны, совсем иные представления о хореографическом искусстве, чем создававшиеся некогда в Петербурге Мариусом Петипа или позднее в Ленинграде виднейшими советскими хореографами. Зрители этих театров, а порой и актеры, и даже — страшно сказать! — балетмейстеры не подозревают о композиционной содержательности и пластической выразительности, которыми балет живет. И когда эти зрители смотрят потом старые балеты в Кировском театре, пусть даже уровень их исполнения не отвечает высоким требованиям взыскательной ленинградской публики, они все равно бывают порой потрясены несходством с тем, что им доводилось видеть дома. Дурной фон служит лучшим театрам дурную службу. Пропадает необходимость повседневного состязания, рождается самодовольство.

Кировский театр долго не ездил в Америку. На то были политические причины, входить в которые здесь нет нужды. Интересно другое — иоспользовался ли театр цаузой, чтобы с той же активностью ездить по собственной стране? Увы, такие поездки были большой редкостью, хотя жители Саратова или Омска, право же, не менее достойны видеть наш знаменитый балет, нежели жители Торонто или Канзас-сити. А это была бы лучшая пропаганда подлинного искусства, она побудила бы и местные театры совершенствоваться.

Впрочем, есть ли, по совести говоря, сегодня нужда содержать во всех областях и республиках балетные театры, созданные по образу и подобию старого императорского? Не разумнее ли организовать в Ленинграде и Москве новые балетные труппы, важной стороной деятельности которых были бы систематические поездки по стране? Потом, когда где-то возникнет нужда в собственном театре, способном выдержать состязание с такими гастролерами, можно будет создать местный театр заново, но так, чтобы он уже не пустовал.

Сегодня внутренними гастролями активно заняты лишь «Хореографические миниатюры» под руководством А. Макарова, «Театр современного балета» Ленконцерта под руководством Б. Эйфмана и Московский театр балета Н. Касаткиной и В. Василева. Не мало ли для почти трехсотмиллионной страны? Да и старым сильным театрам постоянное сопоставление с гастрольными коллективами шло бы на пользу. К тому же, в старых балетных столицах, Ленинграде и Москве, во много раз выросших, это помогло бы дотянуться по количеству мест в балете на душу населения хотя бы до уровня 1913 года!

В Ленинграде сегодня уже вроде бы действует пять балетных театров. Правда, труппа оперной студии, активизировавшаяся при Г. Алексидзе, опять лишь изредка стремится возвыситься над учебной работой. А «Хореографические миниатюры» и «Театр современного балета» не имеют постоянных театральных зданий, последнее же для поддержания в большом городе безобрывного контакта со зрителем обязательно, иначе театральная деятельность даже дома обращается в концертную, в гастрольную.

5

Палитра советского балета, и ленинградского в частности, сегодня широка. Ему не навязывается больше единообразный путь, ведущий к неминуемым и неизбежным победам. Едва ли не каждый хореограф, даже откровенный ремесленник, держится теперь близкой ему линии, у одаренных она обретает своеобразный почерк. В Ленинграде, пожалуй, отчетливее всего он был в эти годы у Николая Боярчикова в Малом театре. Боярчиков как бы задался целью возродить балетную

драму. Но не создавшуюся в тридцатые годы при участии драматических режиссеров, не интонационно-пластическую, занимавшую Л. Якобсона, и не живущую соотнесением танцевальных пластов, возрожденную Ю. Григоровичем. Балетные драмы Боярчикова,— лучшая из них, помоему, «Макбет»,— прежде всего держатся на соотнесении пластических символов. Они не всегда просты для восприятия, их следует посмотреть не раз, не два, но стоит это делать. Боярчиков находит выразительные знаки для самых разных порывов своих героев и чередует эти порывы психологически очень тонко. Внутреннее действие здесь не довольствуется собственной логикой — живы многомерность мира, противоборствующие в нем силы, вовсе не всегда вступающие в прямые схватки, но ощутимые по соседству. Конечно, и этот путь не универсален, в «Женитьбе» и «Тихом Доне» он себя не оправдал. Тем более важно руководителю труппы сознавать, что балетному театру необходимы и собственно танцевальные спектакли. И отрадно, что здесь впервые на ленинградской сцене появились балеты Дж. Баланчина.

Совсем иным дышит творчество Бориса Эйфмана. Начав как последователь танцевальной драматургии Григоровича, Эйфман и обретя собственный коллектив мучительно выбирал направление: такая бесспорная его удача, как «Идиот» по Достоевскому на музыку Шестой симфонии Чайковского, шла еще в прежнем русле. Но постепенно, обращаясь к популярной современной музыке и обработкам классической, Эйфман в разных сюжетах посвятил свое дарование хореографическому массовому искусству. Хочу сразу оговорить, что определение «массовое» не следует понимать обязательно как «низкопробное». Прямота, простота и доходчивость могут быть естественным выражением ясности и общезначимости проблем, и тут ничто не мешает массовому искусству стать воистину художественным и даже пронзительным, как в песне Аллы Пугачевой возглас: «Держи меня, соломинка, держи!». Но прямота, простота и доходчивость могут быть и результатом примитивизации, вульгаризации того, что не поддается объяснению на пальцах, как у той же Аллы Пугачевой песня «Я вернулась в мой город» на подправленные певицей стихи Мандельштама.

В любом случае массовое искусство форсирует эмоциональное воздействие, и в ответ чувства зрителя обгоняют, а то и вовсе отбрасывают размышление. Стремясь сделать балет из элитарного некогда искусства в новом смысле массовым, Эйфман не одинок. Это ведь самый прямой, хоть и сопряженный с утратами, путь к зрителю, на другом балете зевающему. Вот и один из крупнейших хореографов Запада Морис Бежар все явственнее строит свои работы по принципам массового искусства.

Олег Виноградов, в отличие от Боярчикова или Эйфмана, не следует какому-то определенному направлению. Вроде бы это его преимущество, ведь крупный художник часто не вмещается в одно направление, а формирует собственное, сопрягая в нем элементы самых разных, существующих рядом и существовавших прежде. Но этого-то Виноградов как раз и не делает! Он, напротив, демонстрирует умение двигаться в любом известном направлении: сегодня создает острую пародию на старый балет — «Тщетную предосторожность», а завтра — подобие романтического спектакля «Фею Рондских гор». Сегодня его оружие — классический танец, завтра — ничего общего с ним не имеющая пластика. Его способности к балетосложению явно преобладают над внутренней необходимостью сочинять балеты. Виноградов — хореограф незаурядных способностей, но талант его, на мой взгляд, меньше его способностей.

У нас не любят различать талант и способности, но способности всецело даются природой, они или есть или их нет, талант же, хоть тоже предопределен от рождения, принадлежит, прежде всего, к особенностям личности, и его формирование зависит от ее внутренней и социальной жизни, соответственно он может исчезать, появляться и снова исчезать. Конечно, у Пушкина или Гоголя (у Перро или Петипа) и способности и таланты безмерны, но сколько было великих талантов с меньшими способностями, которым нелегко давалось себя изъявить. Судя обычно о художнике по бросающимся в глаза способностям и не сразу различая, что говорит его талант, современники не случайно часто недооценивали таланты и даже пренебрегали ими.

Отчего «Тщетная предосторожность» оказалась у Виноградова сильней, чем «Фея Рондских гор», «Горянка» сильней, чем «Асият», «Ярославна» много сильней, чем «Броненосец „Потемкин"»? Кажется, что первое прикосновение к непривычным хореографическим возможностям вызывает рабочий интерес и живой отклик, а по второму разу хореограф действует более уверенно и оттого менее плодотворно. Но в этом впечатлении лишь часть правды. Дело и в том, что начинающий хореограф Виноградов был все же движим еще своим талантом, а с годами все больше стал полагаться на способности, то есть личностное его участие в собственных балетах сокращалось, и они становились безличностными.

Неверно винить в этом лишь самого Виноградова. Он, как и многие его сверстники, рано ощутил, что в пору застоя талант препятствует успеху,— вспомним

ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР ГРАФИКИ АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА СМИРНОВА

Кассандра. Автолитография

В его листах, как в музыкальных пьесах, слились воедино мысль, пытливо ищущая ответа на многие вопросы нашего непростого бытия, и чувство...

Оно неуловимо, это чувство. А как его выразить?

Кассандра предрекла Троянскую войну и беды — ей никто не верил. Вглядимся же в ее лицо. Что оно скажет нам сегодня?

Ни разумом, ни сердцем мы не хотим, не можем принять и намека на возможность еще более мрачного повторения прошлого опыта, того самого, что бесстрастно запечатлен в трагических блокадных мемориях. Нет! И мы противостоим такой гипотетической возможности, ощущая в себе все растущие и растущие силы для противостояния.

Мир существует для радости. Для творческого созидания. Жить и работать, жить наслаждаться всем, что есть на земле прекрасного!

Лирические мелодии звучат в листах Смирнова, когда он выходит на ленинградскую тему. Да вряд ли и получилось бы у кого писать Ленинград иначе — никак нельзя заглушить звонкой души великого города.

Да, чувство... Без него, одним рассудком не осилить также и прекрасного, яростного мира Андрея Платонова, не сделать его зримым и таким ощутимо-мыслимым и понятным.

Анат. ПЕТРОВ

Осень в Павловске. Рисунок

Андрей Платонов. Двое. Офорт

Из цикла «Память Ленинграда». Офорт

Из цикла «Память Ленинграда». Офорт

Вечерняя аллея. Из цикла «Образы Ленинграда». Офорт

Капитан В. Дмитров. Цветной офорт

хотя бы нападки, которым подверглась лучшая его работа, «Ярославна». И он с готовностью стал обезличивать свое искусство, чтобы хорошо организованному успеху ничто уже не препятствовало. Разнообразие его начальных опытов было как бы самопознанием. Разнообразие же позднейших работ обнаружило в нем мастера на все руки, никакими предрассудками не отягощенного.

Творчество Боярчикова или Эйфмана уже по избранному ими направлению публика сперва принимает или отвергает, оценивает как существенное или незначащее, и лишь в этой связи задумывается о месте данного хореографа в данном направлении и искусстве вообще. С Виноградовым это не выходит. Он не приписан к какому-то одному течению современной хореографии, а плывет сразу по всем.

Теоретически многообразие плодотворно для театра. Но когда все возможные направления разом осуществляет один и тот же хореограф-монополист, нам открываются скорее разные грани его субъективных склонностей, нежели реальная схватка объективных тенденций развития балета.

Можно, разумеется, только приветствовать возрастающий уровень свободы творчества и снятие запретов с любых хореографических течений. Однако, смысл свободы едва ли в том, чтобы само разнообразие сделать чисто формальным. Разные хореографические течения должны находить место на сцене в силу их жизненной необходимости для разных хореографов, актеров и зрителей. Свобода нужна ради расширения и углубления содержательности балета, во имя соревнования в этом, а не как произвол тех, кто получил привилегию ею пользоваться.

За хлопотами о зарубежных гастролях, юбилеях, наградах прославленная труппа Кировского театра отошла от действенного участия в практических спорах о путях хореографии. В конце пятидесятых — начале шестидесятых этот театр отстаивал место балета в современной жизни. Недаром первотолчком к подъему был провал мнимосовременного спектакля «Родные поля», доведшего до очевидного абсурда показушное решение этой задачи. Ему-то и были противопоставлены пластические композиции Л. Якобсона, симфонические трагедии Ю. Григоровича, символико-драматические симфонии И. Бельского. То был спор о художественных позициях, о серьезности взаимоотношений искусства и жизни, и почти каждый новый спектакль открывал, как аргументы в ходе спора, новые или забытые возможности хореографии. При все возраставшем тогда интересе и уважении к традиции, никто и подумать не мог, что великие старые балеты по-прежнему должны составлять лицо театра. Его лицо должны были прежде всего составлять новые балеты, и это не было самонадеянностью, его и впрямь составляли тогда «Спартак», «Каменный цветок», «Берег надежды», «Хореографические миниатюры», «Легенда о любви», «Ленинградская симфония». Они влекли тогда и зрителей и актеров не меньше, чем лучшие старые балеты, которые никогда на моей памяти не шли так хорошо, как в ту пору.

Хореографы выходили на сцену ведомые своими талантами и потому нуждались в талантливых актерах как единомышленниках, способных понять и донести оттенок движения как оттенок смысла. Талант Григоровича давал ему весомое преимущество, обращая к существенным явлениям жизни, к важному тогда и для него и для других кругу тем, в постижении которых он создал свой самобытный тип спектакля.

Лучшие балеты Григоровича выясняют отношения силы и блага. В «Каменном цветке» по авансцене шел Северьян, творивший зло, а Хозяйка Медной горы, одолевавшая это зло сверхъестественной силой, сама-то непосредственно творила благо, лишь от своей силы отступаясь. В «Легенде о любви», в «Спартаке», в «Лебедином озере», в «Иване Грозном» исследовались иные ракурсы подобных отношений, но тема, важная тогда для хореографа, развивалась и обогащалась. Быть может, никто, не только в балете, но и вообще в советском искусстве, в те годы не говорил, сколь опасно насилие, вызывающееся творить добро, так называемое «добро с кулаками», столь внятно и ярко, как Григорович. И доставалось ему за это соответственно: нападки на «Легенду», выхолащивание «Лебединого озера», нелепые упреки «Ивану Грозному»,— один популярный критик даже объявил, что Григорович славит Ивана, тогда как смысл балета состоял, напротив, в демонстрации того, сколь бесплодны попытки насаждать насилием идеалы, с ним не совместимые. В первом варианте «Ромео» борьбе двух кланов противостояли не просто двое влюбленных, но целый, обособленный от реального мира насилия, мир их любви,— окружавший их, вопреки плоскому реализму, постоянный девичий кордебалет. Этот-то кордебалет и был потом упразднен, и мысль о добре, чурающемся насилия и несовместимом с ним, осталась лишь в шекспировском сюжете. В конце концов, и этот выдающийся талант уступил окружающему застою, и в «Золотом веке» от занимавшей его прежде коллизии почти ничего не осталось. Предположить, что этот спектакль поставил Григорович, можно лишь по сохранившейся в нем самобытной форме «большого балета Григоровича».

А ведь эта самобытная форма, впервые

воплотившая «Легенду о любви», сложилась не случайно, не по прихоти, а как способ восприятия жизни в ее целостности. Оттого и «большой балет Григоровича» нуждался в цельности, в музыкальном единстве, в едином хореографическом языке и единой хореографической структуре, внутри которой и обнажались конфликты и противоречия.

И вот в «Золотом веке» Григорович продемонстрировал, что он блестяще знает не только современные танцплощадки, в недостаточном знакомстве с которыми его упрекали в связи с «Ангарой», а даже и танцплощадки полувековой давности. Но, укладывая критика на обе лопатки, он раскачал им же самим некогда выработанное единство хореографического спектакля, и это было результатом отступления в содержательной сфере. Увы, постоянство удач и большому таланту не гарантировано. Его жизнеспособность зависит от готовности, по слову Маркса, «повиноваться больше богу, чем людям».

6

Желание сохранить наследие выдающегося хореографа Леонида Якобсона побудило поступить не банально и поставить после его смерти во главе созданной им труппы не главного балетмейстера, как нынче принято, а художественного руководителя, не претендующего на собственные постановки. И вот не только наследие Якобсона поныне цело, но труппа «Хореографические миниатюры» стала важнейшим в Ленинграде центром выращивания новых хореографов. Трудно назвать новое имя, так или иначе с ней не связанное, а порой, как А. Полубенцев или Н. Волкова, даже обязанное ей своим становлением.

Недавняя премьера состояла из трех, на первый взгляд ничем не близких друг другу, названий: фокинская «Шопениана», воспроизведенная Н. Петровой, «Ночь просветления» Павла Шмока на музыку Шенберга и «Три мушкетера» Леонида Лебедева на музыку В. Лебедева. Связь и даже единство, однако, очевидны: зрителю предъявлены три соперничающих потока современной хореографической жизни. И каждый как бы заново осмыслен. Вместо недостоверных фрагментов, якобы старинных, наследие представлено «Шопенианой», как раз и созданной в свое время ради воскрешения романтической традиции.

«Ночь просветления» продолжает традицию балетной драмы, но не напрасно ставил ее чешский хореограф. В его работе различимо влияние советской балетной драмы и, вместе с тем, иное ее понимание: уплотнение действия и бо́льшая свобода пластики.

«Три мушкетера» — вроде бы плод массового искусства, каким ныне полна балетная сцена, но здесь влечет не только простота и агрессивность танца и музыки, но и откровенная насмешка над изображаемым, над героями и ситуациями. Массовое искусство тут не столько продолжается, сколько пародируется и обнажает механизм своего одуряющего воздействия.

Такая пародия не зря появилась именно в «Хореографических миниатюрах», ведь эта труппа стремится к искусству не поверхностному и потому не всегда в ладах,— замалчивать этого не надо,— со зрителем, жаждущим лишь развлечений. Зато у истинных ценителей ее эксперименты вызывают интерес. И тут важно подчеркнуть, что они потому и оказываются возможными, что труппу возглавляет не балетмейстер-постановщик, которому трудно избавляться от ревности, а художественный руководитель, для которого чужие удачи — собственные.

Давний опыт Кировского театра напоминает: театр подымается, когда бывает ареной соревнования, и сникает в условиях монополии. Не говоря уже о двадцатых, состязание имело здесь место еще и в тридцатые годы. Их порой изображают эпохой безраздельной власти балетной драмы, забывая, что тут же создавались танцевальные балеты В. Вайнонена и В. Чабукиани, и от художественно-полемического соседства ранние работы Р. Захарова и Л. Лавровского выигрывали.

Состязательные искания необходимы театру. Небольшая труппа может состязаться с другими, живя талантом своего хореографа, все подчинив его самораскрытию. Отчасти таким был успех О. Виноградова в Малом театре. Совсем иное дело — крупная труппа с разнообразными исторически сложившимися традициями. Она не может и не должна покоряться воле каждого нового главного балетмейстера, целиком растворяясь в его вкусах. Тут руководитель сумеет успешно служить искусству, лишь оставаясь первым среди равных, лишь считаясь с другими, даже далекими ему художественными течениями. Да художественный руководитель вообще не обязательно должен сам сочинять. Ф. В. Лопухов, А. Я. Ваганова, Б. А. Фенстер были хореографами разных масштабов и разных взглядов, но они более других терпели и даже поощряли многообразие, смелее допускали к творчеству в «своем» театре одаренных людей и, тем самым, более других способствовали его расцвету. Если этот опыт идет на пользу скромной труппе «Хореографические миниатюры», тем более он был бы полезен самому Кировскому театру и отнюдь не только ему единственному.

7

Мы часто слышим: искусство должно идти вперед! Но что, собственно, значит для искусства «идти вперед»? Уготована ли ему некая дорога, чтобы двигаться по ней, не оглядываясь, или же искусству надо идти вперед, поспевая за бегущей жизнью? Если верно последнее, то будем считаться с тем, что жизнь и в самом стремительном своем течении никогда не меняется полностью и, вместе с тем, все время, даже в периоды застоя, отчасти меняется. И поэтому широковещательные декларации,— все равно, безумно-новаторские или кондово-консервативные,— не способны исчерпывающе отобразить художественное самосознание народа.

Трудности в его отображении испытывают ныне не только Кировский и Большой театры, но и крупнейшие зарубежные. Недавно побывавшие у нас «Балет XX века» и английский королевский балет выглядели ощутимо слабее, чем на прежних гастролях,— обеднели и состав труппы и репертуар (исключение составила лишь замечательная «Глория» К. Макмиллана у англичан). Казалось бы, в Московском, Ленинградском, Лондонском и Брюссельском театрах обстоятельства совсем разные, однако есть, видимо, и общие проблемы.

Но для нас самый страшный грех — приближение к западу, где искусство, якобы, чуждо реализму. С. Викулов сетовал на тенденцию «к заимствованию хореографических идей и приемов у наших западных коллег». Т. Вечеслова и А. Осипенко — на «крен в сторону приобщения к старым и новым веяниям в творчестве западных хореографов». За рубежом, напротив, отдавая нашему театру должное в обладании сокровищами старины и школой танцевальной техники, часто сетуют, что у нас, дескать, нет современного искусства и неканонической выразительности. Они берут себе первенство в новом облике балета, уверяя, что наш театр принадлежит прошлому, а западный — будущему. Эта позиция ярко обозначилась в организованном «Балетом XX века» и Кировским театром совместном вечере в Октябрьском зале в Ленинграде, где гости выступали исключительно в сочиненинх Бежара, а хозяева, кроме двух номеров того же Бежара, показали лишь фрагменты старой хореографии, реконструированные у нас и на зарубежной балетной сцене.

Но впрямь ли классический танец, а с ним и наследство русского балета, принадлежат прошлому и должны померкнуть перед земляком, но отнюдь не последователем Мариуса Петипа, как это вышло в тот вечер? Или меркнет лишь то представление о классике и наследстве, которое совместно утверждали на сцене Октябрьского зала Олег Виноградов и Морис Бежар [1]?

Классический танец все ныне охотно именуют основой балета, часто, впрочем, имея в виду основу лишь технологическую. Между тем, это не только школа движения, но и школа мышления. Русская школа танца завоевала мир вовсе не приемами виртуозности — тут больше сделала итальянская — русская же, усвоив ее открытия, гармонизировала классический танец, выстроила из отдельных движений целостную систему. Систематичность эта понадобилась ради все более насыщавшихся чувством и мыслью композиций, которые создавали Петипа и его последователи. Школа танца понадобилась ради школы балета.

Русской школой танца у нас заслуженно гордятся. Оценили ее и на западе, где ее насаждали Н. Легат, О. Преображенская, Т. Карсавина и прочие петербургские мастера. Много сложней оказалась судьба русской школы балета. Композиционные открытия Петипа и у нас, и на западе нередко отбрасывали, ссылаясь на то, что никакое художественное решение не может стать гарантирующим успех шаблоном. Консерватизм же, обращая в шаблоны и балеты Петипа, и балеты Лавровского, и балеты Григоровича, искусство тоже лишь тормозил. Новой жизни на сцене бывают нужны и новые движения, и новые композиции, и новые хореографические построения. Это неоспоримо. Но нередко отвержение шаблонов перерастает в отвержение природы искусства, что в балете оборачивается отрицанием необходимости вообще каких-либо, пусть совсем иных, чем привычные, содержательных композиций, на смену которым идут лишь экспрессивные выплески.

Увлечение тотальным театром вовлекло в него и балет. Тотальному театру это пошло, конечно, на пользу, чего о балете не скажешь. Театр, от которого он в свое время отпочковался, тоже ведь был, собственно говоря, тотальным, соединявшим танец, и музыку, и слово. Лишь отрекшись от словесной речи, балет овладел композиционно-пластической речью. В тотальном театре у него опять нет причин за нее держаться, и он теряет себя. На смену содержательным авторским композициям зачастую приходят массовые фольклорные танцы и беспорядочные виртуозные трюки, из подобных которым балет некогда возникал. Искусство как бы возвращается к своим истокам, жертвуя опытом и культурой.

Такое все чаще случается и на западе и у нас, но не только наш, а и западный

[1] Когда статья печаталась, стало известно, что контракт с Бежаром не продлен, и он создает новую труппу в Лозанне (Швейцария).

балет не единообразен, и там тоже соседствуют, борются и взаимодействуют очень разные тенденции, которые то и дело предстают в гастролирующих у нас коллективах.

В наши дни, к примеру, И. Килиан, при том, что и лексика его не традиционна, и привычных композиций почти нет, не отвергает, а развивает искусство содержательного компонования движений, составляющее самобытную сущность балета, в утверждении которой и состоит неувядаемая заслуга русской школы, обратившая с конца XIX века наш город в столицу мирового балета. Нельзя сказать, что Килиан опирается на систему классического танца, танца модерн или любую другую. Зная их, он в каждом сочинении создает особую лексическую систему, выверяя ее не по канону, но по взаимной сообразности взятых откуда угодно движений в ткани данного спектакля. И ведь по тому же самому принципу, хоть и совершенно иначе, строится, скажем, «Легенда о птице Доненбай» Л. Лебедева. Вроде бы она от классического танца совсем далека и никак не отвечает привычным представлениям о наследстве русского балета, однако и она продолжает самую важную его традицию — традицию содержательной композиции.

8

Кто только у нас не декларирует свою приверженность великим традициям русского балета и чем только ее не выражает! То показывают «Маркитантку» Сен-Леона, реконструированную в наши дни французом Пьером Лакотом, то выпускают обильно обновленный «Корсар»! Но, не вдаваясь за недостатком места в анализ работы возобновителей и реконструкторов, менявших существенное и по собственному воображению «воссоздававших» неведомое, признаем все же, что и самые изысканные стилистические подобия не могут возместить недостачу полноценных новых балетов.

Театр живет созданием спектаклей, вдохновленных новым днем. Балет не исключение. Но в нем, в отличие от театра драматического, нет людей, специально об этом пекущихся. А ему тоже нужна репертуарная часть, которая была бы мозгом театра и питомником новых спектаклей. Утверждение Р. Захарова, будто создание основы балета, именовавшейся им «программой», не требует профессиональных знаний, породило пренебрежение сценарной драматургией. К постановке принимаются спектакли с более чем несовершенными сценариями, хоть их неминуемый провал можно бы предсказать, не тратя труда и денег. Оправдывая такой порядок, говорят, что даже и самый лучший сценарный план не гарантирует подлинности хореографии. Это, конечно, верно. Однако, пороки сценария различимы наперед, а никакой хореографии их потом не пересилить, и достоинства ее оказываются напрасными.

Поэтому репертуарной части надо бы ориентировать театр в подготовке не только сценария и музыки, но и собственно хореографии. И большую, и малую сцены и репетиционные залы она должна обратить в постоянные площадки балетмейстерских исканий, балетмейстерских состязаний перед лицом труппы, которой и надлежит быть их первым судьей.

Мастерам старшего поколения состязание тоже на пользу. Я уверен, например, что такой выдающийся хореограф, как Ю. Григорович, трезво оценив свои последние работы и причины, к ним приведшие, сможет еще ставить в полную меру своего таланта. Я думаю, что И. Бельский, в пору застоя почти оставивший хореографическое сочинительство, в благоприятных условиях тоже мог бы работать интересно. Да и на О. Виноградове я, в отличие от многих его критиков, не ставлю крест.

Но, чтобы ждать от хореографов и актеров труда во имя искусства, надо вернуть им атмосферу художественной взыскательности. Надо для начала восстановить обратную связь театра и публики, театра и критики, восстановить в бессловесном балете гласность, то есть возможность нелицеприятного и внегруппового публичного обсуждения всего, что делается. Мировое значение нашего балета более несомненно, чем футбола, и писать о каждом спектакле великого театра не менее важно, чем о каждой игре не лучших команд. Кризис балета не будет преодолен, покуда театры довольны собой.

Мне выпало счастье быть причастным к поискам, которые шли в Кировском театре в конце пятидесятых — начале шестидесятых. Новые балеты начинались тогда вне планов, хореографы и артисты занимались ими в перерывах между рабочими часами, а то и дома, репетируя на паркете, и внутренняя многотиражка стала дискуссионным листком по балетным проблемам. Эти поиски, начатые кучкой людей, при благожелательном отношении возглавившего труппу Ф. Лопухова, создали новые реальности, значение которых для всего советского балета было существенно. Подобную инициативу снизу даже и самыми разумными указаниями сверху не возместить.

И, глядя на фотографию в журнале «Америка», на людей, знающих, что ждать придется долго, и все же не расходящихся, я с удовлетворением думаю, что тяготение к прекрасному искусству балета более всего возбудил в мире наш город, наш театр, мой любимый театр. Но живой, а не мумия.

ЧЕРТЫ «ПОРТРЕТА ДВУМЯ ПЕРЬЯМИ»

Критический «Портрет двумя перьями» (Николай Коняев, «Истории Валентина Пикуля» и Владимир Кавторин, «История для бедных?»), опубликованный в двенадцатом номере нашего журнала за прошлый год, вызвал немало читательских писем. Часть из них мы решили опубликовать. Первое письмо (Н. Прокофьева) публикуется полностью, остальные — с сокращениями, но *без всякой правки.*

* * *

Скажу сразу, что в данном споре я поддерживаю Н. Коняева.

Произведения Пикуля интересны, увлекательны и правдивы, они вызывают у народа интерес и любовь к истории вашего государства и за это писателю большое спасибо! Хроники Пикуля ценны, во-первых, тем, что в них освещаются те периоды истории России, о которых почти ничего мы не узнали ни в школе, ни в массовой литературе. Во-вторых, русские люди в романах Пикуля показаны честными, мужественными и любящими свою Родину, настоящие русские люди в его произведениях даже в беде ведут себя достойно и верно и поэтому заслуживают уважения.

Этим романы Пикуля отличаются от многих исторических вещей других авторов. Часто бывает, читаешь исторический роман, описывается какое-то бедствие, тяжелое положение в жизни народа, и это показано в такой форме, что герои вызывают к себе не уважение, а жалость. Иногда русский народ показывается этаким забитым, затюрканым, бессловесным стадом, что трудно поверить, что это тот самый свободолюбивый, трудолюбивый, мужественный русский народ, давший миру многих гениев, создавший крупнейшее в мире государство, великую культуру.

В романах Пикуля «сюсюканья» нет! После прочтения произведений Пикуля появляется чувство большой гордости за свою Родину, ее славную и трудовую историю. В произведениях В. Пикуля показан настоящий русский дух!

Насчет «упрощений, условностей и ошибок» в исторических романах В. Пикуля. У него их не больше, чем в другой научной статье. Зануды-писатели были всегда. Каждый «видит» в произведениях литературы свое, один — окружающую природу, голубое небо, яркое солнце, а другой — мусорные свалки и желуди под дубом.

Для меня в исторических повестях главное — достоверность основных исторических лиц, переломных событий, духа времени определенного периода истории, а не то, с кем спала Екатерина или чьим шарфом был удавлен Павел I (главное, что его удавили).

Насчет «альковности» вещей Пикуля В. Кавторину не мешало бы прочесть для первого раза М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России» или прекрасную роман-трилогию «Каменный пояс» Е. А. Федорова, или «Записки» Е. Р. Дашковой. Лично я приму критику в адрес В. Пикуля только от человека-писателя, который сам написал хорошие, читаемые исторические вещи! И не надо читателей держать за «слепых котят», мы сами знаем, что в романах хорошо и плохо! Чем хаять вещи Пикуля, лучше бы побольше писалось и издавалось исторических романов. И не надо Пикуля сталкивать с Карамзиным. Пикуля читали и будут читать! А Карамзина и Соловьева — это еще неизвестно, массовый читатель на них себе «зубы сломает» и «пыл поубавит». Ибо работы (я их читал) Карамзина и др. написаны скорее всего для специалистов, писателей и учителей-историков, а так же для фанатов — любителей русской истории!

С уважением

Н. Прокофьев
Рязанская обл.

* * *

Глубокоуважаемый Николай Михайлович!

Меня очень заинтересовала Ваша статья в журнале «Нева» «Истории Валентина Пикуля». Вы высказали в ней новый взгляд на творчество одного из самых читаемых в нашей стране писателей. Мне понравилась Ваша доброжелательность, свойственная далеко не всем авторам такого жанра.

Если Вам не трудно, передайте, пожалуйста, В. С. Пикулю благодарность за популяризацию исторических сведений и художественное воплощение обстановки, которыми до него интересовались только профессионалы.

С уважением

Ольга Ящуржинская
Ленинград

* * *

Уважаемый Владимир Васильевич!

Вчера получила 12-й номер «Невы» и поспешила раскрыть его на страницах литературной критики. Сначала с боязнью, а затем с восторгом стала читать написанное Вами о романах В. Пикуля. Я не только соглашалась с каждым Вашим словом, во обнаружила, что стала понимать целый ряд литературных явлений, получила основу для своего отношения к ним. Вы из тех, кто слушает и слышит, кто старается разглядеть и видит.

С признательностью

С. Каминская
Москва

* * *

Очень отрадно, что авторитетные литераторы Н. Коняев и В. Кавторин «скрестили перья» по поводу творчества В. Пикуля. Отрадно, прежде всего для массового читателя, многие годы записывающегося в очереди «на Пикуля» в библиотеках и без сожаления выкладывающего свои немалые «кровные» за него же на черном рынке.

Нужны, конечно, подписанные докторами наук предис-

ловия и послесловия, вызывают интерес публикуемые в журналах и газетах записи бесед писателя с журналистами... Ну, а где же серьезные исследовательские работы о творчестве популярнейшего русского писателя наших дней?

Так что хотелось бы поблагодарить Н. Коняева и В. Кавторина (прежде всего Н. Коняева) за их «истории».

Но прочитав их, задаешься вопросом: если уж два знающих толк в литературе специалиста, к тому же состоящие в одной редколлегии, столь противоположны в восприятии и оценке творчества писателя, то каково же читателю?

И как же все-таки быть с историями В. Пикуля? Читатель, наверное, читал и будет снова и снова ждать и читать, отнюдь не считая их «историями для бедных» (по В. Кавторину).

Другое дело — изучать историю. Но как, по каким источникам? По «куцым» (из беседы журналиста с В. Пикулем) школьным учебникам? По Карамзину, Соловьеву, Ключевскому, Тарле? Как сейчас модно говорить, другой альтернативы пока нет. Но средний, массовый читатель пойдет к В. Пикулю.

Народ у нас, в большинстве своем, достаточно, вроде бы, образованный. Но, если откровенно, в пробелов исторического характера предостаточно. Поэтому читатель, по-моему, проголосует за «истории» подписанные Н. Коняевым, оставив «Историю для бедных?» на совести В. Кавторина.

Л. Баладин,
офицер флота в отставке
Симферополь

* * *

Что касается Вашего спора о Пикуле, то единственное утверждение, с которым я могу согласиться, следующее: «Общая же сумма этих упрощающих, снижающих „ошибок и неточностей" так весома, что превращает романы нашего автора в этакую „историю для бедных"! Или — для малограмотных!»

В. Абашин
Тула

* * *

В «Неве» № 12/87 прочла полемику двух «аристократов», которые берутся судить о романах В. С. Пикуля. Один считает, что это «сказы Кубрика», другой повидимому где-то слышал о «ящиках для бедных» на барских лестницах или намекает на свое образование, полученное в высших аристократических колледжах...

Надо отдать должное Н. Коняеву, что он понял главное в творчестве Валентина Саввича, то, что его романы побуждают интерес к изучению истории. Вызывают гордость за свой народ. Главное в них великая сила патриотизма всех слоев населения.

И романы его надо не хаять, а пропагандировать. Чтобы молодежь *восхищалась патриотизмом* своих предков. А вам, знатокам словестности, надо бы обратить внимание на ляпсусы Ю. Нагибина. А так же, главным образом, следует обратить внимание на активную писанину А. Рыбакова. Даже историкам еще не доступны многие материалы, а Рыбаков уже все знает, и пользуясь своей безнаказанностью, позволяет себе приписывать свои мысли И. В. Сталину. И надо подумать, какой вред молодежи принесут эти его «откровения»[1] не говоря уже о нецензурщине, какой изобилуют его романы.

А с Пикулем все спокойно. И все нападки от зависти пред его талантом.

А. Подзорова
Ленинград

* * *

Уважаемые товарищи! С большим интересом прочитал в вашем журнале два мнения об исторической романистике В. Пикуля. Позвольте высказать некоторые соображения по тому же поводу.

Первое, что ставится в заслугу «значительному советскому историческому романисту», — это глубокое чувство патриотизма. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что для «патриотизма» а ля Пикуль уже давно выработано определение — квасной. Это патриотизм в самой примитивной его форме, приближающийся к национализму, поскольку достоинство русского народа утверждается в книгах Пикуля путем демонстрации пренебрежения к другим народам.

Россия имеет историю, которой заслуженно может гордиться. Но мы совершенно не нуждаемся в ее приукрашивании, в преувеличении роли нашего народа в мировой истории, в искусственном возвеличивании каждого шага России на международной арене (примеры этого в изобилии найдем в «Битве железных канцлеров», в «Пером и шпагой», в «Исторических миниатюрах»). Такое безудержно апологетическое изображение национальной истории оскорбительно для народа, история которого славна сама по себе. При этом апологетика ведется на уровне декларации, а по сути В. Пикуль опошляет все русское.

Как мне представляется, широкая популярность книг В. Пикуля не может быть аргументом в его пользу. Хочу сразу подчеркнуть, что я провожу различие между контингентом, на который ориентированы сочинения В. Пикуля по своим внутренним интенциям, и кругом его действительных читателей. Последних же я разделяю на «читателей» и «почитателей». К первой категории я отношу людей, искренне желающих узнать прошлое своего народа, но не умеющих найти или не желающих затруднять себя поисками серьезной литературы.

В связи с этим встает вопрос о качестве работ профессиональных историков. Справедливость многих упреков в их адрес приходится признать. Есть все же одно «но». Дефицит хорошей популярной литературы по истории в какой-то степени относителен, а часто он создается искусственно. Прежде всего следует иметь в виду, что на написание серьезного исторического исследования, даже в самой популярной форме, требуются годы. Только автор, не несущий ответственности за свои слова, в состоянии печь по пухлому тому в год. Еще труднее написанное сочинение издать. И в этом отношении ученые находятся в гораздо худшем положении, чем модные романисты.

Иной разговор должен идти о другой категории читателей В. Пикуля, которых условно назовем его поклонниками. Нельзя забывать, что кроме понятия «масса» есть еще понятие «толпа», а кумир толпы — это не народный избранник.

«Феномен Пикуля» — специфическое порождение века массовой культуры. В эпоху расцвета массовой культуры на гребне успеха часто оказываются люди, не лишенные технических характеристик таланта (бойкость пера у В. Пикуля, художнические навыки у И. Глазунова, голос и актерские данные у А. Пугачевой), но не обладающие нравственными его компонентами. Если классическую культуру творили люди прежде всего нравственные, во-вторых, широко образованные, и только в-третьих — умеющие придать соответствующую форму своим произведениям, то массовую культуру творят люди, умеющие только последнее, но не способные в форму вложить глубокое содержание, заключающее в себе в снятом виде всю мудрость и нравственность прошедших веков. А не умеющие по той простой причине, что они сами этого содержания лишены. Кокетство В. Пикуля своей необразованностью далеко не безобидно. По существу это яркая демонстрация торжества воинствующего невежества.

Культура, которую создает В. Пикуль и ему подобные, ориентирована на человека, не развитого духовно и интеллектуально, ленивого потребителя, не способного трудиться, что необходимо при постижении ценностей истинной культуры. Классическая культура поднимала человека до своих высот, массовая опускается до уровня обывательских представлений. Классическая культура воспитывала вкус, массовая приспосабливается под существующий, каким бы тот ни был.

Тревожным показателем снижения уровня культуры является популярность сочинений В. Пикуля. И вполне объяснимо, почему показательный образец псевдокультуры родился в области истории. История — самая беззащитная наука. Редко кому придет в голову фантазировать на темы палеоботаники или цитологии. История же у всех на виду и открыта для любого, кому не лень использовать ее в своих целях.

В интервью В. Пикуля «Правде» прозвучало очень тревожное заявление: «Я люблю сильную личность». А ею является тот, «кто на пути к высокой цели ломает любые (заметьте! — *В. Н.*) барьеры». Знакомые мотивы — цель оправдывает средства. Неужели нам мало Сталина, чтобы понять весь ужас такой философии?

Культ сильной личности, насаждаемый сочинениями В. Пикуля, имеет своей обратной стороной еще более опасное для общества последствие — воспитание психологии холопа, способного действовать только от сих до сих по предписаниям сверху. У нас уже много говорилось о необходимости преодолевать «психологию винтика» и социальную апатию, получившие широкое распространение. В. Пикуль же объективно призывает нас к обратному. Невольно напрашивается мысль, что именно насаждение В. Пикулем этих чуждых нашему времени взглядов объясняет ту мощную поддержку, которую ему оказывают еще часто остающиеся у руля чиновники от идеологии, не желающие допустить демократизацию нашего мышления как необходимое условие обновления общества.

Часто о тех, кто не разделяет казенных и обывательских восторгов по поводу В. Пикуля, говорят, что они отказывают писателю в праве на художественный домысел. Могу заверить, что никто из серьезных критиков не посягает на это священное право. Но право это имеет свои пределы. Художественный вымысел оправдан, когда он подчинен задаче раскрытия исторической правды. У В. Пикуля же наоборот — правдивые факты вплетены в основную ткань вымысла.

Даже в лучших произведениях В. Пикуля много утверждений, с которыми не может согласиться ни один мало-мальски исторически образованный человек. Возьмем для примера «Моонзунд», по праву считающийся одной из самых удачных работ писателя. Правда, если сравнить книгу с «Севастополем» А. Малышкина, легко можно убедиться, что всем лучшим «Моонзунд» обязан «Севастополю». А что же внес в тему сам В. Пикуль? Во-первых, полный разрыв с традициями отечественной маринистики. Флотская этика, достаточно знакомая нам по русской литературе, извращена В. Пикулем на потребу обывателю и подменена каким-то суррогатом из псевдоморской терминологии, банальных рассуждений о смысле жизни, болтовни по текущему моменту и мелких подробностей корабельного быта, долженствующих лишний раз подчеркнуть гнусность человеческой натуры.

Во-вторых, автор с легкостью необыкновенной берется судить о сложнейших проблемах отечественной и всемирной истории. Как, например, среди моряков Балтийского флота стал распространяться марксизм? По Пикулю все очень просто: началась война, прекратились загранплавания, вот матрос от скуки и засел за революционную науку. Но марксизм проник на Балтфлот еще до начала первой мировой войны. И далеко не все корабли ходили до войны в загранку, так что есть смысл поискать причины революционизации флота в чем-то другом, а не в отлучении от заморских прелестей.

«Воспитание историей» стало сейчас лозунгом дня. Остро стоят проблемы формирования исторического мышления, активизации исторической памяти как необходимого элемента развития общества, сознательного исторического творчества людей. Сочинения же В. Пикуля преследуют цели прямо противоположные. Вместо памяти насаждается историческая мифология, право сознательно творить историю отдается на откуп сильным личностям, а способность исторически мыслить от постоянного воздействия сочинений В. Пикуля может атрофироваться вовсе. Уже неоднократно говорилось, что обновление всей нашей жизни немыслимо без предельного реализма в осмыслении прошлого, что историческая память является основой гражданского становления, что фальсификация истории может рождать целые нравственно неполноценные поколения. Именно в таком направлении движется современная мысль, стремящаяся осознать роль истории в обществе. Мысль В. Пикуля находится на обочине этих процессов, а часто прямо противостоит им. «Феномен Пикуля» обнажил целый комплекс проблем нашей духовной жизни.

С уважением

Владимир Носков,
научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР, кандидат исторических наук

[1] Подробный разбор романа А. Рыбакова «Дети Арбата» нами уже опубликован (см. «Нева», № 3 за нынешний год).— *Прим. редакции.*

«ХУДОЖНИК РАЗНООБРАЗНЫЙ И СИЛЬНЫЙ...»

Художественную жизнь Ленинграда 1920—30-х годов трудно представить себе без Николая Эрнестовича Радлова. Он был участником и организатором выставок, многие годы преподавал в Академии художеств и Институте истории искусств (Зубовском). Многочисленные в ту пору сатирические журналы почти в каждом номере помещали его остроумные карикатуры. Суждения Радлова о современном искусстве отличались точностью и вкусом, хотя его критические статьи подчас были не менее язвительны, чем рисунки в «Смехаче» или «Бегемоте». Но не само по себе разнообразие интересов выделяло художника. Он являл собою характерный для своего времени тип интеллигента, наследующего традиции петербургской культуры, высокообразованного человека с острым чувством собственного достоинства.

Николай Радлов, сын известного философа, директора Публичной библиотеки, закончил филологический факультет Петербургского университета по специальности «история искусства». Одновременно он учился в Высшем художественном училище при Академии художеств в мастерской Д. Н. Кардовского. В 1913 году Радлов опубликовал первый рисунок в «Новом Сатириконе», а незадолго до этого началось его сотрудничество в критическом отделе журнала «Аполлон». Русская живопись в эти годы вступила в период поисков нового художественного языка. Для того, чтобы сохранить веру в плодотворность, казалось бы, угасающей академической традиции, ощутить в ней основу для любой художественной школы, нужны были решимость и твердость не меньшие, чем для отчаянных живописных экспериментов. Свою позицию Радлов определил в молодости и отстаивал всю жизнь. Русскому искусству, по его убеждению, прежде всего необходима «...серьезная работа над формой, основанная на непосредственном изучении натуры с учетом художественного опыта живописных школ прошлого...» Эти слова из составленной Радловым в 1928 году декларации «Общества живописцев» во многом объясняют его художественную программу.

Крайности в искусстве претили Радлову. Художественный экстремизм любого рода виделся ему следствием ограниченности, отсутствия чувства юмора и прочных живописных традиций. Поэтому новейшие течения, отвергавшие изобразительность, сближавшие в романтическом порыве искусство с техникой, нашли в лице Радлова бескомпромиссного критика. Памфлеты, составившие его книгу «О футуризме» (1923) — лучшее, что написано оппонентами «левых» в двадцатые годы. В них — неподдельная страсть, тонкая ирония и беспощадная, хотя и не всегда справедливая язвительность. Однако критические статьи Радлова лишены слепой одержимости и стремления уничтожить противника. В них есть вкус и, при всей последовательности отрицания, чувство меры.

Эти статьи не забыты — они обретают злободневность всякий раз, когда искусство вступает в полосу поисков и экспериментов. Однако, если в свое время ирония Радлова разила, подобно гибкой сверкающей рапире, то у «преемников», лишенных радловских вкуса и такта, цитаты из его статей зачастую уподоблялись сокрушительным ударам дубины. Как тут не вспомнить серию блестящих карикатур Николая Эрнестовича о различных видах критики!

Радлов — участник яростных споров о путях развития русского искусства — был тверд в отношениях с эстетическими противниками. Но тон его менялся, когда талантливый художник, чьи творческие принципы им не принимались, подвергался агрессии обывателя. Именно в этом причина, на первый взгляд, неожиданного выступления Радлова в защиту выставки (она так и не состоялась) П. Н. Филонова в 1930 году. Не менее, чем футуристы, претили Радлову экстремисты иного рода — назойливые ревнители прямолинейного «общедоступного» искусства. Поэтому с годами ощутимее становилась его ирония по отношению к тем, кто, по его словам, «...ищет созвучность эпохе в поверхностной тематике и в приближении искусства к массовому зрителю путем снижения мастерства».

Принципиальность и такт, умение сохранить равновесие в сложных ситуациях снискали Радлову уважение коллег. В 1933 году он стал заместителем председателя Ленинградского отделения Союза советских художников. Самостоятельность суждений и оценок, способность противостоять ложному мнению — характерные черты Радлова-организатора.

В памяти современников Николай Эрнестович остался человеком редкого обаяния. Всем, кто был знаком с ним, запомнились его «...подтянутая фигура, подчеркнуто корректная манера держать себя, лишенная малейших признаков важной маститости и вместе с тем не допускающая никакой фамильярности» (Б. Ефимов). Молодые художники стремились воспринять не только его творческий почерк, но и стиль поведения, походку, интонации.

Наиболее точно охарактеризовал Радлова, на мой взгляд, В. Д. Метальников. Он уловил свойство художника, которое многое объясняет в его творчестве и общественной позиции: «есть люди, у которых отвращение к пошлости носит характер идиосинкразии. Он был из их числа. Всю жизнь он воевал с мещанством во всех его проявлениях, всю жизнь неустанно боролся с самоуверенным кретинизмом обывательщины». Неудивительно, что с наибольшей полнотой талант художника воплотился в сатирической графике. Видимая простота небрских карикатур Радлова (как правило, это рисунки тушью, реже — акварели) — результат напряженного труда. Его карикатуры не просто смешны и изобретательны. Они социально и психологически точны. Многие из них могли бы появиться на страницах газет рядом с критическими материалами наших дней. Радлов воистину стал одним из классиков советской карикатуры, утвердив в этой сфере искусства высокие критерии профессионального мастерства.

Рисунки Радлова заставляют непроизвольно вспоминать героев и ситуации из рассказов Зощенко. Это не случайно, как не случайными были их дружба и совместная работа в одних и тех же изданиях: двух художников роднили ненависть к пошлости, своеобразное чувство юмора, способность лаконично и в то же время эстетически точно выразить сущность социального явления. Вершиной совместного творчества Радлова и Зощенко стали «Веселые проекты» и «Счастливые идеи» — сборники, которые ждут переиздания.

Перу Радлова, охотно рисовавшего и для детей, принадлежит добрая и уютная книжка для самых маленьких читателей «Рассказы в картинках». В этой книге он создал бесконечно привлекательный мир, где зайцы и тигры, медведи и черепахи живут на берегу одной речки,— мир, который малыш может рассматривать бесконечно, снова и снова переживая недоумение вместе с мамой-курицей, не признавшей в черных от сажи цыплятах своих детишек, или восхищаясь находчивым ежом, одним махом нанизывающим на свои иглы урожай целой яблони. Сейчас уже невозможно, наверное, определить, сколько раз эти рассказы оживали на языках народов мира. Но потребность в историях, придуманных полвека назад, не прошла — двухсоттысячный тираж издания 1986 года разошелся в считанные часы. Уверен, что в детстве многие читатели «Невы» увлеченно сопереживали веселым зайцам, поймавшим недотепу волка, или наблюдали, как предприимчивые белки сооружали из удочки и зонтика переправу через бурный ручей. Большинство родителей, полюбивших в детстве эти истории, рассматривая их спустя годы вместе со своими детьми, очевидно, не смогут вспомнить автора. Для них рисунки Радлова менее всего произведения искусства — это часть их собственного детства.

Радлов был талантливым педагогом. В двадцатые годы он — один из самых молодых профессоров ВХУТЕИНа (так называлась тогда Академия художеств). В 1932 году его приглашают во вновь созданный ленинградский Институт живописи, скульптуры и архитектуры в числе тех, кто способен, по словам ректора А. Т. Матвеева, «...на основе своего опыта и личных профессиональных качеств поставить... художественную школу на необходимую высоту...». Вослед Кардовскому Радлов воспитывал у своих учеников уважение к натуре, умение построить пластически определенный, композиционно выверенный рисунок, который считал основой художественного мастерства.

В 1930-е годы преподавание в институте Радлов совмещал с работой в Правлении Союза, сотрудничал в «Крокодиле» и детских журналах. С иллюстрациями художника в эту пору вышло немало книг — сочинения О. Форш, Вяч. Шишкова, Шекспира, Бальзака, А. Франса.

В 1937 году Радлов переехал в Москву и вскоре стал преподавать в художественном институте. В первые военные месяцы он — участник сатирических «Окон ТАСС», за которые, в числе их создателей, был удостоен Государственной премии. В конце 1942 года Николай Эрнестович скончался после мучительной болезни, последовавшей за контузией, полученной при воздушном налете на Москву.

В послевоенные десятилетия имя Радлова вспоминали нечасто. В 1963 году Корней Чуковский, приветствуя издание небольшого альбома радловских карикатур, писал: «почему до сих пор не вспоминали, что у нас был великолепный художник, самобытный, разнообразный и сильный,— и что прятать его от нового поколения стыдно...» С тех пор вышла монография о Радлове, переизданы некоторые его статьи, книга «Рисование с натуры», время от времени публикуются рисунки (часто — одни и те же). Однако еще предстоит немало сделать, чтобы в полной мере стала явной роль художника в нашем искусстве.

В апреле 1989 года исполнится сто лет со дня рождения Николая Радлова. Ленинградцы, Союз художников, Институт имени И. Е. Репина должны почтить память этого талантливого человека.

Илья ДОРОЧЕНКОВ

Седьмая тетрадь

Воспоминания

А. УЗИЛЕВСКИЙ

ДЕЛО, КОТОРОМУ ОН СЛУЖИЛ

Первая послевоенная весна. В тот день с утра я зашел в кабинет главного редактора ленинградского отделения издательства «Советский писатель» Григория Сорокина, чтобы обсудить с ним план майского выпуска книг. Не успели мы начать, как в дверь постучали, и уже через несколько секунд Сорокин оказался в объятиях высокого, хорошо сложенного мужчины в морском кителе, но без погон. А через некоторое время Юрий Герман, тогда уже известный писатель, пожимал и мою руку, глядя на меня черными, чуть выпуклыми улыбающимися глазами. Эту улыбку я хорошо помню. Мне кажется, он всегда улыбался, хотя и по-разному: иногда грустно, с оттенком печали, а иногда озорно, весело. Было Герману тогда тридцать шесть. Он только что демобилизовался с Северного флота, где служил военным корреспондентом в звании майора, и принес нам написанную на Севере повесть «У студеного моря». В конце того же года она вышла в свет...

Вспоминаю наши первые встречи: сначала я очень робел, смущала его знаменитость. При близком знакомстве оказалось, что человек он простой, удивительно добрый, со щедрой душой и большим ярким талантом. Он постоянно спешил комунибудь на помощь, кого-то выручить, за кого-то постоять.

В Ленинграде в ту пору начинал свою литературную деятельность Сергей Антонов. В судьбе этого многообещающего прозаика Юрий Павлович принял самое живое участие. Он дал ему рекомендацию в Союз писателей. Потом, видимо, решив, что рекомендация слишком коротка и неубедительна, послал вдогонку письмо:

«В президиум Ленинградского отделения
Союза советских писателей
от Германа Юрия Павловича
Заявление.

Убедительно прошу президиум, и в частности т. Прокофьева, ознакомиться с творчеством молодого литератора Сергея Антонова. Этот человек наделен, по-моему, удивительным талантом, образы его произведений глубоки, сильны, чисты, характер советского человека с его мужественностью, стойкостью, простотой, силой и мягкостью показан молодым писателем по-настоящему, до того хорошо, что просто делается завидно.

Один рассказ Сергея Антонова „Знакомый" стоит целого тома нудного и серого скольжения по жизни, наблюденной писателем, даже профессионалом, из окна своего кабинета.

По-моему, очень стоит обратить внимание на талантливого человека, провоевавшего всю войну, преданно и самозабвенно любящего литературу и скромно считающего себя начинающим писателем. Всеволод Рождественский, воспитавший тов. Антонова, вероятно, с удовольствием доложит президиуму об этом даровитом писателе...».

Это письмо примечательно не только тем, что по двум первым рассказам никому не известного автора Юрий Герман разглядел писателя, ставшего потом одним из крупнейших советских прозаиков, но и тем, как точно и лаконично изложил в нем свое писательское кредо.

Сам Герман работал легко и быстро. Создавал новое, возвращался к старому. В марте 1947 года мы обсуждали на редсовете переиздание его романа «Наши знакомые». И. Груздев высказал мнение, что эта книга, изданная в 1936 году, не будет воспринята сегодняшними читателями. Прокофьев, очень дружный с Юрием Павловичем, пишет в рецензии: «„Наши знакомые" Ю. Германа — это уже не наши знакомые... В таком виде книгу издавать нельзя; переработка ее, мне думается, невозможна». Замечания резонные, но они не учитывали творческих возможностей автора. Пятнадцать лет спустя, в 1961 году, переработанный и дополненный роман вышел в свет в нашем издательстве. Насколько это было важно для писателя, явствует из высказывания критика Л. Левина (в книге «Дни нашей жизни»): «Теперь, когда путь Германа завершен, особенно ясно видно, что к своей трилогии (о ней ниже.— *А. У.*) он пришел не от „Вступления", каковы бы ни были его достоинства, а от „Наших знакомых", каковы бы ни были их недостатки».

В начале сорок девятого года в журнале «Звезда» было опубликовано начало повести Германа «Подполковник медицинской службы». Мы заключили договор с автором на отдельное издание и ожидали окончания публикации. И вдруг — гром среди ясного неба... На страницах газет появились статьи, объявляющие повесть порочной, ее главного героя доктора Левина ущербным, а самого автора — политически незрелым. Дословно не помню всех «эпитетов» (я бы сказал: к счастью, не помню), хотя в то время иные, с позволения сказать, критики пользовались набором штампов, которым либо клеймили, либо, наоборот, захваливали...

В мартовском номере «Звезды» вместо окончания повести о докторе Левине было напечатано... письмо Юрия Германа, где он отказался от дальнейшей публикации своего произведения: «...После войны мною была опубликована часть ошибочной повести „Подполковник медицинской службы", „Ленинградская правда" напечатала мою порочную статью о М. М. Зощенко...».

Спустя какое-то время Герман зашел ко мне на работу. Плотно закрыл за собой дверь, никогда не закрывавшуюся, так как в комнате не было окна. Закурили... Между нами давно уже установились отношения дружеские и полные доверия. Люди одного поколения, с похожими биографиями, профессионалы каждый в своем деле, мы часто и подолгу откровенно беседовали.

Словно отвечая на невысказанный вопрос, Герман заговорил:

— Удивляешься моему письму? Думаешь: как я мог отказаться от своей книги, предать доктора Левина, изменить самому себе?..

Я молчал. Больно было смотреть на этого побледневшего, осунувшегося, сникшего человека.

— Я долго думал, как поступить,— продолжал Герман.— Можно бы промолчать и тем выразить свое несогласие с официальной точкой зрения и о моей книге, и о Зощенко, но тогда бы я поставил под удар работников журнала, опубликовавших повесть, сотрудников газеты, поместивших мою рецензию на Зощенко.

Он затянулся и грустно, чуть улыбнувшись, продолжал:

— В тридцать втором году после выхода в свет моего первого романа «Вступление», нашлись литераторы, объявившие меня «попутчиком», а издание книги — «вылазкой классового врага». И кто знает, чем бы это закончилось, если бы не выступление Горького. В конце того же года «Правда» напечатала отчет о встрече Горького с турецкими писателями. Во время беседы Горький похвалил мой роман, но сделал это весьма своеобразно. Он сказал: если малый не свихнется, из него может выйти толк.

Вот такую исповедь довелось мне выслушать. И сейчас, перебирая в памяти те сложные для всех нас годы, могу твердо сказать: Герман оправдал надежды Горького, «не свихнулся», ни в одной строчке не изменил себе.

Шесть лет спустя, поработав над повестью, отметя в сторону облыжную критику, Герман все-таки принес нам эту рукопись. Трижды большими тиражами вышел в свет «Подполковник медицинской службы» — лучшее его произведение.

Тогда же, чтобы обрести душевное равновесие, он приступил к переработке изданного ранее в «Молодой гвардии» романа «Россия молодая», тоже стоившего ему много «крови»: вскоре после его выхода в свет появился пасквиль ленинградского журналиста Колоколова «Издательство

Юрий Герман. Фото 1949 года. ЦГАКФФД

во хмелю», где утверждалось, что Герман спаивает сотрудников издательства, а они за это печатают его книги...

Работа увлекла Германа, роман был фактически переписан заново.

Осенью пятьдесят третьего года он принес нам рукопись и, зайдя ко мне в производственный отдел, сказал:

— Вот, принес «Россию молодую». Наумов уверяет, что роман в ноябре будет обсуждаться на редсовете.

Почувствовав, что Герман волнуется, и не сомневаясь в благополучном исходе обсуждения, я ответил:

— В начале следующего года будем печатать и, наверное, в двух томах, иначе получится очень толсто и непрочно.

Герман протестующе поднял руку:

— Не говорите так, боюсь сглазу.

Почему-то врезалось в память это слово «сглазу».

Работая в Ленинградском государственном архиве литературы и искусства, я наткнулся на записи писателя и узнал, что над этим романом он работал восемь лет. Еще во время войны собирал материал о поморах, о главном герое — кормчем Иване Рябове, о первых строителях русского флота, о преобразовательной деятельности Петра Первого.

Я разыскал стенограмму редсовета. Старший редактор Всеволод Петрович Воеводин, выступавший первым, сказал, что роман является большим событием в литературе.

— Однако,— заметил Воеводин,— когда автор описывает иноземцев, то порой его покидает чувство меры, и создается впечатление, что — «прохвост на прохвосте»...

Его поддержал Павел Далецкий:

— Иноземцы изображены стяжателями, а главный герой Рябов наделен классовым мышлением...

Герман то хмурился, то улыбался и быстро-быстро писал что-то в записную книжку. И вот Евгений Иванович Наумов предоставил ему слово.

— Я отношусь к своей книге гораздо суровее,— сказал Герман, заметно волнуясь,— но по одному пункту хочу возразить. Далецкий обвинил меня в том, что я сделал Рябова большевиком. Пусть это останется на его совести. Что же касается иностранцев, то есть один факт, который я не отразил в романе, но хочу здесь о нем рассказать. В Россию в то время наряду с хорошими людьми ехало много отребья, людей такого низкого качества, что Петру в 1710 году пришлось при таможне организовать экзаменаторский пункт для проверки знаний приезжающих в Россию лекарей. Существовала в то время такса, которую брали иностранцы, экзаменующие жуликов, чтобы дать им диплом практикующего врача в России. Ни один иностранный лекарь не был задержан: знали, сколько нужно заплатить, и проезжали дальше. Расплачивалась Россия за это чрезвычайно тяжело...

— Задал я вам хлопот своим романом,— пожимая мне руку, сказал Герман, когда уже печатался тираж,— потребуется, вероятно, тонн шестьдесят бумаги?

— Ровно сто,— уточнил я,— но хлопот нам это не доставило. Вы и не подозреваете, что бумагу на двухтомник вы достали нам сами.

Герман удивленно посмотрел на меня.

— Как это? Не надо меня разыгрывать. Бумажной фабрикой, как вы знаете, я не владею, а только изгожу сей материал за письменным столом.

— А разве вы не имеете отношения к фабрике Горького на Васильевском острове, построенной еще до революции купцом Печаткиным? На машине, закупленной в Германии, он тогда вырабатывал много сот пудов бумаги...

Юрий Павлович меня прервал:

— В тридцатом я там работал в многотиражке «Голос бумажника», печатал очерки о рабочем классе. Да и роман «Вступление» написан там же. Его выпустили ваши предшественники по «Издательству писателей в Ленинграде».

— Все так,— подтвердил я,— но когда я поехал на фабрику, шансов на получение бумаги почти не было: к концу квартала по фондам оставалось сорок тонн. Я запасся письмом от Прокофьева, где он представил вас как «классика» и перечислил все ваши книги, не говоря уж о романе «Вступление». В отделе сбыта работает старичок, хорошо вас помнящий, хотя прошло почти четверть века. Он-то мне и рассказал, что книга ваша в фабричной библиотеке зачитана до дыр, но сетовал, что вы перепутали фамилии мастеров, рабочих и немецкого инженера, налаживавшего тогда бумагоделательную машину. Я не стал ему объяснять, что то были герои романа, а не очерк. Пришлось поддакивать и хвалить эту книгу, хотя я ее и не читал. В общем, бумагу дали сполна...

Герман долго смеялся, эта история доставила ему радость...

В один из майских дней пятьдесят шестого года мы получили письмо Юрия Павловича, касающееся на сей раз судьбы романа Леонида Борисова «Ход конем», впервые изданного в 1927 году: «...Отвратительно лишь одно: Горький написал предисловие (к изданию 1928 года.— *А. У.*) для того, чтобы книга была издана, но книгу так и не издали, впрочем, как и само предисловие Горького. Кто эти умники, позволяющие себе столь кощунственно относиться к воле М. Горького? Их не отыскать. Они не написали своих мнений, они просто где-то шепотком „отложили“, „не учли в плане“, перенесли на следующий год. Вопреки мнению Горького, вопреки мнению прессы, вопреки мнению Ромена Роллана, напечатавшего „Ход конем“ в своем журнале „Европа“... Пишу это и с грустью думаю о том, как бы эту хорошую книгу опять не отложили печатанием на десяток лет. Нет, не может этого быть. Издательство обязано доказать литературным руководителям, что „Ход конем“ хорошая, настоящая вещь. Мы давно толкуем о том, что книги должны быть интересными, но интересных книг боимся, как огня. А ведь настоящие книги написаны интересно, все они сюжетны, действенны. Дорогое издательство „Советский писатель“! Пожалуйста, издайте книгу Л. Борисова „Ход конем“. Сделайте такое одолжение нашему выросшему читателю...».

Вскоре собрался редсовет с участием самого Борисова. Главным докладчиком был Леонид Николаевич Рахманов, к чьей помощи издательство прибегало во всех случаях, когда требовался компетентный совет. Вот что он сказал: «В идею романа заложена гуманность, справедливость, внимание к людям, видно желание разобраться в поступках и чувствах, помочь отделить добро от зла... Теперь, когда мы спокойно и бережно разбираем к сороколетию Советской власти наши литературные запасы, было бы жаль пройти мимо талантливой, интересной и своеобразной книги Борисова... Что же мешает изданию романа? Роман испещрен „родимыми пятнами“ литературы своего времени. Натурализм, физиологизм, патология порой так густо насыщают страницы, что становится не по себе... Автор должен убрать все искусственные, местами аляповатые, иногда крикливые места. Меру ему подскажет выросший писательский опыт, вкус и чутье. Если автор со мной согласен, желаю ему удачи в работе. Тогда я за роман»...

Зная строптивый характер Борисова, все ожидали, что же он скажет. И порадовались, когда Леонид Ильич согласился поработать над рукописью, признав замечания Рахманова резонными. В 1957 году роман «Ход конем» обрел новую жизнь в книге Борисова «Избранное».

Спустя годы, когда о литературной молодости Германа, о доброжелательной атмосфере, окружавшей его, когда он делал первые шаги в литературе, я узнал от него самого, то понял, что желание помочь товарищам по перу — не только суть душевной доброты Германа. Этому его научили Максим Горький и Самуил Маршак. Научили собственным примером.

— Маршак,— сказал мне как-то Герман,— никогда не отгораживался, и особенно от молодежи своей работой. Трудно сказать, на что он больше тратил время — на собственные книги или на литературную молодежь. Не только Белых и Пантелеев были открыты Маршаком. Он помог стать писателями Борису Житкову, мне и многим другим...

Герман чрезвычайно уважительно относился к труду издательских работников. Не на ходу, а обстоятельно обсуждал с корректором или редактором каждое замечание, горячо спорил, отстаивая свою точку зрения, если аргументы казались ему неубедительными.

Всегда внимательный, отзывчивый и чуткий, с постоянным юмором и подкупающей простотой, он находил для каждого слова, подчеркивающие важность и значимость нашей работы.

По мере приближения срока выхода очередной книги я замечал, как возрастало волнение Германа. Глядя на него и слушая его, можно было подумать, что перед тобой молодой начинающий автор.

Книги Германа переиздавались у нас неоднократно. На них воспитывалось не одно поколение читателей. Вот они все на моих книжных полках — с автографами, написанными размашистой рукой автора. Я знаю, в чем непреходящий успех этих книг: в той страстности, с какой написана каждая страница, в острых нравственных проблемах, которых Герман никогда не сглаживал.

В пятьдесят восьмом году в нашем издательстве вышел роман «Дело, которому ты служишь» — первый из задуманной трилогии. Спустя четыре года увидел свет второй — «Дорогой мой человек».

После их выхода издательство буквально захлестнул поток читательских писем с настойчивыми требованиями ответить на вопрос: когда будет издана последняя книга?

Помню, как летом шестьдесят четвертого года директор нашего отделения Николай Петрович Луговцов пригласил Германа по этому поводу. Юрий Павлович, уже смертельно больной, сетовал, что неожиданно для него третья книга — «Я отвечаю за все» — разрослась и вместо пятнадцати листов будет около пятидесяти. Он клятвенно обещал сделать роман в декабре. Было решено планировать выпуск всей трилогии на будущий год. Юрий Павлович торопил нас с выпуском этой своей «главной книги», чего не делал никогда раньше: видимо, уже догадывался, а может быть, и знал, что жизнь его на исходе.

Выпустить в короткий срок трилогию объемом в сто двадцать три печатных листа — задача не из легких, особенно если учесть, что третья книга еще находилась на письменном столе автора... Видя, как Герман нервничает, я предложил сдать в набор первые две. Талантливые ленинградские художники — супруги Валентина и Леонид Петровы — довольно быстро подготовили весьма сложное для полиграфического исполнения художественное оформление трилогии. Были ре-

шены и чисто производственные вопросы: бумага, картон, переплетная ткань, переброска их в типографию. Полиграфисты во многом шли нам навстречу.

В конце шестьдесят четвертого года первые два тома были запущены в производство и уже в начале следующего года — подготовлены к печати. А третья книга все еще не закончена...

Работал Герман не щадя сил, с каждым днем убывающих. Третий роман по объему равнялся первым двум вместе взятым. Совершенно измученный болезнью, в мае шестьдесят пятого года Герман сдал наконец все тысячу четыреста страниц рукописи. Теперь все зависело от оперативности издателей. Редактировать роман «Я отвечаю за все» мы пригласили писателя Александра Смоляна: он обычно подготавливал произведения Германа, печатавшиеся в журнале «Звезда». Смолян вместе с Германом управились быстро. Корректоры молниеносно вычитали текст: они работали параллельно с редактором, а не после него, как обычно. И вот рукопись отправлена в типографию.

Немногим больше месяца потребовалось, чтобы набрать эту объемную книгу и довести ее до печати. Но тут нас ожидали неприятности. В самую последнюю минуту, когда корректура была уже готова для отправки в печать, от нас потребовали исправления тех мест, где автор рассказывает о трагической судьбе своих героев, о репрессиях, которым они подвергались в прежние годы. Юрий Павлович, обессиленный болезнью, страшно нервничал и не соглашался что-либо менять. Долго мы его уговаривали, и в конце концов он, скрепя сердце, внес некоторые исправления.

В октябре шестьдесят пятого мы вручили Герману все три тома. И сейчас, много лет спустя, не могу без боли вспомнить, как погрустневшие за годы болезни глаза засветились, радость озарила его лицо, и от этого казалось, что болезнь отступила.

Вскоре Герман собрал всех, кто имел отношение к изданию трилогии. Сейчас мне думается, что тогда он прощался с нами, со всеми, кто был ему близок. Среди собравшихся были люди, ставшие прототипами его героев, редакторы, издатели, полиграфисты. Встреча превратилась в литературный вечер, некоторые работники типографий впервые встретились с давно полюбившимся им автором... Юрий Павлович увлеченно рассказывал о том, как писалась трилогия, неоднократно повторял, что в жизни ему очень везло на встречи с хорошими людьми, что многие из них стали прототипами его героев. Рассказал и о встрече на войне с хирургом Б. Г. Стучинским, несмотря на ранение в руку, нашедшим в себе мужество вернуться к хирургическому столу. Основной герой — Владимир Устименко — унаследовал черты довольно сложного характера профессора Арьева. А образ врача районной больницы Н. Богословского Герман писал с хирурга Сестрорецкой городской больницы, заслуженного врача республики Н. Слупского.

Кто-то из нас попросил Германа рассказать о встречах с Горьким. Он умолчал о том, что в трудное для него время Алексей Максимович похвалил в газете «Правда» его «Вступление». А начал с того, что однажды при встрече Алексей Максимович принялся всячески ругать роман, сказав, что раньше он его явно перехвалил... Потом Герман вспомнил, как, работая над «Нашими знакомыми», рассказал Горькому, что задумал одного из героев сделать шеф-поваром. Горький одобрил эту идею и настоятельно посоветовал прочитать книгу Брилья-Саварена «Физиология вкуса».

— Книгу я эту не нашел,— рассказывал Герман,— и сообщил об этом Горькому. Алексей Максимович меня отчитал, а вскоре его секретарь пригласил меня сделать выписки из этой книги. Читая ее, я исходил желудочным соком, и с тех пор люблю вкусно покушать.— И раскатисто рассмеялся, рассмешив и нас. Потом, сразу посерьезнев, сказал: — Не будь встреч с Горьким, не было бы, пожалуй, и сегодняшнего Германа.

Теплые слова были произнесены им и о редакторах, корректорах, техредах и полиграфистах. Встав из-за стола, он всем нам низко поклонился.

Вообще, надо сказать, Юрий Павлович на протяжении многих лет был активным участником издательского процесса. Его рецензии отличались прямотой и конструктивными предложениями. Было всегда интересно слушать его умные, порой запальчивые, но всегда объективные выступления на редсоветах. Дружба с Кетлинской, например, не помешала ему критически оценить рукопись ее романа «В осаде».

Тогда же он рассказал и о судьбе оперативного работника милиции И. В. Бодунова. Дружба с этим человеком длилась многие годы. Героическая биография Бодунова легла в основу романа «Один год»: это биография Лапшина, главного героя книги, изданной нашим издательством в шестьдесят первом году. Вера Федоровна Панова писала в рецензии: «Лет двадцать назад вышли две превосходные повести Ю. П. Германа „Лапшин“ и „Жмакин“. Писатель вернулся к ним, и вот вырос роман, высокочеловечный, чистый, светлый, которому бесспорно суждено завоевать горячие читательские симпатии. Он во многом отличается от тех двух повестей, и, как ни были они хороши, отличается к лучшему, расширенный сюжет вовлек в свою орбиту много действующих лиц, значительных и интересных характеров, живыми лицами заселен роман.

Главная решающая удача романа — Лапшин, умный, все понимающий, бесконечно чистый, цельный в работе и в личных чувствах, сполна себя отдающий и ничего для себя не требующий, ученик и соратник Дзержинского, коммунист и боец».

С нетерпением мы ожидали тогда рецензии начальника управления милиции города Ленинграда, Героя Советского Союза Ивана Владимировича Соловьева — автора нескольких художественных книг о работниках милиции. Интересная подробность из биографии Соловьева, известная лишь немногим писателям: во время войны он командовал полком, где командиром разведроты был писатель Э. Казакевич. Вот что он написал в своей рецензии:

«Главная идея работы Ю. П. Германа — борьба за человека, борьба за правду — разрешена принципиально правильно, с большой жизненной достоверностью.

Автору удалось с большой силой показать две стороны постоянной борьбы советского общества за человека; это поддержка и помощь тем, которые поняли или приходят к пониманию невозможности и недопустимости „блатной“ жизни в условиях Советского государства и суровой, беспощадной борьбы с теми, кто идет наперекор с жизнью и хочет отстоять чуждую советскому обществу мораль.

Эта единственно правильная, партийная трактовка нашей гуманности пронизывает всю книгу и художественно решается правильно...».

Получив обе рецензии, наш редсовет принял решение издать роман немедленно.

Незадолго до кончины писателя я пришел его навестить. Герман лежал на тахте в окружении книг и рукописей, с любопытством просматривая принесенные мною из издательства письма его читателей. Одно письмо он дольше других задержал в руках: мать, чей сын попал в беду и был осужден, молила о помощи, веря, что герои книги «Один год» — живые, реальные люди, способные спасти ее сына, помочь ее горю. Это письмо разволновало Германа. Он думал, как помочь этой семье... Слушая его, я невольно вспомнил Левина из «Подполковника медицинской службы», который оперировал пациентов, сам будучи смертельно больным. В тот день Герман ни разу не напомнил мне о своем недуге, не подал виду, как страдает.

Когда мы прощались, он снова заговорил о письмах. В большинстве из них содержались просьбы о присылке его книг. Герман попросил меня сделать все возможное.

Любовь и внимание к людям — это и было дело всей его жизни, дело, которому он служил...

Изыскания

А. ГОРДИН, Я. ГОРДИН

ГАННИБАЛ, МИХАЙЛОВСКОЕ, ПУШКИН

> **Автор, со стороны матери,**
> **происхождения африканского.**
> *Пушкин. Из примечания к I главе «Евгения Онегина»*

Первым стихотворением, написанным Пушкиным после приезда в Михайловское из Одессы, было — если не считать шутливых строк в письме Вульфу,— послание «К Языкову». Там говорилось:

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю, где проснусь —
Всегда гоним, теперь в изгнанье
Влачу закованные дни.

И тут же:

В деревне, где Петра питомец,
Цариц, царей любимый раб
И их забытый однодомец,
Скрывался прадед мой арап,
Где позабыв Елисаветы
И двор и пышные обеты,
Под сенью липовых аллей
Он думал в охлажденны леты
О дальней Африке своей,
Я жду тебя...

Переход от своей изгнаннической судьбы к мыслям о «прадеде арапе» отнюдь не случаен. В двух вариантах биографии Абрама Петровича Ганнибала, набросанных в разное время Пушкиным, настойчиво звучит мотив опалы, изгнанья.

К экзотической личности предка Пушкин обращался многократно. Но именно в Михайловской ссылке, впервые по-настоящему ощутив свое изгнанничество, поэт решился впрямую сопрячь свою судьбу с судьбой Ганнибала, вывести эту связь на поверхность.

Кроме мотива изгнания, в обоих вариантах биографии прадеда «психологически автобиографичен» и мотив самовольного возвращения в столицу, крайне актуальный для Пушкина — как в конце 1824-го, так и в 1825 году.

В Михайловском Пушкин думал о Ганнибале постоянно, что зафиксировано в его письмах и черновиках.

Эта проблематика подробно исследована Н. Эйдельманом в книге «Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта» и потому не требует дальнейшего конкретизирования. Он совершенно справедливо пишет о «сопряжении судеб» в ганнибаловских сюжетах михайловского периода: «Не вызывает никаких сомнений, что много раз, рассказывая о Ганнибале и других пращурах, Пушкин *сознательно* сравнивает биографии, выводит „семейные формулы". Но иной раз это происходит *неумышленно* — и тем особенно интересно».

Вообще, проблема пушкинского отождествления, сличения судьбы собственной с судьбами иными — проблема важная и обширная. Характерный прием — «вольтеровский комплекс». Ганнибаловский сюжет есть глубоко значимая часть проблемы, ибо помимо всего прочего в нем присутствует пророческий мотив отделенности, особости. Сознавание Пушкиным своих африканских корней, ничуть не уменьшая патриотизма и кровной преданности России, придавало особый оттенок его взгляду на окружающее.

Настойчивое обращение пушкинской мысли к Ганнибалу в михайловский период, помимо прочего, происходило и от предположения, что прадед мог некогда испытать здесь же участь изгнанничества, правда, добровольного. Пушкин ощущал в Михайловском его присутствие.

В биографические представления поэта о пращуре мысль о пребывании его в псковских деревнях входила как чрезвычайно существенная часть — объединение судьбой и пространством.

«Немецкая биография» А. П. Ганнибала, написанная его зятем А. Роткирхом (на немецком языке), ничего не сообщала о жизни «петровского арапа» на Псковщине. Пушкин скорее предполагал, памятуя, что началось-то все с Абрама Петровича, чем твердо знал. Или же располагал какими-то семейными сведениями. Но, если сведения и были, то очень неопределенные.

Судя по стихам «К Языкову», поэт считал, что прадед живал в псковском имении в екатерининские времена. Во всяком случае, в позднюю пору жизни — «а охлажденны леты». (Слово «скрывался» не надо, разумеется, понимать как «прятался». «Скрывался» в данном случае — уединялся. Сравним — «Сокроюсь с тайною свободой, с цевницей, негой и природой под сенью дедовских лесов...».)

Таким образом, вопрос — бывал ли Ганнибал в своих псковских деревнях и, если бывал, то когда и долго ли — вопрос не праздный в свете всего вышесказанного. Биографическая и психологическая проблема: «Ганнибал, Михайловское, Пушкин» — проблема реальная.

Исследователи, изучавшие биографию «царского арапа», отвечали на этот вопрос только предположительно и по-разному. Одни утверждали, что он вообще не посещал Михайловскую губу. Другие — что он посетил эти места в 1746 году, вскоре после пожалования ему Елизаветой псковских имений и получения жалованной грамоты. Об этом, казалось бы, свидетельствовало письмо Ганнибала барону Черкасову от 12 октября 1746 года с просьбой отпустить его в отпуск для налаживания хозяйства в деревнях. Существует и третья точка зрения, к которой мы вернемся.

В биографии Абрама Петровича, изученной ныне довольно подробно, хотя отнюдь не достаточно, существовал неясный период — с 1746-го по 1752 год.

В книге Георга Лееца, суммировавшего основные сведения о Ганнибале, собранные историками, и добавившего к ним ряд новых фактов, есть раздел под названием: «А. П. Ганнибал — обер-комендант Ревеля (1742—1752)». Здесь, в частности, говорится: «С ним (принцем Гольштейн-Бек.— *Авт.*) А. П. Ганнибалу пришлось служить в Ревеле продолжительное время, вплоть до своего перевода в Инженерный корпус в 1752 году». Далее: «С лета 1745 года по октябрь 1746 года А. П. Ганнибал состоял членом смешанной русско-шведской комиссии по разграничению российских земель со Швецией в Финляндии...». И еще: «По-видимому, с осени 1746 года или с начала 1747 года А. П. Ганнибал отправился в длительный отпуск...». И затем наиболее для нас важное: «Документальных данных о том, где жил и чем занимался А. П. Ганнибал во время своего пятилетнего отпуска, к сожалению, не имеется. Ничего не сказано об этом и в немецкой биографии. Между тем, представляется очевидным, что приведение в порядок псковских владений, устройство усадьбы и прочие заботы требовали длительного присутствия хозяина. Эта догадка подтвердилась всего лишь несколько лет назад, когда в начале строительных работ по восстановлению Петровского в Пушкинском заповеднике был найден каменный фундамент жилого дома неподалеку от усадебного дома Петра Абрамовича. Реконструкция дома по фундаменту показала, что дом этот с остроконечной крышей напоминал по архитектуре обычный двухэтажный дом в небольшой прибалтийской мызе. Данное обстоятельство прямо указывает на Абрама Петровича, бывшего с 1733 года владельцем такой мызы в Эстляндии. На плане Петровского 1786 года нет еще парка и дома Петра Абрамовича, поселившегося здесь после ухода в отставку в 1783 году, а есть только этот старый дом. Приведенные факты свидетельствуют о том, что именно это место избрал А. П. Ганнибал центром вотчины в пожалованной ему Михайловской губе и построил здесь — на месте деревни Кучане — у одноименного озера — усадебный дом уже в сороковых годах XVIII века... Отсюда руководил он в 1747—1752 годах хозяйством вотчины, отсюда выезжал в Петербург, где велось его бракоразводное дело с первой женой. Известно также, что уже в 1746 году семья его жила в сельце Петровском».

Таков третий ответ на вопрос о пребывании «царского арапа» в Михайловской губе — сегодня господствующий.

Между тем, период его жизни с 1745-го по 1752 год на самом деле документирован подробнее, чем какой-либо другой. (Основные материалы хранятся в Архиве внешней политики России Историко-дипломатического управления МИД СССР.) И реальность этого периода ни в малейшей степени не соответствует предположениям и догадкам биографа.

Абрам Петрович действительно летом 1745 года призван был на службу в Комиссию по разграничению российских земель со Швецией в Финляндии. Однако продолжалась эта служба отнюдь не по октябрь 1746 года.

Первый указ Елизаветы о назначении «арапа» главой русской части Комиссии издан был 15 июня 1745 года: «Указали мы генерала-маэора и ревельского обер-коменданта Ганнибала определить к разграничению по последнему мирному трактату с Швецией земель, и для того определения его к сей комиссии велеть ему явиться в нашей Коллегии иностранных дел...».

На этом важном посту он сменил князя В. Н. Репнина, крупного вельможу.

Почему выбран был именно Ганнибал, не имевший опыта дипломатической службы, находящийся в Ревеле и известный своим бурным темпераментом (который он, судя по документам, во время переговоров и проявлял)?

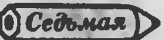
Можно предположить, что играли роль следующие обстоятельства: уверенность императрицы в преданности генерала, его незаурядные способности, полное знание французского языка, на котором отчасти шли переговоры; кроме того, разграничение земель связано было с землемерческими, геодезическими и фортификационными работами, прекрасно знакомыми Ганнибалу.

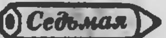
Целью указа от 15 июня было вызвать ревельского обер-коменданта в столицу. По прибытии его и, возможно, после аудиенции — ибо функции на Ганнибала возлагались ответственные,— появился указ от 22 июня, определяющий задачу и права главы Комиссии с русской стороны:

«...Понеже в трактате вечного мира между нами и его величеством королем и королевством шведским чрез полномочных обоих стран министров в Абове 7-го августа 1743-го года учиненном, который уже с обоих стран, как от нас, так и от его королевского величества швецкого ратифицирован, в седмом пункте постановлено, что для разграничении земель между обоими нашими государствами Российским и Швецким в Финляндии и Карелии, где по оному мирному трактату определено быть границе, тот час по воспоследовании ратификации того мирного трактата с обоих стран имеют быть назначены комисары; того ради мы по силе сей нашей явственной полномочной к помянутому разграничению определили и уполномочили нашего генерала маэора Аврама Ганнибала таким образом, что он имеет с его королевского величества и королевства швецкого полномочными комисарами с одним или несколькими, кто от его королевского величества и королевства швецкого к оному разграничению определен и равною полномочною снабден будет, в соглашенное с обоих сторон место съехатца, и с ними помянутое разграничение земель между обоими нашими государствами Российским и Швецким по оглашению заключенного между нами и его величеством королем и королевством швецким трактата вечного мира, как о том в седмом пункте оного изображено чинить, и по окончанию привесть, и о том разграничении с комисары его королевского величества и королевства швецкого для предбудущих веков и неспоримого со обоих сторон земель владения о писменных инструментах соглашатца и оные постановить, заключить и подписать, и тако мы обещаем нашим императорским словом, что мы все то, что помянутый генерал маеор в оном разграничении с его королевского величества и королевства швецкого комисары учинит на писме, постановит, подпишет и разменяет, не токмо за благо и важно примем и исполним, но оное надлежащим образом ратифицировать будем».

Таким образом, полномочия были даны немалые.

В Архиве внешней политики России хранится обширный комплекс докумен-





тов Комиссии по разграничению земель за 1745—1752 годы. Эти документы, обследованные нами, позволяют подробно представить себе картину жизни и трудов Ганнибала в этот период.

Генерал-майор и ревельский обер-комендант первоначально проделал большую подготовительную работу, собирая и обеспечивая всем необходимым команду, с которой он должен был выполнить поручение императрицы.

6 июля 1745 года вышел именной указ Военной коллегии: «Указали мы по требованию генерала-маиора Ганнибала для порученной ему комиссии разграничения земель с Швециею отослать к нему в команду кронштацкого гарнизона секунд-маиора Валуева, который ныне в команде у генерала-майора Фермора находится, и для поездки к помянутой комиссии выдать ему Валуеву вперед на треть года жалованья по армейскому окладу да сверх того на подъем не в зачет жалования триста рублев из комиссариата. К упомянутому генералу маиору Ганнибалу в команду определить для конвою и посылок в бытность его при той комиссии столько ж войнских людей, как наперед сего для сей же комиссии генералу князю Репнину определено было из обретающихся в Выборхе и Фридригс-Гаме полков, кроме кирассиров, и для употребления в гребцы на кайчебасы и шлюпки надлежащее число солдат из здешних полков, такожде и от артиллерийской канцелярии минеров с инструментами сколько он, Ганнибал, потребует дать велеть как помянутому генералу князю Репнину все то дать было велено».

Секунд-майор Валуев состоял при Ганнибале весь трудный период дипломатической службы.

Отбыв на границу, Абрам Петрович вел сложные, на многие годы затянувшиеся переговоры с шведским комиссаром в Штокфорсе — штаб-квартире комиссии. В первые два года для переговоров использовались летние и осенние месяцы. В начале зимы генерал-майор возвращался в столицу. Месяцы пребывания в Петербурге были заняты подготовкой к следующему туру переговоров и разного рода хлопотами по комиссии. Кроме того, к нему обращались за консультациями как к инженеру и фортификатору.

С 1747 года распорядок изменился. Начало зимы русский комиссар провел на границе и был отозван только 18 января 1748 года.

В 1748 году Государственная коллегия иностранных дел попыталась вывести переговоры из тупика, организовав конференцию в Петербурге, в которой с русской стороны участвовали граф Румянцев, барон Люберас и генерал-майор Ганнибал. Конференция шла всю весну и лето.

Все это происходило именно в то время, когда по предположениям биографа, основанным на результатах обследования фундамента неизвестного строения на территории Пушкинского заповедника, Абрам Петрович жил в псковских деревнях, находясь в отпуске.

В Михайловской губе он действительно был. Пушкин не ошибся. Но был не тогда и не так, как предполагал биограф «арапа Петра Великого».

Суммируя свои предположения, Леец писал: «...Помещичьи интересы А. П. Ганнибала переместились из Эстляндии в Псковскую губернию. Как уже указывалось, 12 октября 1746 года он обратился в Кабинет императрицы к И. А. Черкасову с просьбой предоставить ему отпуск для приведения в порядок пожалованного имения. По-видимому, он получил согласие Елизаветы, так как о дальнейшем (постоянном) пребывании его в Ревеле сведений нет».

Генерал-майор не получил в тот раз согласия на отпуск. Черкасов переслал письмо Абрама Петровича канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину. Но слишком напряженное положение создалось, очевидно, в Комиссии по размежеванию земель. В Ревель он, как мы знаем, тоже не вернулся, а продолжал выполнять свои новые дипломатические обязанности, совмещенные с обязанностями фортификатора.

В Михайловскую губу отправилась семья Ганнибала. Его вторая жена Христина Матвеевна, урожденная фон Шеберх, вместе с назначенным приказчиком занялась устройством имения.

Официальное прошение об отпуске Абрам Петрович подал только в 1749 году, после конференции в Петербурге.

Поскольку наша главная задача в данном случае — выяснить реальные обстоятельства пребывания Ганнибала в псковских имениях, то мы позволим себе привести отпускное дело целиком — в том порядке, в каком оно было оформлено Коллегией иностранных дел и сохранилось в Архиве внешней политики России.

«Указ ея императорского величества самодержицы всероссийской из Государственной коллегии иностранных дел господину генералу маиору Ганнибалу.

Просили вы, чтоб для исправления необходимых нужд из Санкт Петер бурга отпустить вас в деревни ваши во Псковской провинции на двадцать на девять дней; а на такое ваше прошение через сие позволяется, и вы потому можете на помянутое время в деревни свои отъехать, а по тому паки в Санкт-Петербург возвратиться.

Граф Алексей Бестужев-Рюмин
граф Михайло Воронцов

Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица Елисавет Петровна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая

бьет челом генерал маиор и кавалер Аврам Петров сын Ганнибал, а в чем мое прошение, тому следуют пункты.

1

Имею я ниже именованный в псковской провинции в воронецком уезде в Михайловской губе деревни мои, и для поправления тея самыя требуют меня туда необходимые нужды мои.

И дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было во всемилостивейшем рассуждении тех моих предписанных крайних нужд в реченные деревни мои отпустить меня именованного на двадцать на девять дней.

всемилостивейшая государыня, прошу вашего императорского величества о сем моем челобитие решение учинить.

июля (числа нет.— *Авт.*) дня 1749 года.

К поданию подлежит в Государственную коллегию иностранных дел.

Прошение писал ревельского гарнизона дерптского полку сержант Тимофей Епифанов (очевидно, писарь, привезенный генералом из Ревеля.— *Авт.*).

А. Ганнибал

Государственной коллегии иностранных дел генерала-маиора и кавалера Ганнибала

Рапорт

Ея императорского величества указ из оной коллегии об увольнении меня на 29ть дней в деревню мою пущенной от 31 августа мною сего текущего месяца 16 дня получен, по содержанию которого сего ж месяца 20 числа в предписанную деревню мою я и отправляюся.

А. Ганнибал

сентября 18 дня 1749 года
С.Петербург

В Государственную коллегию иностранных дел

Покорный рапорт

По дозволительному из оной Государственной коллегии иностранных дел ея императорского величества указу отпущен я на двадцать восемь дней в деревни мои; где с прошедшего сентября 20го сего октября по 19 число я и находился, а реченного октября 19го дня паки сюда возвратился, о чем Государственной коллегии иностранных дел сим наипокорно рапортую.

Генерал майор А. Ганнибал

октября 30го дня 1749 года С. Петербург»

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что до сентября 1749 года Ганнибал не бывал в псковских деревнях. Определенно не был он там и с октября 1749-го по 1752 год. Все передвижения столь важной особы, как начальник русской части Комиссии по размежеванию земель между двумя державами, строго документировались. Кроме отдельного дела об отпуске 1749 года, рапорты и указы, относящиеся к этому вопросу, находятся в хронологически соответствующих местах общего делопроизводства Комиссии.

Занимая и после 1752 года крупные посты в столице, «царский арап» не мог отлучиться в Михайловскую губу, не оставив документальных следов. Если он и посещал еще места, где через полвека размышлял о нем его правнук, то это могло произойти скорее всего после отставки генерал-аншефа Ганнибала. То есть, в соответствии с представлениями Пушкина.

Комплекс документов Комиссии по разграничению земель между Россией и Швецией за 1745—1752 годы дает много материала не только для изучения служебной деятельности прадеда Пушкина, но и для понимания живых черт его личности. Нас, однако, в данном случае интересовало то, что имеет непосредственное отношение к подлежащей дальнейшему изучению теме: «Ганнибал, Михайловское, Пушкин».

Этюды

Р. Г. СКРЫННИКОВ

СМУТА В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ

1

В 1602 году монах Чудова кремлевского монастыря Григорий — в миру бывший слуга бояр Романовых Юрий Отрепьев — после бегства в Литву назвался именем «царевича Дмитрия», сына Ивана Грозного. Вторжение Отрепьева в пределы Русского государства положило нача-

Публикуемое историческое повествование служит продолжением очерков «Холоп на царском троне» («Нева», 1986, № 9—11).

ло первой в русской истории гражданской войне. Самозванцу удалось овладеть московским троном. Он царствовал одиннадцать месяцев, после чего был убит. Переворот 17 мая 1606 года подготовила кучка бояр-заговорщиков. Главную роль среди них играли трое братьев Шуйских.

После переворота Боярская дума, затворившись в Кремле от народа, совещалась всю ночь. Одним из первых мероприятий думы было низложение патриарха Игнатия, ближайшего соратника и помощника Лжедмитрия I. Как значится в записях Разрядного приказа, «за свое бесчинство» Игнатий был лишен сана 18 мая 1606 г. Вина патриарха раскрылась незадолго до переворота, когда двое православных владык (епископов) из Польши прислали с неким львовским мещанином Корундой (или Коронкой) письмо к главе русской церкви с уведомлением, что царь является тайным католиком. Грамоты попали в руки бояр и были использованы для осуждения Игнатия. «Грека» с позором свели с патриаршего двора и заточили в Чудов монастырь.

Вопрос, кому наследовать опустевший трон, вызвал яростные распри. При жизни Лжедмитрия бояре-заговорщики тайно обещали царскую корону Владиславу, сыну Сизигмунда III. Бесчинства наемного войска Ю. Мнишка и последовавшие затем народные волнения, сопровождавшиеся избиением поляков, привели к тому, что вопрос о передаче трона иноверному королевичу отпал сам собой. Ситуация в Польше изменилась: борьба с оппозицией поглощала все силы Сигизмунда III, и Москве не приходилось опасаться вооруженного вмешательства извне.

Решение избрать государя из московской знати породило споры, которым не видно было конца. «Почал (начал) на Москве мятеж быти во многих боярех,— записал современник,— а захотели многие... на царство». Корону оспаривали глава думы Ф. И. Мстиславский, заговорщики князья Шуйские и Голицыны, Романовы и другие бояре. Все они наперебой вербовали себе сторонников в думе и среди столичного населения. Дворяне же поддерживали тех, кого они знали лично и кто их жаловал. Боярская дума обсуждала возможность созыва в Москве Земского собора, на котором присутствовали бы представители всех городов. Но этот проект не был осуществлен.

Осведомленный современник Авраамий Палицын утверждал, что инициатива избрания Василия Шуйского принадлежала «малым неким от царских палат», то есть младшим членам думы, которые действовали вопреки воле главных вельмож. Другой очевидец дьяк Иван Тимофеев прямо назвал имя человека, более всего способствовавшего успеху Шуйских. То был окольничий Михаил Татищев, один из руководителей заговора против Лжедмитрия I. По инициативе Михаила Татищева сторонники князя Василия Шуйского собрались на княжеском дворе и после недолгого совещания объявили о его избрании на трон. Иван Тимофеев желчно бранил Шуйского за неприличную поспешность. Боярин князь Василий, писал Тимофеев, воцарился так поспешно, как только позволила «скорость» и проворство Михалки Татищева. Избирательной кампании Шуйского недоставало размаха и блеска, характерных для кампании Бориса. В пользу Годунова выступал патриарх Иоа, за Василия Шуйского — крутицкий митрополит, по своей популярности и авторитету далеко уступавший Иову. Из бояр на стороне Василия выступили лишь двое его братьев Дмитрий и Иван, а кроме них, племянник стольник Михаил Скопин, окольничий Иван Крюк-Колычев, несколько Головиных (за это они первыми получили думные чины от царя Василия), купцы Мыльниковы и другие. Сторонники Шуйского съехались на его дворе. Собрались те самые лица, которые руководили заговором против самозванца. Но круг сообщников Василия резко сузился. Голицыны, Куракины и другие великородные господа сами претендовали на трон и из друзей превратились в соперников.

На подворье Шуйского были составлены два кратких документа: крестоцеловальная запись князя Василия и другая, «по которой записи целовали бояре и вся земля». Составители записей считали излишним доказывать родство претендента с угасшей династией Грозного. Они отметили лишь, что все его прародители — от Рюрика до Александра Невского испокон веку сидели на «Российском государстве», потом же его род «на Суздальской удел разделишась, не отнятием и не от неволи». Тут сторонники князя Василия допустили небольшую неточность: суздальские князья происходили от младшего брата Александра Невского Андрея. Но Шуйским обязательно нужно было использовать имя самого популярного из древнерусских князей.

Составив запись об избрании царя, участники совещания отвели князя Василия на Лобное место, чтобы представить его народу. С давних пор Шуйские имели много приверженцев среди торговых людей Москвы. Это обстоятельство помогло им и в дни мятежа, и в момент царского избрания. Многие друзья и «советники» Шуйских, как передают очевидцы, расселялись в толпе, чтобы «наустить» (подучить) народ избрать князя Василия.

На вопрос: достоин ли Шуйский, известный страдалец за православие, царствовать, москвичи ответили шумными возгласами одобрения. По словам служилого немца Конрада Буссова, князь Василий воцарился «без ведома и согласия Земского собора, одною только волею жителей Москвы... всех этих купцов, пирожников и сапожников и немногих находившихся там (на площади.— *Р. С.*) князей и бояр».

Заручившись народным одобрением, Василий немедленно отправился в Успенский собор в Кремле, где Пафнутий нарек его на царство и отслужил молебен. Многие современники считали процедуру избрания Шуйского незаконной. Дьяк Тимофеев выражал крайнее негодование по поводу того, что Шуйские бесцеремонно отстранили от участия в выборах патриарха. Василий, по его словам, даже и первопрестольнейшему (патриарху) не возвестил о своем наречении, опасаясь возбудить «противословие в людех», и тем самым отнесся к патриарху как к «простолюдину»: сообщил ему об избрании «токмо последи», когда все было кончено. Какого патриарха имел в виду Тимофеев? После переворота на Руси было два патриарха, оба были низложенными. «Первопрестольным» патриархом считался Иов, незаконно свергнутый самозванцем. Шуйский мог обратиться к заточенному в Старице Иову за благословением. Но он не доверял ему как давнему приверженцу и ставленнику Бориса Годунова, а кроме того, очень спешил.

Дьяк Иван Тимофеев называл глас народа безумным шумом «безглавной чади», считая, что дела государства призваны решать бояре, столпы великие, которыми земля утверждается. Тем самым дьяк осуждал самый принцип «народного избрания». Ни руководители Боярской думы, ни патриарх Иов не поддержали избрания Василия, из чего Тимофеев сделал вывод, что тот сам себя избрал на трон.

Бояре и князья церкви многократно судили Василия Шуйского как изменника. При царе Федоре князь Василий был отправлен в ссылку по их приговору, при Лжедмитрии I осужден на смерть. В царствование Бориса члены Думы не раз оскорбляли Шуйского в угоду государю, а Михаил Татищев (будущий угодник князя Василия) даже дошел до «рукобития» — публично дал боярину пощечину.

Князь Василий не мог созвать Земский собор по той причине, что в высших палатах собора преобладали его противники. Аристократ до мозга костей, Шуйский вынужден был апеллировать к народу с тем, чтобы преодолеть сопротивление бояр и князей церкви. Помимо того, Василий Шуйский считал себя государем по праву рождения, а не по праву земского избрания.

В момент наречения на царство в Успенском соборе Шуйский произнес речь. Он обещал подданным править милостиво, «а которая де была грубость (ему.— *Р. С.*) при царе Борисе, никак никому не мстить» за эту грубость. Близкие к Шуйскому бояре пытались удержать его от дальнейших нарушений освященного временем ритуала, говоря, что «в Московском государстве того не повелося». Но Василий не послушал их и принес присягу «всей земле».

После царского избрания власти должны были позаботиться об избрании главы церкви. Приверженцем Шуйского был крутицкий митрополит Пафнутий, давний покровитель Отрепьева в Чудовом монастыре. Он сыграл не последнюю роль в избрании князя Василия на трон. Теперь он рассчитывал разделить с ним успех. Шуйскому, однако, не удалось провести на патриарший престол Пафнутия. Не прошла и кандидатура Гермогена, самого рьяного из противников Лжедмитрия. Дума и высшее духовенство решили возвести на патриарший престол представителя знатной боярской семьи Филарета Романова. Семья Романовых подверглась разгрому при Борисе Годунове. Самозванец вернул Филарета Романова из заточения и велел перевезти останки его умерших братьев для захоронения в Москву. Романовы были далеки от того, чтобы вернуть себе прежнее влияние, но Лжедмитрий I не спешил вновь приблизить ко двору семью, которой некогда сам служил как кабальный холоп. Вплоть до апреля 1606 года старец Филарет оставался «не у дел» и жил в Троицко-Сергиевом монастыре. Лишь в последние недели своего недолгого правления Отрепьев в страхе перед могущественной боярской аристократией пытался найти поддержку у Романовых. Лжедмитрий, не церемонившийся с духовенством, отправил на покой ростовского митрополита Кирилла, а митрополичью кафедру тут же передал Филарету Романову.

Почему при выборе патриарха Дума и духовенство отдали предпочтение Филарету Романову, получившему сан митрополита из рук Лжедмитрия? Очевидно, в Думе оставалось слишком много людей, обязанных Отрепьеву карьерой. Они боялись за свое будущее, опасались крутых перемен. Матерью Ф. Н. Романова была княжна Е. А. Горбатая-Шуйская. Как некогда Борис Годунов после своего избрания, так и Василий Шуйский, одинаково пытались привлечь на свою сторону род Романовых. Но ни тому, ни другому это не удалось.

В день наречения на царство Василий Шуйский велел убрать тело Лжедмитрия с Красной площади. Труп Отрепьева привязали к лошади и выволокли в поле за городские ворота. Там его бросили в «Убогий дом», куда собирали умерших бездомных бродяг, которых некому было хоронить. Туда доставили всех погибших в день кровавого переворота, три дня валявшихся на улицах столицы для устра-

шения сторонников Лжедмитрия. Исключение сделали для Петра Басманова. Царь Василий разрешил Ивану Голицыну похоронить Басманова в ограде семейной церкви.

Но тревога в столице не улеглась. По городу поползли чудовищные слухи. Из уст в уста люди передавали вести о чудесах, творившихся подле трупа «Дмитрия». Ночные сторожа видели, как по обеим сторонам стола, на котором лежал «царь», из земли появлялись огни. Едва сторожа приближались, огни исчезали, а когда удалялись — загорались вновь. Доставив Лжедмитрия в «Убогий дом», приставы заперли ворота на замок. Наутро мертвый «чародей» лежал перед запертыми воротами, а у тела сидели два голубя. Отрепьева бросили в яму и засыпали землей, но вскоре его труп якобы исчез. Произошло это, по словам К. Буссова, на третий день после избрания Шуйского. По всей столице стали толковать, что «Дмитрий» был чернокнижником и, подобно диким самоедам, умел, убивши себя, оживать снова.

Что бы ни предпринимали власти, им не удалось успокоить народ. Сторонники Лжедмитрия, преодолев растерянность и замешательство, стали готовить почву для свержения Шуйского. На улицах столицы появились подметные письма от имени Дмитрия. Пан Хвалибога, служивший Дмитрию при дворе, сообщил об этом следующее: «Около недели (после переворота, то есть 24 мая.— *Р. С.*) листы прибиты были на воротах боярских дворов от Дмитрия, где давал знать, что (он) ушел и бог его от изменников спас, Шуйский был бы убит самими бы московскими людьми, если бы его поляки некоторые не предостерегли, которые другой революции боялись». Поляки не симпатизировали Шуйскому, но они боялись, что новый переворот («революция») приведет к новым избиениям иноземцев. Появление подметных листов взбудоражило население. В воскресенье, 25 мая, по словам немецкого купца Г. Паэрле, в Москве произошли волнения: народ потребовал от бояр ответа, почему умерщвлен истинный государь Дмитрий.

Г. Паэрле находился под стражей на польском дворе и знал о событиях по слухам. В отличие от него служилый француз Я. Маржарет был в Кремле подле царской особы и описал происходящее как очевидец. Противники Шуйского созвали огромную толпу на Красной площади, якобы по указу царя Василия. Если бы Шуйский, ничего не ведая, вышел тогда на площадь, свидетельствует Я. Маржарет, он подвергся бы такой же опасности, как и Дмитрий. Однако верные люди успели предупредить Шуйского, и он затворился в Кремле.

Собрав оказавшихся под рукой бояр и приказав привести к себе тех, кто затеял «сказанное собрание», то есть вожаков толпы, царь Василий стал упрекать их со слезами на глазах. Под конец он пригрозил Думе, что отречется от трона, и в подтверждение своих слов тут же снял царскую шапку и сложил посох. Угроза произвела впечатление: «собравшиеся выразили покорность». Тогда царь Василий, не мешкая, подхватил посох, служивший символом власти, и потребовал наказать виновных. Розыск о мятеже дал Шуйскому повод применить санкции против влиятельных бояр и князей церкви.

Со времени смерти царя Федора Ивановича главными претендентами на трон неизменно выступали Мстиславский и Романовы. Шуйский, дабы упрочить свое положение, пытался скомпрометировать эти фамилии. Было объявлено, что зачинщики мятежа замыслили передать корону Мстиславскому.

В конце концов Шуйский не стал наказывать главу Боярской думы, известного своей бесхарактерностью и отсутствием чрезмерного честолюбия. Кары обрушились на родню Мстиславского, что должно было послужить грозным предостережением для главного боярина.

Тем временем в Москве власти расправились с пятью зачинщиками неудавшегося мятежа. Всех их подвергли торговой казни (били кнутом) посреди рыночной площади. При оглашении приговора бирючи объявили, что Мстиславский, обвиненный ранее как глава заговора, невиновен, вся же вина падает на Шереметева и пятерых его приспешников.

По случаю тревоги в столице власти вспомнили о царе и великом князе Симеоне Бекбулатовиче, некогда занимавшем московский трон и претендовавшем на корону после смерти Федора Ивановича. Постриженный в монахи и заточенный в Кирилло-Белозерский монастырь, ослепший от старости Симеон — «старец Стефан» — тем не менее вызывал тревогу у нового властителя Кремля. Симеон был женат на сестре Мстиславского, и это вызвало особые подозрения в момент расследования измены последнего. 29 мая 1606 года пристав Ф. Супонев получил приказ спешно забрать из Кириллова «старца Стефана» и отвезти его в Соловки.

Следствие о волнениях в Москве позволило Шуйскому отменить решение об избрании на патриаршество Филарета Романова, объявленное сразу после переворота 17 мая 1606 года. Филарета обвинили в том, что он якобы был причастен к составлению подметных писем о спасении Дмитрия, «за что его (патриарха) и сложили».

Внезапная отставка Филарета не осталась незамеченной. Романов был одним из самых популярных деятелей своего времени. Шуйский приобрел опасного врага.

После переворота во дворце был найден тайник, в котором Лжедмитрий хранил секретные договоры с Сигизмундом III и с Мнишком, переписку с папой Римским и иезуитами. Бояре тотчас объявили об этой находке народу, хотя они и не сразу разобрались в содержании документов, требующих перевода. Тайник был указан секретарем Лжедмитрия I Яном Бучинским, попавшим в руки мятежников при штурме дворца. В страхе за свою жизнь секретарь готов был подтвердить клевету, которую бояре давно распускали по городу. «Дмитрий,— заявил он,— велел выволочь весь московский наряд (пушки) за посад, чтобы во время стрельб поляки могли перебить всех бояр и лучших людей». (В грамоте к уездным городам список жертв был расширен: к боярам прибавлены приказные люди, гости и лучшие посадские люди. Провинция могла поверить чему угодно, но в столице такая откровенная ложь не могла пройти.) Истребив бояр, Расстрига намеревался разорить веру и ввести «люторство» и «латинство» (католичество) разом. Показания Бучинского оправдывали мятеж бояр, преступивших присягу на кресте. По этой причине они заняли непомерно большое место в обвинительных грамотах Шуйского.

Правительство использовало всевозможные средства, чтобы отвратить народ от самозванца. Вскоре после переворота 17 мая царь направил в Углич Филарета Романова с боярами и духовными лицами. 28 мая Филарет известил столицу об открытии мощей нового мученика из Углича.

Первоначально Шуйский предполагал провести свою коронацию после того, как Филарет будет посвящен в сан патриарха, а мощи царевича будут торжественно похоронены в Архангельском соборе. Напуганный попыткой мятежа, царь велел короновать себя за три дня до возвращения Романова. Из-за спешки власти не успели вызвать в Москву знать и дворянство из городов, вследствие чего коронационные торжества (по словам очевидцев) произошли «в присутствии более черни, чем благородных» и без особой пышности. В соборе священнодействовал не патриарх, а новгородский митрополит Исидор, которому помогал Пафнутий. Исидор надел на царя крест святого Петра, возложил на него бармы и царский венец, вручил скипетр и державу. При выходе из собора царя Василия, по традиции, осыпали золотыми монетами.

На третий день после коронации Романов доставил из Углича останки младенца Дмитрия. Государь и бояре отправились пешком в поле, чтобы встретить за городом мощи истинного сына Грозного. Царя сопровождало духовенство и внушительная толпа москвичей. Марфе Нагой довелось в последний раз увидеть сына, вернее то, что от него осталось. Потрясенная страшным видением, вдова Грозного не могла произнести слов, которых от нее ждали. Чтобы спасти положение, царь Василий сам возгласил, что привезенный труп и есть мощи царевича. Ни молчание царицы, ни речь Шуйского не тронули народ. Москвичи не забыли, как Марфа Нагая признала в Отрепьеве «живого сына». И Шуйский, и Нагая слишком много лгали и лицедействовали, чтобы можно было поверить им снова.

Едва Шуйский произнес нужные слова, тело поспешно закрыли. Процессия после некоторой заминки развернулась и проследовала по улицам на Красную площадь. Гроб некоторое время стоял на Лобном месте, а затем его перенесли в Архангельский собор, куда были допущены одни бояре и епископы.

Церковь пыталась заглушить слухи о знамениях над трупом Отрепьева чудесами нового великомученика. Гроб Дмитрия выставили на всеобщее обозрение в соборной церкви. Судя по описаниям очевидцев, на мощах сменили одежду, на грудь царевича положили свежие орешки, политые кровью. Народ не забыл о том, что Василий Шуйский на площади клялся, что Дмитрий зарезал себя нечаянно, играя ножичком в тычку. Самоубийца не мог быть святым. А дело шло к канонизации. Властям важно было доказать, что в момент смерти мученик играл в орешки.

Организаторы новой мистерии предусмотрели все. Благочестивые русские писатели велеречиво распространялись о чудесах у гроба Дмитрия. Некоторые из них посчитали, что в первый день исцеленных было 18, в другой — 12 и так далее. Находившиеся в Москве иноземцы утверждали, что исцеленные калеки — обманщики, подкупленные Шуйским, что среди них преобладали пришлые бродяги. При каждом новом «чуде» по городу звонили во все колокола. Трезвон продолжался несколько дней. Паломничество в Кремль напоминало реку в половодье. Огромные толпы народа теснились у дверей Архангельского собора. Царская администрация поспешила составить грамоту с описанием чудес Дмитрия Успенского. Грамоту многократно читали в московских церквах.

Агитация против Расстриги произвела впечатление на столичное население, но брожение в народе не прекращалось. В самый день перенесения в Москву мощей Дмитрия, едва царь Василий оказался посреди бесчисленной толпы, он, по словам Я. Маржарета, вторично подвергся опасности и едва не был побит каменьями. Царя спасло присутствие множества дворян. Обретение нового святого внесло успокоение в умы, но ненадолго. Недруги Василия позаботились о том, чтобы ис-

портить ему игру. Они притащили в собор больного, находившегося при последнем издыхании, и тот умер прямо у гроба Дмитрия. Толпа в ужасе отхлынула от дверей собора, едва умершего вынесли на площадь. Многие стали поговаривать об обмане, и тогда власти закрыли доступ к гробу царевича. Столичные колокола смолкли.

Никогда Дума не была столь многочисленной и разношерстной, как в первые дни правления Шуйского. Рядом с боярами, не уступавшими знатностью Шуйским, в Думе заседали бывшие опричники и вовсе худородные люди, всецело обязанные самозванцу своей карьерой. Аристократия надеялась добиться от Шуйского льгот и пожалований. Любимцы Лжедмитрия опасались потерять и чины, и земли.

В свое время Отрепьев щедро жаловал земли знатным боярам, стремясь добиться их верности. Мстиславскому он вернул городок Венев, Воротынскому — его огромные нижегородские вотчины, В. Шуйскому — Чаронду, И. Романову — Романово городище. Земельная политика самозванца породила большие надежды у аристократии. Князья вспоминали о давно утраченных удельных столицах. После избрания царя, записал в дневнике поляк С. Немоевский, члены Думы никак не могли прийти к соглашению: «Из знатнейших каждый желал государствовать; самым последним, в свою очередь, хотелось быть участниками царских доходов, почему склонялись к той мысли, чтобы царство было разделено на разные княжества».

Сколь бы опасным для трона ни были раздоры внутри правящего боярства, еще бо́льшую угрозу таило в себе недовольство дворян. Новая династия не могла укорениться без поддержки всего феодального сословия в целом. По словам современников, избрание Василия на трон поддержали дворяне из Москвы, Новгорода и Смоленска. Новгородские дворяне были вызваны в столицу по случаю готовившегося азовского похода. Часть из них в самом деле участвовала в свержении Лжедмитрия I. Смоленские дворяне также встали на сторону Шуйского. Но в целом в армии царил такой же разброд, как и в народе. Наибольшей популярностью Лжедмитрий I пользовался среди мелких помещиков южных уездов, поддержавших его дело с первых дней гражданской войны. Не удивительно, что в их среде переворот вызвал наибольшее негодование. В одном из списков «Сказания о Гришке Отрепьеве» рассказ о присяге Шуйскому завершается словами: «а черниговцы и путимцы и кромичи и комарици и вси рязанские городы за царя Василья креста не целовали и с Москвы всем войском пошли на Рязань: у нас де царевич Дмитрий Иванович жив». Напомним, что воинские люди и жители Путивля, Чернигова, Кром так же, как и крестьяне Комарицкой волости, составляли ядро повстанческой армии, с которой самозванец вступил в Москву. Как и почему они вновь оказались в Москве в самые последние дни Лжедмитрия I? Мы знаем, что в те же самые дни Отрепьев направил гонцов к самозванцу «царевичу» Петру и вольным казакам, поднявшим мятеж в Поволжье, с приказом спешить в столицу. По-видимому, те же самые причины побудили Лжедмитрия вызвать в Москву преданные ему отряды из северских городов. Факты подтверждают это. 17 мая стрельцы из северских городов несли караулы подле дворца. Их вмешательство едва не спасло самозванцу жизнь.

Многие считали, будто Отрепьев стал жертвой собственной беспечности. Приведенные данные опровергают это мнение. Оказавшись лицом к лицу с могущественной боярской аристократией, Лжедмитрий, по-видимому, осознал, что ему не избежать прямого столкновения с оппозицией, и лихорадочно искал силы, которые бы помогли ему разгромить боярство. В критических обстоятельствах он и вспомнил о своем старом повстанческом войске.

Сведения о военном мятеже против Шуйского находят подтверждение в записках Я. Маржарета, одного из лучших мемуаристов Смутного времени. После избрания Шуйского, записал Маржарет, взбунтовались пять или шесть главных городов на татарских границах, перебили и уничтожили часть своих войск и гарнизонов. Вероятно, в число главных городов на татарской границе входили Тула и Рязань. В выступлении против Шуйского рязанцы сыграли самую активную роль. Раскол в дворянском ополчении ослабил военную опору монархии, что и подготовило почву для нового взрыва гражданской войны в России.

Большинство служилых людей принесли присягу Шуйскому без возражений. Но у дворян, как и у знати, не было оснований для энтузиазма. По традиции любая коронация сопровождалась пожалованием думных чинов. Однако Шуйский получил в наследство от самозванцев столь многочисленную Боярскую думу, что ему пришлось нарушить традицию. Дворяне помнили о щедрых денежных раздачах по случаю воцарения Бориса и «Дмитрия» и тайно негодовали на нового царя. За Василием прочно утвердилась репутация скупца. «Царь Василий,— писал один современник,— возрастом (ростом.— *Р. С.*) мал, образом же нелепым (некрасив.— *Р. С.*), очи подслепы имея; книжному почитанию доволен и в разсуждении ума зело смыслен, но скуп велми и неподатлив». Царь Василий действительно не отличался щедростью. Но он избегал денежных трат не только из-за скупости. Казна с трудом поправила свои дела после трехлетнего голода. Однако начавшаяся гражданская война и правление самозванца поглотили остатки денег, еще оставшихся в казне. Шуйскому поневоле пришлось сократить денежные раздачи.

Избиения иноземцев в Москве давали удобный повод для вмешательства Речи Посполитой в русские дела, поэтому Боярская дума решила задержать в Москве как Юрия Мнишка, так и прибывших с ним польских послов с их свитой. Подавляющую часть солдат, нанятых Мнишком для Лжедмитрия, московские власти поспешили выпроводить на родину.

Русские приверженцы свергнутого царя внушали Шуйскому не меньше подозрений, нежели его бывший главнокомандующий Мнишек. Сразу после коронации гонениям подверглись многие из любимцев Лжедмитрия. Князя В. М. Мосальского лишили чина дворецкого (главы Дворцового приказа) и отослали на воеводство в глухую пограничную крепость Корелу. Боярина Б. Я. Бельского перевели из Новгорода в Казань, бывшего канцлера — главного думного дьяка А. И. Власьева — сослали в Уфу. Все эти санкции помогли Шуйскому добиться послушания от Боярской думы. Однако очень скоро стало очевидным, что правительству труднее будет справиться с народом, чем с боярами.

После переворота семья Мнишков разом лишилась всех преимуществ и богатств. Крупные суммы денег и драгоценности, пожалованные родне Лжедмитрием, отобрала казна. С конюшен Мнишка свели коней, из погребов изъяли винные запасы. Однако на своем дворе Юрий Мнишек продолжал строго следовать всем правилам придворного церемониала, оказывал Марине почести, положенные царствующей особе. Не желая считаться с новым положением дел, Мнишек лелеял несбыточные надежды, что Дума, соблюдая присягу, признает вдовствующую царицу правительницей государства. После избрания на трон Василия Шуйского возник другой фантастический план: женить неженатого государя на царице Марине.

Боярская дума решительно отвергла претензии Мнишков и подвергла отца царицы унизительному допросу. 15 июня семью Марины выдворили из Кремля и поселили в доме опального дьяка Афанасия Власьева. В августе вдова Лжедмитрия со всеми близкими отправилась в изгнание в Ярославль. Между тем слухи о чудесном спасении «Дмитрия» распространялись по всей России. Было бы неверно возлагать ответственность за эти слухи на семью Мнишков и польских сторонников Лжедмитрия I. Почвой для мифа были народные настроения, вера в «доброго царя». Юрий Мнишек пытался использовать эти настроения, чтобы возродить самозванческую интригу. Центром интриги вновь стал Самбор, где вскоре после переворота 17 мая появился человек, выдававший себя за «спасшегося» Дмитрия. Новый самозванец пользовался покровительством хозяйки Самбора — жены Юрия Мнишка. Представляется невероятным, чтобы пани Мнишек действовала на свой страх и риск, предоставляя убежище и помощь человеку, нисколько не похожему на ее зятя. По-видимому, интрига была санкционирована Юрием Мнишком и царицей Мариной. Мнишек и окружавшие его люди были пленниками в России. Но даже будучи в ссылке, поляки имели при себе оружие, челядь, могли свободно передвигаться по городу. Все это позволило Мнишку наладить тайную переписку с Самбором. Следуя его инструкции, владелица Самбора стала спешно вербовать сторонников для «Дмитрия». Во Львове и других местах польские офицеры получили от нее письма с категорическими заверениями, что «Дмитрий» жив. Инициаторы новой интриги пустили слух, что спасшийся русский царь прибыл в Самбор собственной персоной. Первоначально никто не верил подобным толкам. Но постепенно положение стало меняться. В начале августа 1606 года литовские должностные лица объявили задержанным в Гродно русским послам, что прежде (а июле?) они знали по слухам, а теперь узнали доподлинно, что «государь ваш Дмитрий, которого вы сказываете убитого, жив и теперь в Сандомире у воеводины (Мнишка.— *Р. С.*) жены: она ему и платье, и людей подавала». Информация исходила от «добрых панов», родни и приятелей владелицы Самбора. Один из них — ветеран московского похода самозванца пан Валевский, смог сообщить множество «достоверных» подробностей о бегстве государя за рубеж. В Москве, утверждал он, у Дмитрия было два двойника — некто Барковский и племянник князя Мосальского. Они были похожи на царя как две капли воды, исключая разве что знаменитую бородавку. В день переворота убит был не Дмитрий, а Барковский. Царю удалось ускакать из Москвы.

Интереснейшие сведения о новом самозванце собрал итальянский купец Ф. Таламио, ездивший в Западную Украину в августе 1606 года (владения Мнишков располагались под Львовом в Западной Украине). По словам купца, московский царь бежал из России с двумя спутниками и ныне живет здоров и невредим в монастыре бернардинцев в Самборе;

даже прежние недруги признают, что Дмитрий ускользнул от смерти.

В первых числах августа русские послы узнали от приставов, что в Самбор к государю начали съезжаться польские ветераны — участники московского похода «и те многие люди, которые у него были на Москве, его узнаваали, что он прямой (настоящий.— *Р. С.*) царь Дмитрей, и многие русские люди к нему пристали и польские и литовские люди к нему прибираютца (собираются.— *Р. С.*); да к нему же приехал князь Василей Мосальский, который при нем был на Москве ближней боярин и дворецкой».

Боярин В. М. Рубец-Мосальский был ближайшим другом и соратником Лжедмитрия I. Вопреки польской информации он находился в ссылке в Карелии. Дворянин, пробравшийся в Самбор ко двору нового самозванца, принадлежал к сильно разросшемуся роду князей Мосальских, но не имел ни думного чина, ни высокого служебного положения.

Другим придворным самборского самозванца стал беглый московский дворянин Заболоцкий.

Жена Мнишка не жалела средств. По словам литовских должностных лиц, она приняла на службу к «Дмитрию» примерно 200 человек.

Русские послы в Польше первыми узнали о появлении нового Лжедмитрия и вскоре же получили информацию, которая позволила им идентифицировать его личность. Очевидцы так описывали внешность «вора» из Самбора: «Дмитрий возрастом не мал, рожеем смугол, нос немного покляп, брови черны, не малы, нависли, глаза невелики, волосы на голове курчевавы, ото лба вверх возглаживает, ус черн, а бороду стрижет, на щеке бородавка с волосы, по польски... и по латыни говорити умеет». Ознакомившись с приметами «вора», послы заявили, что новый самозванец — это Михалко Молчанов, который «избежал в то время, как того вора (Лжедмитрия.— *Р. С.*) убили». Опознать самозванца, продолжали послы, не составит труда: пусть его нам покажут, «а у нас есть пятно... приметы у него на спине, как он за воровство и за чернокнижество был на пытке и кнутом бит, и те кнутные бои на нем знать».

Вяземский помещик средней руки Михаил Андреевич Молчанов происходил из рода Молчановых-Ошаниных, выслужившихся в опричнине. В начале гражданской войны Молчанов оказался в воровском лагере и добился благосклонности Лжедмитрия I с помощью всякого рода грязных услуг. Он участвовал в убийстве Федора Годунова и его матери царицы Марии Годуновой. Позже Молчанов стал сводней при Отрепьеве и распутничал в компании с ним.

После переворота 16 мая власти арестовали Молчанова и обвинили его в том, что он жил у царя «в хоромах для чернокнижия». Фаворита Лжедмитрия подвергли пытке и наказали кнутом. Но ему удалось бежать из-под стражи, и он нашел прибежище в Путивле на Северской Украине. О его дальнейших приключениях повествует автор английского донесения из России 1607 года. Согласно донесению, царь назначил в Путивль своего воеводу и послал туда дворянина, чтобы привести путивлян к присяге: но царский гонец встретился с ближайшим «фаворитом прежнего государя по имени Молчанов (который, бежав туда, отклонил многих дворян и солдат тех мест от признания нынешнего государя), был соблазнен им и так перешел на их сторону».

Противники царя Василия возлагали на Путивль особые надежды. Полгода этот город был столицей Лжедмитрия I. Утвердившись на троне, самозванец, как свидетельствует автор английского донесения, освободил Путивль от всех «налогов и податей в течение 10 лет». Северская Украина подверглась страшному разорению, и путивляне рассматривали многолетнюю льготу как законную награду за все понесенные ими жертвы и тяготы. С воцарением Шуйского Путивль должен был потерять все привилегии. Немаловажное значение имело и следующее обстоятельство: уверенность путивлян в том, что борются за восстановление попранной справедливости, за доброго царя и против свергших его лихих бояр.

События в Путивле развивались так. В мае 1606 года власти направили туда гонца Г. Шипова. Гонец должен был убедить путивлян, что новый царь будет жаловать их своим царским жалованьем «свыше прежнего». От имени царя он предложил горожанам прислать в столицу «лутших людей человек трех или четырех» для изложения своих нужд и требований. В обращении к жителям Путивля власти просили, чтобы те «сумненья себе не держали никоторого» (по поводу гибели их «доброго» царя Дмитрия) и жили «во покое и тишине». Шуйский прибег к прямой лжи, утверждая, будто самозванец перед смертью сам объявил «передо всем московским государством... всем людем вслух, что он прямой (подлинный.— *Р. С.*) вор Гришка Отрепьев».

По словам английского современника, М. Молчанову удалось вовлечь царского гонца в заговор. В действительности помощником Молчанова стал вновь присланный в Путивль воевода князь Г. П. Шаховской. Князья Шаховские принадлежали к младшей ветви ярославского княжеского рода. Они «захудали» задолго до опричнины, и двери Боярской думы оказались для них закрыты. Отец Г. П. Шаховского Петр числился младшим воеводой в Чернигове, там он и попал в плен к самозванцу. Петр заслужил милость Отрепьева и, по некоторым сведениям, входил в воровскую думу в Путивле. В московскую Боярскую думу Петр не был допущен. В Москве ни Петр, ни его сын Григорий Шаховской не получали никаких ответственных должностей.

По свидетельству К. Буссова, князь Г. П. Шаховской собрал в Путивле всех горожан и уверил их, что Дмитрий жив и скрывается в Польше, где собирает войско для нового похода.

Шаховской провел несколько месяцев в путивльском воровском лагере и потому был хорошо известен служилым людям Путивля. Автор «Нового летописца» возлагал на него всю ответственность за восстание в Северской Украине. «Первое же зачало крови християнские,— отметил летописец,— князь Григорий Шеховской измени царю Василию... сказа путильцам, что царь Дмитрий жив есть, а живет в прикрыте: боитца изменников убивства».

В действительности Г. П. Шаховской был третьестепенным деятелем, малозначительной личностью. Вся его роль свелась к участию в мистификации, послужившей толчком к грандиозному восстанию.

Судьба столкнула Молчанова с Шаховским в самый момент его бегства из Москвы. По словам Я. Маржарета, из царских конюшен в Кремле пропало несколько лучших лошадей, которых затребовали неизвестные лица, действовавшие от имени спасшегося царя Дмитрия. Тотчас по Москве распространился слух, что вместо государя убит некий немец, а Дмитрий должен был уйти вместе с Молчановым, своим ближним служителем. Слух был записан С. Немоевским.

Камердинер самозванца И. Хвалибога в записке 1607 года отметил, будто в царских конюшнях пропали лошади и исчез Михайло Молчанов, «откуда всевластная весть была в столице, что Дмитрий с Молчановым и с несколькими иными потаенно ушел...».

Одним из самых осведомленных писателей Смутного времени был Конрад Буссов. По его словам, князь Г. Шаховской выехал в Путивль, взяв с собой из Москвы еще двух поляков в русском платье. Некоторые подробности рассказа К. Буссова наводят на мысль, что одним из спутников Шаховского был Молчанов. Ускользнув из московской тюрьмы, Молчанов должен был скрывать свое имя, чтобы беспрепятственно покинуть пределы России. Он знал польский язык и мог вполне сойти за поляка. Попутчики Шаховского состояли в заговоре с ним. При переправе через Оку у Серпухова князь Шаховской сказал паромщику: «Молчи, мужичок, и никому не рассказывай, ты перевез сейчас царя всея Руси Дмитрия». На всех постоялых дворах Шаховской повторял ту же выдумку. В Путивле двое спутников Шаховского отделились от него и отправились прямо к жене Мнишка в Самбор.

Рассказ К. Буссова помогает выяснить, каким путем М. Молчанов попал в Путивль, а оттуда в Самбор и как Г. П. Шаховской стал соучастником его заговора. Буссов полагал, что именно Шаховской похитил из царского дворца государственную печать. Более вероятно, что сделал это Молчанов, неотлучно находившийся в кремлевском дворце при особе Лжедмитрия I.

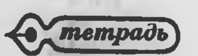
Водворившись в Самборе, Молчанов принялся рассылать грамоты с призывом к восстанию против царя-узурпатора, запечатанные украденной печатью. Составлялись эти грамоты от имени спасшегося законного государя. По традиции царские указы не имели личной подписи государя, но их непременно скрепляли печатью. Сохранившаяся переписка между восставшими содержит прямую ссылку на «государеву цареву и великого князя Дмитрия Ивановича всея Руси грамоту», а «грамота за красной печатью».

Когда Шаховской вступил в должность главного воеводы Путивля и объявил жителям, что Дмитрий жив и находится в Польше, когда в город стали поступать из Польши личные письма спасшегося царя, население Путивля окончательно уверовало, что их добрый государь спасся.

Если бы Молчанов обладал таким же темпераментом, дерзостью и честолюбием, как Отрепьев, он поспешил бы в Россию и в первом же, отвоеванном у Шуйского городе, объявил о возвращении на трон. Но Молчанов, мелкий интриган, стать Самозванцем так и не смог. Двадцатичетырехлетнему Отрепьеву не приходилось беспокоиться, похож ли он на восьмилетнего царевича Дмитрия, которого через пятнадцать лет после смерти забыли даже те немногие, кто видел его лично. Для нового самозванца главная трудность заключалась в том, что он нисколько не походил на своего предшественника, характерную внешность которого не успели забыть за несколько месяцев, прошедших после переворота.

Молчанов не решился вернуться в Путивль, поскольку путивляне знали его как приближенного Лжедмитрия I в 1604—1605 годах. Москвичам Молчанов также был лично известен и, более того, в столице он пользовался самой дурной репутацией.

Продолжение следует



ЛОГИКА АЛОГИЗМА

Его настоящее имя — Даниил Иванович Ювачев (1905—1942). Наиболее распространенный литературный псевдоним — Даниил Хармс.

Кем он был для читателей? Автором прекрасных детских стихов, и только.

Кем он был для исследователей? Строка в биографии Маршака: в тридцатые годы Маршак привлек Хармса и его друга А. Введенского к детской поэзии. Строка в биографии Заболоцкого: в конце 20-х — начале 30-х годов Заболоцкий вместе с Хармсом и Введенским стали основателями ОБЭРИУ — «Объединения реального искусства» в Ленинграде. И все...

Хармс действительно создавал ОБЭРИУ в 1927-м. Кроме Заболоцкого и Введенского, в него еще вошли К. Вагинов, И. Бехтерев и Б. Левин. Кульминация группы — вечер 24 января 1928 года в Доме печати, где была поставлена пьеса Хармса «Елизавета Бам». Обэриуты в своей декларации призывали: «Посмотрите на предмет голыми глазами, и вы увидите его впервые очищенным от ветхой литературной позолоты». Создавались внешне абсурдные ситуации, рвалась ткань сюжета, или его не было вовсе, нарушались пространственно-временные отношения. Но зато каждая клеточка произведения жила своей жизнью, в столкновении смыслов рождалось новое искусство.

Но ОБЭРИУ распалось в начале 30-х годов. В 1932-м Хармса и Введенского арестовали и сослали в Курск. После возвращения Хармса в Ленинград в 1933 году начинается новый этап его творчества.

В этот период на него оказали большое влияние друзья — философы Л. Липавский и Я. Друскин. Постепенно алогизм Хармса приобретает все более конкретные формы, произведения все больше тяготеют к сюжетности, он начинает писать прозу. И теперь уже не просто отображает бессмысленную жизнь, пошлость обыденного, ограниченного сознания. Теперь он как художник сам создает жизнь, формирует ее. В стихах, пьесах, рассказах Хармса середины — конца 30-х годов все явственней пробивается идея авторского противостояния алогизму бытийному — «свинцовым мерзостям» жизни, ради высшей правды искусства. Эта правда не может быть алогичной, как бы таковой ни казалась.

Художественные приемы и жанры Хармса разнообразны. Это и фарс, и трагедия; юмор в духе К. Пруткова и психологизм Гамсуна, неожиданным образом преломляющийся в сознании самого Хармса. Это гоголевский гротеск и горький сарказм Зощенко. Все слилось воедино в пределах чисто хармсовского мировосприятия, образовав нечто неповторимое.

Подобно Филонову, Хармс всю жизнь пытался на фоне внешнего хаоса построить всеобъемлющую единую систему, из кирпичиков разрушенного здания создать монолит Вселенной. Подобно Хлебникову, он заставлял чувства автономно воспринимать мир, многократно усилив анализ, и делал это в надежде обрести целостность на принципиально новой основе. Удалось ли ему это? Вопрос пока остается открытым...

Александр КОБРИНСКИЙ

Даниил ХАРМС

●

Два человека разговорились. Причем один человек заикался на гласных, а другой на гласных и на согласных. Когда они кончили говорить, стало очень приятно — будто потушили примус.

ВАРИАЦИИ

Среди гостей в одной рубашке
Стоял задумчиво Петров
Молчали гости. Над камином
Железный градусник висел
Молчали гости. Над камином
Висел охотничий рожок.
Петров стоял. Часы стучали
Трещал в камине огонек.
И гости мрачные молчали.
Петров стоял. Трещал камин.
Часы показывали восемь.
Железный градусник сверкал.
Среди гостей в одной рубашке
Петров задумчиво стоял
Молчали гости. Над камином
Рожок охотничий висел.

Часы таинственно молчали.
Плясал в камине огонек.
Петров задумчиво садился
На табуретку. Вдруг звонок
В прихожей бешено залился,
И щелкнул английский замок.
Петров вскочил, и гости тоже,
Рожок охотничий трубит
Петров кричит: «О Боже, Боже!»
И на пол падает убит.
И гости мечутся и плачут
Железный градусник трясут
Через Петрова с криком скачут
И в двери страшный гроб несут.
И в гроб закупорив Петрова
Уходят с криками: «готово».

15 августа 1936 года

РОМАНС

Безумными глазами он смотрит на меня —
Ваш дом и крыльцо мне знакомы давно.
Темно-красными губами он целует меня —
Наши предки ходили на войну в стальной чешуе.

Он принес мне букет темно-красных гвоздик —
Ваше строгое лицо мне знакомо давно.
Он просил за букет лишь один поцелуй —
Наши предки ходили на войну в стальной чешуе.

Своим пальцем в черном кольце он коснулся меня —
Ваше черное кольцо мне знакомо давно.
На турецкий диван мы свалились вдвоем —
Наши предки ходили на войну в стальной чешуе.

Безумными глазами он смотрит на меня —
О, потухните, звезды! и луна, побледней!
Темно-красными губами он целует меня —
Наши предки ходили на войну в стальной чешуе.

Даниил Дандан. 1 октября 1934 г.

●

Ветер дул. Текла вода.
Пели птицы. Шли года.
А из тучи к нам на землю
падал дождик иногда.

Вот в лесу проснулся волк
фыркнул, крикнул и умолк
а потом из леса вышел
злых волков огромный полк.

Старший волк ужасным глазом
смотрит жадно из кустов
Чтобы жертву зубом разом
разорвать на сто кусков.

Темным вечером в лесу
я поймал в капкан лису
думал я: домой приеду
лисью шкуру принесу.

12 августа 1933 г.

●

Вострякoв смотрит в окно на улицу:
Смотрю в окно и вижу снег.
Картина зимняя давно душе знакома.
Какой-то глупый человек
Стоит в подъезде противоположного дома.
Он держит пачку книг под мышкой,
Он курит трубку с медной крышкой.
Теперь он быстрыми шагами
Дорогу переходит вдруг,
Вот он исчез в оконной раме.
(Стук в дверь).
Теперь я слышу в двери стук.
Кто там?

Голос за дверью:
Откройте. Телеграмма.

Востряков:
Врет. Чувствую, что это ложь.
И вовсе там не телеграмма.
Я сердцем чую острый нож.
Открыть иль не открыть?

Голос за дверью:
Откройте!
Чего вы медлите?

Востряков:
Постойте!
Вы суньте мне под дверь посланье.
Замок поломан. До свиданьи.

Голос за дверью:
Вам нужно в книге расписаться.
Откройте мне скорее дверь.
Меня вам нечего бояться,
Скорей откройте. Я не зверь.

Востряков *(приоткрывает дверь)*:
Войдите. Где вы? Что такое?
(Смотрит за дверь).
Куда же он пропал? Он не мог далеко уйти. Спрятаться тут негде. Куда же он делся? Улица совсем пустая. Боже мой! И на снегу нет следов! Значит, никто к моей двери не подходил. Кто же стучал? Кто говорил со мной через дверь?
(Закрывает дверь).

[1937—1938 гг.]

СВЕЖО ПРЕДАНИЕ...

Написать это письмо нас, сотрудников Всесоюзного музея А. С. Пушкина, побудила напечатанная в шестом номере журнала за 1987 год статья Г. Ф. Парчевского «Преданье старины глубокой...». Эта работа еще задолго до публикации обсуждалась на научном заседании в музее и получила единодушное одобрение. Мы благодарим «Неву» за публикацию этой статьи, потому что наши просьбы напечатать ее в других изданиях под тем или иным предлогом отклонялись.

Для всех музейных работников она представляет особый интерес, потому что затрагивает ставший, увы, злободневным вопрос об атрибуционной работе вообще и об отношении к семейным легендам — в частности.

Предметом анализа Парчевского стал детский портрет, поступивший в Государственный музей А. С. Пушкина от потомков семьи Мудровых-Великопольских и определенный исследовательницей Н. В. Баранской («Наука и жизнь», 1966, № 3) как «портрет Пушкина в детстве».

Обратившись к архиву Мудровых-Великопольских, Парчевский пришел к выводу, что семейная легенда, положенная в основу такой атрибуции, лишена какого бы то ни было документального подтверждения. Кроме того, не исчезали еще основания для сомнений и в том, был ли вообще М. Я. Мудров домашним врачом Пушкиных,— их имени нет в списках его пациентов.

Тщательное прочтение переписки Б. Л. Модзалевского с Н. И. Чаплиной (владелицей миниатюры в 1910-х годах) по поводу пушкинских реликвий, хранившихся в ее семье, также не дало никаких результатов — упоминаний о миниатюре нет. Таким образом, утверждение, что Модзалевский якобы знал о ее существовании и «признавал ее подлинность», документально не подтверждается.

Единственный документ, использованный Баранской,— заметка краеведа Д. Цветкова в «Калининской правде» от 22 июля 1966 года о найденной им в 1930 году в Чукавине (поместье Великопольских) первой главе «Евгения Онегина» с автографом: «Эту книжку, вместе с портретом своего сына Александра, подарила мне пациентка моего покойного батюшки Надежда Осиповна Пушкина. С. Великопольская. Москва. 6 января 1833 г.». Возникает закономерный вопрос — свидетельствует ли такая надпись о том, что была подарена именно эта миниатюра, а не какой-то другой портрет? Логичнее предположить, что речь могла идти о графическом изображении поэта, приложенном к книге. Напомним, что к тому времени уже получили широкое распространение пушкинские портреты работы Гейтмана, Гиппиуса, Уткина. К тому же, этот единственный документ, использованный Баранской в системе ее доказательства, до нашего времени не сохранился, он исчез еще до войны и воспроизводился Цветковым по памяти. Нельзя не отметить и то, что именно тверские легенды о реликвиях Пушкина вызывают обоснованные сомнения исследователей.

Представляется более чем странным использование предания о мнении Модзалевского и полное игнорирование документально закрепленного мнения таких известных пушкинистов, как, например, В. В. Шапошников, Б. В. Томашевский, Л. М. Добровольский, М. М. Калаушин, категорически отклонивших версию, предложенную в свое время владельцами портрета.

Вызывает также недоумение вывод, сделанный Баранской на основании экспертизы криминалистов,— что портрет безусловно пушкинский. Ведь приговор экспертов весьма обтекаем: «...Не исключена возможность, что на исследуемом портрете изображен А. С. Пушкин». Эта формулировка дает возможность и противоположного толкования. К сожалению, никому почему-то не пришло в голову провести другую экспертизу — сравнить портрет мальчика с портретами членов семьи Мудровых, в частности — самого М. Я. Мудрова. Ведь не случайно специалисты Пушкинского Дома АН СССР и Государственного литературного музея прежде всего отвергали именно иконографическую схожесть изображенного на миниатюре ребенка со всеми известными пушкинскими портретами: известно, что Пушкин был курчавым, а на портрете у ребенка совершенно гладкие волосы, у Пушкина были светло-голубые глаза, на портрете — карие.

Не повторяя других аргументов, убедительно выстроенных Парчевским в систему научных доказательств, добавим только, что вызывает сожаление дальнейшее распространение версии Баранской с новыми, ничем не обоснованными дополнениями. Так, в издании «Московская изобразительная Пушкиниана» (М., 1986) упомянутый портрет воспроизводится уже с предполагаемым авторством Ксавье-де-Местра, хотя в подтверждение не приводится ни одного аргумента.

Появление подобного рода публикаций не редкость в последние годы. Например, в книге А. З. Крейна «Жизнь музея» (М., 1979) на странице 62 приводится женский портрет с подписью: «Гончарова Александра Николаевна (?)», а в том же альбоме «Московская изобразительная Пушкиниана» знак вопроса в подписи уже снят, хотя никаких доводов в пользу этой весьма сомнительной атрибуции нет.

Конечно, и нам очень жаль расставаться с надеждой пополнить иконографию Пушкина и его близких. Но нельзя же выдавать желаемое за действительное. Мы глубоко убеждены, что необходимо тщательное исследование даже самых увлекательных преданий и легенд; необходимо, чтобы сошлись версия и документ. Иначе спекуляция на интересе к старине, в том числе и к Пушкину, приведет к тому, что научное исследование будет вытеснено сенсационными, но бездоказательными утверждениями.

А. Минина,
зам. директора по научной работе
М. Седых,
главный хранитель музея
Н. Попова,
зав. филиалом «Музей-квартира Пушкина»
Т. Балог,
зав. сектором
Р. Жуйкова,
зав. сектором рукописей
Г. Галушко,
зав. экспозиционным отделом

ПРЕМИИ

журнала «Нева» за 1987 год

Редакционная коллегия журнала «Нева» присудила премии за лучшие произведения, опубликованные в 1987 году:

ДУДИНЦЕВУ Владимиру Дмитриевичу — за роман «Белые одежды» (№ 1 — 4).

ЧУЛАКИ Михаилу Михайловичу — за повесть «Прощай, зеленая Пряжка» (№ 6, 7).

ТАРУТИНУ Олегу Аркадьевичу — за цикл стихотворений (№ 9).

СПАСОВУ Осипу Борисовичу — за очерк «Материнская школа» (3).

КАРПУ Поэлю Мееровичу — за литературно-критическую статью «Пропущенные уроки» (№ 7).

ШАБАНОВУ Юрию Михайловичу — за иллюстрации к произведениям прозы (№ 1 — 4).

М. М. ЧУЛАКИ

В. Д. ДУДИНЦЕВ

О. А. ТАРУТИН

П. М. КАРП

О. Б. СПАСОВ

Ю. М. ШАБАНОВ

Поздравляем наших лауреатов!

НАШИ АВТОРЫ

● ПРИТУЛА Дмитрий Натанович. Родился в 1939 году в Харькове. Окончил Ленинградский 1-й медицинский институт. Первая публикация — в «Неве» в 1967 году. Автор нескольких книг прозы. Работает врачом «Скорой помощи». Член СП. Живет в Ленинграде.

● ЯВОРСКАЯ Нора Робертовна. Родилась в Порхове. Окончила Московский библиотечный институт, работала библиографом Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Поэт, переводчик. Автор многих стихотворных книг. Член СП. Живет в Ленинграде.

● КОВАЛЕВ Александр Николаевич. Родился в 1949 году в Пятигорске. Окончил Московский энергетический институт. Работает инженером-турбостроителем. Автор сборника «Равновесие» и многих поэтических подборок в журналах. Живет в Ленинграде.

● КОНОНОВ Михаил Борисович. Родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил литературный факультет ЛГПИ имени А. Герцена. Работал в школах и вузах Ленинграда. Первый рассказ был опубликован в «Авроре» в 1978 году. Автор двух книг прозы и ряда очерков в периодике. Живет в Ленинграде.

● ОСКОЦКИЙ Валентин Дмитриевич. Родился в 1931 году в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ, Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат филологических наук. Автор книг и критических статей по истории советской литературы. Член СП. Живет в Москве.

● СКРЫННИКОВ Руслан Григорьевич. Родился в 1931 году в Кутаиси, окончил ЛГУ в 1953 году, доктор исторических наук, профессор, автор книг «Иван Грозный», «Борис Годунов» и других. Член СП. Живет в Ленинграде.

Сдано в набор 24.02.88. Подписано к печати 28.04.88. М-31503. Формат бумаги 70×108 1/16. Бумага кн.-журн. Печать высокая. 18,2+4 вкл.=18,9 усл. печ. л. 21,0 усл. кр.-отт. 24,40+4 вкл.=25,05 уч.-изд. л.
Тираж 568 000 экз. Заказ 1406. **Цена 95 коп.**

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 315-84-72, 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 312-70-35, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15